90 коп. 23-1-14 Индекс 73293

ISSN 0132-0637. Октябрь, 1989, № 5, 1—208.

1989 5 Октябрь

ISSN 0132-0637

Октябрь

5

1989



ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

5

1989

МАЙ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Александр ЧАКОВСКИЙ

Нюрнбергские призраки

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Часть I

Пролог

В середине сентября 1946 года самолет американской авиакомпании «Пан-Американ» летел над безбрежными водами Атлантики по направлению к Южной Америке.

В числе нескольких десятков пассажиров, преимущественно аргентинцев, уругвайцев и американцев, был немец — человек, которого с начала его жизни и до недавнего времени звали Адальберт Хессенштайн. Вместе с ним летела его жена Ангелика.

В течение последнего года Адальберт дважды менял свою фамилию — сначала он стал Квангелем, потом — Альбигом. Так, по документам, именовался он и сейчас: Хорст Альбиг. Этот человек, в прошлом бригадефюрер СС, занимавший высокий пост в гестапо, бежал от своего прошлого, от его теней. Он был худощав, на висках его проглядывала появившаяся в последнее время седина, и всем своим обликом он мало отличался бы от остальных пассажиров, если бы не его лицо.

Оно было страшным. Его бороздили глубокие шрамы. Так мог выглядеть студент-дуэлянт в старой Германии или солдат-фронтовик, получивший тяжелые ранения.

Адальберт и Ангелика летели в Южную Америку из Германии. Летели кружным путем. Решением Контрольного Совета побежденной и оккупированной Германии было запрещено иметь даже гражданскую авиацию. И, чтобы добраться до Южной Америки, бывший бригадефюрер и его жена должны были лететь на самолетах иностранной авиакомпании и по пути сделать три пересадки.

Последняя была в Нью-Йорке.

...Стюардесса указала новым пассажирам места. Из трех кресел в одном из рядов крайнее, у окна, было занято, а два других оставались свободными. Адальберт-Хорст закинул на багажную полку два небольших чемоданчика, усадил Ангелику в кресло у прохода, а сам занял среднее.

Удобно пристроившись, он бросил мимолетный, но внимательный взгляд на соседа, сидящего у окна. Глаза этого человека были закрыты — он, видимо, уже успел задремать. На вид ему было лет сорок пять — пятьдесят. Холеное, гладко выбритое лицо. Никаких особых примет, если не считать очков в массивной золотой оправе.

Адальберту не хотелось иметь соседа — ведь это означало, что раньше или позже с ним придется вступить в разговор. Он помнил прощальное предостережение Гамильтона: «Никаких новых знакомств в пути». И, в самом деле, любая беседа предполагает необходимость рассказывать что-то о себе. Но даже самая правдоподобная, тщательно отработанная легенда

[1] А. Чаковский. Нюрнбергские призраки. Роман. Книга первая. См. «Октябрь», 1987, № 1.

о своем прошлом внушала Адальберту опасения. Конечно, будет гораздо лучше, если сосед окажется американцем, бразильцем, шведом — одним словом, кем угодно, лишь бы не немцем. Если тот обратится к нему, Адальберт даст понять, что не знает его языка. А совсем хорошо будет, если он так и не проснется до посадки в Буэнос-Айресе. Адальберт снова взглянул на соседа. Тот улыбался и блаженно причмокивал во сне.

«Прекрасно!» — подумал Адальберт. Он прикрыл свою беременную жену пледом и тихо сказал:

— Постарайся заснуть, дорогая. Путь нам предстоит долгий...

Затем он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Ровное гудение моторов убаюкивало его. Ему стало казаться, что вокруг никого нет и он висит в воздухе, где-то между небом и землей. И по мере того как Адальберт погружался в сон, тени прошлого — далекого и совсем недавнего — обступали его плотным кольцом. Теперь ему уже казалось, что он снова лежит в берлинских развалинах в ночной тьме, среди таких же, как и он, бездомных немцев. То ему чудилась большая крыса. Он видел ее рядом с собой, видел ее злые хитрые глазки и острые хищные зубы. Казалось, она только и ждала, чтобы вонзить их в оголенную, из-под задравшейся штанины, ногу Адальберта.

— Прочь! Вон! Уйди! — закричал он во сне, проснулся и долго не мог понять, что находится в самолете.

Потом он заснул снова, и перед ним встала картина «черного рынка». Вот к нему подошел человек в темных очках, державший что-то в зажатом кулаке. Он разжал кулак, и Адальберт увидел несколько маленьких ампул.

— Что это? — недоуменно спросил он. — Морфий?

— Нет, нет, — полушепотом ответил человек в темных очках, — но это именно то, что вам нужно! Я научился разгадывать людей с первого взгляда. Впрочем, мой товар может пригодиться сейчас многим...

— Да что это, черт побери? — чуть ли не выкрикнул Адальберт.

— Цианистый калий, с вашего разрешения, — прозвучало в ответ. — Для тех, кто не приемлет сегодняшний мир. Никаких страданий — ампулу в рот, и спустя мгновение все, что было, останется позади. Верьте мне, я фармацевт, у меня была своя аптека...

— Подавитесь вы своими ампулами! — крикнул Адальберт.

Этот сон повторялся не раз. Увидев человека в темных очках, Адальберт уже знал, что будет дальше. И все повторялось снова и снова.

Адальберту хотелось задушить этого торговца смертью, но, когда он протягивал к нему руки, человек в очках исчезал. Нет, не сразу. Он как бы растворялся в воздухе. По частям... Вот остались голова и верхняя часть туловища. Потом — только ладонь с ампулами. Еще мгновение, и исчезали все следы торговца небытием, и только откуда-то издалека слышался его голос:

— Цианистый калий... Цианистый калий...

Наконец Адальберт проснулся. Он чувствовал себя разбитым, тревожные мысли, как осы, жалили его сознание.

Адальберт бросил взгляд на жену. Она полулежала в соседнем кресле, укрытая шотландским клетчатым пледом, который принесла заботливая стюардесса. Ангелика дремала. Плед на ее вздутом животе тихо колебался в такт прерывистому, затрудненному дыханию. О, как Адальберт боялся преждевременных родов! Ни он, ни сама Ангелика не могли точно высчитать, сколько времени уже длилась беременность. По мнению врача, она приближалась к завершению. Значит, роды могли наступить в ближайшую неделю или даже в любой день...

Еще не так давно Адальберт считал, что с ребенком надо повременить. Сначала — потому, что отдавал все свои силы карьере в нацистской партии и в гестапо, а ребенок мог стать помехой, потом — из-за войны, перевернувшей жизнь в Германии вверх дном. Но теперь...

Теперь, приняв по требованию Гамильтона и патера Вайнбехера решение покинуть родину, где после капитуляции над ним нависла угроза суда и многолетнего заключения, если не смертной казни, Адальберт жил надеждой на рождение сына. О дочери он даже не думал. Ему нужен был сын, которого он мог бы воспитать как подлинного национал-социалиста.

А в том, что национал-социалистическая Германия возродится из пепла, Адальберт не сомневался.

Что же в конечном итоге побудило его воспользоваться предложением Гамильтона и выехать в Аргентину? Во-первых, страх, не оставлявший Адальберта ни на минуту: он боялся, что его опознают, несмотря на пластическую операцию. Во-вторых, его убедили заверения Гамильтона в том, что в Парагвае и Аргентине собирается сейчас весь цвет национал-социализма. Эти люди понадобятся Германии, когда пробьет час ее возрождения, а пока — пусть на расстоянии — они будут способствовать приближению этого часа.

И Адальберт принял условия Гамильтона, тем более что «Мастер» — патер Вайнбехер — распорядился отдать американцу хранившийся в тайнике список нацистской агентуры, работавшей в концлагерях. Гамильтон был щедр: он разрешил Адальберту взять себе золото и платину, припрятанные там же.

Настаивая на том, чтобы Адальберт немедленно отправился в Аргентину, Гамильтон не раз беседовал с ним об этой стране. Он рассказывал о поселениях немецких эмигрантов, о том, как успешно они занимаются ремесленнической и коммерческой деятельностью, об огромном влиянии пронацистских кругов на аргентинскую политику. Ведь еще в 1931 году в Буэнос-Айресе было создано объединение, назвавшее себя местной организацией НСДАП.

...И вот он приближается к неведомой стране, которая всегда казалась ему почти нереальной.

До сих пор для Адальберта существовало только два мира: немецкий, частью которого был он сам, и враждебный, ненавистный ему мир «красных». Теперь он приближался к миру третьему.

Адальберту было бы трудно сказать, сколько прошло времени, прежде чем он услышал тихое позвякивание и увидел в проходе стюардессу, катившую столик, уставленный бутылками и стаканчиками. У каждого ряда кресел стюардесса останавливалась. Адальберту не хотелось вступать с ней в разговор, и когда она подкатила свой столик к креслу, в котором дремала Ангелика, он закрыл глаза. Но было уже поздно — стюардесса успела увидеть, что он не спит.

— Что-нибудь выпить, сэр? — спросила она.

До сознания Адальберта не сразу дошла эта простая английская фраза, и он пробурчал в ответ что-то нечленораздельное.

— Не угодно ли выпить? — снова спросила стюардесса, на этот раз по-немецки.

— Нет, спасибо! — автоматически ответил Адальберт тоже по-немецки.

— А ваш сосед? — спросила стюардесса.

— Не знаю. Он спит, — неприязненно ответил Адальберт.

— Я вовсе не сплю! — несколько обиженно произнес человек в золотых очках. — Двойное виски с содовой. Без льда, пожалуйста!

Он говорил по-немецки без малейшего акцента.

— Яволь, майн либер герр! — словно обрадовавшись, защебетала стюардесса. Она взяла со столика бутылку и стала наливать виски в высокий стакан.

— Немного простудился, боюсь льда, — неожиданно обратившись к Адальберту, сказал сосед.

«А ведь это немец!» — с опаской подумал Адальберт.

Минуту-другую он соображал, как ему поступить. Этот незнакомец, конечно, слышал, как он, Адальберт, обменивался немецкими фразами со стюардессой. Делать теперь вид, будто он не знает немецкого, было бы еще менее разумно, чем признаться, что это его родной язык. Все сомнения разрешила Ангелика. Она вдруг открыла глаза и спросила:

— Нам еще долго лететь?

— О-о! — воскликнул сосед, разбавляя виски содовой водой из маленькой бутылочки. — Фрау, стало быть, тоже немка? Рад познакомиться. Разрешите представиться: Хайнц Готшальк.

Он вынул из нагрудного кармана пиджака сигару и, чуть приподняв ее, спросил Ангелику:

— Вы не возражаете?
— Нет, нет! — ответила Ангелика.
Готшальк извлек из кармана брюк золотую зажигалку, закурил и, пригубив виски, сказал, обращаясь на этот раз к Адальберту:
— А вы напрасно отказались. Отличное виски!
Немного помолчав, Адальберт решил все же представиться:
— Хорст Альбиг. А это моя жена — Ангелика.
— Очень приятно! Лететь нам еще долго, фрау Альбиг! — расплылся в улыбке Готшальк, мельком взглянув на свои часы. — Насколько я понимаю, мы соотечественники?
— Вы живете в Германии? — вместо ответа спросил Адальберт.
— О, нет! Я живу в Аргентине.
Адальберт ощутил некоторое облегчение.
— И давно?
— Можно сказать, с незапамятных времен, герр Альбиг! Родители переехали в Аргентину, когда мне было семь лет.
«Семь лет!» — мысленно повторил Адальберт, наскоро подсчитывая, когда это могло быть. На вид Готшальку было лет пятьдесят. Значит... если, скажем, сорок три года тому назад... тысяча девятьсот третий!.. Получается, все прошло мимо этого человека. И первая мировая, и рождение национал-социализма, и третий рейх, и разгром Германии...
— А вы? — спросил Готшальк. — Вы живете в Аргентине?
— Нет, но буду жить! — твердо произнес Адальберт.
— Вы... вы из беженцев? — пристально вглядываясь в лицо Адальберта, спросил Готшальк.
И вдруг Адальберт с тревожным чувством осознал, что как-то незаметно для себя он подошел к «красной черте», к которой не следовало приближаться и которую уж во всяком случае нельзя было пересекать.
— Я раненый офицер вермахта, — торопливо произнес он, — лечу к родственникам в Аргентину... для продолжения лечения...
— Как я вам сочувствую! — проникновенным тоном произнес Готшальк. — Эта ужасная война! Сколько жертв, сколько лишений, сколько страданий!
«Черта с два ты страдал в своей Аргентине!» — со злобой подумал Адальберт.
— Я всей душой с моими соотечественниками! — растроганно продолжал Готшальк. — Бывали моменты, когда я хотел вернуться на родину и воевать.
— Но вы успешно преодолели это желание? — будучи не в силах сдержаться, иронически спросил Адальберт.
— Не надо корить меня, дорогой Альбиг! — чуть ли не жалобно проговорил Готшальк. — Поймите, на моих плечах огромная скотоводческая ферма. Она требует неусыпных забот. Но сердцем своим я всегда был с фюрером. Хайль Гитлер! — снижая голос, произнес Готшальк и слегка приподнял правую руку.
— Хайль! — буркнул Адальберт, все еще кипя злобой. Потом спросил с плохо скрытой издевкой: — Откуда же у вас такая ферма? Досталась в наследство?
— Вы не ошиблись. Но надо сказать, что после смерти родителей я значительно расширил ее.
— И как же вам это удалось?
— Что тут можно сказать? — пожал плечами Готшальк. — Немцы, с давних пор осевшие в Аргентине, имеют сильное влияние на экономику страны. Они вложили большой капитал в химическую промышленность, в сельское хозяйство, в городской транспорт... Словом, мне очень повезло. Меня поддержали соотечественники. Они знали мои убеждения...
«Ах, у тебя еще есть и убеждения! — подумал Адальберт. — Мы за свои убеждения платили кровью. А ты... ты значительно расширял свою ферму!»
Но, несмотря на неприязнь к Готшальку, Адальберт не удержался и спросил:
— А вы не боялись открыто высказывать свои симпатии, когда шла война?

— Почему я должен был бояться? — удивился Готшальк. — Аргентина — страна демократическая. У нас выходят газеты, все эти годы сочувствовавшие рейху. Я их выписываю и регулярно читаю.
Ангелика, внимательно прислушивавшаяся к разговору, неожиданно спросила:
— Простите, а немецкие школы там есть?
Готшальк бросил взгляд на прикрытый пледом живот Ангелики, понимающе кивнул и ответил:
— Ну, конечно! И две из них — «Германиа-шуле» и «Гете-шуле» — знает вся Аргентина!
«Очевидно, этот преуспевающий тип не врет, — подумал Адальберт. — Все, что он говорит, совпадает с тем, что Гамильтон рассказывал об Аргентине».
Адальберту хотелось расспросить Готшалька еще о многом, но он промолчал. Многолетняя работа в гестапо приучила его к сдержанности.
— Рад был познакомиться с вами, — пробурчал Адальберт и, немного помолчав, добавил: — У нас еще есть время поспать.
Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Готшальк повернул голову к окну.
«Обиделся! — подумал Адальберт. — Ну и пусть! Не могу же я идти на риск в конце концов».
Радость ожидания охватила его и тут же сменилась щемящим чувством тревоги. Ребенок... Мальчик, конечно! Теперь их трое. Теперь он должен думать о безопасности всей семьи.
«Но разве это зависит только от меня? — мелькнуло у него в голове. — Я же не знаю, что ждет нас в Аргентине. Смогу ли я там бороться за восстановление рейха? Если верить Гамильтону... Впрочем, к чему загадывать? Еще несколько дней, и все будет ясно. Нет, даже раньше! Как нас встретят, куда повезут, что скажут — все это уже будет ориентиром... А что, если Гамильтон обманул меня? Он любой ценой хотел заполучить списки агентуры, а добившись своего, отправил меня за океан, чтобы замести следы. Может быть так?..» Одна тревожная мысль сменяла другую.
Адальберт не заметил, как задремал. Проснулся он от того, что Ангелика дернула его за рукав пиджака.
— Ади, Ади, смотри! — взволнованно проговорила она.
Адальберт открыл глаза. И увидел светящееся табло: «Закрепите ремни безопасности! Не курить!»
«Значит, скоро, уже очень скоро мы будем на месте!» — подумал он. Подумал с радостью. И с горечью. С радостью — от сознания, что он уже недосягаем для русских, недосягаем для немцев, которые предали Германию. Горечь порождалась сознанием, что от родной Германии его теперь отделяют тысячи и тысячи километров.
«Дамы и господа! — раздался усиленный репродуктором голос стюардессы. — Через несколько минут наш самолет приземлится на аэродроме в Буэнос-Айресе. Экипаж самолета сердечно поздравляет пассажиров с завершением долгого путешествия и надеется еще не раз увидеть их на нашем борту!»
Эти слова были произнесены по-английски, затем повторены по-испански.
«Когда я услышу звуки родного языка?» — с печалью подумал Адальберт.
Он посмотрел в окно, стараясь не встречаться взглядом с Готшальком. В этот момент самолет сильно тряхнуло: посадка совершилась. За окном мелькали какие-то белые строения, стоящие вдалеке самолеты...
Адальберт склонился над лицом Ангелики и взволнованно сказал:
— Мы прибыли, дорогая!
Он хотел успокоить, ободрить ее. Но в душе самого Адальберта спокойствия не было. Кто их встретит? Куда их повезут? Где они будут жить?
Самолет остановился. Люди отстегивали ремни безопасности, поднимались со своих мест, снимали с полок свой ручной багаж и толпились в проходе. Гудение моторов заглохло, и теперь стал слышен гул голосов: испанская, английская и немецкая речь.

Доставая свой чемоданчик, Адальберт увидел, что Готшальк все еще спокойно сидит в своем кресле и смотрит в окно. «Отлично! — подумал Адальберт. — Самое время распрощаться с ним».

Он торопливо пробормотал «До свиданья!» и, обратившись к Ангелике, сказал:

— Ну, теперь и мы пойдем! — Он помог ей подняться.

А вдруг их никто не встретит? Что если он и беспомощная, измученная бесконечным перелетом Ангелика не будут знать, куда идти, к кому обратиться? Может быть, все-таки зря он оборвал свое короткое знакомство с Готшальком? Адальберт обернулся и увидел, что кресло, на котором только что сидел разговорчивый сосед, было пустым.

Чтобы как-то успокоить себя, Адальберт снова стал вспоминать разговор с Гамильтоном, его категорический приказ: «Никаких случайных знакомств!» Он обещал, что Хессенштайна встретят в Аргентине с истинно германским гостеприимством.

«Я хочу бороться, а не жить, как крыса, сбежавшая с тонущего корабля!» — воскликнул тогда Адальберт. «Но я и призываю вас к борьбе! — сказал Гамильтон. Он положил руку на плечо Адальберта и тоном, который с каждой фразой становился все более проникновенным, продолжал: — Я уже не раз говорил вам, что не пройдет и полугода, как в Южной Америке окажутся все крупные нацисты, которым удалось избежать Нюрнбергского трибунала. Борман, Эйхман и многие другие. Между Германией и Аргентиной будут курсировать курьеры. Быстрая и четкая информация о положении дел, доставка необходимых денежных средств... Вы человек с огромным опытом конспиративной работы. Я уверен, что, опираясь на аргентинскую базу, вы сможете организовать боевое подполье здесь, в Германии. А в Аргентине вам, может быть, удастся сформировать и германское правительство в изгнании. Подумайте об открывающихся перед вами перспективах!» «С кем надо будет связаться по прибытии в Буэнос-Айрес? — все еще нерешительно спросил Адальберт. — Куда направиться с аэродрома?» «Ах, господин бригадефюрер! — воскликнул Гамильтон, снимая руку с плеча Адальберта и взмахивая ею в воздухе. — Вы становитесь наивным человеком! Неужели вы думаете, что люди, которых я здесь представляю, имеют меньший опыт конспиративной работы, чем фирма, в которой вы имели честь служить? В вашей Германии любили повторять: «Гитлер думает за нас!» Так вот, пора бы вам уже понять, что на первом этапе консолидации, а потом и возрождения Германии вам окажут помощь те силы, которые ненавидят коммунизм и хотят видеть в центре Европы дружественную страну...»

«А что было потом?» — вспоминал Адальберт.

Да, потом Гамильтон сунул руку во внутренний карман своего военного кителя и вытащил толстую пачку перехваченных резинкой бумаг.

«Вот, держите, — сказал он, извлекая из пачки и передавая ему бумаги. — Это авиабилеты, с пересадкой, правда. Это удостоверения Красного Креста, которые и вам и фрау Ангелике заменят заграничные паспорта. Вручаю их вам с наилучшими пожеланиями от патера Вайнбехера. Те, старые документы, на имя Квангеля, которые вы получили в клинике, уничтожьте! Это пройденный этап. Теперь вас зовут Альбиг. Хорст Альбиг. А это, — продолжал Гамильтон, протягивая Адальберту толстый конверт со стодолларовыми ассигнациями, — поможет вам продержаться первое время». «И я смогу пройти с этим через таможню? Я ведь не знаю, какие там правила насчет ввоза валюты...» «Не ваша забота! — оборвал его Гамильтон. И добавил с усмешкой: — Будем надеяться, что вам попадется таможенник, в должной мере симпатизирующий немецким эмигрантам».

...К самолету подкатили трапы, и человеческий поток устремился к двери. Адальберт понял, что ее уже открыли, ощутив дыхание раскаленного воздуха.

Стюардесса, стоявшая у двери, помогла Ангелике переступить порог. Следом за женой вышел на трап и Адальберт. Теперь лишь десять металлических ступенек отделяли его от аргентинской земли.

Адальберт взглянул вниз. Немного поодаль стояло несколько человек, всматривавшихся в лица пассажиров, которые медленно спускались

по трапу. Время от времени то один из встречавших, то другой радостно взмахивал рукой и устремлялся к трапу. Объятия, поцелуи...

Адальберт понял, что среди пассажиров были very important persons [1], — иначе встречавшим не разрешили бы подойти так близко к самолету.

Неподалеку, у длинного застекленного здания аэропорта, стояло несколько автомашин. «Может быть, одна из них ожидает нас, — подумал Адальберт. — Как-никак все это машины немецких марок: «Мерседес», «БМВ», «Хорьх»...

Взглянув на соседний трап, по которому тоже спускалась цепочка пассажиров, Адальберт увидел Готшалька. Сойдя вниз, тот уверенно зашагал по направлению к машинам. Шофер, стоявший около синего «Мерседеса», услужливо распахнул перед ним дверцу...

Адальберт понимал, что если кто-либо и встречает их, то сможет узнать его только по изуродованному лицу. Поэтому он стал поворачивать голову вправо и влево, чтобы его отовсюду могли увидеть.

Но напрасно. Судя по всему, никто его не встречал, никому он не был нужен.

И тут, как назло, Ангелика, чуть обернувшись, спросила:

— За нами кто-нибудь приехал, Ади? Ведь ты говорил... — Она умолкла.

— Наверное, ждут в здании аэропорта, — угрюмо ответил Адальберт. А про себя подумал: если и там их никто не встретит, то придется взять такси и поехать в какой-нибудь отель — деньги у него, слава богу, в избытке. А потом? Потом — полная неизвестность.

...Они влились в поток людей, направлявшийся к большим дверям аэровокзала. До Адальберта доносилась разноязыкая речь, но, к своему разочарованию, он на этот раз не услышал, чтобы кто-нибудь говорил по-немецки.

Очередь у застекленной будки с надписью «Паспортный контроль» выстроилась довольно длинная.

Зал, в котором находилась будка, был переполнен: туда и сюда сновали сотни людей — белые, желтые, черные. Гул стоял такой, словно все эти люди старались перекричать друг друга. Адальберт был близок к отчаянию. Их и здесь явно никто не встречал.

— У меня нет больше сил! — не поворачивая головы, еле слышно проговорила Ангелика.

— Милая, потерпи, нам осталось совсем немного, — вполголоса ответил Адальберт, — совсем немного, и ты сможешь прилечь...

Когда Ангелика и Адальберт приблизились к будке, он поставил чемоданчики на пол и, обойдя жену, протянул в окошечко два удостоверения Красного Креста.

Полицейский стал просматривать документы, время от времени поглядывая то на фотографии, то на Адальберта и Ангелику. Это продолжалось недолго — какие-нибудь две минуты, но Адальберту они показались вечностью. Нет, снимки были, конечно, в полном порядке: он был сфотографирован уже после пластической операции. Аргентинские въездные визы выглядели весьма убедительно. Хорст Альбиг — и имя, и фамилия звучали вполне правдоподобно. Беспокоиться вроде бы не о чем...

И все же у него замирало сердце. Каждую секунду он ждал, что полицейский отложит удостоверения в сторону и сухо скажет: «Вам придется немного обождать! Ваши документы нуждаются в дополнительной проверке».

Но этого не произошло. Чиновник сделал какую-то пометку в большой тетради, взял со столика штемпель на длинной деревянной ручке и с лихим стуком поставил печати на удостоверениях Адальберта и Ангелики. Затем он протянул им документы и сказал по-немецки, хотя и с чудовищным акцентом:

— Аллес ин орднунг. Битте шен! [2]

— Данке! — пробормотал Адальберт и добавил немного громче: — Данке шен!

---

[1] Очень важные персоны *(англ.)*

[2] Все в порядке. Пожалуйста! *(нем.)*

За будкой тянулся довольно узкий проход, и туда устремлялись люди, прошедшие проверку паспортов.

По ту сторону барьера толпились встречающие. То один, то другой, расталкивая толпу, бросался к проходу и сжимал в объятиях кого-либо из только что прибывших. Поцелуи, слезы, радостные возгласы...

Адальберт замедлил шаг в надежде, что и к нему кто-нибудь обратится, но все было напрасно. Их никто не встречал. Что делать, что делать?! Бригадефюрер СС Адальберт Хессенштайн, привыкший отдавать приказы и внушать людям безотчетный страх, человек, который еще совсем недавно мог одним росчерком пера отправить кого угодно на тот свет, сейчас чувствовал себя как ребенок, неожиданно оказавшийся в чужом городе, одинокий и забывший в панике адрес своих родителей.

Усилием воли он попытался взять себя в руки. «Не надо терять голову! — сказал он себе. — Деньги у меня есть — это самое главное. Надо получить багаж, взять носильщика, выйти на улицу — у аэропорта наверняка есть стоянка такси. Доберемся до отеля и сразу же вызовем врача, чтобы он осмотрел Ангелику, а затем...»

Адальберт старался не думать о том, что будет «затем». Ясно одно: либо Гамильтон обманул его, либо не сработало что-то в бюрократической машине и в Буэнос-Айрес не сообщили об их приезде. И в результате он с беременной женой будет предоставлен самому себе... Тут он заметил еще одно ограждение. На большом щите, укрепленном на двух столбиках, было написано по-испански: «ADUANA».

«Что это может означать? — подумал Адальберт. — Еще одна проверка?» У него не было опыта заграничных поездок. До сих пор весь мир был сосредоточен для него на Германии. Остальные страны он воспринимал, как далекие звезды. Подойдя ближе ко второму ограждению, он увидел за ним нескончаемые полки-прилавки, на которых находились раскрытые чемоданы и понял, что загадочная «ADUANA» означала просто «Таможня». По ту сторону полок стояли люди в униформах — не то военные, не то полицейские. Они склонялись над чемоданами и быстро осматривали их содержимое. Потом резко захлопывали крышки чемоданов, наносили на них мелком какой-то условный знак, и после этого пассажир, стоящий по другую сторону прилавка, забирал свой чемодан и исчезал с ним в толпе у выхода из аэропорта.

«Конечно, это таможня! — с тревогой подумал Адальберт. — Сейчас они начнут копаться в наших чемоданах».

Его вещи еще не пришли, хотя в стороне, у стены, росла груда чемоданов, которые доставляли туда носильщики. Пассажиры, окружавшие эту груду, выискивали в ней свои вещи и ставили их на таможенную полку.

Самое ценное — миниатюрные изделия из золота и платины — Адальберт с помощью Ангелики хитроумно зашил в потайные карманы своего пиджака, в обшлага брюк, хотя до самого отъезда так и не узнал, что именно разрешается ввозить в Аргентину и за что надо платить пошлину.

И снова страшная мысль вонзилась в мозг Адальберта: «А что если меня подвергнут личному обыску? Отберут ценности, которые обеспечили бы нам безбедную жизнь по крайней мере в течение двух-трех лет... Правда, бумажник набит долларами. Но вдруг их постигнет та же судьба?»

Груда чемоданов постепенно уменьшалась. Опустел и таможенный прилавок.

— Ади! — услышал Адальберт голос Ангелики. — Вон наши вещи. Надо взять носильщика и...

— Помолчи! — одернул ее Адальберт. Он сделал несколько шагов по направлению к чемоданам, но в этот момент услышал негромкий, но отчетливый мужской голос:

— Герр Альбиг?

В первый момент Адальберт не обратил на этот вопрос никакого внимания. Но спустя мгновение спохватился: «Но... но ведь это я — Альбиг! За такую забывчивость можно и головой поплатиться».

Он приподнялся на цыпочки, напряженно вглядываясь в ту сторону, откуда раздался голос. И увидел... В конце таможенного прилавка стояли два человека в цветных рубашках с расстегнутыми воротниками. Один — высокий, в темных очках, с сединой в густых волосах, другой — пониже

ростом, в соломенной шляпе. Встретившись взглядом с Адальбертом, человек в шляпе высоко поднял руку и, приветливо помахав ею, снова крикнул:

— Герр Альбиг! Подойдите к нам, пожалуйста!

Он говорил на чистом немецком языке, и это очень обрадовало Адальберта. Чуть ли не бегом он бросился к дальнему концу прилавка... Все, что происходило потом, он видел как бы в тумане. Откуда-то появились носильщики, они подхватили чемоданы, на которые им указал Адальберт, и поставили их на прилавок. Таможенник, даже не заглядывая внутрь, сразу же сделал на них пометки мелком. Носильщики снова подхватили чемоданы... Адальберт начал отдавать себе отчет в происходящем только тогда, когда очутился в каком-то маленьком автобусе. Чемоданы были уже в багажнике. Человек в соломенной шляпе широким жестом указал на сиденье, предназначенное для двух человек. Адальберт заботливо и осторожно усадил Ангелику, сам сел рядом, а те двое разместились сзади. В автобусе их ожидал еще один незнакомец средних лет.

Черноволосый парень в пропотевшей рубашке сел на шоферское сиденье и повернул ключ зажигания. Затарахтел мотор...

— Ну вот, герр Альбиг, — сказал за спиной Адальберта тот, кто был в шляпе, — теперь мы наконец можем спокойно поговорить. Как вы перенесли столь длительный перелет? Фрау Альбиг, наверное, очень устала?

Адальберт все еще не мог прийти в себя от столь резкой перемены: только что он чувствовал себя одиноким и бездомным в чужой стране, где он никому не был нужен, и вдруг... теплая встреча, приветливые люди, удобный микроавтобус.

Однако зрелище, представавшее перед Адальбертом, с интересом глядевшим в окно, было не самым привлекательным: по обе стороны шоссе стояли убогие, покосившиеся домишки. Время от времени микроавтобус обгоняли грузовые машины. На заднем борту чуть ли не на каждой из них была намалевана краской какая-то надпись.

— Что там написано? — с любопытством спросил Адальберт, обернувшись к своим спутникам.

— Это все шутки, герр Альбиг! — ответил человек в шляпе. — Аргентинцы — веселые люди. Перевести вам? На борту вон той желтой машины написано: «Ищу невесту, новенькую, прямо с конвейера». А на той зеленой, которая ее обгоняет: «Верь в свою звезду, и счастье тебе обеспечено!»

Адальберт подумал, что эти слова могли бы сейчас стать его девизом.

— Извините, герр Альбиг, ведь мы еще вам не представились, — продолжил разговор тот, кто был в шляпе.

— Какие бы имена и фамилии вы ни назвали, мы бесконечно благодарны вам за встречу, — сказал Адальберт. — Вы даже не можете себе представить, что мы с женой пережили... Ведь мы уже подумали, что нас никто не встретит.

— Ну, что вы, что вы! Такого и быть не могло, — с легкой усмешкой проговорил человек в шляпе. — Итак, меня зовут Альфред Вайслер, а моего коллегу — Кальвай. Отто Кальвай.

— Вы, конечно, немцы? — спросил Адальберт.

— Еще бы! Такие же, как и вы, герр Альбиг. А мой друг — американец. Мистер Артур Крэймер.

Молчаливый незнакомец слегка наклонил голову.

«Вы связаны с мистером Гамильтоном?» Эта фраза чуть было не сорвалась с языка Адальберта. Но он осекся. «Такие вопросы не задают! — сказал он сам себе. — Я не в гестапо. И эти люди — не мои подследственные. Все надо предоставить естественному ходу событий. К тому же и так ясно, что эти ребята находятся в тесном контакте с Гамильтоном и его ведомством. Что ж, тем лучше!»

И все же он не мог удержаться:

— Простите, а куда мы сейчас едем? Может быть, мой вопрос несколько бестактен. Я понимаю, что должен во всем полагаться на вас. Но... вы же видите... моя жена... Меня, естественно, беспокоит, что...

— Перестань, Ади! — с неожиданной резкостью прервала его Ангелика. — Я не единственная женщина на свете, которая через это проходит.

— Хорошо, хорошо, — покорно проговорил Адальберт и, немного помолчав, снова спросил: — Но все же, если это не секрет, скажите мне, пожалуйста, куда мы направляемся.

— В вашу резиденцию, герр Альбиг. Одним словом, туда, где вам и вашей супруге предстоит поселиться, — ответил Вайслер. — Хочу заранее предупредить вас: это не отель, а, так сказать, частный пансион, который содержит наша соотечественница. Правда, он находится не в самом городе, а на одной из его окраин... Но, полагаю, вам будет там уютнее. Никаких любопытных и назойливых соседей. Это, собственно говоря, пансион, рассчитанный на одну семью. Мы очень обрадовались, когда узнали, что он недавно освободился. Насколько мне известно, материальных затруднений вы не испытываете?

— На первое время я обеспечен, — сдержанно ответил Адальберт.

— Думаю, что все будет хорошо. В районе, где находится предназначенная для вас вилла, живут и другие немецкие семьи. Должен сказать, что никто из них не нуждается. Аргентина — страна гостеприимная. Особенно, когда речь идет о наших соотечественниках.

Он бросил взгляд на Ангелику. Лицо у нее было восковое, глаза закрыты, голова откинута на спинку сиденья.

— Гели, родная, — наклоняясь к уху жены, прошептал Адальберт, — ты себя плохо чувствуешь?

— Больно! — Голос Ангелики прозвучал так, словно он донесся откуда-то издалека.

— Ради бога, не волнуйтесь, герр Альбиг! — наигранно бодрым тоном проговорил Вайслер. — Неподалеку от вашего пансиона есть маленькая, но очень хорошая больница. Если потребуется срочная медицинская помощь... — Сделав неопределенный жест, он умолк.

Адальберт перевел взгляд на американца. С момента их встречи тот не произнес ни слова. Судя по всему, он не знает немецкого.

— Насколько я могу судить, — сказал Адальберт, обращаясь к Вайслеру, — ваш друг не говорит по-немецки?

— Нет, почему же? — возразил Вайслер.

— Я говорю по-немецки, — вдруг сказал Крэймер и добавил: — Во всяком случае, достаточно хорошо, чтобы меня понимали друзья.

— Да вы отлично говорите! — воскликнул Адальберт, несколько покривив душой.

— Господин Крэймер представляет в Аргентине Американский Красный Крест, — вмешался в разговор Вайслер. — Я тоже сотрудник Красного Креста и, стало быть, в известной мере подчиняюсь мистеру Крэймеру. А поскольку вы оказались в Аргентине благодаря заботам этой организации, все мы связаны друг с другом, так сказать, коллегиальными узами. Впрочем, мы поговорим об этом на месте, то есть на вашей вилле, герр Альбиг.

— А еще далеко? — поинтересовался Адальберт.

— Нет! Мы уже почти приехали.

Адальберт прильнул к окну.

Машина свернула с автострады влево и теперь мчалась по узкой асфальтированной дороге. Еще один поворот, и за высокой металлической оградой показался двухэтажный каменный домик. К первому этажу примыкала крытая застекленная веранда. Шофер дал два резких гудка, и какие-то пестрые птицы в испуге сорвались с окружающих дом деревьев...

Машина затормозила и несколько секунд спустя остановилась у широких лестничных ступенек, ведущих на веранду. Тотчас же растворилась дверь, и на пороге появилась худощавая, немолодая женщина в пестром переднике. Голову ее прикрывала наколка, а на ногах были домашние туфли.

Шофер потянул к себе рычаг и открыл дверь микроавтобуса. Первым из машины выскочил Вайслер. Двумя прыжками он преодолел ступени лестницы и, очутившись на веранде, преувеличенно весело воскликнул:

— А вот и мы, фрау Вольф! Наступил конец вашему одиночеству! Познакомьтесь с вашими новыми постояльцами: фрау и герр Альбиг.

— Добро пожаловать, господа! — негромко по-немецки произнесла женщина. — Не могу вам передать, как приятно чувствовать себя среди своих.

У нее был типично баварский выговор, и это с радостью отметил про себя Адальберт.

А немка тем временем спустилась с веранды, подошла к распахнутой двери автобуса и, обращаясь к сидевшим в нем людям, сказала с легким поклоном:

— Вальтрауд Вольф к вашим услугам, господа!

И в это мгновение Ангелика громко застонала.

— Сейчас мы организуем перенос ваших вещей... — начала было Вольф, но Адальберт прервал ее:

— Ради бога! Прежде всего надо помочь моей жене перебраться в дом и уложить ее в постель.

Казалось, только сейчас Вальтрауд заметила вздувшийся живот Ангелики.

— О боже! — воскликнула она. — Как же это я, старая дура, не обратила внимания... Ваша жена может сама передвигаться?

Ангелика приподнялась было со своего кресла, но тут же со стоном упала обратно.

— Помоги мне, Ади, — еле шевеля потрескавшимися губами, проговорила она и протянула Адальберту руки.

— Разрешите мне, герр Альбиг! В конце концов это женское дело! — решительным тоном произнесла Вальтрауд. Затем она наклонилась к уху Вайслера и, говоря тихо, чтобы ее не слышала Ангелика, сказала: — Надо немедленно вызвать врача и акушерку. Такими вещами не шутят.

...И через десять, и через двадцать лет Адальберт не забудет этого мучительного, хотя и короткого перехода. Осторожно приподняв Ангелику, они с огромным трудом помогли ей спуститься со ступенек автобуса и подняться на веранду.

Они медленно миновали столовую и приблизились к широкой лестнице, ведущей на второй этаж. Адальберт увидел стол с вышитой скатертью, буфет в стиле «бидермайер», этажерку с фарфоровыми пастухами и пастушками, старые гравюры. Над лестничной площадкой в небольшой серебряной рамке висел портрет Гитлера, и Адальберт задержал шаг, устремив свой взор на портрет.

Это не прошло незамеченным для фрау Вольф.

— Осталось от прежних жильцов... Впрочем, если господа пожелают, я сниму портрет.

— Ни в коем случае! — отрезал Адальберт.

— Я вас хорошо понимаю, — вполголоса сказал Вайслер. — И тут же, точно вспомнив о самом главном, спросил: «Ваш телефон в порядке, фрау Вольф?»

— В полном порядке, герр Вайслер! Позвольте, я вас провожу.

Они ненадолго вышли из комнаты. А когда вернулись, Вайслер сказал:

— С медиками договорились. Врач и акушерка выезжают. До больницы тут какие-нибудь пятнадцать минут езды.

— Прошу вас наверх! — сказала Вольф.

Они молча поднимались по лестнице: впереди шествовала Вальтрауд, как бы указывая путь. За ней следовала Ангелика, которую с обеих сторон поддерживали Адальберт и Вайслер.

Они вошли в спальню. Посредине комнаты стояла широкая кровать, прикрытая кружевным покрывалом, у изголовья — старомодная тумбочка, а несколько в стороне — глубокое кресло, обитое темно-зеленым бархатом. У стены слева располагался дубовый платяной шкаф, а у стены справа — комод с широкими выдвижными ящиками, там же стояло трюмо.

Вольф шагнула к кровати, резким, энергичным движением сдернула кружевное покрывало, откинула одеяло и, повернувшись к Ангелике, сказала:

— А теперь в постель, моя дорогая. Я сейчас помогу вам раздеться... Полагаю, господа мужчины нас на некоторое время оставят.

— Я ни за что не уйду! — воскликнул Адальберт.

— Решение этого вопроса я беру на себя, — сухо проговорила Вольф. — Я мать двоих сыновей... Они погибли на восточном фронте... В жизни каждой женщины бывают минуты, когда присутствие мужа, даже горячо любимого, крайне нежелательно. Как только фрау Альбиг немного отдохнет, я приглашу вас наверх.

— Пойдемте, Адальберт, — в первый раз назвав его по имени, сказал Вайслер. — Вы только помешаете. А у фрау Вольф достаточно большой опыт. Ради здоровья вашей супруги... пойдемте! — И он слегка подтолкнул его к двери.

— Ну, а теперь присядем, поговорим, — сказал Вайслер, когда они спустились вниз.

Крэймер сел за стол, рядом с ним расположился Вайслер, а напротив — Адальберт.

— Итак, герр Альбиг, — медленно и внушительно проговорил Вайслер, — чем же вы намерены заняться в Аргентине?

В этот момент у входной двери раздался резкий звонок, и они услышали голос спускающейся фрау Вольф:

— Врач!.. Я сейчас открою.

Звонок и слова Вольф как бы перенесли Адальберта из настоящего в еще более тревожное будущее. «А хорошо ли они знают свое дело, эти аргентинские медики?» — подумал он.

Адальберт стал вспоминать книги, которые он когда-то читал, — описания того, как женщины погибали во время родов.

В сопровождении фрау Вольф в комнату вошли врач, невысокий, лысый старик в белом халате, и молодая женщина в форме сестры милосердия. У старика в руках был небольшой черный саквояж, а сестра несла металлический ящик, на крышке которого был изображен красный крест.

Вайслер и врач обменялись несколькими фразами. Но, поскольку они говорили по-испански, Адальберт, разумеется, ничего не понял.

Вальтрауд Вольф указала медикам на лестницу и пошла вслед за ними. Адальберт устремился было туда же, но Вальтрауд резко обернулась и подняла руку с обращенной к нему ладонью, давая понять, что наверх сейчас никого больше не пустит.

Адальберт понуро вернулся к столу, за которым сидели Вайслер и Крэймер, и тяжело опустился на стул.

— Мы сделали все, что только можно было сделать, — с мягкой сочувственной улыбкой обращаясь к Адальберту, проговорил Вайслер. — На счастье фрау Альбиг — да и на ваше тоже — в больнице дежурил очень хороший гинеколог. Я доктора Хефтмана знаю, это опытный врач...

— Но почему вы не обратились в лучшую клинику города? Ведь я могу за все заплатить! — воскликнул Адальберт.

— Если бы мы обратились, как вы говорите, в лучшую клинику, то потеряли бы два-три часа. Едва ли это было бы разумно...

Адальберт отсутствующим взглядом, словно загипнотизированный, смотрел на лестничную площадку. Ему показалось, что до него доносятся тихие стоны.

Вскоре на площадке появилась Вальтрауд Вольф.

— Как она? Скажите мне правду: как она? — дрожащим голосом спросил Адальберт.

— Она рожает! — буркнула Вальтрауд и устремилась вниз по лестнице.

— Может быть... надо что-нибудь сделать, как-то помочь?

— Нужна вода, горячая вода! — крикнула на ходу фрау Вольф, скрываясь за дверью, которая, очевидно, вела на кухню...

Адальберт попытался взять себя в руки. Как странно устроена жизнь, подумал он. Сколько стонов и криков приходилось ему слышать за все эти годы. Но человеческие страдания оставляли его равнодушным. Он зверел, когда кто-нибудь из его лагерных агентов сообщал, что группа заключенных — чаще всего русских или поляков — готовила побег. Он выходил из себя, когда эти люди на допросе отрицали свою вину. Но ни их упорство, ни их страдания не трогали Адальберта... Ангелика? Да, ее он любил. И мысль о том, что она может уйти навсегда, приводила его в отчаяние.

Долгое время они молча сидели за столом. Наконец Вайслер нарушил тягостное молчание:

— А ведь вы так и не ответили на мой вопрос, герр Альбиг. Как вам представляется ваша дальнейшая жизнь в Аргентине?

Адальберт нахмурился. Вопрос, конечно, резонный, но бестактный. Сначала Вайслер должен был бы ввести его в курс дела, а не задавать вопросы.

— Я приехал сюда, герр Вайслер, — сдержанно ответил Адальберт, — чтобы продолжать борьбу за Германию, за страну, ради которой без колебаний пошел бы на смерть...

Он не мог не заметить, что глаза Вайслера иронически сощурились.

— Отлично! — воскликнул тот. — Но как вы намерены вести борьбу? Стрелять в новых хозяев Германии через океан?

— Вы хотите сказать, что борьба невозможна?

— Нет, нет, герр Альбиг, — вмешался в разговор Крэймер, — борьба не прекращается и прекратиться не может, пока на свете существует большевистское государство, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но оказалось, что уничтожить Советскую Россию силой оружия мы пока еще не в состоянии. Пока мы даже не можем подмять красную зону Германии. Поэтому центр тяжести нашей борьбы следует перенести в сферу экономики. Советы сами живут впроголодь и, естественно, не могут поддерживать мало-мальски приемлемый уровень жизни в своей оккупационной зоне. Я уже не говорю о других странах Восточной Европы. Поэтому нашим оружием будет доллар и фунт. В соответствующей экономической системе, которую мы создаем, и для вас найдется подходящее место... Как бы вы посмотрели, герр Альбиг, на то, чтобы мы ввели вас... ну, скажем, в сельскохозяйственный бизнес? Для начала я имею в виду аргентинское отделение одного из немецких банков. Подумайте, какие возможности открываются на этом пути! Субсидирование подпольных нацистских организаций в Германии, закупка для них оружия, которое переправлялось бы куда надо...

— Но я не могу отличить рожь от пшеницы! — воскликнул Адальберт и невольно вспомнил фермера Готшалька.

— Это и не будет входить в ваши задачи. Мы хотим использовать ваш военный и разведывательный опыт для создания организационной базы, — назидательным тоном проговорил Крэймер.

«Кончена моя жизнь борца против коммунизма, — с горечью подумал Адальберт. — Из меня хотят сделать канцелярскую крысу».

— Я вижу, — сказал Вайслер, — что слова нашего друга Крэймера повергли вас в уныние. Но надо смотреть правде в лицо. Вспомните, как создавался третий рейх...

— Силой оружия! — прервал его Адальберт.

— А откуда мы его брали? Разве не закупали у крупных индустриалистов? И на какие деньги? Разве мы смогли бы создать империю без помощи Круппа и Флика? Без помощи Шахта и других?

— Они симпатизировали нам, потому и помогали!

— Не слишком ли это сентиментальная трактовка для бригадефюрера СС? — усмехнулся Вайслер. — Однако шутки в сторону, герр Альбиг! Вас ждет ответственная работа, нужная национал-социализму. И главное...

В этот момент сверху донесся душераздирающий женский крик. Все вскочили из-за стола. Адальберт первым бросился к лестнице... И тут на площадке появилась Вальтрауд Вольф. Она протянула вперед руки с растопыренными пальцами, словно отталкивая приближающегося Адальберта.

Все остановились.

— Ради бога, господа, пока сюда нельзя. Назад, пожалуйста! Это распоряжение врача.

Адальберт медленно повернулся. Страшный вопль все еще звучал в его ушах. Он остановился, мертвой хваткой вцепившись в перила лестницы. К нему обращались, его о чем-то спрашивали и Вайслер, и Крэймер. Но смысл их слов не доходил до его сознания.

Наконец дверь на верхней площадке снова раскрылась и послышался младенческий рик. Адальберт хотел броситься в спальню, чтобы увидеть, может быть, в последний раз свою Ангелику. Но тут из комнаты вышел врач. Его белый халат был покрыт кровавыми пятнами.

«Так приходит смерть», — подумал Адальберт. И хотел было закричать: «Ну! Говорите же! Если вы убили ее, я... я вас пристрелю на месте...»

— Ведь герр Альбиг — это вы? — негромко спросил врач, обращаясь к Адальберту.

— Я! Я! — оглушительно крикнул Адальберт. — Ну, говорите же! Ее больше нет?

— Их теперь двое, герр Альбиг. Вы отец. Поздравляю вас с сыном.

Путешествие в Будущее

...И снова все было так, как четверть века назад. Над шторами, прикрывающими вход в кабину пилотов, вспыхнула надпись: «Закрепите ремни безопасности. Не курить».

Затем раздался голос стюардессы...

Да, повторилось почти все. Но это уже был самолет не американской авиакомпании «Пан-Америкэн», а западногерманской «Люфтганза» и полет через Атлантику предстоял по маршруту: Буэнос-Айрес — Франкфурт-на-Майне. И стюардесса обращалась к пассажирам сначала на немецком языке, а затем на испанском и на английском.

...Этот самолет был почти вдвое больше того, на котором летел когда-то Хессенштайн-Квангель-Альбиг. Кресла были более мягкими, в отделении первого класса — по два в ряду, в туристическом — по три. Тихая музыка лилась из невидимых репродукторов, бесшумно струился прохладный воздух из вентиляторов над креслами — словом, если где-то в далекой, недостижимой высоте и вправду существовал рай, то здесь было создано его подобие: полный комфорт, блаженный покой, неземные улыбки ангелоподобных стюардесс.

В одном из салонов первого класса сидел Альбиг. Нет, не Адальберт, а его сын Рихард. Он положил на соседнее свободное кресло плоский чемоданчик из черной кожи, который отец подарил ему ко дню рождения. Рихарду было около двадцати пяти лет, но выглядел он старше. Худощавый, подтянутый, мускулистый, он был натренирован занятиями в военно-спортивном клубе.

С ленивым любопытством Рихард наблюдал, как люди занимают места. Внезапно его внимание привлекла высокая стройная девушка с голубой сумкой «Люфтганзы» через плечо. «До чего же хороша!» — подумал Рихард. Белокурые волосы, собранные в пучок, огромные глаза, слегка подкрашенные губы, осиная талия. Скорее инстинктивно, нежели сознательно, он быстро убрал с соседнего сиденья свой «кейс» и, наклонившись к проходу, громко сказал по-немецки:

— Пожалуйста, фройляйн! Здесь свободно!

Она улыбнулась, тихо ответила «данке» и направилась к Рихарду.

«Слава богу, она немка!» — подумал он. Латиноамериканцев Рихард не любил, как не любил метисов, индейцев и негров. Он придумал слово «пестромазые» и обозначал так всех людей черной, желтой или смешанной расы. К американцам же он относился с некоторым подобострастием.

— Меня зовут Рихард Альбиг, милости прошу! — сказал он, когда девушка подошла к креслу.

— Sehr angenehm! Ich heiße Gerda Wallenberg [1].

Она закинула на багажную полку свою сумку и села.

Рихарду мучительно хотелось завязать с ней разговор, но он не знал, с чего начать. И тут в проходе возникли две стюардессы. Одна из них начала объяснять, как пользоваться спасательным жилетом в случае аварийной посадки на воду, а вторая стала демонстрировать, как с ним надо обращаться.

Когда стюардессы закончили свои объяснения и удалились, Рихард неожиданно для самого себя обрел дар речи и с усмешкой сказал Герде:

— Приятное напутствие! А как быть с акулами?

— Я не знаю их привычек, — тоже с улыбкой ответила Герда. — Надеюсь, что мы придемся им не по вкусу.

[1] Очень приятно! Меня зовут Герда Валленберг *(нем.)*.

Слово «мы» как бы объединило Рихарда с нею, и он почувствовал себя увереннее.

— Может быть, вы хотите немного поспать? — вежливо осведомился Рихард. — Я сейчас достану плед...

Не ожидая ее ответа, он вскочил и снял с багажной полки один из пушистых клетчатых пледов.

— Спасибо, герр Альбиг! — поправляя на себе плед, сказала Герда. — Я и в самом деле попробую задремать. Целую ночь не спала...

— Прощальная вечеринка с друзьями?

— Да нет! — покачала головой Герда. — Я торопилась в Буэнос-Айрес из Парагвая, боялась упустить этот самолет. Следующего пришлось бы ждать три дня.

Теперь появились темы для разговора. Что она делала в Парагвае? Живет ли в Аргентине? Приходилось ли ей бывать в Германии?.. Но Рихард решил не быть надоедливым, только сказал: «Постарайтесь отдохнуть!» И при этом подумал: «Перелет долгий — успеем еще наговориться».

Герда закрыла глаза... Она, видимо, была очень переутомлена — теперь Рихард заметил синеватые круги под ее глазами.

«Ничего, время у нас будет! Перелет долгий, — повторил он про себя. — А что если и мне немного подремать?» Его клонило ко сну — ведь он встал очень рано, отец разбудил его чуть свет, мать тоже проснулась, и втроем они принялись упаковывать вещи. А их было много — Рихард отправлялся в Германию не на неделю, не на месяц, а навсегда.

Впрочем, слово «навсегда» не возникало в разговорах с родителями. Отец не раз — по различным поводам — произносил фразу: «Когда ты вернешься...» Но Рихард твердо знал: он не вернется. Никогда. Он обретет наконец подлинную родину и не покинет ее до конца своей жизни.

Рихард откинулся на спинку кресла и нажал кнопку под правым подлокотником. Спинка резко подалась назад. Он еще раз взглянул на Герду. Она безмятежно спала. Рихард тоже закрыл глаза.

В глубинах его подсознания проплывали, переплетаясь между собой, обрывки сновидений. Германия... Рихард знал ее по рассказам отца, по книгам и газетам, которые он усердно читал в университетской библиотеке. И вот теперь все это оживало перед его мысленным взором.

...Отец столько раз рассказывал ему о фюрере, о мюнхенском путче, о факельных шествиях штурмовиков, о стадионе, где тысячи и тысячи людей рукоплескали Гитлеру.

Картины реалистические сменялись видениями мистическими. Бесстрашный Зигфрид представал перед ним в красном тумане в мундире эсэсовского офицера...

Рихард родился в тот день, когда его родители прибыли в Буэнос-Айрес. Об этом ему не раз говорила мать. А отец — когда Рихард подрос — использовал чуть ли не каждый свободный вечер, чтобы рассказывать сыну о Германии. Он хотел, чтобы Рихард любил свою далекую родину, любил ее героическое прошлое, неразрывно связанное с подвигами нацистов — рыцарей третьего рейха.

Рихард жадно ловил каждое слово отца. Он только не мог понять, почему отец, занимавший столь высокий пост в гестапо, не оказался среди подсудимых в нюрнбергском Дворце правосудия. Хитрость? Изворотливость? Помощь верных друзей? Так или иначе, ему удалось спастись. Это хорошо. Но почему он после окончания войны покинул Германию? В глубине души Рихард не мог найти оправдания отцу, который лишил родины себя, жену и еще не родившегося тогда сына.

Да, отец преуспевал здесь, в столице Аргентины. Он занимал пост управляющего банком и поддерживал тесные связи с Германией — особенно после образования Федеративной Республики. Чуть ли не каждую неделю их дом посещали какие-то немцы. Рихард не знал их, но отец говорил, что это представители правления Баварского банка. Он запирался с ними в своем кабинете, а потом, за вечерним чаем, делился с Рихардом и Анжеликой последними новостями из Германии.

С одним из представителей Баварского банка у Рихарда сложились дружеские отношения. Звали его Клаус Вернер, и останавливался он почему-то не в отеле, как другие, а у них в доме.

Клаус был лет на пять старше Рихарда. Он охотно отвечал на все его вопросы о Германии, но в общении был резок и с первых же дней знакомства держался с ним, как офицер с солдатом. Рихарду это даже нравилось — у него возникало ощущение, будто он приобщается к повседневной жизни далекой родины.

Рихард не раз водил Клауса в военизированный спортивный клуб, организованный местными нацистами. Но когда он спросил своего нового друга, как ему там понравилось, тот презрительно скривил губы:

— Что толку размахивать оружием за десять тысяч километров от реального врага?

На Рихарда эти слова произвели глубочайшее впечатление. Он вспоминал их вновь и вновь всякий раз, когда отец — после очередного визита представителя Баварского банка — приглашал несколько человек из немецкой колонии Буэнос-Айреса и рассказывал им о политической обстановке в Германии.

Рихард нередко присутствовал на этих сборищах. Он сидел с книгой в руках в некотором отдалении от круглого стола, за которым беседовали взрослые. Но не читал. Он вслушивался в рассказы о стычках между подлинными патриотами Германии и еврейско-либеральными предателями, о боевых митингах, о взрывах бомб и о многом, многом другом... Да, партия Гитлера потеряла своего великого вождя, но она возродилась под другим названием. Ныне новая, национал-демократическая партия использует все возможности для того, чтобы заявлять о своем существовании и готовности к активной борьбе.

И снова и снова Рихард задавал себе мучительный, безответный вопрос: почему отец, безгранично преданный третьему рейху, не остался на родине, чтобы продолжать борьбу в подполье?

Однажды он спросил об этом Клауса. Тот усмехнулся, сощурил свои колючие глаза, пожал плечами и сказал:

— Наверное, твой отец надеялся, что ты продолжишь его дело...

И вот тогда в сознании Рихарда родилась мечта о переезде в Германию. С каждым днем мечта эта крепла и наконец захватила его целиком. Он знал, что предстоят выборы в бундестаг, и был уверен, что именно сейчас наступает роковой час для немецкого народа. Ведь, судя по газетам, социал-демократ Брандт в случае победы на выборах заключит предательские договоры с Москвой и со всем восточным блоком...

Когда Клаус после очередного приезда в Аргентину возвращался в Германию, связь между друзьями не обрывалась. Они вели оживленную переписку. Клаус сообщал — разумеется, не называя имен и фамилий — об очередных акциях, предпринятых членами национал-демократической партии, которой теперь руководил некто фон Тадден, и все более и более настойчиво звал своего друга в Германию.

Наконец Рихард решился поговорить на эту тему с отцом. Он зашел в его кабинет поздно вечером. Отец, как и всегда после ужина, сидел за своим большим письменным столом, заваленным бумагами. Не зная, как подступиться к делу, Рихард стал говорить о том, что мечтает о каких-то глубоких переменах в своей жизни. Неопределенность его высказываний вызвала у отца раздражение:

— Не мямли! О чем речь? Может быть, ты влюбился и собираешься жениться?

Рихард был не прочь поухаживать за сговорчивыми девушками, но вопрос отца был так далек от того, что его сейчас волновало, что он смешался и выпалил:

— Я хочу уехать в Германию!

Минуту-другую Адальберт молчал, потом слегка развел руками и медленно проговорил:

— Что ж, это вполне естественное желание. Можешь поехать по туристскому маршруту...

— Нет! — порывисто воскликнул Рихард и, словно испугавшись звука своего голоса, произнес уже тише, но твердо: — Я хочу уехать в Германию навсегда.

От неожиданности Адальберт откинулся на спинку кресла, шрамы на его лице побагровели.

— Пойми меня, отец, — торопливо заговорил Рихард, — я не могу жить на краю света, когда Германии так нужны молодые люди, готовые бороться за ее возрождение. Я знаю, ты не можешь не одобрить моего решения. Именно ты!

Рихард даже не сознавал, в какое трудное положение он поставил отца. С одной стороны, Адальберта радовало, что сын хочет идти по его стопам, что его уроки — рассказы о героическом прошлом третьего рейха — не прошли даром... Но вместе с тем Адальберта охватывала тревога. Ведь у парня нет никакого опыта конспиративной работы, а в Германии сейчас разброд. Примкнув к партии фон Таддена, Рихард со своими максималистскими установками может легко попасть в руки предателей, исступленно рвущихся к власти. И тогда он действительно не вернется. А ему, Адальберту, остается уже не так много... Да и Ангелика не пережила бы потерю сына. После долгой паузы Адальберт произнес:

— Еще раз хорошенько все взвесь! Мы вернемся к этому разговору.

...И этот последний разговор Рихард помнил во всех деталях.

— Итак, ты не изменил своего решения? — с печалью в голосе спросил Адальберт. Он сидел в глубоком кожаном кресле и в упор смотрел на сына.

— Нет! — твердо ответил Рихард.

— Что ж, — тяжело вздохнув, сказал Адальберт, — у тебя было достаточно времени обдумать свое решение... Послушай, Рихард, — пристально всматриваясь в голубые глаза сына, проговорил он, — я все же до конца не могу понять: что тебя так тянет в Германию?

— Твое прошлое! — резко ответил Рихард.

— Мое прошлое? — переспросил Адальберт.

— Да! Точнее, вся твоя сознательная жизнь. Ты отдал ее национал-социалистической Германии. Не твоя вина, что немцы оказались недостойными своего вождя и своего отечества...

Внезапно сновидения Рихарда оборвались. Перед глазами его возникли зеленые занавеси, прикрывающие проход в самолете, и погасшее табло над ними.

— Я не разбудила вас? — раздался участливый женский голос. Рихард посмотрел на свою соседку. Герда, видимо, уже давно не спала. Волосы ее были причесаны, губы чуть подкрашены бледно-розовой помадой. Она показалась Рихарду еще более привлекательной.

— Я не спал, — сказал он.

— Еще как спали! — с приветливой и слегка насмешливой улыбкой воскликнула девушка. — Я сидела не шелохнувшись, боялась разбудить вас.

Рихард немного смутился.

— Наверное, я и сам не заметил, как задремал, — виновато произнес он.

— Нет ничего лучше сна, когда совершаешь длительный перелет, — назидательным тоном проговорила Герда. — А вот мне заснуть так и не удалось. В моем кресле, видимо, что-то испортилось: спинка откидывается только наполовину.

— Давайте поменяемся местами, — с готовностью откликнулся Рихард.

— Нет, спасибо, теперь в этом уже нет нужды. Спать не хочется...

В этот момент послышалось тихое позвякивание, зеленые занавеси, отделяющие первый класс от туристического, раздвинулись, и в проходе появилась стюардесса с катящимся столиком. У каждого ряда кресел она останавливалась, с улыбкой повторяя одну и ту же фразу: «Кофе, джин, пиво, лимонад?»

— Вот чашечку кофе я бы сейчас выпила с большим удовольствием! — сказала Герда.

— А чего-нибудь покрепче не угодно ли? — с добродушной усмешкой спросил Рихард.

— Не откажусь! — задорно тряхнув головой, ответила девушка и, обратившись к стюардессе, уже подкатившей свой столик, сказала: — Джин с тоником и кофе.

— Мне то же самое, — проговорил Рихард.

— Яволь, яволь! — отозвалась стюардесса. Приладив полочки-столики к креслам Рихарда и Герды, она поставила на них бутылочки с тоником, налила в высокие бокалы джин, а потом наполнила чашечки дымящимся кофе из большого термоса.

Рихард подлил тоник в стаканы и торжественно произнес:

— Прозит! За наше знакомство. За то, чтобы оно не прекращалось ни в воздухе, ни на земле. Вас зовут, кажется, Герда?

— Герда Валленберг. А вас — Рихард, не так ли?

— Рихард Альбиг к вашим услугам, фройляйн, — с улыбкой ответил он.

Они выпили по глотку.

— Вы живете в Аргентине? — спросил Рихард.

— Нет, нет! — ответила Герда, ставя свой стакан на столик. — Я живу в Мюнхене.

— Что же вас заставило отправиться в такую даль?

— Работа, — коротко ответила Герда.

— Как это понимать? — с любопытством спросил Рихард.

— Пишу книгу.

— Ах вот как! — полуиронически, полууважительно протянул Рихард. — Роман, я полагаю?

— Да нет, что вы! Это сугубо политическая книга. Я собираю материалы о происках американцев в районах скопления немецких иммигрантов.

— И что же вы хотите доказать?

— Я хочу доказать, что американцы исподволь готовят нацистские резервы для Германии.

— Вы уверены, что у американцев нет других дел, более важных и интересных?

— Есть, конечно. Но и это для них немаловажно.

— Гм-м... Послушаешь вас, можно подумать, что вы живете в той Германии, которая оккупирована большевиками.

— Вы имеете в виду ГДР? Я там бывала. И, честно скажу, не заметила никаких признаков того, что вы называете оккупацией.

— А вы, может быть, коммунистка? — Рихард подозрительно сощурил глаза.

— Я просто хочу писать правду, — спокойно сказала Герда.

— Какую правду? — не без сарказма спросил Рихард. — Уж не о том ли, как в третьем рейхе сжигали ни в чем не повинных людей? Или пили кровь младенцев? Вы принимаете эти россказни всерьез?

— Меня удивляет ваш вопрос, — сухо ответила Герда.

— Не понимаю, чем он вас удивляет. Я как историк знаю, что на побежденную страну победители вешают всех собак. Так было в прошлом, и, надо полагать, так будет всегда.

— Вы, наверное, неонацист? — пристально взглянув на него, спросила Герда.

Рихард понял, что зашел слишком далеко.

— И как только эта мысль могла прийти вам в голову? — спросил он с наигранным возмущением.

— А почему же нет? — спросила Герда, пожимая плечами. — Ведь вы спросили, не коммунистка ли я.

«Боже, какой я дурак! — подумал Рихард. — Судьба свела меня с очаровательной девушкой, а я затеял никому не нужный политический спор!»

Герда демонстративно отвернулась. Это разозлило Рихарда. «Ну и черт с тобой! — подумал он. — Не хочешь разговаривать, не надо!»

Тут показалась стюардесса с катящимся столиком, на котором теперь лежали газеты и журналы. Когда она подошла ближе, Рихард громко спросил:

— Что у вас есть интересного?

— На каком языке? — осведомилась стюардесса. — На испанском, английском, немецком?

— На немецком, конечно! — буркнул Рихард, оглядывая стопки газет и журналов. Потом сказал: — Дайте мне, пожалуйста, «Штерн», «Цайт» и «Шпигель».

В еженедельнике «Цайт» внимание Рихарда привлекла статья о предстоящих выборах в бундестаг. Один из абзацев он перечитал дважды.

«Единственный вопрос, — говорилось в статье, — сводится к следующему: может ли наше государство примириться с существованием национал-демократов — партии, которая ничего не в состоянии предложить, кроме своих мелкобуржуазных эмоций. То, что она *хочет* перевернуть государство вверх дном, не доказано. То, что она *могла* бы перевернуть государство вверх дном, — мысль, порожденная бессилием демократической системы».

Слова «хочет» и «могла» были набраны курсивом. «Лихо написано!» — подумал Рихард. В «Шпигеле» его заинтересовало интервью парламентского статс-секретаря министерства внутренних дел Кеплера, высказывавшегося по вопросу о «социологии» национал-демократической партии: «Нельзя отмахиваться от мысли, — заявил Кеплер, — что с политической точки зрения едва ли было бы целесообразно разогнать партию, ядро которой, возможно, и состоит из нацистов, старых или новых, но которая в значительной своей части представлена недовольными, неудовлетворенными и, быть может, даже консервативными элементами».

На другой странице цитировался девиз НДП: «Мы — не последние представители вчерашнего дня, а первые представители дня завтрашнего!»

«Если ведущие западногерманские газеты и журналы так много пишут о национал-демократах, — подумал Рихард, — то это значит, что НДП — весьма влиятельная и активно действующая партия. Все, что говорил Клаус, — чистейшая правда».

А когда на второй странице партийного издания «НДП-Курир» он прочитал призыв «Помогайте НДП в ее тяжелой борьбе!», то решил сделать денежный перевод сразу же по прибытии в Мюнхен — адрес банка и номер текущего счета национал-демократической партии указывались на той же странице.

Сложив газету, Рихард посмотрел на свою соседку.

— Герда, дорогая, не будем ссориться! — мягко сказал он. — Я наговорил лишнего, вы наговорили лишнего... Словом, забудем это! — Он поднял стакан с недопитым джином и весело воскликнул: — За мир и дружбу, как любят говорить наши друзья-коммунисты.

Герда усмехнулась, но все же подняла свой стакан. Они чокнулись и выпили.

— Вы замужем? — как бы подводя черту под недавней размолвкой, спросил Рихард.

— А вы женаты? — спросила она вместо ответа.

— Был бы женат, если бы встретил вас раньше.

— Так уж и сразу? — рассмеялась Герда.

— Не надо иронизировать. Я счастлив, что познакомился с вами. Вы только подумайте: я лечу в Германию, на свою родину, но у меня там нет ни друзей, ни родственников. И вдруг милосердный господь посылает мне вас! Вы учитесь? Или служите? — спросил он.

— Окончила университет два года назад, — ответила Герда.

— А какой факультет?

— Журналистики...

— Неплохо! — воскликнул Рихард. — Вы работаете в журнале или в газете?

— Я не состою в штате какой-либо редакции. Я принадлежу к категории «вольных художников», к числу тех журналистов, которых американцы называют «фри-лэнс»... Сотрудничаю в разных изданиях.

— У вас есть родители?

— Отец уже умер. А мать живет во Франкфурте-на-Майне. Преподает в школе математику. Я училась в Мюнхене, а потом осталась там жить. А вы в каком городе живете?

— А я... — нерешительно проговорил Рихард, — я всю свою жизнь прожил в Буэнос-Айресе.

— В Буэнос-Айресе? — слегка повысив голос, переспросила Герда.

— Да, — сказал Рихард.

— Значит, ваш отец... — начала было Герда, но тут же осеклась.

Рихард мысленно договорил ее невысказанный вопрос: «Значит, ваш отец был нацистом и бежал, когда Гитлер проиграл войну?» Чтобы предупредить возможность такого вопроса, он сказал:

— Мой отец был крупным специалистом по финансовым делам, и вскоре после окончания войны ему предложили работать в одном из аргентинских банков. Мне было тогда года два или три. Естественно, что отец забрал с собой меня и мою мать.

— А зачем вы едете в Германию сейчас? — спросила Герда.

— По служебному делу, — ответил Рихард. И, немного помолчав, добавил: — Я всю жизнь мечтал побывать на родине. Но отец удерживал меня под разными предлогами. А вот теперь я своего добился.

— Значит, вы даже не представляете себе, как выглядит страна, в которой родились?

— Как вам сказать... Я представляю себе Германию по фильмам... по книгам... по газетам и журналам. Использовал каждую возможность, чтобы расспросить о Германии тех, кто оттуда приезжал.

— И какое же у вас сложилось впечатление? — спросила Герда.

— Думаю, что Германия — лучшая страна в мире. Я, конечно, говорю о той части Германии, которая принадлежит немцам, а не русским... Скажите, как немка немцу, ведь я не ошибаюсь?

Он задал этот вопрос с особой, интимно-дружеской интонацией в голосе.

— Да, я, конечно, люблю Германию, — задумчиво ответила Герда, — хотя, если говорить откровенно, далеко не все там так уж хорошо.

— Не все? — переспросил Рихард. — А что именно вам не нравится?

— Я думаю, будет лучше, если вы увидите все своими глазами, а не моими.

— Но вы все-таки скажите! — продолжал настаивать Рихард.

Герда пожала плечами:

— Например, мне не нравится, что очень многие люди не имеют работы.

— Лодыри! Или коммунисты! — со злобой сказал Рихард и тут же стиснул зубы, поняв, что опять сорвался.

— Не думаю, что речь идет только о лодырях и коммунистах, — медленно проговорила Герда, как бы не замечая тона Рихарда.

В салоне самолета как-то разом потемнело.

Рихард взглянул в окно и увидел, что они летят сквозь тучи. Где-то в отдалении вспыхнул зигзаг молнии. Самолет тряхнуло. В течение нескольких секунд — они показались Рихарду вечностью, — самолет падал, точно потеряв управление. Рихард ощутил холод в груди.

Он не помнил, сколько прошло времени, прежде чем за окном снова появилось голубое небо: самолет преодолел облачность, «воздушную яму» и ушел от грозового фронта. Радостное чувство избавления охватило Рихарда, и он только сейчас ощутил плечо Герды, прижатое к его плечу.

— Успокойся, дорогая! — сказал он и провел рукой по ее шелковистым волосам.

Эти слова вырвались у Рихарда как-то неожиданно для него самого — несколькими минутами раньше он даже не решился бы обратиться к ней на «ты». Но именно эти слова вернули Герду к реальности. Она увидела себя как бы со стороны и, отпрянув от Рихарда, откинулась на спинку своего кресла.

— Боже мой! — проговорила она. — Мне показалось, что мы летим в пропасть.

Хотя Рихард был перепуган ничуть не меньше Герды, он проговорил небрежным тоном:

— Пустяки, Герда! Сама смерть вовсе не страшна. Страшно то, что из-за нее ты не сможешь осуществить свою жизненную цель.

— А какая у тебя жизненная цель? — тоже переходя на «ты», с легкой улыбкой спросила Герда.

— Моя цель? Борьба.

— С кем? И во имя чего?

— Я хочу выполнить свой долг. Долг немца, — ответил Рихард и тут же торопливо добавил: — Я имею в виду укрепление нашей республики.

Он умолк и нежно провел ладонью по руке Герды, лежавшей на подлокотнике, который разделял их кресла.

— Испугалась? — спросил он ласково.

— Немного, — ответила она. — А ведь ты мне так и не сказал, что будешь делать в Германии.

У Рихарда внезапно появилось желание сказать этой девушке все: и то, что его давно уже влечет земля предков, и то, что ему надоела жизнь в Аргентине, опостылели улицы с их цветным сбродом и крикливыми толпами.

Но все же он сдержался. Излишняя откровенность была бы сейчас ни к чему.

— Ты веришь в судьбу? — неожиданно спросил Рихард.

— В судьбу? — чуть насмешливо переспросила Герда. — В каком смысле? В мистическом?

— Сам не знаю в каком. Но я это представляю себе так. Существуют два человека, не имеющие никакого понятия друг о друге. Они разделены границами, физическими барьерами, политическими взглядами и кто знает еще чем... И в одном случае из десяти тысяч самые невероятные обстоятельства вдруг сводят этих людей друг с другом. А встретившись, они сразу осознают, что предназначены друг для друга.

— Как это понимать? — удивленно вскинув брови и широко раскрыв голубые глаза, спросила Герда.

— Не знаю. Предназначены, и все тут! Может быть, им суждено стать верными друзьями... а может быть, и в ином смысле, если речь идет о мужчине и женщине.

— Мистика! — сказала Герда, негромко рассмеявшись. — Все это чистая случайность, судьба тут ни при чем.

— Пусть так, — согласился Рихард, — речь идет в конце концов не о терминологии. Но я все же убежден, что есть какая-то необъяснимая закономерность в том, что мы оказались в одном самолете, что ты сидишь рядом со мной и что мы вместе пережили серьезную опасность.

— Боже мой, Рихард! — воскликнула Герда с нескрываемой иронией. — Ты, видимо, склонен все драматизировать. Да, действительно, рядом с тобой оказалась я, а могла оказаться и любая другая женщина. А насчет «серьезной опасности»... Неужели ты так мало летал, что до сих пор ничего не знаешь о всяких воздушных сюрпризах?

— Гм-м, — пробормотал Рихард. — А в Германии меня тоже ожидают сюрпризы?

— Какого рода сюрпризы ты имеешь в виду?

— Политические, конечно. Какие же еще?.. Газеты сообщают, что в Федеральной Республике развертывается борьба против восточных договоров. Как ты понимаешь, я говорю о договорах с большевистской Россией и ее сателлитами.

— Борьба? О какой борьбе ты говоришь? — слегка нахмурившись, спросила Герда.

«Стоп! — мысленно приказал себе Рихард. — Опять я болтаю лишнее!»

— Точно сказать не могу, — стараясь держаться спокойно, ответил Рихард. — Ведь я сужу о том, что происходит в Германии, лишь по прессе и по рассказам немцев, приезжающих в Буэнос-Айрес. Но у газет, как ты знаешь, разные политические направления... Да и люди, конечно, бывают разные. И я понимаю, что желаемое нередко выдается за действительное.

— Тогда воздержись от выводов, пока не приедешь в Германию, — назидательно проговорила Герда. — Впрочем, один твой вывод сомнению не подлежит: желаемое часто выдают за действительное. Война была для Германии величайшим потрясением. И теперь люди хотят жить спокойно.

— И какой же строй они предпочитают? — спросил Рихард.

— Ах, боже мой! — уже с раздражением воскликнула Герда. — Социологических опросов я не проводила. Как тебе известно, у нас бывают демонстрации и правых и левых, иной раз не обходится без вмешательства полиции. Но заканчивается все благополучно — как и в других демократических странах.

— Значит, ФРГ — демократическая страна?

— В общем, да, но, повторяю, из этого еще не следует, что мне у нас все нравится. И уж, во всяком случае, не хотелось бы, чтобы какая-нибудь правая партия одержала победу.

Рихард промолчал. Он лишний раз убедился: с Гердой надо держаться осторожнее. Если она заподозрит, что он тяготеет к неонацизму, это, конечно, осложнит их отношения.

А Герда была Рихарду нужна. И не только потому, что она ему нравилась. Он считал, что с помощью этой толковой журналистки он глубже вникнет в суть политической жизни нынешней Германии. Понятное дело, он полагался на Клауса Вернера как на основной источник информации. Но на другом полюсе, или, точнее говоря, в «центре», пусть будет Герда.

Пока что их связывала тоненькая ниточка, и достаточно было одного неловкого движения, одной необдуманной фразы, чтобы ее порвать.

Задумавшись, Рихард стал глядеть в окно с таким вниманием, будто там можно было увидеть что-либо, кроме белых и серых облаков, с которыми самолет, казалось, состязается в беге.

Потом он сунул руку в карман пиджака и достал пачку перехваченных широкой резинкой конвертов. Это были письма от Клауса, и для Рихарда они были как талисман, охраняющий его будущее... Всего он захватил с собой четыре письма. Теперь он стал вынимать их из конвертов и перечитывать. Клаус писал, что наслаждается атмосферой борьбы, давал понять, что состоит в нескольких неофициальных, хотя и не запрещенных властями, национал-демократических организациях, связан с военно-спортивными кружками и совсем недавно получил первый приз за «стрельбу по тарелочкам». Тысячи людей принимают участие в разного рода антикоммунистических манифестациях, требуют, чтобы Советский Союз, Польша и Чехословакия отдали Германии земли, принадлежавшие ей по праву до войны.

Последнее письмо, которое перечитал Рихард, содержало настоятельный призыв вернуться — не приехать, а именно вернуться в Германию.

...Перед вылетом из Буэнос-Айреса Рихард дал Клаусу телеграмму, в которой сообщил дату своего прибытия во Франкфурт-на-Майне и номер рейса. Он просил встретить его в аэропорту.

Аккуратно рассовав письма по конвертам, Рихард положил их в карман и вскоре услышал голос стюардессы, объявившей, что через двадцать минут самолет приземлится на франкфуртском аэродроме. Повернув голову в сторону Герды, он не увидел ее — кресло было пустым. Очевидно, она обиделась, когда Рихард отвернулся, а потом демонстративно углубился в чтение писем, поняла, что тонкая ниточка, связавшая их, оборвалась, тихо встала и пересела на другое место. Впрочем, может быть, она просто вышла в туалет...

Но шли минуты, а Герда не возвращалась.

Теперь же, после объявления о предстоящей посадке, нечего было и думать о том, чтобы найти ее в самолете. Не обращая никакого внимания на призывы стюардесс не покидать мест до полной остановки самолета, некоторые нетерпеливые пассажиры уже стояли в проходе и стягивали с полок свою ручную кладь. Рихарда охватило отчаяние. «Я потерял Герду. Я потерял ее!» — стучало у него в висках.

Самолет уже катился по бетонной дорожке, постепенно замедляя ход. Потом мягко остановился.

Схватив свой кейс и буквально сорвав с вешалки пальто, Рихард ринулся в проход, ведущий к ближайшей двери. Он надеялся, что с площадки трапа можно будет увидеть всех, кто находится внизу. Но вместо трапа он оказался в примыкающем вплотную к двери туннеле, который уже был заполнен пассажирами. И тогда Рихард крикнул, сам испугавшись своего громкого голоса:

— Герда!

Какие-то люди повернули головы на крик, но Герда не отозвалась.

...Пройдет время, и Рихард попытается понять, почему эта девушка вдруг стала ему так дорога. А пока он знал только одно: ее ни в коем случае нельзя потерять!

Работая локтями и пытаясь протиснуться вперед, Рихард влился в туннель вместе с толпой пассажиров. Наконец этот поток вынес его прямо в зал аэропорта. Увидев человека в форме, подносившего ко рту микрофон «воки-токи», Рихард бросился к нему и, путаясь в словах, проговорил умоляюще:

— Ради бога!.. Я потерял свою родственницу... У меня ее деньги и документы...

Человек в форме опустил микрофон и спросил:

— Фамилия? Имя?

— Герда! — воскликнул Рихард. — А фамилия... фамилия — Валленберг!

Человек в форме поднес микрофон к губам и негромко, но отчетливо произнес:

— Фрау Герда Валленберг! Вас разыскивает родственник. Задержитесь у паспортного контроля!

Звуки этих слов, усиленные репродуктором, донеслись до Рихарда откуда-то сверху.

И тут он вспомнил, что у выхода его должен ждать Клаус. Но это там, по ту сторону таможни. А Герда?.. Где ему найти Герду?!

И вдруг из большой группы людей, толпящихся у окошка паспортного контроля, до него донесся женский голос:

— Рихард! Я здесь!

Его охватило непреодолимое желание броситься навстречу Герде, обнять ее, расцеловать.

— Куда ты исчезла, Герда? — воскликнул Рихард, когда они наконец пробились друг к другу.

— Просто пересела немного вперед, ближе к выходу, — ответила Герда, пожимая плечами. — К тому же мне показалось, что ты больше не хочешь со мной разговаривать. Как это тебе пришло в голову вызвать меня по радио?

— Герда, ты останешься здесь, во Франкфурте?

— Да. На два-три дня. Хочу погостить у матери.

— А в Мюнхен ты приедешь?

— Конечно, приеду. Я ведь там живу.

— Мы увидимся? — с надеждой в голосе проговорил Рихард.

— А так ли уж это необходимо? Ведь познакомились мы случайно... Да и то едва не поссорились.

— Ради бога, не придавай этому никакого значения! Это я во всем виноват. Не сердись. Знать, что ты живешь в одном городе со мной, и не видеть тебя... Это просто невыносимо.

Они стояли в очереди к паспортному контролю.

— Ты явно преувеличиваешь, — усмехнулась Герда. — Там, в Мюнхене, ты быстро освоишься, приобретешь друзей...

— Десятки новых друзей не заменят мне тебя! Пойми, Герда, я ведь ни на что не претендую. Только хочу с тобой видеться, хотя бы изредка... Прошу тебя!

С минуту она молчала. Потом, видимо, приняв решение, сказала:

— Хорошо. Запиши мой мюнхенский адрес.

Рихард поставил свой кейс у ног, сунул руку в карман пиджака и нащупал один из конвертов с письмом от Клауса. Он вытащил его, затем щелкнул шариковой ручкой и сказал:

— Пишу!

Герда снова немного помолчала, будто сомневаясь в правильности своего решения, потом сказала:

— Хартманнштрассе, 88. Это недалеко от Променаден-плац. А телефон: 53-24-85.

Он торопливо записал на конверте адрес и номер телефона...

Полицейский контроль сначала прошла Герда, за ней — Рихард.

— Ну, вот мы и дома! — радостно воскликнул он, когда они оказались по другую сторону барьера. — Остается только взять вещи.

Но оказалось, что до вещей было еще далеко. Герда указала Рихарду на транспортер, уже заполненный людьми.

— Вставай и держись за перила! — сказала она. Они встали на движущуюся дорожку, и Рихард подхватил Герду под руку.

Сердце его билось учащенно, ему казалось, что лента транспортера несет его не к таможне, а куда-то вдаль, в новую жизнь, полную неведомых тревог и радостей...

— Меня должны встречать,— тихо и неуверенно сказал он Герде.— А тебя?

— Очевидно, придет мама, я ей телеграфировала,— ответила она.

Наконец транспортер доставил их в просторный зал, вдоль стен которого стояли таможенные прилавки.

— А где же вещи? — с недоумением спросил Рихард.

— Вон там!— ответила Герда, указывая на соседний зал.

В центре его Рихард увидел нечто вроде карусели. Из большого отверстия в стене на нее вываливались чемоданы. Пассажиры, обступившие вращающийся диск, узнавали свой багаж и поспешно снимали его.

В углу зала стояли металлические коляски. Пассажиры ставили на них багаж и подкатывали его к таможенникам.

Наконец Рихард увидел на вертушке два своих чемодана — один кожаный, другой матерчатый. Он подхватил их, поставил на пол и растерянно огляделся вокруг. Ведь его должен встречать Клаус! Но в редеющей толпе Клауса не было.

— Чего же ты ждешь?— поторопила его Герда.— Бери коляску и...

Тут она увидела свой чемодан и, когда он приблизился, быстро сняла его.

— Пойди же за колясками,— сказала Герда,— я подожду здесь с вещами...

Через несколько минут они выкатили свой багаж к подъезду аэропорта. Там царила суматоха. Подъезжали и отъезжали такси, носильщики и пассажиры подкатывали или подносили свои чемоданы к выстроившейся неподалеку цепочке автомобилей.

Рихард и Герда остановились у выхода, и тут Рихард увидел, как от группы встречающих отделилась коренастая фигура Клауса. Они бросились друг другу навстречу. Клаус широко раскинул руки и сдавил Рихарда в своих объятиях.

— Наконец-то! Сейчас поедем!— радостно проговорил Клаус.— А где же твои вещи?

— Да вон там!— Рихард указал в сторону Герды.— Но прежде всего я хочу познакомить тебя с моей попутчицей. Мы сидели в самолете рядом и познакомились...

И вдруг он увидел, что на прежнем месте нет ни Герды, ни ее коляски. Почему она вдруг опять исчезла? Может быть, ушла, чтобы не мешать встрече друзей?

— Ну, где же твоя... как ее там зовут?— нетерпеливо спросил Клаус.

— Я... я не знаю,— растерянно проговорил Рихард.— Она только что была здесь... Наверное, ее встретила мать и...

— Ладно, забудь о своей девчонке! — с неожиданной резкостью сказал Клаус.— В Мюнхене найдешь другую. Скажи на милость, в самолете познакомились!.. Ладно, пошли к машине! — Он взглянул на часы и добавил:— А не то придется платить штраф. Тут со стоянками строго...

— Ну, подождем еще минуту,— умоляюще произнес Рихард.

Он не мог понять, куда делась Герда. Второй раз она внезапно исчезает. И сейчас это уже совсем непонятно. Наверное, все-таки она увидела в толпе свою мать и бросилась к ней. «Впрочем,— мысленно утешил себя Рихард,— я же знаю ее мюнхенский адрес и телефон!»

— Ты что, не слышишь?— окликнул его Клаус.— Вот уж не думал, что ты зацепишься за первую попавшуюся юбку. Пошли!

Действовать!..

Несколько минут спустя они уже мчались в машине-малолитражке. Рихард неотрывно смотрел в окно, мысленно сравнивая Франкфурт с Буэнос-Айресом. Все говорило в пользу немецкого города. Здесь не было таких толп белых, черных и желтых прохожих, не было аляповато размалеванных лотков с дешевыми сувенирами, не было грузовиков с претендующими на остроумие надписями на заднем борту.

Франкфурт. Тихий и благопристойный город. По крайней мере так казалось Рихарду, хотя по улицам тянулись нескончаемые вереницы машин, временами создававших «пробки». Людей тоже было много, но в отличие от аргентинцев одеты они были не крикливо, а вполне прилично, если не считать молодых парней, щеголявших в коротких кожаных куртках и потертых джинсах.

«Как странно!— вдруг подумал Рихард.— Мы едем уже минут двадцать, а Клаус не сказал мне ни слова, даже головы в мою сторону не повернул... В чем дело? В конце концов я приехал сюда по его приглашению».

Наконец он не выдержал этого тягостного молчания.

— Что такое, Клаус?— спросил он.— Ты недоволен, что я приехал? Или что-нибудь случилось в последние дни?

— Нет, ничего не случилось,— по-прежнему не поворачивая головы, ответил Клаус.— Поверь, я очень рад твоему приезду.

— Так в чем же дело?

— Если хочешь знать правду, мне не нравится твоя дружба с этой девкой. Я видел, как вы вместе выходили из здания аэропорта. Кто она такая, ты хоть знаешь?

— Не понимаю,— пожал плечами Рихард.— Герда была моей соседкой в самолете. Она журналистка. К тому же она живет в Мюнхене. Как ты думаешь, о чем я мог разговаривать с хорошенькой девушкой во время многочасового полета?

— С хорошенькой девушкой беседовать не возбраняется,— сказал Клаус,— с хорошенькой девушкой, но не с врагом.

— Врагом?!— изумленно воскликнул Рихард.— Что это все значит?

— Ты знаешь ее фамилию?— спросил Клаус.

— Да. Валленберг.

— Вот именно!— сказал Клаус.— Как только я увидел твою Герду, мне сразу вспомнилось, что она не раз бывала на наших митингах.

— Ну и что?

— А то, что через день или два в какой-нибудь газете появлялась злобная статейка, подписанная инициалами «Г. В.».

Клаус искоса взглянул на Рихарда.

— Но послушай! Может быть, это просто совпадение!

— Поверь мне,— сказал Клаус потеплевшим голосом,— к тебе это не имеет ровным счетом никакого отношения. Ты мой друг, и, честно говоря, мне самому неприятно, что я не смог скрыть своего отношения к этой... Герде. Но я убежден, что не ошибаюсь. Герда Валленберг то и дело выступает в печати против нашего движения. Черт ее знает, в какой газете она работает! Во всяком случае, она нередко бывает на наших митингах, а потом поднимает визг о растущей фашистской угрозе. Теперь понял?

— Просто не верится!— нерешительно проговорил Рихард.— Мы провели с ней вместе столько часов... А о политике почти не говорили. Впрочем, кажется, Герда что-то сказала о росте безработицы в Германии. Вот и все. Но мне показалось, что она настроена несколько критически...

— Надеюсь, ты ничем не выдал своих убеждений? И не говорил, зачем ты едешь в Германию?

— Да нет же!— неуверенно произнес Рихард.

— И правильно сделал! Иначе ты тут же оказался бы на крючке у наших противников... Значит, о своих симпатиях к НДП ты не упоминал?

— Конечно, нет.

— Ну и молодец! — уже совсем по-дружески сказал Клаус и добавил:— Если ты с ней где-нибудь случайно столкнешься, сделай вид, что не узнал ее. Договорились?

— Да, да,— поспешно ответил Рихард и, резко меняя тему разговора, спросил: — Как идет предвыборная кампания? Наши ребята уверены в победе?

— К власти мы на этих выборах не придем. Но в том, что наберем достаточно голосов, чтобы иметь свою фракцию в бундестаге, я не сомневаюсь.

Рихарду стало немного не по себе, когда он начал вспоминать свои разговоры с Гердой. Конечно, из его высказываний она легко могла за-

ключить, что национал-социализм он не осуждает. Но Герда тоже не слишком скрывала свои политические симпатии. «Может быть, мне это только теперь кажется, после того, что сказал Клаус? — подумал Рихард и сказал себе: — Ладно! Как бы то ни было, все контакты с ней следует оборвать».

— А куда ты меня везешь, Клаус? — спросил он. — Где я буду жить?

— Я присмотрел для тебя в Мюнхене пансионат неподалеку от центра города. Довольно уютный и к тому же недорогой. Относительно, конечно. У тебя как дела с монетой?

— Благополучно, — ответил Рихард. Он с удовольствием подумал о чековой книжке во внутреннем кармане своего пиджака. Когда вопрос о его отъезде был решен, отец сказал, что открыл счет на имя сына в Коммерцбанке и перевел туда солидную сумму. Наличных денег у Рихарда было немного, и он подумал, что надо заехать в банк и снять со своего счета некоторую сумму. — Сколько езды до Мюнхена?

— Часа три, — ответил Клаус, бросая взгляд на свои часы. — Мы уже полтора в пути, так что скоро будем на месте. — И, немного помолчав, добавил: — Сегодня ты отдохнешь с дороги, а завтра я займусь поисками работы для тебя.

— А я тем временем буду сидеть сложа руки?

— Ты же сказал, что в средствах пока не нуждаешься и...

— Дело же не в этом! — перебил его Рихард. — Я приехал сюда для того, чтобы вести борьбу. Вместе с тобой. Вместе с вами. В самолете я прочитал... не помню в какой газете... что НДП нуждается в материальной поддержке. Указан банковский счет для денежных переводов. Первым делом я переведу туда деньги. Затем я хочу как можно скорее вступить в НДП. А главное — начать активную борьбу.

— Какого рода?

— Тебе виднее! Судя по твоим письмам, поле для борьбы здесь достаточно широкое. Об этом говорится и в газетах.

— А ты не боишься? — спросил Клаус, сощурив глаза под рыжеватыми бровями.

— Будь я трусом, я бы сюда не приехал! Ты обещал мне помочь. Я полагаюсь на твое слово.

— Мое слово — гранит, — с полуиронической, полудобродушной усмешкой ответил Клаус. Он снял руку с руля и опустил ее на плечо своего друга. — Для истинного немца дело всегда найдется!

Рихард несколько успокоился и стал смотреть в окно.

Машина мчалась мимо худосочных рощиц, лугов, пестревших пятнами выцветшей прошлогодней травы, деревушек, лепившихся вокруг церквей с готическими шпилями, мимо каких-то казематов за колючей проволокой. Читая названия населенных пунктов на дорожных указателях, Рихард понял, что автострада оставляет все города в стороне, и ему оставалось только читать надписи на указателях: Ашаффенбург... Ротенбург... Динкельсбюль... Нойбург... Дахау..

Последняя надпись вызвала у него прилив злобы и одновременно любопытство. Злобу потому, что слово «Дахау», сколько он себя помнил, употреблялось в газетах, журналах и книгах, которые ему доводилось читать, как своего рода символ зверств, приписываемых национал-социализму врагами третьего рейха. Сколько раз Рихард беседовал с отцом на эту тему и сколько раз слышал от него, что все россказни о газовых камерах, массовых расстрелах, печах для сжигания трупов — еврейско-коммунистическая клевета. Отец объяснял сыну, что Германия не могла не изолировать своих врагов и поэтому лагеря были жизненной необходимостью.

— Дахау, — задумчиво проговорил Рихард, когда они проехали указатель с названием этого города. — Как ты думаешь, Клаус, есть хоть какая-нибудь доля правды в том, что утверждают наши противники?

— Сплошная ложь! — угрюмо отозвался Клаус. — Да, в лагерях наказывали провинившихся, иногда и расстреливали... А как прикажешь поступать с теми заключенными, которые бунтовали, готовили побеги, нападали на солдат охраны? Я тебе так скажу: мало врагов мы тогда истребили, очень мало!

— Верно! — с облегчением сказал Рихард.

Машина тем временем свернула с автострады и въехала в какой-то пригород.

— Это уже Мюнхен? — радостно спросил Рихард.

— Да, — ответил Клаус, — мы едем сейчас по Дахауэрштрассе... Посмотри-ка! — Он указал на светло-зеленую стену многоэтажного дома, на которой черной краской было что-то намалевано.

Рихард повернул голову и прочитал надпись: «Брандта к стенке!»

— Здорово! — воскликнул он. — И полиция разрешает такое?!

— Тот, кто это написал, в полицию за разрешением, конечно, не обращался. И не сегодня-завтра этот лозунг сотрут. Но когда ты походишь по улицам Мюнхена, то увидишь на стенах домов не одну такую надпись.

— Ты хочешь сказать, что большинство населения... — начал было Рихард.

— Нет, я вовсе не хочу этого сказать, — прервал его Клаус. — Но нас поддерживают сотни и сотни тысяч немцев. Пройдет немного времени, и с нами будут миллионы.

...Пансионат находился в небольшом трехэтажном особняке. В холле их встретил портье — пожилой человек в серой форменной куртке.

— Комната для господина Альбига! — отчеканил Клаус и добавил: — Я зарезервировал ее неделю назад.

— Яволь, майн герр! — приторно улыбаясь, сказал человек в серой куртке и повторил вслед за Клаусом: — Комната для господина Альбига.

Он положил на стол маленький картонный квадратик — анкету, которую Рихард под наблюдением Клауса тут же заполнил. Слева на столе лежала кучка буклетов. Увидев, что это путеводители по Мюнхену, Рихард взял один из них и положил в карман.

— Вещи в машине? — осведомился портье и, не дожидаясь ответа, крикнул: — Ганс! Вещи господина Альбига.

Тотчас же из узкой боковой двери выскочил парень в синей блузе, крикнул «Яволь» и бросился к выходу.

— Машина открыта! — успел сказать ему Клаус.

Минуту спустя парень вернулся в холл, неся два больших чемодана.

— Второй этаж, комната двадцать восемь, — сказал портье, протянув ключ. И добавил: — Завтрак с семи до девяти утра.

По ковровой дорожке, устилавшей лестницу, они поднялись на второй этаж.

Отперев дверь, Рихард увидел просторную комнату с двумя окнами, выходившими во двор, — их можно было открывать, не опасаясь городского шума. Между окнами стоял массивный письменный стол, а на нем — несколько старомодный телефон и лампа под зеленым абажуром. Справа от двери сверкал никелем небольшой умывальник под круглым зеркалом в деревянной рамке. Сбоку от правого окна манила к отдыху кушетка, обитая зеленым бархатом. У левой стены стояла кровать, прикрытая пуховой периной. В середине комнаты возвышался круглый стол, а вокруг него — три стула с изогнутыми спинками.

— Что ж, пойдем перекусим, а потом на некоторое время расстанемся, — сказал Клаус. — Ты, конечно, захочешь вымыться с дороги. Здесь есть душ, по коридору направо. Буфет на первом этаже.

— Ты надолго собираешься покинуть меня? — робко и даже с какой-то опаской в голосе спросил Рихард. Комната показалась ему вдруг неуютной, и его охватило чувство безотчетной тревоги.

— Мне еще надо уладить кое-какие дела. А ты должен как следует отдохнуть после такого длительного перелета. Советую тебе после душа сразу же завалиться спать. Смотри, какое роскошное ложе! — Он сел на кровать, похлопал по перине обеими руками и воскликнул: — У баварских королей такой постели не было! Завтра, — проговорил он, вставая и потягиваясь, — мы займемся твоими делами, зайдем в банк, погуляем по городу, пропустим по кружечке пива, а попозже, может быть, заглянем в какой-нибудь ночной бар... Все будет хорошо, Рихард, уверяю тебя. Ты тут быстро освоишься. Если денег хватит, купишь себе машину. Подумаем о твоей работе...

— Ты говоришь о службе?

— Ну, конечно. Тебе же нужен постоянный заработок. Ведь ты не собираешься жить на средства отца до конца своих дней!

— Подожди, Клаус, — решительно сказал Рихард, — присядем на несколько минут. Они сели. — Я хочу поговорить с тобой серьезно. Ты зна-

ешь, что я приехал в Германию не для того, чтобы протирать штаны в какой-нибудь конторе. Я должен действовать, понимаешь, действовать! Как? Где? Этого я еще не знаю. Но когда мы с тобой беседовали в Аргентине, ты обещал мне, что я смогу включиться в активную борьбу. Сразу же по приезде. Немедленно.

— Боюсь, что ты воспринял мои слова очень уж буквально, — покачал головой Клаус. — У нас еще нет гражданской войны. Схватить автомат и броситься в бой пока нельзя. Нет, дружище, сегодня наша борьба носит более будничный характер. Но вместе с тем она сложнее и изощреннее, чем уличные схватки, хотя без них дело не обходится... Сейчас, например, главный вопрос — это предстоящие выборы. Если ты хочешь принять участие в борьбе, ты должен сначала осмотреться, освоиться с нашими методами и тогда уже занять место в строю... Болтаться без дела ты не будешь! — твердо сказал Клаус. — И раз уж ты такой нетерпеливый, я тебе завтра кое-что покажу. Идет?

— Спасибо, ты меня успокоил!

— А теперь пойдем поедим. Тут неподалеку вполне приличный ресторан. Я его присмотрел, когда искал для тебя пансионат.

«Да, — подумал Рихард, — сначала, конечно, надо закусить и выпить пару кружек пива...» Сколько раз отец в Аргентине мечтательно вспоминал о баварском пиве!

В ресторане они провели не менее часа. Наконец Клаус встал и сказал:

— Значит, давай решим так: сегодня — тут уж ничего не поделаешь — ты будешь предоставлен самому себе. Прими душ, побрейся, поваляйся на диване, почитай газеты — кстати, киоск в двух шагах от твоего пансионата. И ложись спать пораньше. А завтра будь готов к девяти часам. Я за тобой заеду...

— И куда мы направимся? — нетерпеливо перебил его Рихард.

— Не торопись с вопросами. Всему свое время. А теперь я провожу тебя домой. Нет, нет, не возражай! Доведу до двери твоей комнаты.

На прощание они обменялись крепким рукопожатием, а потом — нацистским приветствием. Клаус ушел. Рихард остался один. Он открыл свои чемоданы, вынул вещи, аккуратно разместил их в шкафу. Потом стал раздеваться, предварительно вынув из карманов паспорт, деньги, чековую книжку, блокнот, письма Клауса. Взгляд Рихарда невольно скользнул по записи, сделанной на одном из конвертов. Это был адрес Герды: Хартманнштрассе, 88. И номер телефона.

Сердце его учащенно забилось. Но он тут же сказал себе: «Забудь! С этим покончено. Ты получил приказ». В голове его мелькнула мысль: разорвать конверт и выбросить в мусорную корзину.

Он зажал конверт между пальцами и уже готов был сделать резкое движение, чтобы разорвать его, но на какое-то мгновение задержался. И подумал: «Нет, я все-таки оставлю конверт у себя. Но никогда больше не взгляну на него. Пусть это будет моим первым испытанием на родной земле. Испытанием на выдержку, на готовность беспрекословно подчиняться приказам...»

Приняв душ, Рихард после недолгих колебаний остановил свой выбор на темно-сером костюме в едва заметную красную полоску. Он надел голубую сорочку, темно-синий галстук и, встав перед зеркалом, висящим над умывальником, не торопясь побрился. Потом взглянул на часы, которые отец подарил ему незадолго до отъезда, и увидел, что стрелки показывают двадцать минут шестого.

«Что же мне теперь делать? — подумал Рихард. И вспомнил: — Ах, да, надо пойти купить газеты».

Он разложил по карманам документы и деньги, запер дверь ключом, на котором была выгравирована цифра «28», и спустился на первый этаж.

Положив ключ на стойку портье, спросил:

— Газетный киоск, кажется, за углом налево?

— Яволь, майн герр! — ответил портье и, взяв ключ, добавил: — Данке шен!

Рихард направился к двери, но вдруг остановился и, вернувшись к стойке, спросил:

— Скажите, пожалуйста, а нет ли здесь поблизости какой-нибудь читальни?

— Если вы хотите просмотреть подшивки газет или журналов, — услужливо ответил портье, — то для этого вам даже не надо выходить на улицу. Пожалуйста, по лестнице вниз! Там разложены подшивки...

И он указал на узкую винтообразную лестницу, на которую Рихард раньше не обратил внимания.

«Свежие газеты я просмотрел еще в самолете, — подумал он, — а вот почитать более ранние было бы любопытно...»

Рихард спустился вниз по лестнице и вошел в довольно большую комнату, где стояли три длинных стола. На них аккуратными стопками лежали газеты и журналы. В комнате никого не было.

Он вытащил номер «Штерна», перевернул несколько страниц, и ему сразу же бросилась в глаза фамилия канцлера Кизингера.

«Интересно, как его тут жалуют», — подумал Рихард и погрузился в чтение.

«Курт Георг Кизингер, бундесканцлер, за свое нацистское прошлое подвергся нападкам со стороны писателя Генриха Белля, — сообщал «Штерн». — В статье, опубликованной на страницах газеты «Цайт», Белль писал: «Она (моя мать) укрепила меня в ненависти к проклятым нацистам — в особенности к той их разновидности, к которой принадлежит господин доктор Кизингер; холеные нацистские бюргеры, которые не пачкают себе ни пальцы, ни жилетки и которые после 1945 года продолжают разгуливать с полным бесстыдством».

«Ничего себе демократия!» — подумал Рихард, невольно покрутив головой.

В «Шпигеле» было напечатано интервью с Адольфом фон Тадденом. На вопрос журналиста, поинтересовавшегося его реакцией на ругань по адресу НДП, которую допускает в своих речах кое-кто из людей, близких к правительству, Тадден ответил, что «против его партии ничего реального предпринять нельзя».

— Герр Альбиг! — раздался вдруг чей-то голос. Вздрогнув от неожиданности, Рихард повернул голову и увидел портье, стоящего на пороге.

— Герр Альбиг, — повторил он, — вас просят к телефону.

Рихард не сразу понял, кто ему мог позвонить. Потом сообразил: «Клаус! Конечно, это Клаус! Кто, кроме него, знает мой адрес и номер телефона?»

— Господин, который желает с вами поговорить, — продолжал портье, — сказал, что уже несколько раз звонил вам, но никто не ответил. А я вспомнил, что вы спрашивали про читальню, и решил...

— Иду! — воскликнул Рихард. — Откуда можно говорить? Подняться к себе в комнату?

— Нет, нет, герр Альбиг, не утруждайте себя! Телефон у меня на стойке. Прошу вас! — С этими словами портье повернулся и стал подниматься по лестнице.

На дальнем краю стойки Рихард увидел телефон. Взяв трубку, он сказал:

— Алло! Альбиг слушает.

— Здравствуй, мой юный друг! — раздался в трубке незнакомый голос. — Как долетел, как устроился?

— Простите, с кем я говорю? — в полном недоумении спросил Рихард.

— Это Арчибальд Гамильтон. Разве отец ничего не говорил тебе обо мне?

«Да, да, — вспомнил Рихард, — перед моим отъездом отец действительно назвал имя какого-то американца — кажется, Гамильтона, с которым он был знаком в сороковые годы».

«Наверное, какой-нибудь старикашка! На кой черт он мне нужен?» — подумал тогда Рихард.

— Что же ты умолк? — снова раздался голос, и только теперь Рихард уловил едва заметный иностранный акцент.

— Я слушаю вас, — торопливо ответил он, еще не решив, как обращаться к американцу, «герр Гамильтон» или «мистер Гамильтон». — Отец

говорил мне о вас. Спасибо, что позвонили. Но откуда вы узнали мой номер? Ведь я только сегодня приехал.

— Интуиция! — словно избегая прямого ответа на этот вопрос, сказал Гамильтон. — Так вот, прежде всего запиши мой номер телефона...

— Минуту! — прервал его Рихард. — Я только возьму записную книжку.

Портье, стоявший в двух-трех шагах от телефона, услужливо протянул Рихарду листок бумаги и шариковую ручку.

— Слушаю вас, мистер Гамильтон!

— Два-два-восемь-шесть-пять-девять, — четко произнес Гамильтон, а Рихард, записывая, подумал: «Чисто американская манера называть каждую цифру отдельно!»

— Спасибо, мистер Гамильтон, — сказал он, записав номер и возвращая ручку портье. — Я вам обязательно позвоню.

— Это не деловой разговор, — проговорил Гамильтон с оттенком недовольства в голосе. — Нам надо встретиться. Скажем, завтра.

«Но ведь завтра ко мне приедет Клаус, а я не знаю, какие у него планы», — подумал Рихард.

— Да, — промямлил Рихард, — но один мой аргентинский знакомый... завтра...

Он не решился упомянуть имя Клауса. Однако Гамильтон сам назвал его имя.

— Ничего с твоим Клаусом не случится! — сказал он. — Ну, ладно. Жду тебя послезавтра в семнадцать ноль-ноль. Машина — черный «мерседес» — будет у твоего пансионата в шестнадцать сорок пять. А пока до свидания, — и он положил трубку.

Рихард поднялся в свою комнату. Взгляд его упал на телевизор. Как это он до сих пор не догадался включить его?

Рихард нажал кнопку, выступающую из панельки. Телевизор сразу ожил, на нем высветился элегантно одетый человек средних лет, сидящий за столом. «Видимо, диктор или комментатор», — подумал Рихард и стал прислушиваться к его словам.

«...Наша сегодняшняя передача посвящена пиву, — с явно баварским акцентом объявил диктор. — Сейчас в столице Баварии все вращается вокруг пива!».

«А не вокруг предстоящих выборов?» — усмехнулся Рихард, но продолжал внимательно слушать.

«...В то время как мюнхенцы подвергают себя целебному воздействию крепкого пива, на территории ярмарки, начиная с сегодняшнего дня, можно увидеть все, что служит производству и сбыту ячменного напитка. Статистика потребления пива свидетельствует о том, что в настоящее время каждый баварец поглощает 212 мерок в год и, таким образом, легко забивает жителей Европейского экономического сообщества. В странах ЕЭС на человека в среднем приходится 64 литра в год. В ФРГ на Баварию приходится более четверти всего объема производства пива — 22,6 миллиона гектолитров».

«Черт знает какую ерунду передают!» — Рихард переключил канал. Теперь перед ним предстал другой диктор, в непомерно больших дымчатых очках, который неторопливо сообщал:

«По заказу «Западногерманского Радио» киностудия «Бавария» снимает в настоящее время телевизионный фильм Дитера Адлера «Аль Капоне в немецком лесу». Это — история группы молодых людей, предающихся мечтам о героических приключениях».

«Вот это уже гораздо интереснее!» — Рихард усилил звук.

«В свое свободное время, — продолжал диктор, — они упражняются в стрельбе из пистолета и, как завороженные, слушают пластинку с речами Гитлера. Накручивая себя таким образом, они вырабатывают весьма своеобразную концепцию силы: они взламывают сейфы, поджигают дома и терроризируют всю округу. Убийство наводит полицию на их след... Режиссер фильма... в главных ролях...» Имена и фамилии Рихард услышал впервые.

Однако следующее сообщение заинтересовало его еще больше, чем это.

«...Аналогичный сюжет, — продолжал человек в дымчатых очках, — лежит в основе фильма под рабочим названием «Бунт», который киностудия «Бавария» снимает для «Западногерманского Радио». Это — история двух молодых людей, которые ищут формы выражения личной свободы. Они маршируют вместе с протестующими студентами, выкрикивают лозунги, хотя и не знают толком, о чем именно идет речь. В конечном итоге они становятся головорезами. Фильм поставлен Райнхардом Хауффом. Среди исполнителей...»

«Ну, это еще ближе к жизни, — подумал Рихард. — Судя по всему, НДП и те, кто ей сочувствует, находятся в центре всеобщего внимания!»

Потом диктор перешел к обзору политических новостей. Он сообщил, что в «НДП-курир» опубликовано конспективное изложение тезисов национал-демократической партии. Главный тезис гласит: «Бремя чужеземной власти давит на расчлененную Германию в расчлененной Европе». Держа перед глазами текст, диктор бесстрастным голосом прочитал: «Всякое примирение с захватнической политикой коммунистов равнозначно предательству интересов немецкого народа и ведет к признанию окончательного расчленения Германии».

«Мы еще покажем этим коммунистам! — мысленно воскликнул Рихард. — Мы им еще покажем!»

«Только спорт!»

На другой день, в начале девятого, Рихард спустился в буфет, сел за свободный столик и попросил подошедшую официантку принести ему омлет, булочку, вишневый джем и какао.

Без пяти девять он уже был наверху, в своей комнате, — Клаус обещал приехать к девяти утра. Ровно в девять в дверь постучали.

— Войдите! — громко сказал Рихард.

Дверь открылась. На пороге стоял Клаус.

— Рад видеть тебя, — сказал он, протягивая обе руки навстречу Рихарду. Они обнялись. — Ты уже поел?

— Все в порядке, — ответил Рихард и добавил шутливым тоном: — Готов к бою!

— Не терпится? Должен тебя разочаровать: сегодня бой не предвидится. Мы лишь кое-что посмотрим. Поедем в военно-спортивное общество.

— В Буэнос-Айресе ты видел, как занимается такой кружок, и сказал мне тогда: «Легко размахивать оружием за десять тысяч километров от врага». Я запомнил эти слова... А заниматься гимнастикой под носом у врага, по-твоему, намного лучше?

— Любая армия занимается боевой подготовкой, — поучительно произнес Клаус. — Поехали!

Они уселись в машину Клауса, быстро миновали окраины города, выехали на шоссе, потом свернули на какую-то лесную просеку. Здесь в отличие от шоссе не было никакого движения — казалось, их машина была единственной.

Чем дальше, тем хуже становилась эта проселочная дорога, петлявшая в лесу. Машину изрядно потряхивало на рытвинах. Откуда-то донеслось эхо глухих выстрелов.

Наконец впереди показался высокий забор, затем — наглухо закрытые ворота. У ворот прохаживался какой-то парень в брезентовом плаще и надвинутой на лоб кепке. Неподалеку стояла полускрытая деревьями грузовая машина. Увидев приближающийся «фольксваген», парень быстрым шагом пошел навстречу, держа правую руку в кармане плаща.

Клаус опустил боковое стекло машины, высунулся и помахал приближающемуся парню, слегка откинув назад кисть руки.

Тот замедлил шаг, приветливо улыбнулся и, ответно взмахнув рукой, сказал:

— С приездом! Добро пожаловать!

Затем он повернулся, подбежал к забору, и минуту спустя ворота распахнулись. Клаус направил машину внутрь, за ограду.

На большой площадке несколько групп молодых ребят занимались каратэ и боксом. Еще одна группа стреляла по мишеням из мелкокалиберных винтовок. Слева от ворот Рихард увидел какое-то низкое деревян-

ное строение. В центре площадки стоял человек лет пятидесяти в теплом мохнатом свитере. Он резко повернулся к машине, но, увидев высунувшегося из окна Клауса, приветливо улыбнулся.

Клаус поставил машину у забора, неподалеку от ворот, вышел из нее и жестом предложил Рихарду последовать его примеру.

— Привет, герр Штольц! — сказал он человеку в свитере, — я привез вам заморского гостя. Знакомьтесь, герр Рихард Альбиг! Он приехал из Аргентины и теперь будет постоянно жить в Мюнхене.

На небритом лице Штольца появилось нечто вроде улыбки, но его приспущенные веки не могли скрыть настороженного взгляда.

— Считайте, что он свой человек, — продолжал Клаус. — В Буэнос-Айресе был связан с нашими ребятами. Скоро вступит в НДП. Я за него ручаюсь.

Штольц и Рихард обменялись рукопожатием. Рихард едва не вскрикнул от боли — с такой силой Штольц сжал кисть его руки в своей огромной ладони.

— Подполковник запаса Генрих Штольц! — гаркнул он, вытягиваясь и глядя прямо в глаза Рихарду. У него был голос человека, привыкшего отдавать приказы.

— Продолжайте, пожалуйста, ваши занятия, — сказал Клаус, — мы не хотим отрывать вас от дела.

Штольц молча повернулся и сделал несколько шагов в сторону каратистов. Рихард знал толк в этой японской борьбе и с удовлетворением спортсмена отмечал про себя каждый удачный удар.

Сначала Рихард попытался определить, настоящие ли это боевые схватки или только их имитация. В аргентинских военно-спортивных кружках происходили примерно такие же бои, но искусство заключалось в том, чтобы, правильно применив тот или иной прием, все же не причинить боль противнику. Подлинная борьба шла лишь на показательных соревнованиях.

Здесь же, судя по всему, удары наносились всерьез, и время от времени кое-кто из каратистов падал на землю. В таких случаях Штольц кричал:

— А ну, вставай, не прикидывайся!

Одни вставали после первого или повторного окрика и через две-три минуты снова занимали боевую позицию, но других приходилось уносить в дом.

— А что там, в доме? — спросил Рихард.

— Да ничего, — ответил Клаус, — обычная раздевалка. И аптечка есть. Кое-какие медикаменты для слабаков: нашатырный спирт, сердечные...

— И врач там есть? — поинтересовался Рихард.

— Врач? — удивленно переспросил Клаус. — Ты что, спятил? Это же боевая организация НДП, а не школа гимнастики для маменькиных сынков!

Клаус и Рихард еще с полчаса молча наблюдали за схватками. Потом раздался громкий и хриплый голос Штольца:

— Стоп!

Все замерли.

— Теперь к ямам! — приказал Штольц.

Рихард только сейчас заметил, что у дальней стороны забора, куда направились все парни, возвышаются два земляных холмика.

— Подойдем поближе, — сказал Клаус, — это весьма занятное упражнение! Тебе понравится.

Когда они подошли вплотную к холмикам, Рихард увидел две свежевырытых ямы. На дне каждой лежало по лопате. Штольц тем временем скомандовал:

— Принести снаряды!

Какой-то парень побежал в дом. Через две-три минуты он вернулся с охапкой резиновых прутьев и положил их на краю одной из ям.

— Кто у нас сегодня на очереди? — спросил Штольц, вытащил из брючного кармана блокнот, раскрыл его и объявил: — Грюндель и Лисснер! Верно?.. Приступайте!

Два высоких парня вышли из цепочки, сняли с себя рубашки и спрыгнули в ямы. Они подняли лопаты и воткнули их в холмики свежевырытой земли. Потом встали, словно по команде «смирно». Ямы были им по грудь.

— Засыпай! — гаркнул Штольц.

И тут же двое из цепочки схватили лопаты и начали поспешно засыпать ямы. Вскоре над поверхностью земли остались только головы и плечи стоявших в ямах людей.

— Итак, — объявил Штольц, — Грюндель — это коммунист. Лисснер — еврей. На-чи-най!

То, что произошло дальше, показалось Рихарду невероятным. Цепочка людей медленно двинулась вперед. Каждый поочередно брал из кучки резиновый прут и наносил им резкий удар по шее, плечам и груди полузарытых парней. Сначала хлестали первого, потом второго. При этом плевали им в лица и выкрикивали: «Смерть красным!», «Долой Брандта и компанию!», «Бей жидо-масонов!», «Получай, рус!».

«Коммунист» Грюндель и «еврей» Лисснер лишь зажмуривали глаза, когда над ними заносился прут. А получив удар, резко откидывали головы назад.

«Что же это такое?!» — подумал Рихард. Он, конечно, понимал, что стоящие в ямах люди не имеют ни малейшего отношения к коммунистам или евреям. И все же подсознательно начинал ощущать чувство злобы к избиваемым. Рихард вспомнил рассказы отца о том, как разделывались в лагерях с коммунистами, евреями, цыганами, русскими, поляками. Под свист прутьев эти картины вставали перед его глазами. И Рихарду стало казаться, что перед ним — закопанные в ямы враги. Те, кто в свое время готовил покушение на фюрера, те, кто сейчас хочет поражения национал-демократов на выборах, те, кто стремится уничтожить НДП, единственную истинно немецкую партию, и утвердить в Германии господство русских.

Руки Рихарда незаметно для него самого сжались в кулаки. Его охватило страстное желание принять участие в экзекуции, подбежать к ямам, схватить прутья и бить, бить, бить...

Наконец последний в цепочке нанес свои удары. Лица избиваемых стали неузнаваемыми: они были покрыты грязью и кровоподтеками.

— Пре-кра-титы! — скомандовал Штольц.

И тогда все — кто лопатами, кто руками — начали откапывать избитых людей. Их вытащили из ям. «Коммунист» Грюндель тыльной стороной ладони стер кровь с лица, пошатнулся, но удержался на ногах и, как показалось Рихарду, с вызовом оглядел избивавших его людей. «Еврей» Лисснер сделал два-три шага и упал, во весь рост растянувшись на земле.

— От-мыть! — приказал Штольц. Двое подхватили Грюнделя под руки, а четверо других подняли Лисснера за плечи и за ноги и направились к одноэтажному дому.

Десятки вопросов вертелись на языке Рихарда. Какова цель этой экзекуции? Не озлобляет ли она парней? Провинились ли в чем-нибудь эти Грюндель и Лисснер?..

— Ну что? — щуря свои злые глаза, спросил Клаус. — Производит впечатление?

И тогда Рихард стал задавать свои вопросы.

— Подожди! — прервал его Клаус. — Господин подполковник и так тебе объяснит, что к чему.

— Все очень просто! — сказал Штольц, пожимая плечами. — Это своего рода закалка, воспитание стойкости и выдержки. Мы готовимся к предстоящим боям — их время наступит. И вот представьте себе, что кого-нибудь из наших парней захватят враги. Думаете, с ними будут вести беседы на философские темы? Нет! Их будут пытать. И по сравнению с этими пытками наша закалка — невинная забава. Тем не менее, повторяю, это упражнение рассчитано на укрепление воли, на воспитание выдержки и готовности перенести любую боль. И прошу вас запомнить, герр Альбиг: официально мы занимаемся здесь только спортом.

— Понятно? — спросил Клаус.

— Да, — уже не раздумывая, ответил Рихард.

Он действительно многое понял. И прежде всего — то, что подготовка к грядущим боям ведется здесь всерьез. Рихард даже не спрашивал,

почему эта «спортивная» база находится в густом лесу и так тщательно охраняется. Он представил, какой вой подняли бы левые газеты, доведись им узнать о том, что здесь происходит. На всякий случай он все же спросил:

— А если сюда сунется кто-нибудь из посторонних?

— Все предусмотрено,— ответил Штольц.— Если мы услышим какой-либо подозрительный шум за забором, я немедленно подам команду «Гимнастика!» и все перейдут к обычным упражнениям для белоручек.

— А если кто-нибудь нагрянет в момент испытания, которое я только что видел?—спросил Рихард.

— Вообще-то говоря, это почти невероятно. Во-первых, за два-три километра от ворот выставлена охрана. Она очень хорошо замаскирована. Вы кого-нибудь заметили, когда ехали сюда?

— Никого,—ответил Рихард.— Вот только у самого забора стоял какой-то парень.

— Вот видите! — удовлетворенно воскликнул Штольц.— О вашем приезде охрана была предупреждена. Если все же случится так, что незваные гости нагрянут сюда в момент испытания, охрана затеет с ними длительные пререкания, а мы тем временем успеем извлечь наших ребят из ям.

...Все это произвело на Рихарда глубочайшее впечатление. На фоне этой подлинно боевой активности их сборища в Аргентине выглядели детскими играми. Но тут вдруг его обожгла неожиданная мысль.

— Скажи мне, Клаус,—спросил он,—а как потом складываются отношения между теми, кто был в яме, и остальными?

— Это нелепый вопрос,—ответил Клаус.—Каждый из членов группы побывал и внизу и наверху.

— Значит, по очереди?

— Разумеется.

— А ты... ты выдержал бы такое испытание?

— Я его выдержал. Иначе и быть не могло.

— Стало быть...

— Стало быть, я прошел соответствующую подготовку в этом кружке. Иначе я не мог бы стать тем, кем стал.

— А кем ты стал, Клаус? — Рихард понизил голос.— Я об этом никогда тебя не спрашивал, так сказать, напрямую.

— Мог бы и спросить! Я руководитель боевой молодежной группы, сочувствующей НДП.

— И такие группы есть повсюду в стране?

— Нет. Если говорить откровенно, их пока еще немного. Это наша мюнхенская инициатива.

— И я стану членом твоей группы?

— Будущее покажет,—с загадочной усмешкой ответил Клаус.

— Когда мы опять увидимся? Завтра?

— Даже раньше. Я заеду за тобой сегодня вечером. А завтра ты пойдешь на митинг, один из предвыборных митингов НДП. Мы будем его охранять.

— Охранять?—удивился Рихард.—От кого?

— От коммунистов, социал-демократов и прочих лженемцев. Они пользуются любым случаем, чтобы срывать мероприятия национал-демократической партии.

— Погоди, Клаус!—воскликнул Рихард.—Я совершенно упустил из виду: завтра я должен встретиться с одним человеком. Извини, что я не сказал тебе об этом раньше.

— Что это еще за «человек»? — насторожился Клаус.

— Видишь ли... я сам толком не знаю,—сказал Рихард.—Когда я уезжал из Буэнос-Айреса, отец рекомендовал мне нескольких знакомых, к которым я могу обратиться в случае каких-либо затруднений. Среди этих знакомых он назвал некоего Гамильтона.

— Гамильтона? — пытливо всматриваясь в лицо Рихарда, переспросил Клаус.— Американца?

— Да. Отец говорил, что в свое время Гамильтон помог ему и моей матери перебраться из Германии в Аргентину. Честно говоря, я об этом американце не вспоминал. Но вчера вечером Гамильтон сам позвонил мне.

До сих пор не могу понять, откуда он узнал, что я уже приехал, не говоря уже о номере телефона...

— Та-ак...—многозначительно протянул Клаус.

— Он предложил, чтобы мы встретились сегодня. Но, поскольку ты должен был утром за мной заехать, я решил сначала рассказать тебе о его звонке. Короче говоря, он пришлет за мной машину завтра в пять вечера. Но если состоится митинг, то я отправлю этого Гамильтона ко всем чертям.

— С чертями ты не торопись!—сказал Клаус.—Митинг начнется в двенадцать и больше двух часов не продлится. При всех условиях к пяти ты будешь свободен. С Гамильтоном тебе надо встретиться... Думаю, что твой отец не дал бы тебе плохого совета.

— А ты-то случайно не знаешь, кто он такой, этот Гамильтон?

— Совершенно случайно знаю. Американский журналист. Представляет здесь несколько американских газет... Итак, выясни, что он хочет. С моей стороны возражений нет.

...В тот же вечер Клаус привез Рихарда к себе домой. Это была удобная, хотя и довольно скромно обставленная трехкомнатная квартира. В гостиной стоял небольшой обеденный стол, слева от двери—узкий диван, у противоположной стены—телевизор. Между двумя окнами располагался застекленный сервант, заполненный пестро расписанными пивными кружками. В кабинете Рихард увидел письменный стол, заваленный какими-то бумагами, на одном его краю стояла пишущая машинка, на другом—телефон. На стене висел большой портрет Гитлера. На книжной полке справа от стола книг было немного—десятка два или три. В спальне стояла небрежно застеленная кровать.

— Вот так я и живу,—с несколько виноватой усмешкой сказал Клаус.—Квартирка, как видишь, неплохая, удобная, но порядка в ней нет. Нанять служанку не решаюсь—чужой человек в доме ни к чему. Да и спать ей было бы негде. В самом деле, не со мной же!—добавил он и рассмеялся коротким смешком.

В этот момент Рихард услышал звонки, доносящиеся из передней: три коротких и один длинный.

— Свои,—взглянув на часы, сказал Клаус.—Ровно восемь.—И, уже направляясь к входной двери, добавил на ходу:—Сейчас мои ребята начнут собираться.

И действительно, в последующие десять—пятнадцать минут то и дело раздавались условные звонки.

Клаус бегал открывать дверь и, вводя в гостиную вновь пришедшего, представлял его Рихарду: «Курт... Герман... Вольф... Макс... Герберт».

«Совсем молодые люди! Я тут наверняка старше всех»,— с удовлетворением отметил про себя Рихард.

Когда все подошли к столу, Клаус достал из серванта пивные кружки, не торопясь расставил их, а затем принес несколько бутылок пива. Откупорив их, он сказал:

— Садитесь, друзья!

Когда все гости расселись, Клаус заговорил снова:

— Я хотел бы рассказать вам кое-что о нашем новом товарище. Он приехал сюда из Аргентины. Как вы знаете, многие достойные люди покинули нашу страну, когда русские ворвались в Германию. Большинство из них устремилось в Аргентину и Парагвай, потому что антикоммунистические правительства этих стран всячески способствовали такой иммиграции. За последние десять лет я не раз бывал в Аргентине, где и познакомился с родителями Рихарда. Отец его, несмотря на преклонные годы, все еще работает. Он ведает аргентинским отделением банка, с которым связан и я. Положение, которое он занимал в третьем рейхе,—надежная гарантия его преданности нашему делу... Рихард жил мечтой о возвращении в Германию—особенно с тех пор, как узнал о создании национал-демократической партии. Завтра он вместе с нами будет участвовать в охране митинга. Особых схваток я не предвижу, но, что ни говори, это будет для Рихарда своего рода боевым крещением. А теперь выпьем за его здоровье. Хайль!

Клаус встал и поднял кружку, наполненную пенистым пивом. Все остальные тоже встали и протянули к центру стола свои кружки.

Когда с пивом было покончено, Клаус сказал:

— Ну, вот... теперь я пойду и приготовлю кофе. А вы пока можете поближе познакомиться с нашим новым товарищем. — И вышел из комнаты.

Некоторое время за столом царило молчание. Рихард не знал, следует ли ему начать разговор или надо ждать, пока к нему кто-либо обратится.

Наконец рослый, широкоплечий парень лет двадцати, которого Клаус назвал Куртом, обратился к нему с вопросом:

— Значит, тебя зовут Рихардом? Что ж, хорошее немецкое имя! Сколько раз ты уже бывал в Германии?

— Ни разу, — ответил Рихард.

Ему трудно было преодолеть свою скованность — он чувствовал себя новичком среди этих ребят, явно уже видавших виды.

— То есть как это ни разу? — недоуменно спросил подстриженный почти наголо парень.

Рихард почувствовал, что краснеет. Он боялся, что сейчас последует вопрос: «Какой же ты немец, если ты родился на чужбине и никогда не был в Германии?»

Собравшись с духом, он сказал:

— Я родился в Аргентине вскоре после того, как мои родители прибыли туда. Но то, что вам сказал Клаус, — чистейшая правда. Я мечтал приехать в Германию. И вот наконец я здесь...

— А потом ты вернешься в свою Аргентину танцевать танго? — с насмешкой спросил белобрысый юноша в очках, сидящий рядом с Куртом.

— Погоди, Вольф! — осадил его Курт. — Откуда ты знаешь, что он делал в Аргентине? Ведь там есть наша организация...

Рихард был глубоко задет. Он так мечтал вернуться на родину, и вот теперь, когда его мечта сбылась, он от своих же слышит такое.

— Я не танцевал в Аргентине, — сказал Рихард, с трудом подбирая слова. — Я работал на благо Германии. Занимался в немецком военно-спортивном лагере. На протяжении последних трех лет через мои руки проходили деньги, которые мы собирали и пересылали в Германию для национал-демократической партии. Спросите у Клауса, он не раз приезжал к нам в качестве партийного курьера, и мы подружились. Я поставил целью своей жизни...

Рихард умолк. У него перехватило дыхание, и он не мог выговорить ни слова. А хотел он сказать многое. И прежде всего то, что он вырос в подлинной нацистской семье, что его отец лично знал Гитлера, Геринга и Гиммлера...

В это время дверь, ведущая в кухню, открылась, и на пороге появился Клаус с большим подносом в руках. На подносе стояли маленькие чашечки.

— А вот и кофе! — весело воскликнул Клаус. Он опустил поднос на стол и начал расставлять чашечки с ароматным кофе. — Думаю, однако, что сначала следовало бы опрокинуть по рюмочке шнапса.

Он снова вышел из комнаты и вернулся, держа в одной руке бутылку, а в другой — рюмки.

— Что ж, дорогие друзья, — торжественно произнес Клаус, наполнив рюмки, — прежде всего предлагаю еще раз выпить за здоровье нашего нового товарища Рихарда Альбига. Он услышал зов родины и вернулся в Германию, чтобы принять участие в нашей общей борьбе. Прозит!

...Алкоголь развязал всем языки. На Рихарда посыпались вопросы. Его стали расспрашивать об аргентинских военно-спортивных кружках и о целях, которые они перед собой ставят. Кто-то спросил, приходилось ли ему участвовать в стычках с коммунистами. Рихард едва успевал отвечать на вопросы.

Затем Клаус повелительным жестом призвал всех к тишине и сказал:

— Ну, довольно, друзья! Теперь займемся делом. Где будет происходить завтрашний митинг, вам известно, а Рихарда я привезу сам. Очень важно, чтобы каждый из вас привел с собой людей, сочувствующих нашему делу. В зале надо будет занять, так сказать, ключевые позиции: на улице, у входа, и внутри зала, у дверей. Как вы знаете, довольно широкий проход разделяет зал на две части. Наши ребята займут места по обе стороны прохода, чтобы в случае чего сразу же броситься к дверям и блокировать их. Я с Рихардом и двумя связными сяду в первом ряду. Мы будем охранять наших ораторов от коммунистов, евреев и прочих подонков, которые могут явиться на митинг, чтобы сорвать его. Предотвратить это невозможно — митинг открытый...

Клаус говорил еще долго. Обмакивая указательный палец в свою кружку с недопитым пивом, он чертил на столе различные схемы. Здесь ряды, здесь проход, здесь двери... Задавал вопросы и Рихард. Ему казалось, что он уже освоился в этой компании, которая еще недавно была такой чужой. Он снова вспомнил рассказы отца о ранних годах становления национал-социализма, о том, как его дед был среди штурмовиков, охранявших мюнхенскую пивную, в которой выступал Гитлер... Рихард чувствовал, как его обволакивает атмосфера конспирации. Вот она, подготовка к реальным делам, о которых он так долго мечтал!

...Расходились они поздно. Рихард попрощался с каждым из уходящих, с радостью ощутив крепкие, мужские рукопожатия. Он понял, что его «приняли», что в его преданности делу никто не сомневается.

Митинг

Было уже около полудня, когда Рихард и Клаус подошли к большому зданию, похожему на ангар. Машину Клаус оставил на соседней улице. Рихард обратил внимание на яркие афиши, расклеенные на стенах домов. На первой же, которую он прочел, огромными буквами было напечатано:

Митинг!
Кто мы, национал-демократы? Чего мы хотим? И почему?
НДП приглашает всех желающих на митинг, который состоится в помещении «Людвиг-Паласта».

У входа в «Людвиг-Паласт» толпился народ. Один за другим подъезжали автобусы. Люди, выходившие из них, тотчас же устремлялись к дверям. Рихард стал внимательно присматриваться к участникам митинга. Он ожидал, что они в чем-то должны быть похожи на своих предшественников, — хотя бы носить сапоги и коричневые рубашки. Но он ошибся: никто — ни молодые, ни пожилые — своей одеждой не подражали ни штурмовикам, ни эсэсовцам.

Молодые напоминали скорее отпрысков состоятельных семей. Многие из них носили галстуки с традиционными узорами и вполне респектабельные пиджаки. Если внешне их что-то и объединяло, то лишь стрижка — короткая, как у армейских новобранцев.

Клаус, судя по всему, хорошо знал многих из тех, кто толпился у входа. Он обменивался с ними быстрыми рукопожатиями, приветливыми кивками и многозначительными улыбками.

Лицо одного человека средних лет, в плаще с поднятым воротником, показалось Рихарду очень знакомым.

«Кто это?» — подумал он. И тотчас же вспомнил: да это же Штольц, тот самый, который руководил «гимнастическими упражнениями»! За ним двигалась группа молодых людей, и Рихард понял, что это были ученики Штольца.

У самых дверей группа разделилась: одни, расталкивая толпу, вошли в зал, другие остались на улице.

«Охрана!» — догадался Рихард.

— Не отставай! — сказал ему Клаус.

Они прошли вперед, и тут Рихард заметил, что у самого входа, точно контролеры, стоят двое ребят из тех, с кем он познакомился накануне у Клауса.

Войдя в зал, Рихард осмотрелся. Он увидел высокий деревянный помост, сколоченный, видимо, на скорую руку. На помосте стояла довольно странная трибуна. Странная потому, что она была прикрыта большим стеклянным колпаком, хотя и без задней стенки. Сквозь стекло был виден микрофон на штативе, а над трибуной висело полотнище, на котором огромными буквами было написано:

НДП — партия истинных немцев-патриотов!

Через весь зал тянулись ряды откидных стульев. Многие из них уже были заняты. Красочные плакаты на стенах зала взывали:

Голосуйте за НДП!
Долой большевистских оккупантов!
Да здравствует Германия в ее исторических границах!

Вскоре после того, как они вошли в зал, к Клаусу подскочил молодой человек и, склонив голову набок, вопросительно поглядел на него.

— Привет, Франц! — тихо сказал Клаус.— Держись поблизости.

Франц молча кивнул и исчез. Рихард понял, что это тот самый связной, о котором Клаус упоминал накануне.

Они прошли вперед и сели в первом ряду, у самого прохода. На соседний стул Клаус положил газету — видимо, занял место для Франца. Рихард посмотрел на часы: двенадцать тридцать. Значит, до начала митинга остается еще полчаса.

Несколько минут спустя снова появился Франц. Он шепнул Клаусу несколько слов, тот скороговоркой пробормотал что-то в ответ. Рихард продолжал оглядываться по сторонам. Его особенно интересовали плакаты. На некоторых упоминалось имя Вилли Брандта, министра иностранных дел и потенциального кандидата в канцлеры от социал-демократов. Перед глазами Рихарда снова встала надпись, которую он увидел на стене дома, когда въезжал в Мюнхен: «Брандта к стенке!»

Клаус тронул его за плечо:

— Франц сказал, что к зданию приближается какая-то демонстрация. Очевидно, коммунистические подонки. Но полиция не допустит срыва нашего митинга. Наряды полицейских уже прибыли. Я дал команду закрыть двери и никого больше не пускать. Народу и так уже много.

Рихард обернулся и увидел, что в зале оставалось довольно мало пустых стульев.

— А это что за колпак? — спросил он, указывая на трибуну.

— Пуленепробиваемое стекло! — отрезал Клаус.

Рихарда охватило волнение, он почувствовал себя, как солдат, к которому приближается незримый противник.

— Ты думаешь, будут стрелять? — тихо спросил он.

— Нет, — ответил Клаус.— Обычно на наших митингах стрельбы не бывает. Но надо предусмотреть любую возможность.

— У тебя есть оружие? — уже полушепотом спросил Рихард.

— Нет, — покачал головой Клаус.— Только вот это.— И он слегка приподнял над коленями сжатые кулаки.

— Значит... драка?

— Это тоже заранее неизвестно. Но когда выступает руководитель партии...

— Фон Тадден?! Но ты мне ничего не сказал...

— Во-первых, не кричи! — одернул его Клаус.— А во-вторых, я сам только что узнал об этом. От Франца.

— Но разве Тадден здесь, в Мюнхене? — не в силах унять свое волнение воскликнул Рихард.

— Наверняка я сказать не могу, — ответил Клаус.— Он разъезжает по стране в своем бронированном автомобиле и на этот митинг может не поспеть. Будем надеяться, что...

Он умолк, потому что в это мгновение вспыхнул свет нескольких прожекторов, установленных в углах зала. Их лучи были направлены на застекленную будку. Дверь в стене, к которой примыкал помост, распахнулась, и на трибуне появился пожилой человек с величественной осанкой.

Многие из сидевших в зале вскочили со своих мест и стали хором скандировать:

— Тад-ден!.. Тад-ден!.. Тад-ден!

Внезапно раздался чей-то громкий свист, но он был заглушен топотом ног и взрывом аплодисментов.

Рихард тоже хлопал в ладоши. Самозабвенно. Он никогда еще не видел фон Таддена, разве что на фотографиях в газетах и журналах, и теперь впивался в него взглядом, словно стремясь запомнить все — и его квадратную челюсть, и широкий с залысинами лоб, поблескивающий в лучах прожекторов, и седые виски, и черный костюм, и серый галстук, выделяющийся на белой сорочке...

Наконец фон Тадден поднял правую руку, а левой придвинул к губам микрофон, давая собравшимся понять, что он хочет говорить.

И вот в притихшем зале раздались усиленные громкоговорителями слова фон Таддена:

— Соотечественники! Друзья! Спасибо вам всем за то, что вы пришли на наш митинг. Враги нашей партии — иными словами, враги Германии — утверждают, что мы не пользуемся поддержкой народа. Пусть они посмотрят на людей, собравшихся по нашему зову! Пусть услышат их аплодисменты! Это аплодируют не мне, а нашей славной национал-демократической партии!

Снова раздались аплодисменты.

Фон Тадден поднял руку и продолжал:

— Наши противники утверждают, что мы — фашистская партия. Ложь, ложь и еще раз ложь! Мы — демократическая партия. И мы докажем это не словами, а делом, когда на предстоящих выборах получим депутатские мандаты в бундестаг.

Рихард сидел с широко открытыми глазами. Он слушал Таддена, говорившего, что Германия никогда не примирится с потерей земель, которыми завладели ее враги. Он снова и снова повторял, что восстановление границ 1939 года НДП считает своей главной политической целью.

Оратор поносил коммунистов, именуя их агентами Москвы, а заодно и социал-демократов, легко смирившихся с расчленением Германии. Потом стал говорить о безработице. Он обвинял правительство в том, что оно открыло границы страны для инородцев, которые захватили рабочие места, по праву принадлежащие немцам.

Зал снова разразился аплодисментами. Неистово хлопал в ладоши и сам Рихард, не отрывая взгляда от Таддена. Ему казалось, что вот сейчас председатель партии бросит боевой клич, и немецкий народ, взявшись за оружие, сметет негодное правительство. Ему чудилось, что на улицах уже маршируют штурмовые отряды...

И вдруг произошло нечто совершенно неожиданное. Откуда-то из задних рядов зала к трибуне метнулся какой-то небольшой круглый предмет.

«Бомба!» — мелькнуло в сознании Рихарда, и он инстинктивно сжался, втянув голову в плечи.

Но это была не бомба. Ударившись о стеклянную преграду, круглый предмет раскололся с едва слышным хрустом, и по стеклу потекла желтая струйка. И тут, как по сигналу, из разных концов зала на трибуну полетели тухлые яйца и перезрелые помидоры. Разбиваясь о стекло, они растекались на нем желтыми и красными струями.

«Позор!», «Долой!», «Прекратите!», «Таддена ко всем чертям!», «Хайль!», — все эти крики сливались в единый оглушительный хор.

— Что происходит? — Рихард обернулся к Клаусу. Но тот куда-то исчез.

И вдруг из разных рядов взлетели пачки листовок. Рассыпаясь в воздухе, они падали на плечи и головы сидящих в зале людей. Пошарив по полу, Рихард поднял несколько листовок и сунул их в карман.

В это время со стороны входа в зал послышался какой-то гул и прожекторы погасли. Все, кто сидел на стульях, вскочили со своих мест и бросились к выходу. В проходе началась давка.

Растерянный Рихард тоже устремился к выходу, но застрял в плотной толпе людей. Внезапно он ощутил на своем плече чью-то руку и, повернув голову, увидел Клауса.

— Спокойно, не торопись! — отчеканил тот. И добавил скороговоркой: — Там, снаружи, идет драка. Тебе ввязываться нельзя, можешь угодить в полицию. У тебя иностранный паспорт! — пояснил он.— Тебя могут выслать из страны за участие в беспорядках.

— Я его выкину! — воскликнул Рихард.— Мои родители чистокровные немцы!

— Ладно, ладно, — оборвал его Клаус, — веди себя осмотрительно!

Наконец людской поток вынес Рихарда на улицу. А там уже в разгаре была ожесточенная потасовка. Слышались выкрики: «Нацисты проклятые!», «Предатели Германии!», «Бей коммунистов!», «Фашистские палачи!», «Жидо-масоны!». Рихард порывался ввязаться в драку, но его удерживал то ли инстинкт самосохранения, то ли приказ Клауса.

Полицейские не пытались разнять дерущихся, они окружили их и, казалось, заботились только об одном: не допустить, чтобы в схватке приняли участие люди, сбегавшиеся со всех сторон.

Рихарда толпа вынесла за пределы полицейского окружения. Теперь он стоял в стороне, наблюдая за дерущимися. Время от времени перед ним мелькало окровавленное лицо Клауса. «Сейчас начнется стрельба!» — почему-то подумал он, прижимаясь к стене дома. Но никаких выстрелов не последовало. Кое-кто из участников схватки орудовал дубинками, велосипедными цепями, металлическими прутьями. Неожиданно к Рихарду подскочил Клаус.

— Проваливай отсюда! — крикнул он. — На параллельной улице стоит моя машина. Беги туда и жди меня!

— А как же ты? — спросил Рихард.

— Подчиняйся приказу! — гаркнул Клаус и снова исчез в толпе.

«Приказу? — повторил про себя Рихард. — Не много ли он на себя берет?»

Вместе с тем какое-то шестое чувство подсказывало Рихарду, что Клаус играет здесь ведущую роль и ему надо беспрекословно подчиняться. Он дошел до ближайшего переулка, свернул на параллельную улицу и еще издали увидел машину Клауса.

До сих пор Рихард знал о столкновениях между неонацистами и их врагами лишь по газетам и письмам Клауса, но теперь он воочию убедился, что в Германии происходят настоящие схватки — вроде тех, о которых он читал в книгах, описывающих зарождение национал-социализма.

Прошло не менее получаса, прежде чем на улице появился Клаус. Вид у него был растерзанный, на лице виднелись кровоподтеки. Его сопровождали три рослых парня.

— Сейчас поедем! — сказал Клаус и, повернувшись к своим спутникам, отдал распоряжение: — А вы отправляйтесь по домам и приведите себя в порядок. Вечером я вам позвоню.

Он нащупал ключи от машины в кармане своих порванных брюк и открыл переднюю дверь. Ухватившись за руль, Клаус плюхнулся на сиденье, затем протянул руку к противоположной двери и потянул за рычажок на ней.

— Садись! — сказал он Рихарду.

Тот обошел машину, открыл дверь и сел рядом с Клаусом, который уже успел вставить ключ в замок зажигания.

Затарахтел мотор, и машина двинулась.

— Значит, митинг сорван? — с горечью в голосе спросил Рихард.

— Да, — угрюмо ответил Клаус. — Его сорвали социал-демократы и коммунисты. Впредь будем умнее.

Какое-то время оба молчали. Потом Рихард спросил:

— Куда мы едем?

— Отвезу тебя домой. Не забудь, — Клаус взглянул на часы, — через час с небольшим у тебя встреча с Гамильтоном.

«Дался тебе этот Гамильтон!» — чуть не вскрикнул Рихард. Было бы гораздо лучше, если бы Клаус заехал сейчас к нему, ведь у него столько вопросов!

Но Клаус был мрачен и неразговорчив. Рихард понимал, что его друг должен привести себя в порядок, промыть ссадины на лице, переодеться...

— Я позвоню тебе завтра утром, — сказал Клаус, когда машина остановилась у пансионата.

— Спасибо тебе! — взволнованно произнес Рихард, прежде чем выйти из машины. — Спасибо! Теперь я хоть представляю себе, как вы боретесь, какие трудности вам приходится преодолевать. Жаль только, что я сам не принял участие в...

— Всему свое время, — прервал его Клаус. — До завтра!

Гамильтон

Вернувшись домой, Рихард быстро разделся и принял душ. Усталость как рукой сняло. Он надел темно-коричневый костюм, повязал галстук с желтоватым отливом, в тон костюму, и посмотрел на часы. Четверть пятого.

«Значит, через полчаса придет машина, — подумал он. — Почему этот американшка так настойчиво добивается встречи? Надо было отговориться, попросить, чтобы позвонил, скажем, через неделю... Я, конечно, не знал, что будет митинг».

И перед глазами Рихарда встало сборище, столь бурно завершившееся какие-нибудь часа полтора назад. Ему показалось, что он снова видит перед собой застекленную кабину в желтоватых и красных разводах, растерявшегося фон Таддена, бумажный листопад...

Он вспомнил, что, обнаружив листовки на полу, подобрал их и сунул в карман. И вот теперь достал эти смятые в бумажный комок листовки и разгладил их на столе.

На одной из них красными буквами было напечатано: «Да здравствует Коммунистическая партия Германии!». На другой — тем же шрифтом и цветом: «Мы с тобой, Москва!»

«Негодяи!» — прошипел Рихард, снова смял листовки и машинально вместе с остальными бумагами сунул их в карман пиджака.

«Да, конечно, митинг был открытый, — размышлял он, — но почему же все-таки в зале оказалось столько коммунистов, социал-демократов и прочих агентов Москвы? Тут наши что-то недодумали. Дело надо было организовать иначе: своих людей надо было разместить в каждом ряду. Они следили бы за тем, чтобы никто не нарушал ход митинга. Смутьянов призвали бы к порядку, а то и врезали бы кому следует».

Насилие? Нет, он не боялся этого слова. Откровенно говоря, его не вполне удовлетворила речь фон Таддена. Рихард ожидал, что, перечислив задачи национал-демократов, оратор призовет всех выйти на улицы и силой доказать свое право на руководство Германией... Но фон Тадден этого не сделал. Очевидно, лидер партии верит, что национал-демократы победят в парламентской борьбе. Он ошибается! Хотя... хотя Гитлер стал канцлером, победив на выборах. Но это только формально. Когда Гинденбург назначил фюрера канцлером, реальная власть уже была в руках национал-социалистов. Сейчас другая ситуация... Надо поговорить об этом с Клаусом, сегодня же поговорить. Но...

Рихард взглянул на часы. Без четверти пять. Он подошел к окну и увидел, что у подъезда стоит длинный черный «мерседес». Рихард выскочил из комнаты, торопливо заперев дверь. Когда на улице он направился к лимузину, шофер вышел из кабины, шагнул ему навстречу:

— Герр Альбиг? Прошу! — Он прикоснулся двумя пальцами к козырьку своей фуражки и предупредительно распахнул заднюю дверцу...

Рихард не обращал внимания на дома, мимо которых они проезжали. Он был погружен в свои мысли. Теперь его уже занимала предстоящая встреча с американцем.

«Визит должен быть коротким, — думал он. — Представлюсь, задам пару вопросов о его здоровье. Привет от отца! Затем — всего хорошего!»

...Машина остановилась у многоэтажного серого дома. Шофер снова выскочил из машины, обежал ее и, открыв заднюю дверцу, сказал:

— Мы приехали, герр Альбиг. Я провожу вас.

Он быстрыми шагами направился к высокой застекленной двери. Едва поспевая за ним, Рихард окинул взглядом медные таблички по обе стороны двери. На них было что-то выгравировано по-английски, но у него не было времени остановиться и прочесть надписи.

Шофер по-прежнему шел впереди. Они поднимались по узорной металлической лестнице, устланной красной дорожкой. На площадке второго этажа Рихард увидел две массивные двери. Шофер услужливо распахнул дверь слева. Рихард последовал за ним по широкому коридору. Из комнат, мимо которых они проходили, доносились дробь пишущих машинок и стрекот телетайпов, слышались обрывки телефонных разговоров... Видимо, здесь находилась какая-то редакция. На дверях поблескивали мед-

ные таблички с английскими фамилиями, которые, конечно, ничего не говорили Рихарду.

Наконец они подошли к плотно закрытой двери, и Рихард ощутил какое-то странное волнение, когда на табличке, прикрепленной к двери, прочитал надпись: «Арчибальд С. Гамильтон».

Шофер открыл дверь и сказал с порога:

— Герр Альбиг к мистеру Гамильтону.

— Минуточку! — сказала девушка, сидевшая за большим столом. Она встала, шагнула к двери, обитой красной кожей, и скрылась за ней. Несколько секунд спустя она появилась снова:

— Прошу вас, герр Альбиг, мистер Гамильтон вас ждет.

Она оставила дверь открытой и отошла в сторону. Рихард перешагнул порог...

Он увидел немолодого мужчину, с сединой в висках, в сером твидовом пиджаке, из нагрудного кармана которого выглядывал уголок белого платка. Ему можно было дать и шестьдесят лет, и даже пятьдесят.

Не успел Рихард войти в комнату, как Гамильтон встал из-за стола и сделал несколько шагов ему навстречу. Они остановились посредине комнаты, друг против друга. Гамильтон положил руку на плечо Рихарда и, разжав тонкие губы, сказал:

— Так вот ты, значит, какой!

Он смерил его взглядом своих, стального цвета, почти не мигающих глаз.

— По фотографии я тебя представлял несколько иначе. Правда, тогда ты был еще маленький... Твой отец прислал мне ее много лет назад...

«О фотографии он мне ничего не говорил», — хотел было сказать Рихард, но вместо этого спросил:

— На каком языке мне говорить с вами, сэр? Английский я знаю, но не очень хорошо.

— А я, как видишь, знаю немецкий и, по общему мнению, весьма неплохо, — с улыбкой сказал Гамильтон. — Ведь я прожил в Германии в общей сложности лет двадцать пять, если не больше. Первые годы в Нюрнберге, а потом вот здесь, в Мюнхене...

Он произнес слово «Мюнхен» не по-немецки, а по-английски — «Мьюник».

— Что ж, присядем, мой молодой друг, — предложил Гамильтон и, не снимая руки с плеча Рихарда, подвел его к полированному круглому столику, стоявшему в углу кабинета. Он усадил его в кресло около столика, а сам сел в другое, напротив.

— Так, так! Очень рад тебя видеть, — сказал Гамильтон. У него была какая-то странная улыбка: улыбались только губы, а глаза оставались холодными. — Я получил письмо от твоих родителей. Они просят, чтобы я помог тебе на первых порах.

— Извините, мистер Гамильтон, — виновато проговорил Рихард, — мне следовало бы начать с того, что родители шлют вам сердечный привет. Отец велел мне обязательно разыскать вас сразу же по приезде.

Судя по всему, Гамильтону было приятно это услышать.

— Ты, наверное, голоден? — участливо спросил он.

Рихард отрицательно покачал головой.

— Что-нибудь выпьешь? Кофе, пиво, виски, джин? Не знаю, к чему ты пристрастился там, в Аргентине.

Пить Рихарду тоже не хотелось. Но из вежливости он сказал:

— Джин с тоником, если можно.

— О'кей! — воскликнул Гамильтон, встал и подошел к полированному книжному шкафу, одна из полок которого была уставлена бутылками, стаканами и рюмками. Не отходя от шкафа, он наполнил бесцветной жидкостью высокие стаканы, захватив их пальцами одной руки, а другой взял миниатюрную бутылочку с тоником. Вернувшись к столику, стал наливать тоник в стакан Рихарда.

— That's enough! Thank you! [1] — сказал Рихард.

---

[1] Этого достаточно, спасибо! *(англ.)*

— А у тебя вполне сносное произношение, — одобрительно кивнул американец и подлил немного тоника в свой стакан. Вдруг он стукнул себя ладонью по лбу и воскликнул: — Проклятый склероз! Я совсем забыл про лед. Подожди!

Он снова встал и подошел к тумбочке, стоявшей около книжного шкафа. Когда он открыл ее, Рихард увидел, что это холодильник. Гамильтон снял с полки хрустальную вазочку, наполненную кубиками льда, и поставил ее на столик. На краю вазочки висели серебряные щипцы. Рихард взял их и, захватив кубик льда, опустил его в стакан. Гамильтон положил себе три кубика.

— За твой приезд и за твоих родителей! Прежде всего — за фрау Ангелику. Ведь дороже матери нет ничего на свете. Прозит! — сказал он, поднимая свой стакан.

Они отпили по глотку.

— Послушай, — чуть наклоняясь над столом, проговорил Гамильтон, — ты ведь еще ничего не рассказал о твоих родителях. Ну, об отце я кое-что знаю. Старина Адальберт, судя по всему, процветает. А как мать? Сколько ей сейчас лет?

Этот вопрос застиг Рихарда врасплох. В самом деле, сколько же лет матери? Несколько неуверенно он ответил:

— Я думаю, лет за шестьдесят...

— Time flies [1], — задумчиво произнес американец, но тут же снова перешел на немецкий: — Она была очень красива, когда судьба свела меня с... с твоими родителями.

Немного помолчав, он усмехнулся и сказал:

— Ну, а теперь вернемся из далекого прошлого в сегодняшний день. Тебя не помяли в этой потасовке?

«Что он имеет в виду? Сегодняшний митинг? — подумал Рихард. — Но откуда он знает, что я там был?»

— Все в порядке, — неопределенно ответил Рихард.

— Насколько мне известно, — продолжал Гамильтон, — в аэропорту тебя встретили и доставили в пансионат... Так?

— Да. Спасибо, — Рихард глядел на американца в упор. — Вы имеете в виду Клауса? Да, он меня встретил. Клаус — мой старый приятель. Он несколько раз приезжал в Аргентину. И мы с ним переписывались. Он давно звал меня в Германию...

— Та-ак... — задумчиво протянул Гамильтон. — Что ж, Клаус неплохой парень...

«А вы-то его откуда знаете?!» — чуть было не воскликнул Рихард. И, хотя он сдержался и внешне не реагировал на замечание американца, разные мысли и предположения одолевали его, как рой растревоженных пчел.

«Почему Гамильтон так добивался встречи со мной? Почему он держится не просто вежливо и приветливо, а с какой-то затаенной радостью? Может быть, мне это только кажется?»

Но вопросов Рихард не задавал. Что-то его удерживало. Он ждал, что американец раскроется больше, и тогда будет ясно, как себя надо с ним вести...

— Год или полтора назад, — снова заговорил Гамильтон, — твой отец писал мне, что ты поступил в университет.

— Да. На исторический факультет, — ответил Рихард. — Но с тех пор прошло больше двух лет.

— И за это время ты успел окончить университет? — спросил американец, поднимая свои густые брови.

— Нет, — ответил Рихард, — я закончил только два курса.

— И что же ты собираешься делать дальше?

— Когда начнется учебный год, поступлю в Мюнхенский университет.

— А что привело тебя в Германию? Только честно!

— Зов предков, — коротко ответил Рихард.

— Значит, ты романтик? — прищурив глаза, спросил Гамильтон.

— Речь идет не о романтике, а о патриотизме.

---

[1] Время летит *(англ.)*

— Отец говорил тебе, что со мной можно разговаривать откровенно?

— Да. Он говорил, что в свое время вы оказали большую услугу ему и моей матери.

— Назовем это так... Но тогда расскажи более конкретно о цели твоего приезда. Должна же она существовать.

— Она существует.

— И в чем она состоит?

— Прежде всего я хочу стать историком, мистер Гамильтон.

— И поэтому ты бросил университет?

— Нет, не поэтому, конечно... Впрочем, может быть, отчасти и поэтому.

— Не говори загадками!

— Тут нет никакой загадки. Я хочу изучать историю моей страны, живя здесь, а не на другом конце света.

— Ты сказал «отчасти». А что еще?

— Для меня реальная история Германии начинается с Фридриха Великого. А продолжили ее Бисмарк и Адольф Гитлер. Коммунисты изувечили нашу историю. Так вот, я хочу бороться за возрождение Германии. В рядах национал-демократической партии. Как? Я еще сам не знаю. Могу сказать только одно: любыми способами.

— Ты думаешь, у НДП хватит сил, чтобы поставить Германию на рельсы, с которых ее столкнули? — спросил Гамильтон, глядя на Рихарда своими немигающими, точно стеклянными, глазами.

— Не знаю, — неуверенно ответил Рихард.

— А я знаю, — твердо сказал американец. — У расчлененной Германии сил не хватит. Ей нужны союзники. По крайней мере один мощный союзник.

— Союзник? — переспросил Рихард. — Вы имеете в виду...

— Вот именно! Соединенные Штаты Америки, — подсказал Гамильтон.

— Но... но ведь Америка воевала против Германии! — воскликнул Рихард. — Какая же новая цель заставит ее теперь с ней объединиться?

— Борьба с коммунизмом! — четко произнес Гамильтон и слегка ударил кулаком по столу.

Теперь Рихард поверил, что американец говорит с ним вполне откровенно.

— Да. Я понимаю, — сказал он. — Вы, конечно, правы.

— В таком случае выпьем за взаимопонимание! — улыбнулся Гамильтон и поднял свой стакан с недопитым джином. — Итак, ты намерен вступить в НДП? — немного помолчав, спросил он.

— Конечно.

— И принять гражданство ФРГ? Ведь у тебя аргентинский паспорт и виза на три месяца?

— Да... Я даже не знаю, насколько трудно будет уладить все формальности.

— С божьей помощью все легко. Gott mit uns! [1], как любят говорить твои соотечественники.

— Вы не могли бы в этом случае выступить в роли господа бога? — с улыбкой спросил Рихард.

— Попробую, — сказал Гамильтон, — но при одном условии.

— Каком? — насторожился Рихард.

— Ты вступишь в НДП и займешься политической деятельностью всерьез. Я хочу, чтобы ты сделал карьеру в партии, которая, возможно, со временем придет к власти.

— Вы хотите, чтобы я стал политиканом, одним из тех, кто с утра до вечера чешет языком? — с раздражением воскликнул Рихард.

— Я хочу только одного, — чеканя слова, ответил Гамильтон. — Я хочу предостеречь тебя: никаких авантюр! Ты должен тщательно изучить политическую ситуацию в Германии. В результате выборов у власти могут оказаться социал-демократы во главе с Брандтом. И тогда правительство пойдет на примирение с Москвой и со всем восточным блоком. А задачей твоей партии станет борьба за то, чтобы оставить германский

[1] С нами бог *(нем.)*

вопрос открытым, а положение на восточных границах считать лишь временным.

— Большое спасибо за ваши советы, — с несколько преувеличенной вежливостью проговорил Рихард. — Я их, конечно, учту. И если мне предложат участвовать в какой-либо схватке, я обязательно посоветуюсь с вами.

— О-бя-за-тель-но! — с расстановкой повторил Гамильтон, сверля Рихарда своим взглядом. — Иначе отдашь богу душу где-нибудь под забором. Кстати, имей в виду: затеешь какую-нибудь глупость, я узнаю об этом еще до того, как ты успеешь ее сделать.

— Еще до того?.. — удивленно переспросил Рихард. — Каким образом?

— Считай меня пророком. Или ясновидящим. Впрочем, я, конечно, шучу! — Гамильтон встал. — Что ж, на сегодня хватит. Не знаю, запомнишь ли ты мои советы, но об одном помни: ты мне дорог.

— Но чем я заслужил... — начал было Рихард.

— Считай, что мне дорог каждый борец против коммунизма. А о моих давних связях с твоими родителями я уже не говорю.

Гамильтон подошел к письменному столу, черкнул что-то в блокноте и вырвал листок. Затем выдвинул верхний ящик и достал оттуда какой-то конверт. Подойдя к Рихарду и протягивая ему листок, он сказал:

— Это мой телефон. Звони мне в любое время... И возьми конверт.

В большом незаклеенном конверте Рихард увидел пачку денег.

— Что вы, мистер Гамильтон!.. Зачем?.. Как можно?! — растерянно пробормотал Рихард, пытаясь вернуть конверт американцу.

Но Гамильтон, заложив обе руки за спину, сказал с усмешкой:

— В компанию, которую ты со временем возглавишь, я хочу войти на правах акционера. А пока я настоятельно рекомендую тебе сменить пансионат на собственную квартиру. Либо купить, либо снять на длительный срок. А это обойдется недешево.

— Но у меня много денег! — воскликнул Рихард, все еще пытаясь отдать конверт Гамильтону. — Отец об этом позаботился.

— Денег никогда не бывает слишком много, — наставительно произнес американец. — Особенно при здешней дороговизне. Я рад, что в свое время помог твоим родителям. А теперь я хочу хоть немного помочь сыну... — И уже повелительным тоном добавил: — Положи деньги в карман. И прекратим разговор на эту тему!

Рихард понял: возражать бесполезно. Он сунул конверт во внутренний карман пиджака.

— Вот и хорошо! — улыбнулся Гамильтон. — Он подошел к Рихарду еще ближе: — А теперь попрощаемся!

Тот протянул было руку, но Гамильтон, обхватив его голову обеими руками, прикоснулся своими тонкими, плотно сжатыми губами ко лбу Рихарда.

Потом, слегка оттолкнув его от себя, сказал:

— А теперь поезжай. Машина у подъезда. И звони. Мы еще не раз встретимся.

По дороге в пансионат Рихард пытался разобраться в том, что произошло. Он думал: «Что ему от меня надо, этому американцу? И кто он в конце концов такой?»

Выходя из кабинета Гамильтона, Рихард еще раз взглянул на медную табличку справа от двери. Там было написано:

Арчибальд С. Гамильтон
«Джорнэл-Американ».

Рихард знал о «Джорнэл-Американ» — правда, больше понаслышке. Кажется, это была крайне правая газета, как и все издания Херста. «Но какое Гамильтону дело до меня? — размышлял Рихард. — В том, что он говорил, явно ощущалась какая-то цель. Но какая? Удержать меня от реальной борьбы? Склонить к так называемой политической деятельности, иными словами, пустопорожней болтовне? Может быть, отец просил американца «присмотреть за сыном»? Может, Гамильтон так старается потому, что и отец в свое время оказал ему какую-то услугу? И еще эта история с деньгами...»

Вспомнив о деньгах, Рихард вытащил из кармана конверт и заглянул в него.

«Нет,— подумал он,— отказаться от реальной борьбы меня не уговоришь. И деньгами тоже не купишь! Обо всем этом надо рассказать Клаусу. Ведь он знаком с Гамильтоном».

...Было около семи вечера, когда Рихард вернулся в пансионат. Он вдруг почувствовал, что очень голоден. Подойдя к стойке портье и взяв свой ключ, он спросил:

— Буфет еще открыт?

— Да, конечно,— ответил портье и добавил: — Для вас тут записка, герр Альбиг.

Не оборачиваясь, портье протянул руку назад, немного пошарил в одной из ячеек для ключей и вытащил оттуда сложенную вдвое бумажку. Не отходя от стойки, Рихард развернул ее и прочитал: «Звонил герр Клаус Вернер. Просил передать герру Альбигу, что уезжает на два дня в Дюссельдорф по банковским делам. Советует воспользоваться этим временем и осмотреть город. По возвращении немедленно позвонит».

«Так, так,— подумал Рихард,— значит, два дня я должен провести, как праздношатающийся турист».

В буфете он заказал сосиски с кислой капустой и кружку пива. Примерно в половине восьмого вернулся наконец в свой номер. Сев за стол, вынул из кармана конверт и стал пересчитывать деньги. Десять тысяч марок! «Завтра отнесу их в банк»,— решил Рихард, засунул деньги в свой разбухший карман, но, увидев, что он очень оттопыривается, решил избавиться от ненужных бумаг. Вытащил из кармана смятые листовки, которые подобрал на митинге, потом несколько толстых конвертов с письмами Клауса.

«А зачем я таскаю их с собой?» — подумал Рихард, бросив конверты на стол. На верхнем он увидел запись: «Хартманнштрассе, 88, тел. 53-24-85. Герда Валленберг».

Герда!.. За весь день он ни разу не вспомнил о ней.

Но теперь... Теперь Рихард стал вспоминать все... Вот она сидит рядом с ним в самолете... Вот она прижалась к нему, когда самолет провалился в воздушную яму...

Не отдавая себе отчета в том, что он делает, Рихард схватил телефонную трубку и, услышав гудок, стал медленно набирать номер, записанный на конверте: «Пять... три... два...» Наконец он набрал все шесть цифр. В трубке раздался продолжительный гудок. Сердце Рихарда колотилось так, что ему хотелось схватить его рукой и замедлить биение... Сейчас он услышит ее голос. Один длинный гудок. Пауза. Телефон свободен. Второй гудок... Сейчас она возьмет трубку. Третий гудок... Четвертый... пятый... седьмой... и девятый. После десятого Рихард положил трубку. «Ее нет дома,— подумал он.— Может быть, еще не приехала в Мюнхен». На всякий случай он снова снял трубку и набрал номер. Первый сигнал... второй... третий...

«Нет! — Рихард тяжело вздохнул.— Бесполезно».

Герда

На другое утро Рихард проснулся с таким ощущением, будто его кто-то толкнул. Мелькнула мысль, что он не успел сделать что-то очень важное... Немного погодя, однако, он во всех деталях вспомнил вчерашний вечер, когда тщетно пытался дозвониться Герде.

Рихард взял с тумбочки часы. Десять минут девятого. «Если она в Мюнхене и вернулась поздно вечером, то сейчас наверняка еще спит»,— подумал он. Герда говорила ему, что она журналистка «фри-лэнс» и, стало быть, не обязана торопиться с утра на работу. «Пусть поспит еще часок!» — мысленно произнес он.

Рихард снял пижаму, принял душ, оделся и спустился вниз. Поздоровавшись с портье, вспомнил, что где-то по соседству находится газетный киоск. Он выбежал на улицу, купил «Зюддойче Цайтунг», «Цайт», «НДП-курир» и вернулся обратно в гостиницу. В буфете он заказал свое любимое блюдо — яичницу с колбасой — и неторопливо накрошил туда хлеба.

Не успел он покончить с яичницей, как официантка принесла ему небольшой фаянсовый кофейник на белом никелированном подносике и молочник. Рихард наполнил чашку крепким кофе и разбавил его сливками. Потом взглянул на часы. Без четверти девять. Раньше, чем в начале десятого, звонить Герде неудобно.

Он стал просматривать газеты, прихлебывая кофе. Сначала он взял «НДП-курир», орган национал-демократической партии. На первой же странице увидел заголовок, набранный крупным шрифтом: «Красные срывают мирное собрание НДП».

Под заголовком был помещен большой снимок: здание с куполообразной крышей, толпа людей у дверей, несколько поодаль — полицейские машины и сами полицейские с поднятыми дубинками. Текст под снимком гласил: «Вчера разъяренные банды коммунистов и социал-демократов сорвали предвыборный митинг НДП и не дали говорить председателю партии фон Таддену. Вооруженные палками и велосипедными цепями, они прорвались в зал, где происходил митинг, и устроили там кровавое побоище. Вызванные отряды полиции пытались навести порядок, но безуспешно. В целях самозащиты они были вынуждены пустить в ход дубинки. Уже в самом зале им удалось утихомирить хулиганов, которые забрасывали трибуну тухлыми яйцами и помидорами. Виновность левых экстремистов не вызывает никаких сомнений. Ее подтверждают и разбросанные ими листовки, которые мы воспроизводим».

Тут же были помещены фотографии двух листовок, на которых четко выделялись лозунги:

«Долой неонацизм!»
«Да здравствует компартия!»
«Москва с нами!»

Эти листовки, утверждала газета, выдают с головой тех, кто затеял беспорядки.

В памяти Рихарда ожила картина вчерашнего митинга. Да, написано все правильно.

Он стал просматривать другие газеты. Сообщения о митинге были в каждой, но они отличались друг от друга и по объему, и по тону. Покончив с газетами, Рихард посмотрел на часы. Было около десяти. «Пора!» Он быстрыми глотками допил остатки уже остывшего кофе, свернул газеты в трубочку и торопливо направился наверх, в свою комнату.

...Он протянул руку к телефону. А что, если и на этот раз никто не ответит? Что тогда делать? Позвонить еще раз вечером? Или завтра утром?

Но мысль, что ему придется провести весь день в полном одиночестве, была невыносима. «Впрочем,— подумал вдруг Рихард,— ведь это хорошо, что Клаус уехал! Если я и встречусь с Гердой, то с гарантией, что Клаус не увидит нас вместе».

Он услышал продолжительный гудок и стал набирать номер, который теперь уже знал наизусть: Пять... три... два... Перед тем, как набрать последнюю цифру, «пять», Рихард замер. Потом разом, словно бросаясь в холодную воду, повернул диск. Прошло несколько секунд. Один гудок, второй, третий...

И вдруг, после четвертого сигнала, Рихард услышал в трубке легкий щелчок, а затем женский голос:

— Да! Слушаю!

— Герда? — крикнул Рихард так громко, что сам испугался своего голоса.

— Да, я. Кто это говорит?

— Рихард!

— Кто?

— Рихард... Рихард! Мы вместе летели в самолете. Неужели ты не помнишь?

Он был готов к чему угодно, но не ожидал, что Герда не узнает его голоса.

— А-а, Рихард! — проговорила Герда, и ему показалось, что она произнесла его имя с радостью.

— Да, да, это я! Когда ты приехала? Я звонил тебе вчера вечером.

— Вчера и приехала. Еще в первой половине дня. А вечером была с друзьями в ресторане.

Последняя фраза слегка кольнула Рихарда. Он умолк.

— Куда ты пропал? — раздался недоуменный голос Герды. — Что-то с телефоном? Алло, Рихард!

— Да, да, я слушаю! — воскликнул он, испугавшись, что Герда положит трубку.

— А я уж решила, что нас прервали, — сказала она. — Ну... как ты устроился?

— Да вроде бы все в порядке. Пансионат небольшой, но вполне приличный.

— А где находится твой пансионат?

Рихард назвал улицу.

— Что ты делал эти два дня? Осматривал город?

— Н-нет, — немного запинаясь, ответил он, — просто приходил в себя после длительного перелета.

— И даже не осмотрел Мюнхен! Почему? — с удивлением спросила Герда.

— Потому что ждал тебя! — выпалил Рихард. — Хотел, чтобы ты показала мне город.

— Что ж, — сказала Герда, — как-нибудь встретимся, погуляем...

— Нет, нет! Я хочу, чтобы мы увиделись как можно скорее! Что ты делаешь сегодня?

— Сегодня? — переспросила Герда. — Но ведь я только вчера приехала. Накопилась куча дел... Например, сейчас собираюсь пойти в редакцию.

— А потом?

Рихард понимал, что своей настойчивостью он может отпугнуть Герду, но желание увидеть ее во что бы то ни стало заглушало голос рассудка.

— Потом?.. — повторила Герда и, немного помолчав, неуверенно добавила: — Еще не знаю... Может быть, редакция даст какое-нибудь задание.

— А после этого? — не унимался Рихард.

— Послушай... — начала было она, но он прервал ее.

— Герда, — чуть ли не умоляюще проговорил он, — мы же все время друг друга теряем! Сначала в самолете, потом в аэропорту. Я и оглянуться не успел, как ты куда-то исчезла. Прошу тебя, давай встретимся сегодня! В любое время... когда ты сможешь.

— Ну, хорошо, — после короткого раздумья сказала Герда. И спросила: — У тебя есть машина?

— Нет. Откуда? — ответил Рихард, и его охватила тревога. Неужели из-за отсутствия машины сорвется их встреча?

— Хорошо, — на этот раз уже решительно сказала Герда. — У меня машина есть. Я за тобой заеду.

— Ну, если тебе нетрудно... — пробормотал Рихард.

— Ладно, — прервала его Герда, — давай договоримся так. Сейчас около десяти. Значит, в два часа дня я подъеду к твоему пансионату. Я буду в маленьком желтом «фольксвагене».

— Хорошо! Спасибо, Герда! — вне себя от радости воскликнул он. — Я буду ждать тебя у входа в пансионат с половины второго.

— Я же сказала: в два.

— Все равно! Я выйду раньше, чтобы не разминуться с тобой.

— Ну, ладно! У тебя, судя по всему, очень много свободного времени. Итак, я подъеду в два.

В ожидании заветного часа Рихард уселся в кресло, взял газеты со стола и положил их себе на колени. Но сразу же приступить к чтению он был не в состоянии. Его не оставляли мысли о Герде. Он пытался представить, как он увидит ее за рулем «фольксвагена», думал о том, куда они поедут и с чего начнется их разговор.

Но тут Рихард снова вспомнил, что Клаус запретил ему встречаться с Гердой. Она, мол, пишет статьи, направленные против НДП, и подписывается инициалами «Г. В.».

Рихард принялся поспешно перелистывать газеты. Он не глядел на их названия, не читал статей, его интересовало только одно: подпись «Г. В.». Но этих инициалов он так и не увидел. Подумав, что он мог их не заметить, Рихард стал уже более внимательно просматривать статьи и заметки, имевшие хоть какое-то отношение к НДП.

Но они были либо без подписи, либо под ними стояли фамилии, ничего Рихарду не говорящие. Убедившись, что Герда к ним непричастна, он со вздохом облегчения достал из кармана пиджака шариковую ручку и стал отчеркивать абзацы в заинтересовавших его статьях и заметках. Зачем? Он и сам не мог бы ответить на этот вопрос. Но его не оставляла смутная мысль об использовании этих материалов в каких-то дискуссиях или, может быть, в спорах с Гамильтоном, если придется с ним еще раз встретиться.

Рихард прочитал, что министр внутренних дел Мерк в своей речи в ландтаге заявил: «Хотя и нельзя сказать, что наше государство сотрясают беспорядки, тем не менее не следует упускать из виду, что все больше и больше приходят в движение силы, целью которых является насильственное свержение существующей государственной структуры».

«Кого он имеет в виду? — подумал Рихард, подчеркивая этот абзац. — Коммунистов? Нет, сейчас вся политика вертится вокруг НДП и ее возможных успехов на осенних выборах. Говоря о насильственном свержении существующей государственной структуры, министр, конечно, имеет в виду цели НДП — пусть до поры до времени скрытые».

Далее он прочитал, что мюнхенцам все еще угрожают не разорвавшиеся со времен войны бомбы: за последние двадцать пять лет на территории города их было обнаружено сто двадцать три.

Подчеркивая это сообщение, Рихард подумал, что можно было бы устроить хороший взрыв и отнести его на счет такой бомбы.

Статья о цветных и «полукровках» в Германии... Заметка о том, как чернокожего выставили из отеля.. «Взломщики приехали на грузовиках»... «Ограблен во время богослужения»... «Цены стремительно растут»... «Главный вокзал — пристанище воров и уголовников»... «На крыше одного мюнхенского рыбного магазина — перед объективами американских кинокамер — писатель Гюнтер Грасс ругал последними словами бундесканцлера Курта Георга Кизингера, министра финансов Франца Йозефа Штрауса и издателя Акселя Шпрингера»...

«Хватит!» — устало проговорил Рихард. Его охватило гнетущее ощущение собственного бессилия. Он думал о том, что в стране идет борьба за власть — и отнюдь не только в стенах бундестага. С каждым днем она достигает все большего и большего накала. Где-то взрываются бомбы, министры опасаются свержения правительства, растет неприязнь к «полукровкам» и к иностранцам, захватывающим рабочие места, которые по праву принадлежат немцам. Время действовать! А Клаус даже не дал ему возможности вступить в схватку с коммунистами! Старик Гамильтон уговаривает его стать парламентским болтуном. Да и сам фон Тадден не призывает партию взяться за оружие и устроить врагам Германии такую же «хрустальную ночь», какую фюрер в свое время устроил евреям. Нет! Он ограничивается пустопорожними политическими лозунгами, видимо, не понимая, что они ровным счетом ничего не стоят, если их не подкрепить силой.

И вдруг Рихард вспомнил о своем намерении, которое до сих пор не осуществил. Еще в самолете он прочитал газетное объявление: тот, кто хочет помочь НДП, может перевести деньги в банк — на текущий счет этой партии. Он тогда записал номер счета на одном из конвертов с письмами Клауса. И Рихард принялся перебирать конверты. Вот номер телефона Герды... Скоро, теперь уже очень скоро он ее увидит! Потом Рихард нашел нужный ему конверт. Там было написано: «т/с 9078450».

Может быть, использовать время, остающееся до приезда Герды, — узнать у портье адрес ближайшего почтового отделения и сбегать туда? Нет, пожалуй, не стоит. Вдруг там очередь, и он не успеет обернуться? Лучше сделать по-другому. Ведь Герда заедет за ним на машине. Он попросит ее остановиться у почты или у банка и подождать, пока он...

«Какую же сумму перевести? — Рихард нащупал в кармане толстую пачку денег, полученных от Гамильтона. — Ну, скажем, тысячу марок».

Он придавал этому денежному переводу особое значение. Как-никак это первое реальное действие, которое свяжет его с НДП. Пусть пока еще формально, но все же свяжет...

Как Рихард и сказал Герде, в половине второго он уже стоял у входа в пансионат.

Движение на этой улице было односторонним, и автомашины тянулись нескончаемой вереницей. Останавливаться можно только на противоположной стороне, и Рихард с тревогой подумал, что в этом потоке машин он не разглядит «фольксваген» Герды. Он решил заблаговременно перейти на другую сторону, но полосатая дорожка перехода была довольно далеко. Чуть ли не бегом он устремился к ней и, дождавшись зеленого света, перешел на другую сторону улицы. Затем вернулся назад и остановился напротив пансионата.

...Время тянулось медленно. Рихард подумал, что следовало бы купить цветы для Герды, но тут же вспомнил, что небольшой цветочный магазин находился на той же стороне улицы, что и его пансионат. Однако идти обратно он не решился, тем более что его часы показывали уже без десяти два.

Герда приехала ровно в два. Он еще издалека увидел маленькую желтую машину. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, Рихард поднял руку и бросился прямо в поток автомобилей по направлению к «фольксвагену». Со скрипом и визгом тормозили машины, пронзительно гудели клаксоны, но он ничего не видел и не слышал. Ничего, кроме желтого «фольксвагена».

Герда едва успела затормозить. Рихард рванул дверь и плюхнулся на низкое сиденье рядом с ней.

— Ты что? — возмутилась она. — Думаешь, ты у себя в Буэнос-Айресе?

— Герда, извини, ради бога! — тяжело дыша, пробормотал Рихард. — Я боялся, ты проедешь мимо... Давай на минутку остановимся... я... я хочу посмотреть на тебя...

Герда усмехнулась, слегка притормозила и, пропуская идущие справа машины, стала приближаться к тротуару. Когда «фольксваген» остановился, Рихард сжал руки Герды, все еще лежавшие на рулевом колесе. Она повернулась к нему. Светловолосая, голубоглазая, она смотрела на него с едва заметной улыбкой.

— Мы расстались так недавно, — сдавленным от волнения голосом произнес Рихард, — а кажется, что прошла вечность.

— Не преувеличивай! — сказала Герда, теперь уже широко улыбаясь. — Ты явно склонен к преувеличениям... Впрочем, я тоже о тебе вспоминала.

— Это правда? — воскликнул Рихард.

— Я всегда говорю правду, — ответила она, взмахнув своими длинными ресницами, и добавила: — Если особые обстоятельства не вынуждают меня лгать.

Эти слова она произнесла, словно думая о чем-то своем...

Рихард промолчал. Герда убрала свои руки, и у него возникло ощущение, будто она отдалилась от него.

И все же его захлестывала радость: Герда здесь, рядом!

«Сказать ей, как я провел эти два дня? — думал он. — Рассказать ли о митинге и о том, что там произошло? Впрочем, она наверняка знает об этом из газет. Все подробности, кроме одной: что я там тоже был... Нет! Не надо говорить на политические темы. И так из-за политики у нас была размолвка в самолете».

Молчание нарушила Герда. Она спросила:

— Так какие же у тебя планы на будущее?

— Сначала хочу осмотреться, — слегка пожимая плечами, ответил Рихард. — Увидеть нынешнюю Германию... как бы это точнее выразиться... в натуральную величину. Прежде всего, конечно, Мюнхен... А потом уже буду думать о работе.

— Имей в виду, что найти работу далеко не так просто, — заметила Герда.

— Да, ты говорила мне об этом в самолете. Но сейчас я думаю о временной работе. А осенью, возможно, поступлю в университет.

— Но ведь ты историк. Значит, окончил университет в Буэнос-Айресе?

— Если говорить откровенно, Герда, то не окончил.

— Почему?

— Как тебе сказать... Я выбрал себе узкую специальность — историю Германии. И решил, что лучше всего ее приобретать здесь.

— И в какой же университет ты намерен поступать?

— В Мюнхенский. Или в Эрлангенский, это ведь недалеко от Мюнхена.

— Ну, ладно! — сказала Герда. — А пока мы теряем время. Поехали осматривать город. Только предупреждаю: по-настоящему осмотреть Мюнхен невозможно даже за месяц, не то что за несколько часов. Но я надеюсь, что некоторое представление ты все же получишь.

— Это лучше, чем ничего, — ответил Рихард. — Да и к тому же мы будем вместе, а это для меня гораздо важнее любых достопримечательностей.

— Тогда поехали! — Герда повернула ключ зажигания. Тихо затарахтел мотор. Машина тронулась.

Рихард неотрывно смотрел в окно. Перед его глазами, казалось, оживали цветные фотографии из иллюстрированных журналов, которые он читал в Аргентине.

...Почему он остановил свой выбор на Мюнхене? Потому ли, что тут жил Клаус? Или потому, что город славился своим университетом? Или потому, что Баварию считал землей истинных немцев? Ведь не какой-нибудь другой город, а именно Мюнхен стал колыбелью национал-социализма!

Рихард смотрел в окно, даже забыв на какое-то время о сидящей рядом Герде. Мимо проплывали старинные дворцы, готические церкви, тенистые скверы, затейливые памятники... Попыхивая трубками или сигарами, на скамьях отдыхали старики в тирольских шляпах с перьями.

— Красивый город! — сказал Рихард, не поворачивая головы. — А как называется улица, по которой мы сейчас едем?

— Принцрегентенштрассе.

— А это что за громоздкое здание?.. Вон там, слева, мы его только что проехали.

— Хочешь посмотреть? — спросила Герда, выруливая к тротуару и останавливая машину. — Здание это, можно сказать, в какой-то мере историческое...

Они вышли из машины и вернулись к большому дому с колоннами.

— А почему оно вошло в историю?

— Гитлер задумал его как «Храм искусства». Но надо сказать, что фюреру не повезло с самого начала. Закладывая здание, он сделал три традиционных удара молотком, и рукоятка молотка сломалась...

— Тем не менее, — как бы возражая Герде, заметил Рихард, — здание очень красивое. Одни колонны чего стоят!

— Нам оно не нравится, — слегка передернув плечами, сказала Герда.

— Кому это «нам»? — настороженно спросил Рихард.

— Мюнхенцам, — ответила Герда, делая вид, что не замечает тона, каким Рихард задал свой вопрос. И добавила: — А насчет колонн... именно из-за них здание прозвали «Аллеей вареных колбас». Впрочем, о вкусах не спорят.

Рихарда резануло пренебрежение, с которым Герда говорила об этом здании. Но он промолчал. Какая, в сущности, разница? Осмотр города был для него лишь поводом увидеться с Гердой и пробыть с ней как можно дольше. Они вернулись в машину.

— А у тебя есть какие-нибудь родственники в Мюнхене? — неожиданно спросила Герда, поворачивая ключ, который оставался в замке зажигания.

— Нет, — ответил Рихард, когда машина тронулась.

— А тот парень, который встречал тебя во Франкфурте... Он кто? Просто знакомый?

Этот вопрос удивил Рихарда. Значит, она все-таки успела увидеть Клауса перед тем, как исчезла?

— Да, и даже очень близкий. А ты что, знаешь его?

— Откуда мне его знать? — пожала плечами Герда.

— Видишь ли, — объяснил Рихард, — он довольно часто бывает в Аргентине. По делам банка, в котором работает мой отец. В Буэнос-Айресе мы и познакомились.

— Обрати внимание на этот дом, — торопливо сказала Герда, притормаживая машину. Тон у нее был такой, словно разговор о Клаусе уже не представлял для нее никакого интереса.

Рихард взглянул в сторону, куда указывала Герда. Они проезжали мимо массивного трехэтажного здания.

— А что в нем особенного? Что там помещается? — спросил он, когда Герда остановила машину.

— Сейчас? Обыкновенное музыкальное училище.

— Ну и что?

— Сейчас-то ничего! Но тебе как историку, наверное, интересно будет узнать, что именно в этом здании было подписано небезызвестное «Мюнхенское соглашение». Надеюсь, о нем-то ты слышал?

— Еще бы! — с обидой воскликнул Рихард. — Можешь не сомневаться! Англия и Франция удовлетворили тогда законные территориальные притязания Германии.

— За счет Чехословакии, — иронически проговорила Герда.

— Я лично считаю, что за счет ликвидации несправедливости. Судеты — немецкая земля! — выпалил Рихард. И добавил: — А после войны снова восторжествовала несправедливость.

— И поэтому НДП требует восстановления Германии в границах тридцать девятого года? — спросила Герда, слегка прищурив свои голубые глаза.

«Стоп! — скомандовал себе Рихард. — Никаких разговоров об НДП!»

— Я, к сожалению, плохо представляю себе программу этой партии, — сказал он, разводя руками. — Но полагаю, что такую же позицию занимают очень многие немцы. Я, конечно, имею в виду патриотов.

— Честно говоря, мне не по душе патриотизм, который может привести к третьей мировой войне... Мой отец погиб в сорок пятом под Берлином.

— Прости меня, Герда! — Рихард дотронулся до ее руки. — Ты мне ничего не говорила о своих родителях.

— Отца я не помню. Но мать много рассказывала мне о нем. Он был типографским рабочим. Я его полюбила, так сказать, заочно. И возненавидела войну!.. Кстати, я до сих пор ничего толком не знаю о твоих политических взглядах.

«Осторожно, осторожно!» — мысленно приказал себе Рихард. Потом проговорил ни к чему не обязывающим тоном:

— Какие там взгляды! Просто я люблю Германию. А война... Нет, мне тоже не хотелось бы воевать.

— Если так, то мы с тобой единомышленники, — удовлетворенно проговорила Герда. — Но надо знать Германию, чтобы полюбить ее по-настоящему. Ты родился в Аргентине и прожил там всю жизнь. И Германия для тебя — понятие отвлеченное.

— Вот я и надеюсь, что ты меня просветишь, — сказал Рихард, улыбнувшись. — Между прочим, как ты думаешь, кто победит осенью на выборах?

— Трудно сказать... — уклончиво ответила Герда. — К тому же я не была в Германии больше месяца.

— Социал-демократы? Или, может быть, коммунисты? — не унимался Рихард.

— Будущее покажет, — коротко ответила она. — Не думаю, что коммунисты получат места в бундестаге.

— А НДП? — спросил Рихард.

— Возможно, — сказала Герда и, как бы прекращая разговор на эту тему, заключила: — Ладно, поехали дальше! — Посмотрела на часы и добавила: — У меня в распоряжении не так много времени. Как и полагается настоящим туристам, давай начнем осмотр с вокзала.

...Впрочем, у вокзала Герда даже не остановила машину. Когда они проезжали мимо этого мрачного здания, она сказала:

— Вот это и есть Главный вокзал. Если верить газетам, то после войны он стал пристанищем профессиональных мошенников, воров, хулиганов и прочих уголовников. Полиция не в силах с ними справиться.

Рихард, глядя в окно, мысленно отмечал названия улиц, по которым они теперь проезжали. Шиллерштрассе... поворот... Петтенкоферштрассе... поворот... Зендлингерштрассе... Слева промелькнула большая церковь с множеством башенок и барельефов. Герда только успела сказать: «Адамкирхе»...

Потом машина вырвалась на площадь, пересекла мост через Изар и оказалась на речном островке, название которого значилось на большой эмалированной табличке: «Музеумсинзель».

— Вот здесь находится знаменитый Немецкий музей, — сказала Герда. — Осмотришь его как-нибудь без меня, сейчас нет времени.

...От дворцов и церквей, мимо которых они проезжали, у Рихарда голова уже шла кругом. Неожиданно Герда остановила машину у тротуара.

— А здесь мы ненадолго выйдем. Вот это, — указала она, — Мюнхенский университет. Я его выпускница... В годы после первой мировой войны у него, надо сказать, была дурная слава. И он ее заслуживал... В двадцать третьем многие студенты были сторонниками гитлеровского путча, а десять лет спустя восторженно отплясывали вокруг костров, на которых фашисты сжигали книги... Но были и другие страницы в его истории. При входе в здание ты увидишь мемориальную доску, установленную в память о «Белой Розе» — самой известной из мюнхенских групп Сопротивления. Во время войны члены группы — брат и сестра Шолль — разбрасывали антинацистские листовки. Их поймали и казнили. К вынесению смертного приговора Шоллям и ряду других студентов был причастен прокурор Вальтер Ремер. Но после войны он даже не был привлечен к ответственности. Более того, его назначили на высокую должность в Федеральном министерстве юстиции.

Рихард почувствовал, с какой злобой Герда произнесла последнюю фразу.

«Так кто же она, кто? — мучительно размышлял он. — Коммунистка? Или, может быть, всего лишь беспартийная либералка? Тогда это не так страшно».

...Они снова сели в машину и двинулись дальше. На углу Тюркенштрассе и Бриннерштрассе Герда указала на ничем не примечательное здание с вывеской «Банк».

— А вот здесь находился так называемый Виттельбахский дворец. В нем размещалось городское управление гестапо. Здание снесли, когда я была еще девчонкой, и на его месте построили другое. Впрочем, — усмехнулась Герда, — дом приобрел известность еще в девятнадцатом году, когда здесь была резиденция мюнхенского советского правительства... В Аргентинском университете вам об этом рассказывали? Нет? Еще живы немцы, которые в свое время называли этот дом Красным дворцом. Впрочем, может быть, его окрестили так потому, что фасад дворца был выложен красным кирпичом.

— А как называется эта площадь? — спросил Рихард.

— «Площадь жертв национал-социализма».

— А «Площади жертв коммунизма» в Мюнхене нет? — ехидно спросил Рихард. — Не думаю, что приход коммунистов к власти — пусть даже на короткий срок — обошелся без жертв.

— Возможно, не спорю, — ответила Герда, пожимая плечами, и задумчиво добавила: — А какая борьба обходится без жертв?

...Они молча подошли к машине. Перед тем, как включить мотор, Герда взглянула на часы:

— Не обижайся, но времени у меня в обрез. Успею только отвезти тебя в пансионат.

— Как? Уже? — воскликнул Рихард. Мысль о том, что они скоро расстанутся, была невыносимой. — Жаль, что ты так торопишься, — сказал он сумрачно. — Ты не поверишь, но иногда мне кажется, что я приехал в Германию только ради встречи с тобой! — И неожиданно для самого себя спросил: — Скажи все-таки, если не секрет, ты замужем?

— Хотя это и государственная тайна, но я охотно выдам ее,— весело проговорила Герда.— Нет, я незамужем. Может быть, ты хочешь сделать мне предложение?

— Ты, конечно, шутишь. Или даже смеешься надо мной,— с грустью сказал Рихард.— Нет, я не осмелился бы сделать тебе предложение. У меня еще даже нет работы. Я понимаю, что такой муж тебе не нужен. Но если бы ты захотела иметь настоящего друга... Если бывает любовь с первого взгляда, почему не может так же возникнуть и дружба? Она менее требовательна, чем любовь... Ты, очевидно, хорошо обеспечена?

— С чего ты это взял?— удивленно приподнимая брови, спросила Герда.

— Ну, а как же?.. Летаешь по всему свету, у тебя машина...

— Нет,— серьезно ответила она,— ты ошибаешься. Мой отец погиб на войне, как я тебе говорила. Мать еле сводит концы с концами. Разъезды? Но ведь я журналистка и езжу не за свой счет. Машина? Эта развалюха куплена в рассрочку.

— Так... понятно...— задумчиво произнес Рихард.— Прости меня за эти расспросы... Но все же как-то странно: мы ведь могли никогда не встретиться с тобой.

Некоторое время они ехали молча.

Рихарду не терпелось посмотреть на места, связанные с именем фюрера,— в первую очередь, конечно, на знаменитую пивную. Но он не решился попросить Герду повезти его туда. Он понимал, что она не питает особых симпатий к национал-социализму, и поэтому не хотел проявлять повышенного интереса к этой теме. Но внутренне он пытался найти какое-то оправдание Герде. Ведь рядом с ней не было такого убежденного национал-социалиста, как его отец, да и училась она уже в такие времена, когда история третьего рейха преподавалась тенденциозно, когда учителя пытались очернить, оклеветать фюрера...

— Послушай, Герда,— сказал Рихард,— в нашем распоряжении еще есть немного времени. Может быть, заедем в какой-нибудь ресторан или кафе?

— Сейчас я отвезу тебя домой,— твердо ответила она,— а насчет еды сама позабочусь. Да мне и есть-то сейчас не хочется.

— Хорошо,— покорно проговорил он,— подбрось меня домой.

...Машина уехала. Рихард стоял у своего пансионата и глядел ей вслед.

«Вот так!— подумал он.— Кончилось наше первое свидание. Когда теперь будет второе? И будет ли?»

— ...Когда я тебя снова увижу?— спросил Рихард, прощаясь с Гердой.

— Ты же знаешь мой телефон,— сказала она.

— А точнее?

— Сейчас мне сказать трудно. Позвони.

Он вошел в пансионат, взял ключ от своей комнаты, поднялся на второй этаж, открыл дверь. Комната была убрана, постель застелена, газеты, которые он разбросал, аккуратно сложены в стопку на столе.

Рихард сел в кресло и посмотрел на часы. Спуститься вниз и пообедать? Да нет, есть ему не хотелось. Он прикрыл глаза и стал перебирать в памяти все детали свидания с Гердой. Вот он увидел ее желтый «фольксваген» в потоке машин. Вот они колесят по городу, время от времени останавливаясь то тут, то там... Вокзал... Университет... «Белая Роза»... Мутные воды Изара... Рихарду казалось, что и сейчас рядом с ним сидит Герда в своей синей кожаной куртке, ее светлые волосы собраны сзади в пучок и перевязаны ленточкой, длинные пальцы охватывают рулевое колесо...

Когда они возвращались, Рихарда охватило непреодолимое желание обнять Герду и поцеловать ее на прощание, но они попрощались, даже не пожав друг другу руки. Когда Герда затормозила свой «фольксваген» у подъезда пансионата, раздались нетерпеливые гудки идущих сзади машин. Они лишь успели перемолвиться двумя-тремя фразами, и Рихард выскочил на тротуар.

Да, за все время поездки не произошло ничего, что давало бы ему повод считать эту встречу каким-то новым этапом в их отношениях. Ничего! Герда держалась спокойно, даже несколько отчужденно, можно сказать, как добросовестный гид. Правда, она немного разволновалась, когда они стояли у входа в университет и она начала рассказывать о «Белой Розе».

«Что ж,— подумал Рихард,— это вполне естественно. Ведь университет был для Герды ее «alma mater», она провела в его стенах не один год».

Когда же они увидятся снова? Когда? «Сейчас мне сказать трудно. Позвони...»— вот и все, что она ответила на вопрос о следующей встрече.

«Я увижу ее! И не раз! — стал успокаивать себя Рихард.— Конечно, несколько дней надо выждать». И тут его охватила тревога: «Да, но ведь к тому времени вернется Клаус! А он строжайше запретил мне встречаться с Гердой. Правда, Мюнхен — большой город. Можно найти такое место, где Клаус нас наверняка не увидит. И все же...»

И все же Рихарду тяжело было сознавать, что он не подчинился приказу Клауса. Он вспомнил, как отец, рассказывая ему о зарождении национал-социализма, не раз повторял, что одним из нерушимых законов организации была верность.

«А я здесь только четвертый день и уже нарушил этот закон! Может быть, повиниться Клаусу?— думал Рихард.— Нет, ни в коем случае! Это означало бы захлопнуть перед собой дверь, у порога которой я уже нахожусь. Клаус — человек непримиримый. Он сделает все, чтобы не допустить меня в боевую организацию НДП... Как же быть? Проститься с мечтой, ради осуществления которой я приехал в Германию? Нет, об этом страшно даже подумать. Но, может быть, Клаус подозревает Герду без всяких оснований? Ведь в газетах, которые я просмотрел, не было ни одной статьи, ни одной заметки, подписанной инициалами «Г. В.». Правда, Герда в эти дни не была в Мюнхене... Нет, надо убедить Клауса, что он ошибается. Но как? Сказать, что Герда, прямая и решительная девушка, не стала бы скрывать, что она коммунистка?.. Хорошо, пусть у нее либеральные взгляды. Она их открыто высказывает. Наверное, таких людей в Германии немало. Но на какие же слои населения ориентироваться, если подходить с такими строгими критериями?.. А Герду я, конечно, сумею убедить в правоте нашего дела. Значит, я встречаюсь с ней не только потому, что она мне нравится. Да, я сумею ее убедить. Со временем она станет нашей союзницей!».

Это были наивные мысли. Главное же заключалось в том, что Рихард полюбил Герду.

«Разве чувство к ней может помешать мне выполнять свой долг?— убеждал он себя.— Да я расстанусь с ней немедленно и навсегда, если случится что-либо подобное!»

И тут он осознал, что Герда — пусть невольно — уже помешала ему выполнить свой долг. Ведь еще утром он решил, что воспользуется ее машиной, чтобы заехать в банк и перевести деньги в фонд НДП. Номер текущего счета фонда он переписал на листок из блокнота и сунул его в карман пиджака. Сунул и забыл... Рихард почувствовал, как кровь прилила к лицу. Он понимал, конечно: ничего не изменится, если деньги поступят в фонд НДП на один день позже. Да и к тому же какая-нибудь тысяча марок мало что изменит в бюджете партии... И тем не менее ему было неприятно сознавать, что он забыл о своем долге, пусть чисто символическом, именно из-за Герды.

Он вскочил с кресла, выбежал из комнаты и запер дверь. Не сдавая ключа портье, быстрыми шагами вышел на улицу и стал всматриваться в поток машин, пытаясь разглядеть в нем свободное такси. Несколько минут спустя он увидел темно-красный «гольф» со светящимся «гребешком» такси.

Хотя Рихард по дороге в гостиницу уже успел побывать в этом банке, где у него был открыт текущий счет, он не очень четко представлял себе, далеко ли банк от пансионата.

Оказалось, что не так уж далеко. Минут через десять машина остановилась у знакомого уже подъезда, над которым красовалась надпись, выведенная золотыми буквами прямо по стене: «Коммерцбанк».

Толкнув застекленную вращающуюся дверь, Рихард оказался в большом зале. Он сразу же вспомнил, где находится окошечко, к которому подходил в прошлый раз. И узнал клерка, который обслуживал его тогда.

— Добрый день! — сказал Рихард. — Я хотел бы положить на мой счет девять тысяч марок. А на этот счет я попросил бы вас перевести тысячу марок. — И он протянул в окошко листок из блокнота.

— С удовольствием! — приветливо улыбаясь, ответил клерк. Он узнал своего клиента. — Вы желаете сделать именное пожертвование в фонд НДП?

На мгновение задумавшись, Рихард ответил:

— Нет, анонимное.

Само собой разумеется, он не боялся указать свое имя. Но считал, что будет гораздо скромнее выступить в роли анонимного сторонника партии. Ведь он просто выполнил долг сердца. И знать об этом будет только он один.

Вся банковская операция заняла несколько минут. «Теперь домой?» — подумал Рихард, засовывая в карман свою чековую книжку и квитанцию. Ему вдруг захотелось есть. Ведь с самого раннего утра у него и маковой росинки во рту не было. Но тут его осенила неожиданная мысль.

— Извините, — снова обратился он к столь любезно встретившему его клерку: — Вы не слышали о такой пивной... она называется «Бюргербройкеллер».

— О-о! — снова расплылся в улыбке клерк. — Кто же в Мюнхене ее не знает? Розенхаймерштрассе. Это в районе Мариенплатц.

— А Мариенплатц отсюда далеко?

— Нет, недалеко. Выйдя из банка, повернете налево, а затем — во второй переулок направо. Вскоре вы окажетесь на Мариенплатц.

— Спасибо, — сказал Рихард. — Теперь найду.

— Вы, очевидно, первый раз в Мюнхене? — спросил клерк.

— Почему вы так думаете? — поинтересовался Рихард.

— У вас отличный немецкий язык, но не баварский. А мы, как вы знаете, говорим на диалекте. Нас не всегда понимают в Берлине или, скажем, в Гамбурге.

— Да, я приехал совсем недавно, — почему-то смутившись, проговорил Рихард.

— Что ж, добро пожаловать! Мюнхен — самый гостеприимный город в Германии.

...Рихард довольно быстро добрался до Мариенплатц. Выйдя на площадь, он увидел Новую Ратушу и застыл в немом восхищении перед этим торжеством готики. Множество остроконечных башенок, каменные изваяния святых, окна, напоминающие амбразуры средневековых замков, ниша, в глубине которой точно на театральной сцене, виднелись какие-то сказочные персонажи в причудливых национальных костюмах. По обе стороны взмывающей ввысь башни развевались государственные флаги, а на самой ее верхушке стояла величавая фигура Христа. Он раскинул руки, то ли стремясь обнять, то ли благословляя всех, кто находился внизу.

Вдоль первого этажа тянулась колоннада, из-за которой поблескивали витрины магазинов. Под окнами второго этажа стояли длинные ящики с красными цветами. На просторной площади перед ратушей автомобильного движения не было — она была целиком отдана во власть пешеходов.

Рихард подошел к дому, на фасаде которого выделялось название:

БЮРГЕРБРОЙКЕЛЛЕР

С замиранием сердца он перешагнул порог. Он думал о том, что в свое время этот порог переступал фюрер. Да и не только он: все его соратники. У Рихарда было такое ощущение, словно он вступил в Прошлое, в героическое Прошлое Германии...

По большой комнате сновали официанты, державшие по две-три кружки пива в каждой руке. Справа и слева, перпендикулярно к стенам, стояли длинные деревянные столы. Десятки людей сидели за этими столами на таких же деревянных скамьях, склонившись над кружками с пивом и тарелками с едой. Все они говорили наперебой, гоготали, со звоном чокались кружками, чуть ли не заглушая хилый оркестрик, игравший где-то там, в глубине. Четыре оркестранта были одеты в национальные баварские костюмы.

Под окнами лежали, упираясь днищами в стену, большие бочки с блестящими медными кранами. Официанты то и дело подставляли под них пустые кружки.

Давно уже Рихард не ощущал такого радостного подъема. Конечно, и там, в Буэнос-Айресе, были хорошие немецкие пивные, и он их усердно посещал. Но сейчас он вспомнил о них как о бледном отражении «Бюргербройкеллера».

Рихард стал пробираться между снующими официантами, мимо столов в поисках свободного места. Но все скамьи были заполнены людьми, и, судя по всему, никто из них уходить не собирался.

И вдруг сквозь разноголосый гомон и звуки оркестра прорезался оклик:

— Рихард!

Но он даже не обернулся в сторону, откуда раздался голос, решив, что просто ослышался.

— Рихард, давай сюда!

Он оглянулся. С дальнего конца одного из столов ему махал рукой какой-то широкоплечий парень.

Увидев, что Рихард наконец заметил его, парень крикнул еще громче:

— Валяй сюда! Есть место!

«Да кто же это такой?» — пытался сообразить Рихард, продвигаясь вдоль стола и задевая локтем спины сидящих на скамье людей. И вдруг вспомнил. Это же Курт! Да, Курт — один из тех, кто был у Клауса вечером, накануне митинга.

— Здорово, дружище! — сказал Рихард с улыбкой.

— А ну, приятель, подвинься немного! — обратился Курт к своему соседу справа и даже слегка подтолкнул его в бок. — Этот парень приехал издалека. Он наш, окажем ему мюнхенское гостеприимство!

Рихард опасался, что возникнет перепалка, но ничего подобного не произошло. Люди за столом потеснились, и образовалось небольшое свободное пространство.

— Устраивайся поудобнее! — сказал Курт.

Рихард перешагнул через скамью и кое-как уселся.

— Что будешь есть? Что будешь пить? — спросил Курт.

— Не знаю, — ответил Рихард, взглянув на пустую тарелку, стоящую перед Куртом. — А ты что ел?

— Сосиски. Только не говяжьи, а телячьи. Тут их готовят на славу. И, конечно, пиво. — Он ткнул пальцем в большую фаянсовую кружку с откинутой крышкой.

— Ну, тогда и я то же самое. — сказал Рихард.

— Разумное решение, — одобрил Курт и гаркнул на весь зал: — Герр обер!

Склонившемуся над его плечом официанту в белой куртке он сказал, кивнув в сторону Рихарда:

— Телячьи сосиски и кружку пива для моего друга.

Выпрямившись и приосанившись, официант сделал пометку в своем блокнотике и исчез.

— Ты бывал здесь раньше? — спросил Курт.

— Нет, — ответил Рихард и, немного помолчав, добавил: — Впрочем, да бывал.

— Как это понимать? Бывал или не бывал?

— В мыслях бывал... Я очень хорошо представлял себе эту пивную.

— Знаешь о ней из книг?

— Да, из книг. И по рассказам отца о моем деде. А уж он-то бывал здесь нередко.

— Значит, еще до войны?

— Задолго. В двадцать третьем году.

— О-о, понимаю! — протянул Курт многозначительно.

— Я рад, что встретил тебя, — искренне сказал Рихард. — Часто бываешь здесь?

— Этого я не могу сказать... Когда карман пуст, особенно не разгуляешься.

— А ты где работаешь? — поинтересовался Рихард.

— Спроси лучше, где работал! — с неожиданной злобой проговорил Курт.

— Бросил работу?

— Не я бросил работу, а работа бросила меня. Вот уже три месяца, как наслаждаюсь полной свободой. Раньше был шофером.

— Ты что же... безработный? — с сочувствием спросил Рихард.

— До чего же ты догадлив! — иронически воскликнул Курт. И добавил с горечью: — Проклятая страна! Иногда хочется разбить ее вдребезги.

Эти слова отозвались острой болью в душе Рихарда. До встречи с Куртом его обволакивала царившая здесь атмосфера непринужденности и веселья. Но два слова, всего лишь два слова — «проклятая страна!» — повергли его в уныние.

Официант принес тарелку с толстыми сосисками и горкой тушеной капусты. Почти беззвучно он поставил на стол большую пивную кружку с откидной крышкой.

— А ты не хочешь повторить? — указывая на пиво, спросил Рихард. — Я угощаю, — и, не дожидаясь ответа, обратился к официанту: — Еще одну кружку!

— Спасибо, друг! — потеплевшим голосом сказал Курт. — Тут у меня еще стаканчик шнапса. Это тебе обойдется...

— Деньги пока есть, — прервал его Рихард и поднял свою кружку: — Ну, за встречу!

— За встречу! — повторил Курт. — За то, чтобы идти рядом до самой победы.

Они чокнулись.

Появился официант, протянул руку между их головами и, подхватив пустую кружку, поставил перед Куртом полную.

— Спасибо, — сказал Курт, кивнув официанту. Обхватив кружку обеими руками, он обратился к Рихарду: — Я во время первой же нашей встречи распознал в тебе товарища, партайгеноссе, как говорили в былые времена... Ну, за что мы теперь выпьем?

— За борьбу! — ответил Рихард. — За борьбу решительную и беспощадную. И за верность!

— За верность! — повторил Курт. — А Брандта — к стенке!

Они снова чокнулись и поднесли кружки к губам.

— А где пропадает Клаус? — спросил Рихард. — Мне передали от него записку: вроде бы уехал на пару дней по банковским делам.

— Не знаю, — ответил Курт, пожимая плечами. — Никаких сигналов от него пока не было.

— А между тем время не терпит. Мы должны провести какую-то решительную акцию. Акцию, которая произведет впечатление на всю страну. Ведь до выборов остались считанные месяцы... Кстати, как ты оцениваешь наши шансы?

— В стране, где бок о бок живут десятки тысяч зажравшихся бюргеров и сотни тысяч безработных вроде меня, уверенным ни в чем быть нельзя, — махнув рукой, ответил Курт. — Мы должны раскачать страну. Пробудить в сердцах немцев стыд за проигранную войну, за потерянные земли... И разве можно мириться с тем, что разные турки, греки и прочие проходимцы отнимают у нас заработки?

«Он явно опьянел» — Рихард с опаской оглянулся на соседей. Но они были заняты своими разговорами и ни на кого не обращали внимания.

— Ты считаешь, — спросил Курт, заметив настороженный взгляд Рихарда, — что люди, сидящие за этим столом, думают иначе? Хочешь, я сейчас встану и крикну: «Хайль Гитлер!» Уверен, что они ответят «Хайль!»

Рихард понял, что Курта развозит все больше и больше.

— Потише, друг, потише! — предостерег он его. — Уверен, что здесь, как, впрочем, и всюду, достаточно предателей.

И тут произошло нечто неожиданное. Худой старик, сидевший напротив, метнул на Курта взгляд, полный презрения, и проговорил надтреснутым голосом:

— Значит, хочешь крикнуть «Хайль Гитлер»? А в морду получить не хочешь?

До сих пор он обхватывал своими узловатыми пальцами стоящую перед ним пивную кружку, но теперь положил сжатые в кулаки руки на стол.

— Уж не ты ли, старая рухлядь, дашь мне в морду? — прошипел в ответ Курт.

— Найдутся охотники и помоложе меня, — не отводя глаз, ответил старик. — Значит, по Гитлеру соскучился?

— Я соскучился по работе, а при нем безработицы не было. И поганых рож не было видно — ни черных, ни желтых, ни еврейских.

— Зато были концлагеря, а потом война, — сказал старик. — И миллионы убитых.

— Ты что же, из жидов будешь? Или из коммунистов? — подаваясь вперед, спросил Курт.

— Я немец. И коммунист. А войну просидел в Дахау.

— К черту предателей! А Брандта к стенке! — выкрикнул Курт так громко, что соседи стихли и повернули головы в их сторону.

«Мне надо уходить отсюда, немедленно уходить!» — подумал Рихард. Он вспомнил, как его предостерегал Клаус, как Гамильтон уговаривал его не ввязываться в стычки. Для владельца иностранного паспорта это очень опасно.

— Я должен идти, Курт. — Он достал из кармана двадцать марок и положил их на стол. — Надеюсь, ты извинишь меня. В доме, где я живу, рано запирают двери... Я рад, что обрел настоящего друга.

Не слушая протестов Курта, он перелез через скамью и быстрыми шагами направился к выходу.

Когда Рихард вернулся к себе в комнату, на Мюнхен уже опустилась ночь. Он уселся в кресло и посмотрел на часы. Было начало одиннадцатого. «Часок посмотрю телевизор и завалюсь спать», — решил он. И вдруг его обожгла мысль: а не позвонить ли Герде? Зачем? Просто из вежливости. Спросить, как доехала, как себя чувствует.

Рихарду очень хотелось услышать ее голос. Но он одернул себя: «Нельзя быть навязчивым!» И неожиданно вспомнил, как один аргентинский друг обучал его искусству завоевания женских сердец. Он сравнивал это с шахматной игрой. Надо тщательно обдумывать каждый ход. Особенно в начале и в середине игры. И все время помнить: обратно ходы брать нельзя. Только в конце игры, уже обеспечив себе несомненный успех, можно ринуться в лобовую атаку.

Верно! Приятель был прав. Надо выждать два-три дня, пусть она сама захочет встретиться. И тогда позвонить...

Рихард включил телевизор. Показывали какой-то мультфильм. Ему это было неинтересно, но он решил дождаться программы новостей — она повторялась довольно часто. За свое терпение Рихард был вознагражден: программа открылась интервью с Адольфом фон Тадденом. Корреспондент телевидения беседовал с руководителем НДП на его квартире. Фон Тадден сидел у обеденного стола, покрытого белой кружевной скатертью. У стены стоял сервант, на нем — большой радиоприемник. Торшер с матерчатым абажуром подчеркивал неофициальность обстановки. Интервьюер сидел у стола, слева от Таддена.

— Добрый вечер, уважаемые телезрители, — начал передачу журналист, — меня зовут Макс Келлер, и я представляю здесь баварское телевидение. Мы переживаем сейчас бурную предвыборную пору. Кто победит? ХДС/ХСС? Социал-демократы? Какие шансы у НДП? Во всяком случае, интервью, которое любезно согласился нам дать герр фон Тадден, заинтересует многих из вас. Итак, герр фон Тадден, в ряде своих выступлений — как на предвыборных митингах, так и в печати — вы высказывали твердую убежденность в том, что в результате выборов НДП получит места в бундестаге. А что будет, если ваши надежды не оправдаются? Ведь тогда вам, очевидно, придется уйти с поста, который вы сейчас занимаете? — Келлер произнес эту фразу с такой улыбкой, словно сказал своему собеседнику нечто очень приятное.

Тадден слегка пожал плечами, немного подумал и неторопливо проговорил:

— Недавно один израильский журналист сказал мне, что во всей Федеративной Республике он не встретил ни одного политического деятеля, который сомневался бы в том, что НДП пройдет в бундестаг и будет иметь там свою фракцию.

...Интервью продолжалось долго. Тадден утверждал, что многие рабочие, члены социал-демократической партии, уже перешли на сторону НДП. Он ссылался при этом на победу своей партии на земельных выборах в Рейнланд-Пфальце и Баден-Вюртенберге.

Далее он сказал, что решительно отвергает договор о нераспространении ядерного оружия, выступает против признания ГДР и границы по Одеру-Нейссе...

Тут вдруг на экране появился диктор и объявил:

— На некоторое время мы прервем интервью с господином фон Тадденом, чтобы передать срочное сообщение: в Дюссельдорфе левые экстремисты пытались похитить оружие со складов бундесвера. Полиции удалось отбить атаку нападающих. Есть жертвы...

Пресловутый Борх,— продолжал диктор,— о котором так много писали наши газеты, наконец предстанет перед судом. Этот террорист из «красной бригады» обвиняется в зверском изнасиловании несовершеннолетней девочки. Следственные органы долго искали свидетелей преступления, и теперь они найдены. Продолжаем интервью с председателем национал-демократической партии господином фон Тадденом.

И снова на экране возникли Тадден и Келлер. Теперь разговор зашел о положительной программе НДП. На вопрос Келлера, правда ли, что в случае прихода к власти национал-демократическая партия восстановила бы «третий рейх», Тадден ответил резко отрицательно, всем своим видом как бы подчеркивая, что считает этот вопрос оскорбительным. «Наша задача,— сказал он в заключение,— состоит в том, чтобы заставить другие партии сдвинуться вправо».

Интервью окончилось. Диктор объявил, что сейчас будет показана вторая часть кинофильма «Дневник горничной». Рихард не видел первой части и поэтому выключил телевизор. Снова усевшись в кресло, он стал обдумывать интервью, которое дал фон Тадден. Самому себе он мог признаться, что оно его не удовлетворило. Никаких призывов к активным действиям. Намек, явно спекулятивный, на то, что, придя к власти, НДП фактически оставит в стране все без перемен.

«Ничего! — стал утешать себя Рихард. — Это лишь предвыборная болтовня. А настоящие боевики действуют. Взять, например, только что переданное сообщение о попытке захвата оружия в Дюссельдорфе!»

«В Дюссельдорфе... — мысленно повторил он, — в Дюссельдорфе... Почему мне запомнилось название этого города?»

Он вскочил, открыл шкаф, в который уже повесил свой костюм, решив, что завтра наденет другой, и стал рыться в карманах пиджака... Ага, вот эта записка, которую еще днем передал ему портье!

Он разгладил смятый листок и прочел:

«Уезжаю на пару дней в Дюссельдорф... Клаус».

«Значит, он был в Дюссельдорфе! — проговорил про себя Рихард. — В Дюссельдорфе!..»

(Окончание следует).

Давид САМОЙЛОВ

Возвращение

ПОЭМА

И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ней и нами...

Ф. ТЮТЧЕВ

...И вот он вышел из вагона
На этой станции. Светало.
Состав ушел. Пристанционно
Пахнуло запахом металла.
И вдруг огрело, словно плетью:
Тоска и жажда возвращенья,
У давнего десятилетья
Себе не вымолив прощенья.
И все же он сошел с платформы,
Прошел вдоль станционных зданий,
И сразу осени просторной
Его окутал воздух ранний.
Есть философия ухода.
Ее основы непростые
Закладывает в нас природа
И разъясняют Львы Толстые.
Уход от косяка, от стада
Оленя, чтобы в глухомани
Реки отрадная прохлада
Вошла в последнее дыханье.
Побег от пруда, от истерик
От Дьявола или от Бога
К реке, где невозможен берег,
К реке Железная дорога.
От устоявшегося быта,
Из надоевшего чертога
И от разбитого корыта —
К реке Железная дорога.
Она течет, река стальная,
И мощных поездов громада
Несется, нам напоминая
Огромный грохот водопада.
Плывут по встречным двум теченьям,
Стремясь к покою или к бурям,
От Приазовья к Припечерьям,
От Приднестровий к Приамурьям.
Несет старуху, Растиньяка,
Командировочного, йога,
Студента, дурака, маньяка
Река Железная дорога.
Несет для отбыванья срока,
Подобием соленых рыбин,
Несчастных, втиснутых в «столыпин»,
Река Железная дорога.
Она грохочет неустанно
К черте последнего итога.

И вот уж захлебнулась Анна
В реке Железная дорога.
Захватывает всех подвластных,
И увлекает с силой рока,
И сбрасывает в ров под насыпь
Река Железная дорога...
...Он издавна болел сюжетом
Про женщину и про солдата,
Что, словно пуля рикошетом,
Его судьбу задел когда-то.
...Итак, он вышел из вагона,
Прошел вдоль станционных зданий
И огляделся изумленно
На улице пустой и ранней,
На улице, что пролегала
Как раз от этого вокзала
Близ городского стадиона.
И вот что было очень странно —
Все те же самые бараки
Располагались в полумраке
Вокруг усохшего фонтана.
Два раза не вступают в реки,
Как верно отмечали греки.
Но это было наважденье:
Здесь ничего не изменилось,
И возле угловой аптеки
Все то же дерево клонилось,
Почти готовое к паденью.
И вот что перед ним предстало
И еще больше поразило:
ОНА тихонько подходила
Вдоль деревянного настила,
Хоть только-только рассветало.
Она совсем не изменилась,
А времени прошло немало.
Она ничуть не удивилась
И сразу же его узнала.
— Я знала, что ты возвратишься, —
Спокойным голосом сказала.
Она стояла в том же платье,
Задумчиво и отрешенно,
Как в миг последнего объятья
Перед отправкой эшелона.
Вошли все в ту же комнатенку —
По коридору слева третью, —
Где ничего не изменилось
За долгие десятилетья.
Все той же чистотой дышало
И было лишь продолговатей
Отражено в мерцанье шара
Никелированной кровати.
— Ну как ты жил? — она спросила.
— Да как и все. Семья, работа...
А ты?
— Воспитывала сына.
— Одна?
— Одна.
— Он где?
— На фото.
И он увидел в окруженье
Фигур, заснятых темновато,
Знакомое изображенье
Двадцатилетнего солдата.
— Вот это он, — она сказала.

— Так что ж ты мне не написала?
— Ты сам уже писал мне редко.
А вскорости и вовсе бросил...
(От станции со свистом ветра
Состав вгромыхивался в осень.)
В окошке утро прозревало.
Но были странные провалы
Во времени и изложенье.
И свет был в комнате неясный,
Как будто чуждый, непричастный
К их нынешнему положенью.
— Так как ты жил?
Ответить: «Худо»?
Но это мало означало.
И он не понимал, откуда
Начать — с конца или с начала?
Что мог он изложить ей, кроме
Отрывочных соображений
О мире, родине и доме
Без неизбежных искажений?
Всегда находятся мотивы,
Чтоб исповедь и покаянье
Откладывать, покуда живы,
И доверять могильной яме.
Как мог он ринуться в бездонность —
И опрометчиво, и слепо, —
Когда вся наша неготовность
Так явственна и так нелепа!
А надо бы начать о том, как
Когда-то, где-то черт нас дернул
Существовать ради потомков
И стать самим землей и дерном.
И как случилось — неизвестно,
Что страшный век нам зренье сузил,
Что исполнители и жертвы
Переплелись в единый узел?
Молчанье, может быть, не частность
(Однако в исчисленье грубом)
И может означать причастность,
Равняя жертву с душегубом...
...Вот именно под тем напором
Проблем и трудности решений
Он в этот день влетел на скором
На станцию порой осенней,
Схватив с собою что попало,
Оставив дома остальное...
И здесь ответить надлежало
Ему за бытие двойное.
Но обнаружились смещенья —
Осенний образ перехода:
В уходе ноты возвращенья
И в возвращенье тень ухода.
И что-то стало в нем мутиться,
Была какая-то нелепость
В том, что «уйти» и «возвратиться»
Слились в единую потребность.
И охватила жажда бегства,
Внезапный приступ ностальгии
По цельности, и по России,
И по Москве эпохи детства.
Не по большой и суматошной,
А по Садово-Самотечной,
По старой, по позавчерашней
Со стройной Сухаревой башней.

Москва тогда была Москвою —
Домашним теплым караваем,
Где был ему ломоть отвален
Между Мещанской и Тверскою.
Еще в домах топили печи,
Еще полно было московской
Роскошной акающей речи
На Трифоновской и Сущевской.
Купались купола в проточной
Заре. Ковался молоточный
Копытный стук, далеко слышный,
На Александровской булыжной.
А там, под облаком лебяжьим,
Где две ладьи Крестовских башен,
Посвистывали, пар сминая,
Виндавская и Окружная,
Откатываясь от Крестовской
К Савеловской и Брест-Литовской.
А Трубный пахнул огуречным
Рассолом и рогожей с сельдью
И подмосковным просторечьем
Шумел над привозною снедью.
Там молоко лилось из крынок,
Сияло яблочное царство
И, как с переводных картинок,
Смотрелось влажно и цветасто.
А озорство ватаги школьной!
А этот в сумерках морозных
Пар из ноздрей коней обозных!
А голуби над колокольней!
А бублики торговки частной!
А Чаплин около «Экрана»!
А легковых сигнал нечастый!
А грузовик завода АМО!
А петухи! А с вечной «Машей»
Хрип патефона на балконе!
А переливы подгулявшей
Марьинорощинской гармони!
А эта обозримость мира!
А это обаянье слога!..
Москва, которую размыла
Река Железная дорога...
— Но как ты жил? — опять спросила.
В ее глазах была тревога.
...И вновь гудком проголосила
Вблизи железная дорога.
...Он вдруг очнулся в кабинете
Над незакрытым чемоданом.
И давнее десятилетье
Тускнело в воздухе туманном.
Жена спала в соседней спальне.
Сын, возвратившись со свиданья,
На кухне шарил по кастрюлям.
В окне располагались зданья,
Подобные уснувшим ульям.
...Тогда он дернул дверь балкона,
Как открывают дверь вагона,
И вышел в мир микрорайона
Опустошенно и устало,
Не задержавшись у порога...
И вновь вблизи прогрохотала
Река Железная дорога.

1988

Игорь ВОЛГИН

Родиться в России

ДОСТОЕВСКИЙ И СОВРЕМЕННИКИ: ЖИЗНЬ В ДОКУМЕНТАХ

Глава 4. *Белая ночь*

Осенью 1825 года, завершив «Бориса Годунова», сочинитель «бил в ладоши и кричал, ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!». Через двадцать лет, весной 1845-го, Достоевский сухо сообщает брату (речь идет о «Бедных людях»): «Около половины марта я был готов и доволен».

Сравнение уязвимо. 23-летний Пушкин изгнан, признан, любим, почитаем, печатаем, знаменит. Он ни в каком отношении не схож с пребывающим в полной безвестности 23-летним самодеятельным автором. И все же их роднит чувство: то самое, которое заставляет победителя прибегать к сильным выражениям и которое в застенчивой школьной адаптации обретает вполне благонравный вид («Ай да молодец!»).

(Нелишне при этом вспомнить и Александра Блока, по окончании «Двенадцати» занесшего в дневник: «Сегодня я гений»,— что по типу соответствует пушкинской — ликующе-изумленной — самооценке.)

У Достоевского все происходит с некоторым замедлением.

Осенью 1844 года Михаил Михайлович уверяет строгих московских родственников, что не далее как в январе первое сочинение брата явится в петербургских журналах. И действительно, оно явилось в январе — правда, с задержкой на год. Но в расчетах Михаила Михайловича не было намеренных искажений. Его информация основывалась на сведениях, полученных от самого автора.

Через много лет в «Дневнике писателя» Достоевский заметит, что «Бедные люди» были начаты зимой 1845 года и что до них он ничего не писал. Оба эти утверждения не вполне точны. «Забыты» (может быть, умышленно) ранние драматические опыты. Но не упомянуты и труды 1844 года: ведь еще 30 сентября автор бодро сообщал брату, что роман почти окончен и уже перебеляется для отправки издателю.

Такая хронология психологически объяснима. Автор как бы намеренно игнорирует то, что писалось им до отставки — «параллельно» учению и службе. Он ведет отсчет лишь с момента, когда стал свободным: независимость — условие профессионализма.

Не выпустив еще сочинение из рук, сочинитель уже исчисляет день, когда получит редакционный ответ («к 14-му»!). Черта знаменательная. И позднее он будет планировать свои действия (и ответные шаги партнеров) на несколько ходов вперед, порою жестоко ошибаясь и попадая впросак.

Разумеется, к 14 октября редакционный ответ не последовал — по той причине, что рукопись в редакцию не поступала.

Проходит семь месяцев: вместо уведомления о выходе романа брат извещается о все новых и новых редакциях и переделках (их можно насчитать не

Окончание. Начало см. «Октябрь» №№ 3—4 с. г.

менее пяти). Даже после известного «готов и доволен» рукопись еще раз подвергается капитальнейшей правке. Стремление к совершенству, как известно, не имеет границ. Но наконец 4 мая 1845 года автор резким усилием воли пресекает судорожные попытки улучшить текст: «Я слово дал до него не дотрогиваться».

Итак, труд, занявший, очевидно, никак не менее года, благополучно завершен. Но вот странность: подробно информируя корреспондента о ходе работ, Достоевский, как помним, никогда не таивший от брата своих творческих мечтаний, на сей раз воздерживается сообщить, что, собственно, он сочиняет. Роман — это понятно: но о чем, из какой жизни? Даже непосредственный свидетель, а именно Григорович, отстранен от каких бы то ни было обсуждений: он видит только множество листов, исписанных мелким бисерным почерком...

Труд совершается прикровенно; до его окончания автор доверяет только собственному суду. Уж не опасается ли он сглаза? Даже название будущего творения оглашению не подлежит.

Трудно сказать, на какой стадии роман получил имя, которое нам известно. Никакие иные варианты заголовка до нас не дошли. Но, кажется, вещь и не могла быть названа иначе. В названии различим не один лишь социальный акцент. «Бедные люди» — это как бы вздох мировой скорби, вздох по всему роду человеческому (бедные люди!). Бедный человек — человек несчастный, несовершенный, далекий от идеала. Это почти божественная печаль о слабом и одиноком человеческом существе и вместе с тем — его собственная горестная самооценка.

Имя первого сочинения Достоевского — эпиграф ко всей его будущей прозе.

По убеждению Чувствительного Биографа, такое название «не означает, что Достоевский поэтизирует голь перекатную», ибо в отличие, скажем, от некоторых будущих бытописателей он «изображает не дно общества, а преддно». (Уж не Ч. Б. ли подсказал польскому юмористу тонкую шутку: «Когда я опустился на дно, снизу постучали»?)

«Кажется, что в произведениях писателя (Достоевского.— **И. В.**) только мрак. Но это не так»,— бодро декламирует Ч. Б., невольной рифмой подтверждая верность суждения.

Однако вернемся к герою.

Дело было сделано. Оставались сущие пустяки: обнародовать написанное. Но тут в образе мыслей автора вновь обнаруживается странная непоследовательность.

В марте, явно отступив от первоначальных намерений, он уверяет брата, что ни за что не отдаст свое детище в журналы, ибо там рукопись прочтут через полгода, а если и напечатают, то заплатят гроши. Следовательно, выгоднее издавать самому. «...На что мне... слава, когда я пишу из хлеба?» Экономический мотив выставляется нарочито грубо — словно бы в противовес могущим возникнуть романтическим подозрениям. Этот напускной реализм — с его демонстративным презрением к причинам высшего порядка — как нельзя лучше оттеняет эти последние...

Не проходит и двух месяцев — и настроение снова меняется. «Итак, я решил обратиться к журналам...» Разумеется, к «Отечественным запискам»: где же и начинать, как не здесь — в самом видном и почитаемом органе российской словесности? Именно здесь вершит свои приговоры не ведающий страха (но внушающий его другим!) Виссарион Белинский. Может быть, это имя, вслух, впрочем, не произносимое, и есть решающий довод в пользу журнала. Да и сто тысяч потенциальных читателей (из интересного расчета — 40 человек на номер!) — дело нешуточное[1]. Это именно та самая слава, которая ранее высоко-

[1] Достоевский ошибался. Он всходит из того, что тираж «Отечественных записок» равен 2500 экземплярам. Между тем в 1845 году тираж этот приближался к 4000. Таким образом, если подсчеты будущего автора «Отечественных записок» принимать всерьез, журнал должна была читать поистине гигантская аудитория.

мерно отвергалась. «А не пристрою романа, так, может быть, и в Неву... Я не переживу смерти моей idée fixe».

Для литератора, пишущего «из хлеба», подобный максимализм не вполне оправдан.

Достоевский вступил в литературу в мае.

«Прозрачный сумрак, блеск безлунный» как бы подсвечивают этот дебют. Событие совершается ночью, и, как все совершающееся в ночи, оно приобретает неверный, полуфантастический колорит. Собственно, этого и следовало ожидать, ибо само словосочетание «белая ночь» — отважный поэтический образ. Время как бы вывернуто наизнанку («здесь ночи ходят невпопад» — почти через век усмехнется Н. Заболоцкий), и в этом зеркальном, изнаночном, неестественно-отчетливом мире гулко, как на пустой сцене, перекликаются голоса...

Григорович и Некрасов читают рукопись вслух. (Жаль, что этот высокоторжественный миг не обрел еще своего ваятеля и живописца!) У Некрасова, ровесника Достоевского, славного пока лишь удачными издательскими спекуляциями, голос прерывается, и, не выдержав, он стукает ладонью по рукописи: «Ах, чтоб его!» (полная рифма пушкинскому — увы, одинокому — восторгу в Михайловском). Между тем белая ночь длит свое призрачное действо... И вот звучит знаменитое: «Это выше сна!» — и два молодых силуэта уже летят по вымершим петербургским улицам: надо закончить дело до наступления дня. И третий силуэт, качнувшись в распахнутом окне, поднимется им навстречу, изумленный внезапным приходом двоих...

Ночь белая болезненна, бледна.
Вот юный Достоевский у окна,
Пред ним в слезах Некрасов, Григорович...

Любопытно бы знать: с чем рифмуется Григорович?

При этом (что уже не впервой) сюжет вновь начинает двоиться. Правда, на сей раз — сущие пустяки. Григорович уверяет, что однажды утром Достоевский торжественно призвал его и прочитал вслух свое творение. Восхищенный слушатель (вернее, перво-слушатель — честь в данном случае не малая!) почти силком забрал у автора рукопись и поспешил доставить ее Некрасову. Затем оба читателя посещают Достоевского, а по уходе Некрасова Григорович (последний, натурально, остается, ибо он у себя дома), «лежа на своем диване», еще долго слышит шаги взволнованного соседа.

Версия самого Достоевского несколько иная. Он говорит, что Григорович в то время жил у Некрасова, которому он, Достоевский, отвез рукопись самолично. Ночной звонок (у Григоровича стук) в дверь наводит на мысль, что Достоевский, пожалуй, ближе к истине: зачем звонить, если у Григоровича должен иметься собственный ключ? Достоевский определенно говорит об уходе обоих ночных посетителей, что порождает некоторое недоумение относительно диванного свидетельства Григоровича.

Не вполне ясно и то, чем занимался герой в первые часы этой незабываемой судьбоносной ночи. По его позднейшему (адресованному широкой публике) признанию, после отдачи рукописи Некрасову он мирно направился «к одному из прежних товарищей», где и предался занятию, как нельзя более подходящему к случаю. «А не почитать ли нам, господа, Гоголя!» Отчего же не почитать — «и, пожалуй, всю ночь». Он вернулся домой в четыре: страшно подумать, как выглядела бы история отечественной словесности, если бы любитель поздних чтений замедлил с приходом и ночные гости удалились несолоно хлебавши.

Между тем одна воспоминательница утверждает, что автор «Бедных людей» в тесном дружеском кругу излагал этот хрестоматийный сюжет несколько иначе. Отослав рукопись в редакцию (т. е., очевидно, отдав ее Некрасову?) и терзаемый авторскими сомнениями, он якобы ринулся в пучину разврата («закутил с горя») и в ту самую ночь вернулся домой как раз после таких непохвальных отвлече-

ний. Трудно сказать, домысел ли это мемуаристки или лукавый самооговор, имеющий целью подчеркнуть опасную близость порока к чистым источникам творческого труда...

И все же, и все же... Не злоупотребляем ли мы благорасположением снисходительного читателя, задерживаясь на недостойных его внимаиия частностях и мелочах? Какая в конце концов разнница, кто кого посетил, после чего и во сколько? Для Литературы (с большой, разумеется, буквы) это совершенно неважно. Важен общий утешительный итог: на него не влияет броуновское мельтешение отдельных фактов и фактиков. Классикам подобает средний план. Долой подробности, ибо они всегда неприличны [1]!

«Бедные люди» сделали его знаменитым: буквально в одну ночь. Но это ночное признание — с блицвизитами, объятиями и слезами, а главное — с восторженным поминаинем Гоголя (чья иезримая тень, отбрасываемая из Италии, многозначительно маячит на заднем плане) — все это, хотя и предвосхитило характер дальнейших событий, однако ж не отменяло необходимости взглянуть на происходящее при свете дня.

Достоевский отдал роман Некрасову. Тем самым он вверял свою литературную участь той партии, душой и совестью которой был Белинский. От его приговора зависело все.

От Белинского зависело все, но сам он, горячий, вспыльчивый и прямой, ие выказывал и теии литературного генеральства. Он был инстанцией, производящей в генералы других. Он признавался лидером и теоретиком школы, которая вскоре, заслужив у Булгарина бранную кличку натуральной, обратит это прозвище в свое боевое знамя. Белинский жаждал социальности, сопряженной с психологизмом: «Бедные люди» пришлись как нельзя кстати.

Герольдский клик Некрасова «Новый Гоголь явился!» (автор «Мертвых душ» — мера и точка отсчета, что позволяет усмотреть в некрасовском возгласе еще и г е р а л ь д и ч е с к и й оттенок) — эта весть должна была отозваться сладкой музыкой в сердце «первого критика». Произведение восхитило его сразу и целиком. Это был сигнал для всех остальных.

«...И в гроб сходя, благословил»: благословившему оставалось жить ровно три года.

Когда все-таки был он п р е д с т а в л е н? Белые ночи все водят свой призрачный хоровод — и май неприметно переходит в июнь, и тянет на летний воздух, и грех в такую погоду сочинять письма или вести дневники, и будущие биографы недоуменно разводят руками...

«Я вышел от него в упоении...— говорит Достоевский о своем первом визите к Белинскому.— Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом».

Он запомнит свидание: звездный свой час. Отныне он обречен в поте лица своего отрабатывать выданный ему непомерный аванс.

Он признан: правда, пока только в кругу «своих». Но «неофициальный» успех «Бедиых людей», сколь ни странно, отсрочит появление их в печати. Теперь не было нужды, как некогда мечталось, отдавать роман в «Отечественные записки», где он — с подачи Белинского — мог бы явиться иезамедлительно. Имело смысл повременить — до выхода некрасовского «Петербургского сборника»: там роману была уготована особая роль.

...Делать в пустеющем Петербурге было более иечего — и 7 июня, сев на пароход, он отправляется в Ревель, к брату — единственному своему наперснику и конфиденту. Там приступает он к «Приключениям господина Голядкина» (бу-

[1] «Наивно полагаться на незыблемый авторитет классиков,— отечески журит нас один взыскательный критик.— От введения в оборот новых пикантных подробностей из их (очевидно, классиков.— И. В.) жизни этот авторитет не станет более прочным» (Сибирские огни, 1989, № 2, с. 156). Критик даже не подозревает, насколько он прав!

дущему «Двойнику»): надо ковать железо, пока горячо. Какие еще заботы одолевали его в это лето, томительное лето 1845 года, можно только догадываться: писем нет, да и писать-то, собственно, было не к кому...

1 сентября он возвращается в Петербург. Он едет морем — и от города, казалось бы, расположенного встретить его литаврами, веет на него неизъяснимой печалью. Может быть, оттого, что дело вновь происходит глубокой ночью.

«Я смутно перечувствовал всю мою будущность в эти смертельные три часа нашего въезда...» Он смотрит на город своей судьбы, на глухую и величественную панораму надвигающейся столицы. Кажется, никогда еще не возникало у него подобного чувства — такого грозного ощущения грядущей беды, такого мучительного сомнения в неотменимости выбора: «Весь этот спектакль решительно не стоит свечей».

Как будто черная сентябрьская ночь молча меряется с той, белой...

Между тем подходит октябрь, столица наполняется публикой — и в тоне его писем начинают звучать более мажорные ноты. Он запросто поминает и м е н а, давая понять брату, что это теперь — его круг, что он здесь — свой среди своих. Он бойко рассуждает о замышляемых журнальных предприятиях. Он сочиняет в е с е л о е объявление об издании «Зубоскала» и публикует его в «Отечественных записках»: следствием сего неосторожного шага станет запрещение объявленного журнала. Плачевный результат первого оригинального выступления в печати не очень огорчит автора, ибо э т о т его дебют, по счастью, останется анонимным.

Главный дебют еще впереди — и ожидание приносит ни с чем не сравнимую радость. Тем более что «терзаемый угрызениями совести», Некрасов обещает доплатить еще 100 рублей серебром сверх положенной за «Бедных людей», ранее обговоренной суммы, ибо, как сокрушенно признает, 150 рублей — «плата не христианская».

Согласимся, что подобная (без требований со стороны автора) надбавка — событие в писательском мире довольно редкое. Во всяком случае, с Достоевским такого больше не приключалось.

Хорошее дело — арифметика.

Достоевский надеялся продать роман (семь печатных листов) в «Отечественные записки» за 400 рублей серебром. Выходит — около 60 рублей за печатный лист. Некрасов, крайне стесненный в средствах, первоначально предлагает автору «Бедных людей» аккордную плату — упомянутые 150. Автор, не колеблясь, соглашается.

Для человека, пишущего «из хлеба», подобный поступок довольно странен.

Он согласен получить плату едва ли не в три раза меньшую: немногим более 20 рублей за печатный лист. Даже после широкого некрасовского жеста плата, сделавшись чуть более «христианской», все же остается весьма и весьма умеренной (примерно 35 рублей за лист). Таким образом, автор готов потерять 250, а затем — после добровольной некрасовской компенсации — 150 рублей: деньги, которые по расчету он мог бы взять с издателя «Отечественных записок» Андрея Александровича Краевского.

Обремененный расходами и долгами, ради чего он идет на такие жертвы?

Передача рукописи в «Петербургский сборник» — акт идейной солидарности. Солидарности с Некрасовым, с Белинским, но, впрочем, и с Краевским, поскольку все они в 1845 году составляют еще одну компанию.

Конечно, солиднее (да и выгоднее!) иметь дело с «самим» Краевским. Но дебютант выбирает «мечты и звуки». И не потому, что так уж чтит автора одноименной, наверняка позабытой им стихотворной книжки, а скорее — в силу молодой симпатии к сверстнику, к кругу литературных идей, ими обоими разделяемых...

Он примыкает к н а п р а в л е н и ю.

«...О к ним, с ними!»

15 ноября он впервые посещает Панаевых: там обыкновенно сходится весь кружок [1].

На следующий день — под впечатлением — он пишет брату. Если бы мы наверное не знали, кому принадлежит текст, это послание можно было бы принять за жестокую и сокрушительную пародию.

«Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное... Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоев<ский> то-то сказал, Достоев<ский> то-то хочет делать... Откровенно тебе скажу, что я теперь упоен собствен<ной> славой своей».

Вспомним: «Я вышел от него в упоении». Именно это чувство, впервые захватившее его тогда, весной, после встречи с Белинским, вновь возрождается осенью. Он словно напрочь забыл о своих недавних предчувствиях: как будто вовсе не ему пригрезилось «мене, текел, фарес» нагнавшей на него тоску петербургской ночью...

«Эх, самолюбие мое расхлесталось!» И — как высший градус этого «расхлеставшегося» самолюбия — передача чужого, но отнюдь не отвергаемого мнения: «Гоголь... не так глубок, как я».

Гоголь упомянут как нельзя кстати. Поразительно только, что такой знаток и ценитель гоголевских писаний не улавливает в собственной захлебывающейся речи этот знакомый звук. Впрочем, может быть, в слове «рас х л е с т а лость» как раз и содержится скрытое указание на имя?

«Да, и в журналы помещаю... «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец!»

Автор «Бедных людей» проговаривает свой эпистолярный монолог в той же — хлестаковской — тональности. Он, автор, тоже «с Пушкиным на дружеской ноге». Во всяком случае, фамилии «аристократишек» — князя Одоевского и графа Соллогуба — помянуты с насмешливым пренебрежением: не столько даже к их титулам, сколько к заискивающим, с точки зрения автора, попыткам добиться немедленного знакомства. Между тем «Бедные люди» будут украшены в печати эпиграфом из того же князя Одоевского.

Здесь различима грань: между литературой и «окололитературой».

Трудно поверить, что «Бедные люди» и письма с известиями о литературных успехах их автора писаны одним и тем же пером. Т а м — уверенная рука мастера, искусно владеющего слогом и точно рассчитывающего каждый речевой жест. В письмах — наоборот, отсутствие «формы», неумение «художественно», со стороны оценить ситуацию, коробящая порой откровенность. Достоевский словно нарочно спешит навлечь на себя обвинения в заносчивости, зазнайстве и саморекламе.

Стоит, однако, вслушаться в интонацию всех этих нескромных признаний. Не сквозит ли в его ранних восторгах что-то искусственное, лихорадочно-преувеличенное и, как это и можно было предположить, не вполне в себе уверенное? Не носят ли подобные упоения не только наивный, но и несколько театрализованный характер?

Никогда еще «вхождение в литературу» не осуществлялось таким ошеломляющим образом. Даже у наиболее счастливых дебютантов — Пушкина, Гоголя, позднее Толстого — писательская известность нарастала постепенно. Никогда ни одному начинающему автору Белинский не говорил «цените же ваш дар и... будете великим писателем!..»

Для Достоевского, не принадлежавшего ни к светскому, ни к полусветскому кругу, ведшего уединенное, будничное, «угловое» существование, неожиданный литературный успех значил перемену всех личных и общественных обстоятельств.

---

[1] Панаевы жительствуют на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки в доме купца Лопатина. Здесь же с 1843 года живет Белинский (он занимает освободившуюся квартиру Краевского). Осенью 1845 года этот «литературный дом» — главная точка притяжения для дебютанта.

Информация, предназначаемая брату, должна была как можно резче подчеркнуть именно этот аспект: мгновенное, почти сказочное достижение желанной цели, обретение нового жизненного качества. Автор писем старается растолковать эти перемены как можно «популярнее», то есть грубее.

Лев Толстой, например, никогда не допустил бы подобных экзальтаций. Он не любил выглядеть смешным. Кроме того, писательство оставалось для него лишь одним из возможных жизненных вариантов, порою далеко не главным. Недаром Тургенев не без ехидства вопрошал автора «Детства»: «...Что же Вы такое, если не литератор: офицер? помещик? философ? основатель нового религиозного учения? чиновник? делец?» Толстой словно не уверен, что именно литература позволит ему реализовать свое жизненное предназначение [1].

У Достоевского нет таких сомнений. Для него писательство — единственная и исключительная возможность. Его самооценка целиком зависит от осуществления этой главной задачи.

«Меня то же мучило, что и Вас, еще с 16-ти, может быть, лет,— пишет он в 1877 году одному начинающему литератору,— но я как-то уверен был, что рано или поздно, а непременно выступлю на поприще, а потому (безошибочно вспоминаю это) не беспокоился очень». «Не беспокоился», веря в е д и н с т в е н н о с т ь своего выбора: с такой верой можно было и не поспешать. «Насчет же места, которое займу в литературе, был равнодушен...».

С первого своего шага он «вдруг» занял в литературе место, о котором не смел и мечтать. Не отсюда ли мальчишеская «упоенность» его писем: в них видна душа доверчивая и открытая, еще не наловчившаяся прикрывать собственные слабости спасительной самоиронией. Ничто так не выдает возраст автора, как полнейшая неспособность сохранить на лице важность, приличествующую моменту...

Достоевский ревностно осваивает выпавшую ему роль. Он не без удовольствия примеряет костюм внезапного любимца муз, этакого баловня фортуны и, чтобы, не дай бог, не спутали, спешит выставить объяснительную табличку: «любимец муз». Разумеется, не только музы, но и все остальные обязаны испытывать к счастливцу теплые чувства: «Эти господа уж и не сознают, как любить меня, влюблены в меня все до одного». Язык спотыкается, речь переходит в лепет... «Я, признаюсь, литературой существую... тридцать пять тысяч одних курьеров!.. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш...» Простодушный Иван Александрович врал вполне бескорыстно. Неискушенный автор «Бедных людей» не менее бескорыстно старается рассказать правду. Но как раз поэтому слова его выглядят чистейшей хлестаковщиной.

Не случайно именно в таком контексте возникает небрежное: «Минушки, Кларушки, Марианны и т. п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег»,— замечание, навлекшее на неосторожного бонвивана столько ученых подозрений [2]. Между тем — независимо от своего реального содержания — фраза эта абсолютно отвечает характеру играемой роли. Ибо ничто так не оттеняет успех, как внимание женщин. Но поскольку героиня отсутствует, делается указание на временно заменяющую ее принадлежность театрального реквизита.

Впрочем, героиня может вот-вот явиться.

15 ноября 1845 года, как уже было сказано, Достоевский проводит вечер у Панаевых: у Ивана Ивановича и Авдотьи Яковлевны (которые в домашнем быту именуют друг друга запросто: Жанно и Евдокси). На следующий день он сообщает брату, что, «кажется», влюбился в хозяйку дома. Так впервые (хотя и с некото-

---

[1] Заметим, что и у Пушкина занятия словесностью — только одна из его видимых ипостасей. Не меньше, чем литературной репутацией, он дорожит репутацией светской. Более того, в своей «внелитературной» жизни он как бы игнорирует свою г л а в н у ю роль. (См.: Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Л., 1983, с. 157—159).

[2] Так, А. Кашина-Евреинова не без сочувствия приводит слова одного авторитета, якобы заявившего: «Да, для меня совершенно ясно, что как Некрасов, так и Достоевский недели не могли прожить без женщины». (Подполье гения, с. 21.) Хотя подобного рода гипотезы и не подлежат обсуждению, уместно в настоящем случае обратиться к сообщаемому Яновским мнению самого заинтересованного лица — относительно его нелюбви к «юпке».

рым опозданием) возникает, наконец, тема, которая, едва себя обозначив, вскоре оборвется, чтобы вновь зазвучать только через десять лет...

(«...Кажется, влюбился...» Что за вечная интеллигентская неопределенность! Можно понять Ч. Б., который, не удовлетворившись столь скудной информацией, значительно углубляет тему: «Он ощущал каждой клеткой, каждым нервом своего, словно не принадлежащего уже ему... т е л а (отметим завидную стойкость мотива! — **И. В.**), что это то, именно то, о чем прежде он только мечтал, но не ведал...» Далее бережно воспроизводится внутренний монолог героя: «...Для нее он будет гением, станет первым в России писателем, и она полюбит его...»: к сожалению, сбылась только первая часть этого утешительного прогноза.)

Если это первая любовь (а о других нам ничего не известно), то к тому же с первого взгляда. И взгляд этот, хоть и затуманенный душевным волнением, зорко подмечает высокие достоинства предмета («умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма донельзя»).

«Хорошенькая» — еще слабо сказано: 25-летняя Авдотья Яковлевна, судя по всему, была хороша чрезвычайно. Хотя, как сокрушенно замечает Чувствительный Биограф, и страдала от несовершенства мужа, «от сознания его вторичности среди окружающих его талантов». Надо полагать, здесь содержится деликатный намек на имеющие воспоследовать вскоре перемены. Авдотья Яковлевна — на долгие годы — станет верной подругой одного из «окружающих талантов» (а именно Некрасова) и деятельной сотрудницей его журнала. Что же касается нынешнего панаевского гостя, то по прошествии двух с половиной месяцев он подтвердит серьезность своего чувства: «Я был влюблен не на шутку в Панаеву, теперь проходит, а не знаю еще». То есть не знает, пройдет ли... Впрочем, имя Панаевой больше не будет названо — никогда.

Но не возникнут более ни разу и пресловутые «Минушки и Кларушки», которые, к слову, фигурируют в том же самом письме, где речь впервые заходит об Авдотье Яковлевне (с последней эти внесценические персонажи вступают даже в некую вербальную связь: «хорошенькая... и пряма донельзя» — «похорошели донельзя»). Тема исчерпала себя так же неожиданно, как и появилась, что свидетельствует о ее относительной периферийности. (В переписке современников такие подробности тоже довольно редки — не столько из-за непристойности сюжета, сколько в силу его обыденности.) Дальнейшие сетования Достоевского на беспутную жизнь — жалобы, которые иные специалисты склонны трактовать в совершенно определенном смысле, могут означать все, что угодно [1].

Приведя известный случай, когда ее отец упал в обморок перед светской красавицей (мы еще коснемся этого эпизода), Любовь Федоровна не без остроумия добавляет: «Период страстей у отца начинается только после каторги, и тогда уже в обмороки он не падает».

Насмешливая дочь ошибается: период страстей начался гораздо раньше. Точнее, имела место «одна, но пламенная страсть»: она-то и потеснила все остальные.

С 1845 года, по его собственному выражению, он живет «как в чаду».

Отныне и уже навсегда его биографическое время сопряжено с жесткими сроками журнальных публикаций.

Но пока, осенью 1845 года, будущее видится ему радужным, хотя и туманным.

Превознося до небес еще не вышедших «Бедных людей», хвалители имеют в виду и некоторую практическую пользу. Ибо авансы, щедро расточаемые новому дарованию, расточаются в р о с т. Это — выгодное помещение капитала: превосходная реклама будущему «Петербургскому сборнику», в котором, к слову сказать, участвуют и некоторые из вестовщиков.

...Наконец, в середине января 1846 года долгожданный альманах поступает в лавки книгопродавцев. Дней через десять, 1 февраля, во втором номере «Отечественных записок» появляется «Двойник». И, хотя совпадение было чисто случайным, невольно могло закрасться подозрение, что расчетливый дебютант так подгадал события, чтобы шарахнуть публику сразу из двух стволов.

[1] Забавно, что в обратном переводе с немецкого слова Достоевского (из его письма к брату) «порядочно жить я не могу, до того я беспутен» звучат следующим образом: «я так распутен, что уже не могу жить нормально...» (Нейфельд. Достоевский, с. 24). Как можно догадаться, это не совсем одно и то же.

Казалось, дразнящий ореол тайны, почти полгода мерцавший вкруг авторского чела, должен смениться ровным свечением нимба. На деле, однако ж, не обошлось без скандала.

Достоевский вышел на литературную арену в момент относительного затишья. Совсем недавно смолкли корифеи — Пушкин, Лермонтов, Крылов... После громового успеха первого тома «Мертвых душ» наступила томительная пауза. На подходе была новая литературная волна. Однако мужающая натуральная школа еще не осознала себя в качестве таковой. Потребовались «Бедные люди», чтобы дело приняло серьезный вид.

Предводительствуемая Белинским русская либеральная и интеллектуальная элита торжественно расступилась — и вперед, как молодой трубач, был вытолкнут Достоевский.

С первых шагов дебютант заявил о себе как человек партии. Вернее, так посчитали его литературные восприемники. Для Белинского «Бедные люди» явились сильнейшим художественным подтверждением его теоретической правоты. «Петербургский сборник» с первой повестью молодого автора был брошен на стол как неоспоримое доказательство. В полемической ажитации сюда же поначалу присоединили и «Двойника».

Естественно, что все противники натуральной школы, начиная с немедленно ринувшегося в бой Булгарина (чьи нападки в «Северной пчеле» по причине одиозности органа стали едва ли не лучшей рекомендацией дебютанту) и кончая высокоумными и язвительными критиками «Москвитянина»,— все они поспешили оповестить публику, что ее ожидания жестоко обмануты. Причем если одни рецензенты отвергают само наличие дарования, другие тонко дают понять, что робкие зачатки таланта были погублены неумеренными похвалами мнимых друзей.

Реакция самого виновника этих журнальных ристаний на еще не привычную для него печатную брань вполне отвечает правилам игры. «Сунул же я им всем собачью кость! Пусть грызутся — мне славу дураче строят»,— пишет он брату 1 февраля 1846 года: в день выхода «Двойника». Он словно повторяет — в еще более откровенной форме — слова Белинского, явившиеся в «Отечественных записках» тем же самым днем, 1 февраля: «... слава не бывает без терний, и говорят, что посредственность и бездарность уже точат на г. Достоевского свои деревянные мечи и копья...» «Г. Достоевский» с легкостью принимает эту точку зрения: для него авторитетны только мнения «наших». А все «наши», не исключая Белинского, находят необходимым признать, что самый юный из них «далеко ушел от Гоголя».

Самого Гоголя немедленно известят о событии. Три корреспондента из России (Н. М. Языков и, не сговариваясь с ним, две сестры Виельгорские) вышлют ему «Бедных людей», причем один экземпляр следует с царской почтой (двор, а вместе с ним М. Ю. Виельгорский проводят лето в Италии). Гоголь, «пролиствув» текст, с похвалой отзовется о таланте автора и его качествах душевных»: сказано будет благожелательно, но скупо.

Итак, «наши» исполнены дружелюбия и приязни. Достоевский не подозревает, что именно с этой стороны воспоследуют самые чувствительные удары.

«Страшно нервный и впечатлительный молодой человек» (Панаева), попавший к тому же в общество незнакомых или мало знакомых ему людей, он поначалу не может преодолеть природной застенчивости, настороженности и скованности. Он дичится, робеет, ежится, чувствует себя явно не в своей тарелке. Умная женщина, Авдотья Яковлевна тактично приходит ему на помощь (недаром он так восхваляет ее любезность).

Он и впредь будет отдавать предпочтение тем, кто его ж а л е е т: только возникшие на этой почве романы завершатся законным браком.

В зрелые годы он нередко жалуется, что у него «нет жеста»: тем более не было в его молодости. Это означает не только отсутствие светских навыков, но и неумение поддержать ровный тон в своих житейских и деловых отношениях. Ему абсолютно чужд усредненно-вежливый тип общения. Он не умеет ни притворяться, ни лицемерить и, будучи человеком замкнутым, тем не менее не в силах «сыграть» — скрыть свои чувства от любопытствующих глаз. Склонный по-мальчишески воспринимать собственные успехи, он наивно требует от окружающих такой же бескорыстной *мальчишеской* любви, забывая о том, что этот взрослый мир живет совсем по иным законам...

Как сейчас сказали бы — он неадекватен. Он незащищен, открыт, в высшей степени уязвим. Он не спешит украсить собственное дарование легким игриво-кокетливым (аристократическим!) к нему пренебрежением — что обычно примиряет друзей и обескураживает завистников. Он относится к тому, в чем его уверяют, серьезно (слишком серьезно), полагая тем самым угодить уверяющим. Но именно это делает его смешным.

«...Этих людей только и есть в России...— восклицал он белой петербургской ночью,— о к ним, с ними!» Он не ошибся: *других* людей в России не было. Он готов разделить их высокий порыв, еще не догадываясь о том, что далеко не всегда носители идеала соответствуют столь обременительной ноше. Он старается вписаться в среду, что называется, *передовую*: ее скрепляет громадный моральный авторитет одного человека — того, кого Тургенев назовет позднее «*центральной натурой*».

Масштаб остальных чрезвычайно различен — от таких незаурядных личностей, как Некрасов, до мелких литературных сочувствователей, которые задают «настоящим» писателям званые обеды, выполняют их комиссии, ссужают им деньги, а также разносят новейшие слухи из дома в дом.

Впрочем, последним не брезгуют и некоторые профессионалы. Так, под «одним приятелем» Достоевского, который «из любви к искусству, передавал всем, кто о ком что сказал», Панаева скорее всего разумеет Дмитрия Васильевича Григоровича. Все эти господа составляют особый — насмешливый и злоязычный — литературный круг. И, как во всяком литературном кругу, здесь не прощают слабостей и ошибок.

Явись в этой компании хоть сам Гоголь, он не избежал бы общей участи. Правда, автор «Мертвых душ» стоит слишком высоко: ему не страшны никакие пересуды (лишь «Выбранные места» окажутся способными поколебать это положение). Что же касается Гоголя «нового» —

(Кстати. В письме Гоголя к Н. Я. Прокоповичу из Франкфурта от 8/20 июня 1847 года содержится одно загадочное место. Автор письма просит своего корреспондента разузнать, «какой появился другой Гоголь, будто бы мой родственник», и настаивает на принятии безотлагательных мер против вышеуказанного самозванца — дабы помешать тому воспользоваться его, Гоголя, литературным именем. «Поручение твое о появившемся здесь, по словам твоим, твоем однофамильце я выполнил,— отвечает Прокопович,— но никаких следов его здесь не отыскалось»[1]. Позволительно спросить: не сработал ли в данном случае «испорченный телефон»? То есть — не претерпело ли выражение «новый Гоголь» ряд комических трансформаций, прежде чем оно дошло к поименованному лицу, которое, в свою очередь, восприняло известие буквально? Очевидно, сам Гоголь, как помним, сдержанно одобривший «Бедных людей» (которые были присланы ему — ввиду чрезвычайности события — *выдранными* из «Петербургского сборника»), не подозревает о присвоенном их автору титуле[2].)

[1] В кн.: Письма Н. В. Гоголя, т. III, СПб., 1914, с. 497.

[2] 22 июня 1847 года один из «наших», знакомя Белинского с приведенным письмом Гоголя к Прокоповичу, многозначительно подчеркивает его *странно-интересный* характер. (См.: В. Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1948, с. 278.) Это язык посвященных, понимающих, о чем идет речь. Гоголю не сочли нужным разъяснить недоразумение — как из чувства деликатности, так, очевидно, и потому, что к лету 1847 года «новый Гоголь» в глазах кружка уже не является таковым.

— что же касается Гоголя «нового», то навязанное ему амплуа юного гения при полнейшей неспособности героя достойно поддержать эту роль (ситуация усугубляется полууспехом-полупровалом «Двойника») — все это делает недавнего дебютанта фигурой в высшей степени привлекательной для битья.

Изумительная откровенность, явленная им в письмах к родному брату, была совершенно неуместна в сношениях с братьями-писателями. Ибо для этой специфической публики нет большего удовольствия, как, увенчав коллегу лаврами, тотчас же почесть таковые фиговыми листами и приступить к их дружному ощипу. Делается все это, разумеется, по-домашнему, то есть самым добродушным образом.

В том самом письме, где сообщается о внезапном чувстве к Панаевой (и о столь же внезапно похорошевших Кларушках и Минушках), заключено еще одно важное признание. Это восторженные строки о молодом Тургеневе. Он, если верить приводимым тут же словам Белинского (характерная для Достоевского ссылка на мнения третьих лиц, когда речь касается его самого), с первой встречи влюбился в автора письма. «Я тоже едва ль не влюбился в него»,— говорит автор.

Так начиналась «история одной вражды».

27-летний Тургенев оказывается среди зачинщиков той бескорыстной *приятельской* травли, которая очень веселила ее участников и которую спустя много лет Достоевский должен был вспоминать не без некоторого содрогания.

Но, собственно, почему надо было его щадить? Ведь на лбу у него не обозначено, что он — будущий творец «Идиота» и «Братьев Карамазовых». Зато невооруженным глазом можно различить претензии, явно превышающие заслуги. Что с того, что герой болезнен, неуравновешен, легко раним: его друзья не обязаны быть ни врачами, ни педагогами...

«...Характер неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе»,— таково первое впечатление Достоевского от Тургенева. Он, по обыкновению, приписывает новому знакомцу черты, которых, как он полагает, недостает ему самому. Исчислив неоспоримые достоинства друга («поэт, талант, аристократ, красавец, богач»), Достоевский опускает одну деталь: Тургенев любил позлословить. Если верить Панаевой, именно благовоспитанный и, как мы помним, «влюбленный» в Достоевского Иван Сергеевич мастерски «доводит» плохо владеющего собой дебютанта, выставляя на всеобщее обозрение его и без того очевидные слабости и пороки.

О, разумеется, Тургеневым движут самые теплые порывы! Что может быть невиннее дружеской затрещины, наносимой бескорыстно и с неподдельной приязнью! И если осмеянное лицо не зовут немедленно присоединиться к общему веселью, то единственно из деликатности чувств: сочинители порой щекотливы, как дети...

«Как всегда блистал остротами и стеклышком в глазу... Тургенев»,— в свою очередь шутит Ч. Б.

А. Я. Панаева туманно говорит о каких-то тургеневских стихах «на Девушкина», благодарящего своего создателя, и даже припоминает, что в них часто повторялось характерное для «Бедных людей» слово «маточка»: деталь очень правдоподобная. Однако эти эпиграмматические упражнения до нас не дошли.

Зато — к сожалению, только в отрывках — дошло сочинение другого автора, не менее остроумного, чем Тургенев.

В 1917 году К. И. Чуковский, выбрав для этого не самое подходящее время, обнародовал найденные им в бумагах Некрасова черновые наброски какой-то неизвестной доселе повести. Автограф не имел названия, был написан наскоро и испещрен поправками.

«Сначала,— говорит Чуковский,— я не догадался, в чем дело... мне показалось, что предо мной беллетристика, самая обыкновенная повесть о каком-то

смешном Глажиевском, авторе «Каменного сердца»; и я уже прочитал страниц пять, когда меня вдруг осенило: да ведь этот Глажиевский — Достоевский!»[1].

Было чему дивиться. Ведь Некрасов так и не написал мемуаров. Новонайденная рукопись частично восполняла этот пробел.

Повесть Некрасова — сочинение ироническое.

Люди 40-х годов — то поколение, к которому принадлежал сам автор — живописуются здесь с нескрываемой насмешкой. (Что в свою очередь заставляет вспомнить позднейшие изображения Степана Трофимовича Верховенского в «Бесах».) Досталось всем: Анненкову, Боткину, Панаеву, Григоровичу, литературным сочувствователям... Единственный персонаж, о котором автор отзывается с полным почтением,— это Мерцалов (то есть Белинский).

Повесть написана скорее всего в первой половине 50-х годов — в период нахождения одного из ее героев в Сибири. Не потому ли сочинение осталось незаконченным?

Достоевский в изображении Некрасова довольно забавен. Он впадает в безумное волнение накануне своего первого визита к Белинскому; он опасается, как тонко замечает автор, «своей физиономией разрушить эффект своего произведения, хотя подобный страх был довольно основательный» (справедливости ради укажем, что это место в рукописи зачеркнуто); он чуть не сбегает в последний момент — у дверей квартиры, где жительствует знаменитый критик. Все это выглядит вполне натурально. Следует любопытная подробность: Глажиевский, желая «щегольнуть развязностью» (это одна из двух крайних точек его поведенческой амплитуды), рассказывает Белинскому «анекдот о своем Терентии», который «по незнанию грамоты» закусил пластырем, прописанным ему для наружного употребления. Если припомнить очень похожий случай, отмеченный в мемуарах Андрея Михайловича (где жертвой является сам воспоминатель), тогда закрадывается подозрение, что сообщенный Глажиевским «анекдот» есть художественная трансформация вполне реального происшествия, причем замена родного брата «Терентием» свидетельствует в пользу высокого представления рассказчика о родственной чести.

Глажиевский у Некрасова наивен, бесхитростен, прост — и, может быть, в силу всего этого не только смешон, но и — симпатичен. И хотя трудно согласиться с К. И. Чуковским, что «вместо сатиры на автора «Бедных людей» Некрасов (нечаянно!) дал блестящую его апологию», следует все же признать, что по сравнению с другими действующими лицами юный Глажиевский выглядит более пристойно.

«Достоевский, милый пыщ...» — сказано в знаменитом «Послании».

Пыщ — значит человек напыщенный, надутый. Однако этот подлежащий осмеянию персонаж именуется «милым»: тональность свидетельствует о том, что объект пародии все еще находится в н у т р и дружеского круга.

«Послание Белинского к Достоевскому» сочинено Некрасовым и Тургеневым (возможно, при содействии Панаева), как полагают, в самом начале 1846 года (у нас еще будет возможность уточнить дату). Это коллективное детище не лишено остроумия и литературного блеска. Литературоведы, почитающие серьезность едва ли не единственной принадлежностью ушедшей исторической жизни, осудительно прилагают к этому дружескому пасквилю эпитет «злой». Однако таковым он становится лишь в контексте дальнейших событий.

Не следует забывать, что зимой 1846 года Достоевский — один из самых необходимейших «наших». Он не только не враг кружка, он — его главный ко-

[1] Неизданные произведения Н. А. Некрасова. I. Пг., 1918, с. 9. Ср.: Некрасов Н. А. Каменное сердце. (Повесть из жизни Достоевского.) Пг., 1922, с. 11. Рецензируя открытие Чуковского, известный историк М. К. Лемке (под псевдонимом М. Маврин) неожиданно заявил о существовании литографического издания (тираж — 10 экземпляров) с титулом: «Н. А. Н. «Как я велик!» Повесть из жизни литературного гения. Пермь. Литография Злотникова. 1884. Не продается». (См.: Книга и революция, 1920, № 1, с. 34—36.) Лемке утверждал, что полный текст повести, опубликованный в Перми, значительно больше отрывка, найденного Чуковским, и состоит из пяти глав. Однако загадочное пермское издание до сих пор не разыскано, и есть основания полагать, что сведения о нем мистифицированы. (См.: Альманах библиофила, вып. 7. М., 1979, с. 179—183.)

зырь. Поэтому «Послание» не есть орудие литературной борьбы: это средство для внутреннего употребления.

В «Послании» вовсе не ставится под сомнение правомерность литературных успехов героя: ирония относится лишь к неумеренному их воздействию на его, так сказать, моральное самочувствие. «На носу литературы рдеешь ты как новый прыщ»,— не очень, конечно, респектабельно, но среди «своих» вполне допустимо и, учитывая специфику жанра, даже лестно. Неоскорбителен здесь и возможный намек на гоголевского героя («А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?»): как-никак имеется в виду все-таки Гоголь, а не, скажем, барон Брамбеус...

Можно указать на еще одну гоголевскую аллюзию: «За тобой султан турецкий скоро вышлет визирей». Ирония авторов «Послания» в этом случае не вполне понятна. Однако стоит вспомнить: «До сих пор нет депутации из Испании... Я ожидаю их с часу на час» — и участие в этой литературной игре «Записок сумасшедшего» теперь, кажется, не вызовет сомнений.

Пойдем далее. «Хоть ты юный литератор, но в восторг уж всех поверг. Тебя знает император...» (в одном из вариантов — «любит») — подобная констатация тоже нимало не унижает адресата. Правда, при желании здесь можно усмотреть иронический намек на уже известную нам высочайшую резолюцию («какой дурак это чертил») — отзыв тем более обидный, если распространить его и на первые литературные опыты бывшего военного инженера. Однако вряд ли авторы пародии осведомлены о той не слишком лестной для героя истории. Остается предположить, что до Зимнего дворца действительно дошли какие-то слухи о «Бедных людях», а возможно, был прочитан и сам текст.

Строка «уважает Лейхтенберг» также намекает на какие-то в ы с ш и е (но, увы, неизвестные нам) обстоятельства, ибо герцог Максимилиан Лейхтенбергский, муж любимой дочери императора, слыл большим поклонником и покровителем изящных искусств.

Далее в «Послании» следует игривое описание уже упоминавшегося обморока, который, как явствует из других источников, действительно приключился с Достоевским при его представлении некой светской красавице:

Но когда на раут светский
Перед сонмищем князей,
Ставши мифом и вопросом,
Пал чухонскою звездой
И моргнул курносым носом
Перед русой красотой...

Да, пасквиль есть пасквиль — и, естественно, он содержит не очень корректную аттестацию наружности пародируемого объекта, особенно по контрасту с его подразумеваемой собеседницей. (Как помним, внешность Глажиевского не удостоилась одобрения и в прозе.) Сообщается и о грозивших герою опасностях:

...Как трагически недвижно
Ты смотрел на сей предмет
И чуть-чуть скоропостижно
Не погиб во цвете лет.

Позднейшие комментаторы делают здесь негодующую мину. И в самом деле: нехорошо насмехаться над больным человеком. При этом, однако, забывают, что в указанное время никто из друзей Достоевского (да и он сам) еще не подозревает у него эпилепсии. (Некрасов в своей повести вскользь упоминает о каком-то ночном обмороке с Глажиевским, но это упоминание указывает скорее на повышенную чувствительность героя, нежели на его болезнь.) Изображенный соавторами конфуз на светском рауте трактуется ими как обыкновенное бытовое происшествие: комизм заключается в несоответствии персонажа предлагаемым обстоятельствам[1].

Именно это несоответствие и породило первую строчку. «Витязь горестной фигуры» — конечно же, Рыцарь Печального Образа (в одном из вариантов «Послания» так и сказано: «Рыцарь»).

[1] Драгоценны в этой связи медико-литературные наблюдения Чувствительного Биографа. Справедливо указав, что припадки «проявляются у добрых под влиянием хищных» и что у Достоевского, как ни странно, встречаются отдельные произведения, где вовсе «нет припадков и обмороков», Ч. Б. проницательно добавляет: «Там упасть некому — не те люди».

Но, собственно, почему? Только ли в силу видимой нелепости героя, непригодности его к светской жизни, смеси в нем гордыни, подозрительности и идеализма — всего того, что так зорко подмечено одаренными памфлетистами? Или — как деликатный намек на легкую его ненормальность? (Тогда, кстати, становится понятной и косвенная отсылка к «Записнскам сумасшедшего».) Или, наконец,— как убийственная догадка о некой утаенной платонической страсти (Авдотья — Дуия — Дульсинея): если они действительно догадывались об этом, это ужасно.

А возможно, здесь была совсем иная подоплека. Ведь в кругу Белинского донкихотами именовались, как правило, личности неснмпатичные и ретроградные. В таком случае сближенне этого персонажа с Достоевским имело в виду указать на его, Достоевского, идейные промахи: ранний (и далеко не худший!) образчик процветшей впоследствии критики.

Как бы то ни было, бедный идальго понадобился для целей исключительно прикладных. Никто не вспомнил при этом, что он еще и Алонсо Кихано Добрый.

Много лет спустя и герой «Послания», и один из его сочинителей выскажутся о прототипе.

«...Под словом «Дон Кихот»,— говорит в 1860 году Тургенев,— мы часто подразумеваем просто шута,— слово «донкихотство» у нас равносильно с словом: нелепость...» Однако, добавляет автор, «этот сумасшедший, странствующий рыцарь — самое нравственное существо в мире».

«Самый великодушный из всех рыцарей, бывших в мире, самый простой душою и один из самых великих сердцем людей...» — «откликается» Достоевский в 1877 году: тут он — случай довольно редкий — полностью солидарен со своим вечным оппонентом.

«Его фигура (разумеется, горестная! — И. В.) едва ли не самая комическая фигура, когда-либо нарисованная поэтом»,— продолжает Тургенев, чрезвычайно высоко ставящий героя Сервантеса и, конечно же, напрочь забывший об игривом соотнесении этого бессмертного персонажа с автором «Двойника».

«Эту самую грустную из книг,— заключает Достоевский,— не забудет взять с собою человек на последний суд Божий».

Он не подозревает, что, защищая Дон Кихота, он защищает себя — того: юного, наивного, простодушного и — смешного. И это незнание дает ему право высказать мысль, которая в силу полнейшего бескорыстия автора решает спор.

Достоевский говорит, что лучшие качества («величайшая красота человека, величайшая чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и, наконец, величайший ум») — все это «обращается ни во что» единственно потому, «что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам... недоставало одного только последнего дара — именно: гения...».

Слово произнесено: не отнесенное к нему самому, оно тем не менее стало его оправданием.

Но этим же даром «оправдан» и Белинский. Ибо подставной автор «Послания» некоторыми своими чертами удивительно напоминает его героя. Белинский — тоже сын лекаря и внук священника. Он существует исключительно литературой: она для него — дело жизни и смерти. (Недаром он говорит, что умрет на журнале и в гроб велит положить под голову книжку «Отечественных записок».) Разночинец не только по духу, но и по образу жизни, Белинский, как и Достоевский, «очень застенчив» и совершенно теряется в незнакомом обществе. С мягкой (или, как принято говорить, любовной) усмешкой повествует Герцен о его судорожных попытках уклониться от представления некой незнакомой даме: по счастью, этот визит не повел к такой печальной развязке, как в случае с Достоевским.

Однако и с Белинским случались казусы.

Герцен и Панаев — с равной убедительностью, хотя и с разночтениями — живописуют другой замечательный эпизод. На светском рауте у князя Одоевского (где, саркастически добавляет Герцен из своего прекрасного далека, «Белинский был совершенно потерян... между каким-нибудь саксонским посланником, не понимавшим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником III Отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались») критик по неловкости опрокинул столик с вином, и бордо начало «пресерьезно» поливать белые форменные с золотом панталоны Василия Андреевича Жуковского. «Во время этой суматохи,— говорит автор «Былого и дум»,— Белинский исчез и, близкий к кончине (ср. «и чуть-чуть скоропостижно...»! — И. В.), пешком прибежал домой». По другой — панаевской — версии дело едва не кончилось обмороком («едва» — может быть, потому, что на вечере не было дам): «Белинский потерял равновесие и упал на пол... хозяин дома... повел его в свой кабинет, предлагал ему воду, различные нюхательные спирты...»

Герцен воссоздает картину с чужих слов; Панаев, судя по всему, присутствовал при сем лично.

«Падение Белинского со стула,— заключает Панаев,— было причиною того, что имя его стало переходить из уст в уста» [1]. Как мало надо для славы, добавим мы: ведь популярность Достоевского сильно выросла благодаря очень схожим обстоятельствам.

И тут обнаруживается неожиданный и до сих пор нигде не отмеченный поворот сюжета. Оказывается — об этом в 1882 году поведал Анне Григорьевне доктор Яновский — Достоевскому тоже довелось наблюдать очень похожую сценку. В доме Виельгорских (что в плане «социальной привязки» равнозначно «литературно-дипломатическому» салону князя Одоевского) верный себе Белинский опрокинул рюмку с вином. Свидетелю этого происшествия, а именно Достоевскому, удалось даже подслушать реплику хозяйки дома, жены графа Соллогуба, в адрес незадачливого гостя: «Они не только неловки и дики, но и неумны». Употребленное множественное число («они») наводит на мысль, не имелся ли при этом в виду и присутствовавший тут же автор «Бедных людей» (который позднее с горечью скажет Яновскому: «Нас пригласили... для выставки, напоказ»).

Но этого мало.

Чисто теоретически предположив, что оба эпизода (обморок Достоевского и битье посуды Белинским) имеют шанс совместиться в рамках одного и того же вечера, мы в ходе дальнейших разысканий не без изумления убедились, что такая сугубо рабочая гипотеза очень смахивает на правду. (Доказательства будут явлены ниже.) Но тогда существенно меняется вся картина. «Катализатором» обморока могла стать услышанная Достоевским реплика: после нее эмоциональное напряжение достигает предела. Неизвестной прелестнице оставалось лишь повести бровью...

И Достоевский, и Белинский — оба они «неловки и дики». Оба — уравнены в глазах света. Но — отнюдь не в глазах «наших».

«Милый Белинский! — говорит Герцен, вспоминая конфуз на вечере у князя Одоевского (что, конечно же, имеет несколько иной оттенок, чем «милый пыщ»),— как его долго сердили и расстроивали подобные происшествия, как он об них вспоминал с ужасом...»

«С ужасом» — не меньшим, думается, чем и «витязь горестной фигуры», грохнувшийся в обморок перед той, которую даже Ч. Б. не отважился бы именовать его дамой сердца.

Но кто же она, прекрасная незнакомка?

Всеведущий Григорович — единственный, назвавший имя: г-жа Сенявина. Ни инициалов, ни социальной принадлежности он не обозначает. Впрочем, одно ценное указание все-таки есть: Сенявина именуется «красавицей».

Это, пожалуй, единственное, что нам известно.

Позднейшие комментаторы не обременят себя поисками. Они рассудят так. В Петербурге имелся в наличии Лев Григорьевич Сенявин, бывший в то время

[1] Панаев утверждает, что все это случилось в канун Нового 184* года (как тонко заметил один выдающийся писатель, «русские авторы — в силу оригинальной честности нашей литературы — недоговаривают единиц»).

директором Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Отсюда, естественно, вытекает, что «г-жа Сенявина» — его дочь.

Остается выяснить самую малость. Во-первых, вхож ли помянутый Сенявин в салон Соллогубов-Виельгорских. Во-вторых, имелась ли у него дочь. И, в третьих (что тоже немаловажно), была ли эта дочь красавицей.

Ни на один из этих вопросов не дано пока удовлетворительного ответа.

Уместнее начать с отношений семейственных.

В первом номере «Русского архива» за 1916 год удалось отыскать письма Л. Г. Сенявина к русскому посланнику в Тегеране князю Д. И. Долгорукому. Переписка как раз охватывает интересующие нас годы: 1845—1848.

Воспитанный человек, как правило, упоминает о жене и детях. Лев Григорьевич оказался на редкость неучтив! Поздравляя посланника с новорожденной, передавая приветы его семейству, он ни разу не присовокупил к этим эпистолярным любезностям добрые пожелания своих домашних. Впрочем, и сам посланник, Д. И. Долгорукий (которого как профессионального дипломата трудно заподозрить в невежливости), также не шлет поклонов домашним Сенявина — о чем можно догадаться по тому, что Лев Григорьевич его за это не благодарит.

Из сего можно заключить, что в означенный период Л. Г. Сенявин либо холост, либо вдов.

Сенявин жалуется своему тегеранскому приятелю на близорукость и подагру; говорит об отраде одиноких дачных прогулок. И т. д. и т. п. Никаких признаков обремененности семейством или хотя бы наличия детей в письмах Льва Григорьевича не наблюдается.

Ни разу не упомянуты также ни Соллогубы, ни Виельгорские. Это совсем иной круг. К тому же в январе — апреле 1846 года Л. Г. Сенявин упорно трудится вечерами и в свет не выезжает.

(Он еще проявит себя. Во время следствия по делу петрашевцев Л. Г. Сенявин по собственной инициативе устроит обыск в столах своих подчиненных. Это кое-что о нем говорит. Возможно, директор департамента был по сердцу высшему начальству, но у высшего света — свои законы. Даже если у Сенявина и имелась дочь-красавица, это еще не повод, чтобы получить приглашение в салон Виельгорских.)

Теперь остановимся на чаровнице.

Трудно вообразить, чтобы молодого человека, каким был тогда Достоевский, могли так запросто знакомить с незамужней особой. Это не принято, тем более — у Виельгорских, где, надо думать, соблюдались правила хорошего тона. Молодую девушку представляли постороннему лицу только ее родственники. В 1859 году в Твери жена местного губернатора графиня Баранова напомнит следующему из Сибири Достоевскому о том, как много лет назад, девушкой, она была представлена ему у тех же Виельгорских (и, как мы подозреваем, на том же вечере): рекомендовал ее один из хозяев дома, граф Соллогуб, ее кузен.

Знакомство с будущей губернаторшей (в девичестве — Васильчиковой) не повлекло тогда, по-видимому, никаких осложнений. Чего нельзя сказать о знакомстве с губернаторшей бывшей: чуть ниже мы постараемся разъяснить этот туманный намек.

«Г-жа Сенявина» — подобная формула вряд ли приложима к незамужней барышне. По сути, «госпожа» адекватно французскому «мадам». Но если гипотетическая дочь директора Азиатского департамента состояла к тому времени в браке, Григорович, разумеется, назвал бы ее фамилию по мужу.

Достоевский на вечере у Виельгорских был подведен к даме. Светская львица, благосклонно (а кто знает, может, и с тайным волнением) взирающая на юную знаменитость,— это ли не вечная греза всех поэтов, обитающих «на чердаках и в подвалах»? Вот оно, воздаяние за годы лишений... но в момент, когда мечта становится явью, силы изменяют мечтателю...

«...И чуть-чуть скоропостижно...»

Правда, Панаев годы спустя (в фельетоне 1855 года, речь о котором впереди) будет толковать именно о барышне — «с пушистыми пуклями и блестящим именем». Блестящее имя, как мы еще убедимся, действительно наличествовало, но — совсем у другой. Что же касается «барышни», то это скорее всего пригодный для фельетонных надобностей образный штамп.

Так кто же?

В «Петербургском некрополе» сказано: член Государственного совета Лев Григорьевич Сенявин умер в 1862 году и погребен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры (там, к слову, погребен и Достоевский). Зная год рождения Льва Григорьевича (1805) и предположив, что женился он, как все порядочные люди, где-то около тридцати, нетрудно расчислить возраст его предполагаемой дочери (буде последняя вопреки всему все-таки не фантом). В 1846 году ей лет этак одиннадцать-двенадцать. Если даже она и впрямь красавица и к тому же, невзирая на нежные лета, допущена на светские рауты, все равно хлопаться перед ней в обморок по меньшей мере непедагогично.

Вместе со Львом Григорьевичем не покоится никто из членов его семейства [1]. За исключением старшего брата — Ивана Григорьевича, который заслуживает того, чтобы им заняться поближе.

И тут в стройный порядок рассказа, как всегда, мешая колоду, врывается Пушкин.

Иван Григорьевич Сенявин (1801—1851) — двоюродный брат «полумилорда, полукупца» М. С. Воронцова, под бдительным призором которого знаменитый изгнанник отбывал одесскую ссылку. 1 апреля 1824 года Пушкин писал брату Льву: «Письмо это доставит тебе Синявин, адъютант графа Воронцова, славнейший малый, мой приятель...».

Бессмертие г-ну Сенявину сим обеспечено; пока, правда, нет никаких намеков на «г-жу».

Но вот в 1829 году полковник Сенявин женится и вскоре выходит в отставку. Его избранница — Александра Васильевна Оггер (или Гоггер) — дочь бывшего голландского посланника в России Иоанна-Вильгельма (Василья Даниловича тож) Гоггера. Последний в 1810 году, не перенеся, очевидно, захвата любимой отчизны войсками Бонапарта, принял русское подданство и сделался губернатором Курляндским.

Женитьба «славнейшего малого», которому его давний одесский приятель посылает на новый, 1830 год свою визитную карточку, отмечена и обсуждена в пушкинском круге. «Они устроили свой дом на Аглицкой набережной,— пишет А. О. Смирнова-Россет.— Она (Сенявина.— **И. В.**) сказала, что принимает запросто у себя утром. Тогда спускали занавески и делался таинственный полусвет» [2].

Когда наконец Александра Васильевна выступает из этого «таинственного полусвета», первое, в чем мы немедленно убеждаемся, что она-то уж точно красавица.

Петр Андреевич Вяземский в супружеских письмах аттестует Александру Васильевну как «мадам... у которой плечи, глаза, ножки, ноздри, дом, обед, все на лучшей ноге», и игриво осведомляется у супруги, не ревнует ли она его к указанной особе» [3].

В 1846 году, достигнув бальзаковского возраста (она старше Достоевского лет, наверно, на десять), Александра Васильевна не утратила былого блеска и обаяния.

...И моргнул курносым носом
Перед русой красотой...

(А все происхождение: фламандка, блондинка, словом — белокурая бестия! Пушкину тоже напророчили белого человека. Ч. Б. с его острым патриотическим

---

[1] Саитов В. И. Петербургский некрополь, т. 4. СПб., 1913, с. 58—59.
[2] Смирнова-Россет А. О. Автобиография. М., 1931, с. 119.
[3] Звенья, т. VI. М., 1936, с. 252.

глазом непременно подметил бы, что дети голландских посланников, как сговорившись, сражают русских писателей: оставим за ним это важное наблюдение.)

...Для вящего удобства растаскивая вечность «по эпохам», мы забываем порой, что она, собственно, неделима и что время медленно перетекает во время. Защитники натуральной школы проливают вполне натуральную слезу — и вот уж «Бедная Лиза» машет слабеющей рукой вослед почти одноименному роману... Пушкинские красавицы внезапно являются людям совсем иной поры — и ослепляют их, и восхищают, и повергают в смятение...

Мы искали портрет Сенявиной, но — не нашли.

Итак, Александра Васильевна: более некому. К тому же выясняется, что она имеет некоторое касательство и к литературе.

«Я получил приглашение от Сенявиной на завтрашний вечер,— пишет Ю. Ф. Самарин К. С. Аксакову.— Загоскин и Вельтман будут читать. Любопытно послушать».

Письмо это — от одного литератора к другому (с упоминанием еще двух писательских имен) — отправлено в 1843 году из Москвы, где муж Сенявиной исполнял должность гражданского губернатора. Дом Ивана Григорьевича был «одним из центров московского общества», а губернаторша (вот, наконец, разъяснение мелькнувшего выше намека) отличалась — что отчасти нам уже не в новинку — «красотою и любознательностью» [1].

Любознательность Сенявиной простиралась настолько, что она даже посещала лекции Т. Н. Грановского в Московском университете. Впрочем, последнее было модно. «...Вероятно,— пишет И. С. Аксаков родным,— лекции Грановского скоро потеряют первобытный характер, ибо где светское общество, там всегда пустота, возбуждающая насмешку. Особенно эти дамы!.. Сенявина записывает!» [2]

Сам Грановский, однако, не выказывал признаков недовольства. «Лекции дали мне много новых знакомств,— пишет он Н. Х. Кетчеру 14 декабря 1843 года,— между прочим, я познакомился с Сенявиной. Она мне понравилась: умная и живая женщина, с которою легко говорить» [3].

Достоевскому с Сенявиной «говорить» было трудно.

Пока гражданский губернатор Москвы тщетно пытался искоренить во вверенном ему городе взятки, его супруга занималась делом более исполнимым. Она собирает вокруг себя избранных литературных друзей и вообще, если верить тогдашней прессе, выступает покровительницей «всех отличных дарований» [4]. Когда в 1844 году Иван Григорьевич получил новое назначение (на пост товарища министра внутренних дел) и семья засобиралась в Петербург, московское литературное общество положило подарить на память своей ценительнице и меценатке «великолепный альбом с видами Москвы», украсив оный стихами и прозою.

В воспоминаниях Б. Н. Чичерина (в своем либеральном благодушии не подозревающего о том, что он — дядя будущего наркома) запечатлен разразившийся в связи с этим скандал.

Поэт Н. М. Языков, некогда тонкий лирик, а ныне обличитель безродных космополитов, вписал в альбом гражданской губернаторше свои гражданские стихи. Они были выдержаны в выражениях не вполне парламентских.

[1] Самарин Ю. Ф. Сочинения, т. 12. СПб., 1911, с. 39.

[2] Отец Аксаковых, Сергей Тимофеевич, чтобы продемонстрировать сыну красоты плохо усвоенной русской речи, не поленился переписать для него записку, которую губернаторша адресовала Константину Сергеевичу: «Завтра вечером четверг я буду дома и с удовольствием увижу, господин Аксаков, что вы не упустите случай мне доказать вашу признательность к нашему обществу...» (В кн.: Аксаков И. С. Письма к родным. М., 1988, с. 573—574.) Учитывал ли взыскательный автор «Записок ружейного охотника», что Александру Васильевну несколько извиняет ее иностранное происхождение?

[3] В кн.: Герцен А. И. Собр. соч., т. XXII, с. 286.

[4] Москвитянин, 1844, № 5, отд. III, с. 167—168. Сам губернатор, по-видимому, тоже обладал вкусом. Его брат Лев Григорьевич, покупая для своего тегеранского приятеля гравированные портреты императорской семьи, прибегал к эстетической помощи Ивана Григорьевича

Так, Петр Яковлевич Чаадаев именовался в них «плешивым идолом строптивых баб и модных жен» (не имелась ли в последнем случае в виду счастливая обладательница альбома?), а любимый Москвою Грановский — оракулом юных неучей и — что значительно хуже — сподвижником «всех западных гнилых надежд» [1].

«Подобная проделка была совершенно непозволительна,— замечает Б. Н. Чичерин.— ...Когда же этот пасквиль рукою автора был внесен в альбом великосветской дамы, занимающей видное общественное положение... то неприличие достигало уже высшего своего предела» [2].

Короче, Сенявина пала едва ли не первой жертвой великой национальной распри — идейной схватки западников и славянофилов, распри, которую Достоевский много позже назовет недоумением ума, а не сердца. Как и на всякой войне, женщины терпят безвинно...

Надо признать, что появление Александры Васильевны у Виельгорских совершенно уместно. Где еще в Петербурге женщина света могла удовлетворить свои литературные интересы, не рискуя при этом положением и репутацией?

Установив личность «г-жи Сенявиной», попытаемся теперь воссоздать всю картину.

Где, собственно, происходит дело? Следует все же дать точную справку: иначе читатель окончательно запутается в титулах, степенях родства и прочих немаловажных аксессуарах.

Граф Владимир Александрович Соллогуб со своей 25-летней женой, Софьей Михайловной, жительствует в доме тестя, графа Михаила Юрьевича Виельгорского, женатого, в свою очередь, на Луизе Карловне, урожденной герцогине Бирон. Строго говоря, у каждого члена семьи собственная жизнь и собственные приемы. Луиза Карловна собирает у себя исключительно аристократический круг; граф Михаил Юрьевич — светско-артистически-музыкальный; граф Владимир Александрович — светско-литературный. Последние два круга — взаимопроницаемы.

Разумеется, Достоевский был в гостях у Соллогубов (посещал ли он музыкальные вечера Виельгорских — другой вопрос), однако, согласно традиции, мы будем иногда обозначать этот дом именами обоих хозяев.

Соллогуб недаром зазывал автора «Бедных людей» к себе в «зверинец». Там было что посмотреть. Литераторы выставлялись на обозрение как редкие дивы — и дамы украдкой снимали свои бриллианты, дабы не напугать робких гостей.

Но Достоевского, как знаем, поразило другое.

Гоголь говаривал, что графиня Софья Михайловна (кстати, это именно она выдрала для него из книги «Бедных людей») — ангел кротости. Что же могло вывести ее из себя и вызвать столь неадекватную, «неангельскую» реакцию? Уж не уронил ли ненароком Белинский злополучную рюмку на новое платье хозяйки (он, если вспомнить погубленные панталоны Жуковского, был мастером по этой части)?

Реплика Софьи Михайловны («они не только неловки и дики...» и т. д.) могла уязвить смертельно.

И еще: с кем делилась графиня своими любопытными наблюдениями? Не перед ее ли собеседницей один из гостей пал, как остроумно замечено в «Послании», «чухонскою звездой»?

Но каким образом Достоевский мог подслушать этот доверительный разговор? Ведь не орала же Софья Михайловна на всю залу!

Дочь графа Виельгорского и жена графа Соллогуба слишком хорошо воспитана, чтобы позволить себе такую промашку. Фраза скорее всего была произнесена вполголоса, с улыбкою и — по-французски. Белинский не понимал это-

[1] Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Москва сороковых годов. М., 1929, с. 23. Мемуарист, вероятно, приводит по памяти варианты языковских стихов: в окончательном тексте эти строки звучат несколько по-иному.

[2] Там же, с. 22—23.

го языка. Софья Михайловна могла полагать, что французским не владеет и никто из «диких и неумных» его сотоварищей.

Относительно переводчика «Евгении Гранде» графиня заблуждалась.

Стоит ли толковать о предчувствиях? Сенявина в конце концов не только красавица, но и жена товарища министра — одного из высших чиновников того самого ведомства, которое вплотную займется Достоевским годика через три. Как тут не зашататься от страха! Однако эти мистические предположения завели бы нас слишком далеко.

Возможно, существовала еще причина — на сей раз сугубо прозаического свойства.

Достоевский не любил вина.

Особенно дурно действовало на него шампанское. Когда в 1867 году он вместе с Анной Григорьевной будет делать свадебные визиты, именно этот благородный напиток вызовет у него ужасный двойной приступ эпилепсии, который так поразит его молодую жену. У Белинского, как помним, в руках находилась рюмка (бокал?). Нет оснований предполагать, что в руках у Достоевского находилось что-то другое.

Незнакомое и высокомерное общество, выпитое вино, неловкость, совершенная глубоко уважаемым им человеком, и обида за него после случайно услышанной фразы, ослепительная «аристократическая» красота Сенявиной, наконец,— всего этого вполне достаточно, чтобы повести к злополучной развязке. Сознание, как помним, защищается от сильных чувств при помощи обморока...

Впрочем, ему (сознанию) ничего иного не остается, ибо оно (сознание), как известно любому школьнику, определяется бытием. Кажется, автор «Двойника» нарушил это капитальное установление. Художественный вымысел оказался у него первичным. И судьба немедленно подвергла его взысканию, избрав своим орудием женщину...

Вспомним «петербургскую поэму».

Решительным пунктом в помешательстве господина Голядкина становится его беззаконное вторжение на бал в день рождения несравненной Клары Олсуфьевны. При этом герой совершает ряд непростительных промахов: «наткнулся мимоходом на какого-то советника, отдавил ему ногу; кстати, уже наступил на платье одной почтенной старушки и немного порвал его, толкнул человека с подносом, толкнул и еще кой-кого...» Кульминация сцены — отчаянная попытка героя заставить виновницу торжества пройтись с ним в новомодной польке. Господина Голядкина оттаскивают и с позором изгоняют из начальственного дома. На обратном пути от Берендеевых впервые является герою его двойник.

Разумеется, Сенявина — не Клара Олсуфьевна, да и Достоевский у Соллогуба — гость желанный и званый. И все же на этом празднике жизни он тоже **ч у ж о й**. Поэтика «Двойника» накладывается на поэтику действительности, и ущемленное своей вторичностью бытие как бы мстит непрошеному провидцу...

...Но надо ли так пристально вглядываться в один-единственный день (даже вечер!) из жизни героя? Разве мало других, не менее замечательных дней? Мы, однако, прозреваем здесь некоторую закономерность.

Отрочество и юность Достоевского — это цепь судьбоносных мгновений. Встреча с мужиком Мареем, смерть девочки из Мариинской больницы, часы ночного дебюта, обморок у Виельгорских и, наконец, Семеновский плац — все эти однократные (и неравнозначные) события будут востребованы неоднократно. Тонет в тумане дорога — и лишь редкие вспышки освещают изгибы пути...

«Я, брат, пустился в высший свет,— лихо сообщает герой 1 февраля 1846 года,— и месяца через три лично расскажу тебе все мои похождения». О последних больше не будет упомянуто ни разу.

Но слово не воробей. Стыдливо потупясь, биографы вынуждены признать, что автор «Бедных людей» на некоторое (недолгое, впрочем) время поддался искушениям и соблазнам красивой жизни. Даже комментаторы Полного (академического) собрания сочинений говорят о его **в и з и т а х** к Соллогубу — во множественном числе (т. XXVIII, I, с. 431). При этом основываются как на заме-

ках самого любителя «похождений», так и на заявлениях Любови Федоровны, которая, уверяя, будто ее отец «часто» и «с давних пор» посещал литературные салоны, безмятежно добавляет: «Отец особенно хорошо чувствовал себя у Виельгорских...» [1].

О том, **к а к** он себя там чувствовал, мы уже знаем. Зададимся вопросом, сколь часто он там бывал.

О В. А. Соллогубе Достоевский впервые упоминает в письме к брату от 16 ноября 1845 года. По его словам, граф якобы усиленно допрашивает Краевского, где ему **д о с т а т ь** автора еще не опубликованных «Бедных людей». Издатель «Отечественных записок» со свойственной ему прямотой «режет» графу — Достоевский, мол, вряд ли захочет осчастливить его своим посещением, после чего безутешный граф «рвет на себе волосы от отчаяния».

Владимир Александрович Соллогуб восемью годами старше Достоевского. Он был светский человек, но при этом писал неплохую прозу и слыл модным беллетристом. (Государь, по словам Пушкина, «литератор не весьма твердый», даже путал его с Гоголем.) Автор «Тарантаса» принадлежал к кругу Жуковского, Вяземского, Ал. Тургенева — к той самой «литературной аристократии», на которой все еще лежал отблеск пушкинской славы. И сам Соллогуб, и его тесть — царедворец, композитор и меценат в одном лице — граф Михаил Юрьевич Виельгорский, оба они — приятели Пушкина: это стоило много.

Интерес Соллогуба к Достоевскому — не просто любопытство большого света. Это как бы знак внимания большой литературы.

Такое внимание льстит и настораживает одновременно.

В письме Достоевского, лично еще не знакомого с графом, сквозят нотки явного недоброжелательства. Он именует Соллогуба «аристократишкой» (зачеркнуто: «мерзавец»), который «становится на ходули и думает, что уничтожит меня величием своей ласки».

«Аристократишка» — это не только форма социальной самозащиты. Это еще и точка зрения круга, лишенного родовых преимуществ, но свято чтущего свое духовное первородство.

Так и не сумев познакомиться с Достоевским осенью 1845-го, Соллогуб знакомится с его «Бедными людьми» в конце января 1846-го. Придя от романа в восторг, граф неожиданно посещает дебютанта. Описав в своих воспоминаниях скромную обстановку, в какой он застал молодого писателя, Соллогуб добавляет, что тот был чрезвычайно сконфужен его посещением и особенно — его похвалами. Граф объясняет это природной застенчивостью хозяина. Он, разумеется, прав. Но, может быть, Достоевский вспомнил еще свои нелестные эпистолярные отзывы — и ему сделалось совестно?

Граф настоятельно приглашает дебютанта посетить его запросто. Достоевский конфузится и благодарит.

«Соллогуб, мой приятель»,— небрежно роняет он в письме к брату: оно, судя по всему, написано либо в самый день визита, либо буквально назавтра. Засим следует уже известная фраза о высшем свете и удовольствиях, там ожидаемых. Причем сама фраза построена таким образом, что из нее можно заключить, будто означенные удовольствия уже имели место [2].

1 февраля 1846 года (дата написания письма) Достоевский в высший свет еще не «пустился». Он лишь зван в этот чарующий мир. Но нетерпеливый герой, как всегда, опережает события.

Есть документ, который, возможно, связан с визитом Достоевского к Соллогубу. Это записка Белинского к автору «Двойника» — единственное дошедшее до нас письменное свидетельство их отношений.

---

[1] Степень осведомленности мемуаристки демонстрирует ее утверждение, что «у Виельгорских не было дочерей». Между тем одна из этих несуществующих» дочерей была, как мы знаем, замужем за В. А. Соллогубом, вторая — за товарищем министра, а третья, Анна Михайловна — та единственная счастливица, к которой сватался Гоголь.

[2] Эта новая информация как бы зеркальна с уже известным («Минушками и Клярушками»): правда, здесь резко повышен социальный статус.

Белинский слегка интригует адресата. Он зовет его в дом, куда должен проводить приглашенного человек, доставивший эту записку. Очевидно, Достоевский в доме том ранее не бывал, хотя с хозяином скорее всего знаком. «Вы увидите всё наших, а хозяина не дичитесь, он рад вас видеть у себя».

Очень похоже, что Белинский писал свою записку, находясь в гостях у Соллогуба, который, как помним, однажды уже приглашал адресата. Хотя, разумеется, не исключены и другие варианты.

(В 1845 году Соллогуб был в натянутых отношениях с Белинским и его кругом из-за статьи критика о «Тарантасе». Статья не показалась Соллогубу достаточно лестной. Может быть, первоначальная неприязнь Достоевского к графу вызвана его солидарностью с «нашими»? Записка Белинского могла быть сигналом того, что мир заключен и идти к автору «Тарантаса» можно и даже должно. Сам раут «с литераторами», очевидно, замышлялся Соллогубом как акт примирительный. Достоевскому надлежало способствовать успеху дела.)

Новейшие исследователи датируют записку Белинского ноябрем — первой половиной января 1846-го [1].

Хотелось бы уточнить датировку.

Как мы знаем, Соллогуб посещает Достоевского, очевидно, в самом конце января (не позже 1 февраля) 1846 года. Достоевский тогда уклонился от приглашения. Записка Белинского (если она писана действительно у Виельгорских) должна была возымеиь свое действие. Во-первых, в данном конкретном случае повторный отказ выглядел бы просто невежливым. А во-вторых, присутствие у Соллогуба «всё наших» являлось серьезной моральной поддержкой для самого стеснительного из них.

1 февраля — сразу же после визита Соллогуба! — заявлено о намерении поразить высший свет (хотя, повторяем, глагол «пустился» может быть истолкован как констатация действий уже совершенных). В следующем письме к брату, от 1 апреля, тема эта не возникает. Автор письма сообщает о реакции публики на «Двойника», о литературных новостях, о здоровье. «Идей бездна и пишу беспрерывно»,— говорит он.

Нет, не так ведут себя удачники, литературные везунчики, кумиры толпы! Замирая от нетерпения, поспешают они в гостиные и будуары («Сказала: «Будь смел» — не вылазил из спален. Сказала: «Будь первым» — я стал гениален...» — в этой мировой формуле следовало бы поменять последовательность событий), дабы насладиться заслуженной славой или по меньшей мере убедиться в отсутствии таковой. «Пишу беспрерывно» — это удел непризнанных гениев: заслуженным талантам можно и отдохнуть...

«Я, брат, пустился в высший свет...» Полно; при всем уважении к автору мы позволим себе ему не поверить.

Ибо если февраль и март прошли в каждодневных трудах, следовательно, воинственные намерения остались только в проекте. Это, собственно, подтверждает и сам искуситель — хозяин салона, граф Соллогуб (никакой другой территории для «похождений» не просматривается). Он говорит, что «только месяца два спустя» после его приглашения автор «Бедных людей» появился наконец в его «зверинце».

Сам Достоевский не упоминает об этом визите.

Следующее письмо его к брату — от 26 апреля — представляет разительный контраст с предыдущими. В нем нет и тени былой хлестаковщины; ни малейших следов дебютной эйфории. «Я не писал тебе оттого, что до самого сегодня не мог взять пера в руки». Этот мерный суровый тон, эта печальная деловитость ничуть не похожи на недавние авторские восторги. Между 1 и 26 апреля должно было случиться нечто чрезвычайное. Достоевского поражает болезнь, и длится она, по-видимому, не менее двух-трех недель.

[1] Немзер А. С., Осповат А. Л. Две заметки о Белинском.— Известия АН СССР. Серия литературы и языка. М., 1982, т. XLI, вып. 1. с. 66—68

Следовательно, визит к Соллогубу мог состояться в первых числах апреля. То есть как раз спустя те два месяца, о которых толкует граф.

«Лечение же мое должно быть и физическое и нравственное»,— замечает Достоевский. Обморок у Виельгорских выглядит как первый приступ тяжелой апрельской болезни. Да и сама болезнь могла быть спровоцирована волнением, пережитым «перед сонмищем князей».

Доктор Яновский, пользовавший больного (чей недуг, собственно, и явился причиной их знакомства), хорошо запомнит рассказ своего пациента. Не тогда ли было поведано ему о сентенции графини, которая взирала на нерасторопного Белинского и в дурном вкусе чувствительного Достоевского почти как на двух коверных?

Так сколь же часто бывал Достоевский в высшем свете?

Сам Соллогуб определенно говорит (и его слова благополучно игнорируются), что скромный дебютант появился у него в салоне только однажды.

В это — единственное! — свое посещение он становится свидетелем неловкости Белинского; «подслушивает» оскорбительную реплику хозяйки дома; наконец, сам падает в обморок. Подобная плотность событий почти немыслима в жизни, но как раз характерна для его романов, где единицей измерения часто бывает скандал.

«...Скоро,— продолжает граф,— наступил 1848 год, он (Достоевский.— **И. В.**) оказался замешанным в деле Петрашевского и был сослан в Сибирь...» Естественно, визиты прекратились.

Мемуарист полагает, что доверчивого читателя устроит подобное объяснение. Но ведь до ареста героя оставалось еще целых три года! Не проще ли предположить, что впечатлительный гость не испытывал особого желания вновь побывать на месте своего позора? Следует, впрочем, отдать должное деликатности графа: будучи, без сомнения, свидетелем происшествия, он не считает возможным о нем распространяться... В отличие, скажем, от Панаева, который не только дважды (1847 и 1855) обыграл эпизод в печати, но, по-видимому, собирался капитально изложить его в своих позднейших воспоминаниях, чего сделать, однако, не успел вследствие внезапной кончины. Воспоминания доведены как раз до главы, где должен был изображаться дебют Достоевского. Сохранилась лишь краткая аннотация: «Появление Ф. М. Достоевского.— Успех его «Бедных людей».— Увлечение Белинского.— Достоевский на вечере у Соллогуба (обморок? — **И. В.**)».

Решившись посмеяться над Достоевским в третий раз, Панаев как бы понес магическую кару. Что, впрочем, не остерегло других, даже не заметивших знака.

В своих предсмертных записях Достоевский глухо упоминает о какой-то ссоре своей с И. И. Панаевым. Возможно, следствием (или причиной?) этой ссоры был фельетон Панаева в четвертом номере «Современника» за 1847 год, где содержался прозрачный намек на известный обморок. Отметим сходство отдельных фразеологических оборотов в панаевском тексте и в тексте «Послания»: «Я, признаюсь... чуть-чуть скоропостижно не лишился жизни...» (фельетон Панаева) — «...И чуть-чуть скоропостижно не погиб во цвете лет» («Послание»). Как видим, Панаев выжал из происшествия все, что мог. Не поддадимся соблазну усмотреть в этом факте наличие супружеской обиды: ведь перед А. Я. Панаевой Достоевский в обморок не падал!

...Таков был печальный итог его «похождений». Единственное посещение большого света не принесло ему славы. Но — запомнилось крепко: увы, не только ему одному.

Поэтому мы можем теперь по-новому датировать плод коллективных досугов — «Послание Белинского к Достоевскому»: не ранее апреля 1846 года.

Вернемся, однако, к самому «Посланию» — хотя, строго говоря, мы от него и не уходили.

Остановимся на последней строфе. В ней содержался намек, который в

1880-м — спустя 34 года! — породил громкий литературный скандал. (Как ни предостерегали нас критики от «смрадного дыхания сплетни», соблазн слишком велик!)

Речь идет о пресловутом требовании, которое Достоевский якобы предъявил своим издателям: обвести одно из его произведений особой печатной каймой, подчеркнув тем самым высокие достоинства текста.

Но, прежде чем обратиться к этой истории, зададимся вопросом: знал ли о «Послании» его герой?

А. Я. Панаева описывает выразительную сцену: Достоевский «в очень возбужденном состоянии» является к Некрасову; между ними происходит бурное объяснение. «...Оба они страшно горячились; когда Достоевский выбежал из кабинета в переднюю, то был бледен как полотно и никак не мог попасть в рукав пальто, которое ему подавал лакей; Достоевский вырвал пальто из его рук и выскочил на лестницу».

Осведомленный читатель понимающе усмехнется. Как же! Разумеется, Авдотья Яковлевна, втайне гордясь происшествием, описывает ссору двух ревнивцев, один из которых, бросив в лицо счастливому сопернику жалкие слова, с горестью покидает поле боя («в опустевшей передней долго не влезет сломанная дрожью рука в рукав»). Но в XIX веке мемуаристки еще стеснялись сообщать такие подробности! Поэтому Авдотья Яковлевна, покривив душой, указывает литературную причину.

Не в наших правилах в чем-то разубеждать читателя.

После ухода Достоевского Некрасов «дрожащим от волнения голосом» заявляет, что его посетитель «просто с ума сошел»: «И кто это ему наврал, будто бы я всюду читаю сочиненный мною на него пасквиль в стихах! до бешенства дошел».

Когда происходит сцена? Следует вспомнить, что осенью 1846 года Некрасов жительствует уже на квартире Панаевых: так отныне будет всегда.

Поскольку никакой иной некрасовской эпиграммы на Достоевского мы не знаем, остается предположить, что речь идет о «Послании». Однако если даже «витязь горестной фигуры» извещен о существовании подобного опуса, это еще не означает, что ему известен сам текст. Во всяком случае, авторы, зная обидчивость героя, не были особенно заинтересованы в том, чтобы это сочинение до него дошло.

Нет никаких указаний на то, что ранее весны 1880 года (то есть его последней весны) те или иные строки «Послания Белинского к Достоевскому» были знакомы адресату.

В мае 1880 года, когда разразился упомянутый литературный скандал (речь о нем еще впереди), одна строфа «Послания» появилась в «Вестнике Европы»: редакция извлекла ее из забвения как исторический аргумент. Так Достоевскому стала известна единственная (последняя) строфа, где имя его, впрочем, не называлось. Несколько позже он заносит в предсмертную записную тетрадь, что эти стихи «без сомнения не на меня написаны». Если бы он знал всё стихотворение (или хотя бы его название!), он бы, разумеется, думал иначе.

Впрочем, он думал бы иначе и в том случае, если бы, пребывая в Семипалатинске после выхода с каторги, имел возможность более основательно следить за столичной периодикой.

В декабрьском номере «Современника» за 1855 год Новый Поэт (Иван Иванович Панаев: опять он!) предавал осмеянию некоего литературного кумирчика, которому автор фельетона и его друзья когда-то восторженно поклонялись. Кумирчик якобы потребовал от своего издателя, чтобы тот напечатал его произведение «в начале, или в конце книги» и чтобы оно было обведено «золотым бордюром, или каймою». Издатель, дабы угодить юному гению, немедленно согласился на все его условия:

Ты доволен будешь мною:
Поступлю я, как подлец,
Обведу тебя каймою,
Помещу тебя в конец!

Таким образом, последняя строфа «Послания» была впервые обнародована еще в 1855 году: герой был легко узнаваем (во всяком случае, 19-летний Добролюбов узнал немедленно). Однако ни в письмах из Сибири, ни позже Достоевский никогда не упоминает об этом навете. Знакомство со стихотворным текстом состоялось только через четверть века — в 1880 году, когда — в ходе полемики — в номере «Нового времени» от 3 мая В. П. Буренин изложил забытый панаевский фельетон[1].

Но даже и теперь Достоевскому не хочется верить! Однако верить приходится. И в его последней тетради появляется запись: «Каторга...

И мужик постыдится, он не попрекнет ,,несчастного"».

Иначе говоря, автор «Мертвого дома» не без горечи констатирует, что его бывшие друзья и единомышленники потешались над ним как раз в тот момент, когда он пребывал «в мрачных пропастях земли».

Здесь обнаруживается одна знаменательная аналогия. В свое время Достоевским были публично отвергнуты обвинения в том, что его повесть «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже» — не что иное, как пародия на заключенного в Петропавловскую крепость Николая Гавриловича Чернышевского. Для него, бывшего узника этой крепости, подобные шутки — нравственно невозможны.

В 1855 году Панаев с легкостью необыкновенной позволил себе то, в чем позднее был негодующе упрекаем автор «Крокодила». У Достоевского имелись основания заметить, что этика Нового Поэта несколько проигрывает в сравнении с этикой «мужика».

Но каким образом через столько лет после предполагаемых событий вдруг снова всплыла эта история? Почему за девять месяцев до смерти Достоевский вынужден был публично оправдываться в возводимых на него клеветах?

Апрель 1880: в журнале М. М. Стасюлевича «Вестник Европы» (издание, к которому близок весь тургеневский круг) печатаются одни из лучших русских воспоминаний — «Замечательное десятилетие» Павла Васильевича Анненкова. Сам 67-летний мемуарист, талантливо и с истинным жаром поведавший читателям о незабвенной эпохе 40-х годов, пребывает в это время в немецком городе Бадене.

Повествуя о славных днях, Анненков, разумеется, не мог не упомянуть Достоевского. Обстоятельная ретроспектива была оживлена анекдотом. Требование «каймы» — открыто, без каких-либо экивоков — влагалось в уста названного своим полным именем героя. Автор еще не законченных печатанием «Братьев Карамазовых» представал перед всей читающей Россией в довольно-таки дурацком виде.

Либеральная («тургеневская») партия наносила своему давнему ненавистнику и оппоненту идейный удар, более похожий на личное оскорбление. Недаром Достоевский расценил этот выпад как акт моральной дискредитации, как попытку опорочить его писательский облик в глазах читающей публики («чтобы запачкать»).

Суворинское «Новое время», только и ждущее случая, чтобы почувствительнее задеть респектабельный «Вестник Европы», не без злорадства уличает Анненкова в клевете. Газета дает точную библиографическую справку: в известных экземплярах «Петербургского сборника» никакой каймы нет.

---

[1] Авторство В. П. Буренина мы устанавливаем из неопубликованного письма А. С. Суворина к Достоевскому от 12 мая 1880 г. (Отдел рукописей ГБЛ, ф. 93, разд. II, карт. 9, ед. хр. 33).

Честь мемуариста была поставлена на карту — и он из Бадена немедленно высылает Стасюлевичу свои письменные оправдания. Автор «Замечательного десятилетия» горячо уверяет редактора, что он-де самолично видел первые экземпляры сборника «с рамками». Разумеется, это не намеренная ложь, а невольная аберрация старческой памяти. (Трогательно, что, уверяя Стасюлевича в ее абсолютной надежности, Анненков тут же именует первый роман Достоевского «*Добрыми* Людьми».)

Любопытна также трансформация давних слуховых впечатлений в устойчивый зрительный образ. Дело в том, что в 1846 году будущий воспоминатель покинул Петербург 8 января, то есть за четыре дня до появления цензурного разрешения на выход «Петербургского сборника» и примерно за одну-две недели до его поступления в продажу. Так что сам он «видеть» ничего не мог: он мог только *слышать*.

Ни одного экземпляра «Петербургского сборника» с «каймой» доселе не обнаружено.

Неточности в воспоминаниях Анненкова были отмечены не только на родине их автора. В той же апрельской книжке «Вестника Европы» мемуарист поведал о своих встречах с Карлом Марксом (они познакомились в Брюсселе весной 1846 года — как раз после отбытия Павла Васильевича из Петербурга). Анненков, в частности, излагает разговор Маркса с одним русским «степным помещиком»[1]. Этот номер журнала попался на глаза Марксу, который сделал на полях 496-й страницы следующую выразительную помету: «Это ложь! Он (то есть помещик.— И. В.) ничего подобного не говорил»[2].

Таким образом, Анненков-мемуарист подвергся критике не только в Петербурге. Его не одобрили и в Лондоне. Интересно: добрался ли Маркс до эпизода, где фигурировал Достоевский, и сказала ли ему что-нибудь эта фамилия?

Встречи и переписка с Марксом относятся к тому весьма непродолжительному периоду в жизни Анненкова, когда он мог позволить себе известное вольномыслие. Правда, те, кто хорошо изучил характер Павла Васильевича, никогда не обольщались на этот счет. В 1856 году Некрасов и Дружинин жестоко отделали своего приятеля в совместно написанной эпиграмме (чувство юмора в 40-е и 50-е годы тесно увязано с чувством коллективизма):

За то, что ходит он в фуражке
И крепко бьет себя по ляжке,
В нем наш Тургенев все замашки
Социалиста отыскал.
Но не хотел он верить слуху,
Что демократ сей черств по духу,
Что только и собственному брюху
Он уважение питал.

Замечательно, что Анненков (точно так же, как и Достоевский в случае с «Посланием»!) почти четверть века ничего не ведал об этой характеристике: вплоть до возникновения «дела о кайме», когда Суворин, желая побольнее уязвить оппонента, опубликовал указанную эпиграмму в «Новом времени» (4 мая 1880 г.). Разобиженный Павел Васильевич не нашел ничего лучшего, как приватно возразить, что он «фуражки — ей-богу — никогда не носил» и что «это напраслина»[3].

Впрочем, по сравнению с «каймой» «фуражка» выглядела сущей безделицей.

Достоевский не мог поверить в то, что он является адресатом «Послания». В свою очередь Анненков, ознакомившись с эпиграммой на себя, усомнился в авторстве Некрасова: «А впрочем может быть и он состряпал — таков был человек». Полемика вокруг «каймы» сильно огорчила мемуариста. («Помой очень много вылито... на меня пакостниками «Н<ового> В<ремени>».) Спустя три

[1] К. И. Чуковский установил, что речь идет о Григории Толстом. См.: Лит. наследство, т. 49—50, с. 385—396.
[2] См.: Ан<дреев>ский С. А. К характеристике Маркса.— Рус. мысль, 1903, № 8, 2-я пагин., с. 63. Автор статьи утверждает, что эту книжку «Вестника Европы» Маркс читал «с большим вниманием»: многие страницы отмечены его синим карандашом.
[3] М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. III, СПб., 1912, с. 387.

месяца, когда, казалось бы, должны были утихнуть страсти, он, все еще негодуя, пишет Стасюлевичу, что прибывающая в Карлсруэ великая княгиня Мария Максимилиановна (дочь того самого «Лейхтенберга», который некогда «уважал» Достоевского) «упорствует считать меня порядочным и честным человеком, несмотря на все возражения «Нового времени». Вероятно — не читает его»[1].

Надо полагать, Достоевский негодовал не меньше. Он даже положил не подавать руки Павлу Васильевичу, если вдруг встретит его на Пушкинском празднике в Москве. Они действительно встретились — и Анненков наградил Достоевского поцелуем: интересующихся подробностями отсылаем к другой нашей книге[2].

Между тем «Вестнику Европы» надо было срочно спасать лицо, ибо, доверившись мемуаристу, редакция попала в пренеприятное положение. Дабы не усугублять конфуз, Стасюлевич, естественно, отказался воспроизвести в печати путаные и маловразумительные оправдания своего баденского корреспондента. Издатель обратился к другому лицу — единственному благополучно здравствующему автору «Послания». Именно Тургенев, находившийся в эти дни в Петербурге, поспешил подтвердить справедливость слов своего старого друга, заменив при этом, однако, «Бедных людей» на никому не ведомый «Рассказ Плисмылькова». (Что окончательно запутало дело. Ибо «Рассказом Плисмылькова» первоначально (в журнальном объявлении) именовался будущий рассказ Достоевского «Ползунков», напечатанный в 1848 году в запрещенном цензурой «Иллюстрированном альманахе» Некрасова и Панаева. Никакой «каймы» вокруг «Ползункова» в дошедших до нас экземплярах нет[3].)

Конечно, в редакционном ответе «Вестника Европы» нет прямой ссылки на новый источник информации (то есть на Тургенева) да и в качестве авторов «Послания» упомянуты лишь покойники (то есть Некрасов и Панаев; Тургенев предпочел сокрыть себя под псевдонимом «и др.»). У живого автора, и без того состоявшего в сложных отношениях с героем, не было ни малейшего желания настаивать на своих правах. Но, разумеется, именно с его слов была обнародована на страницах журнала последняя строфа «Послания» — с прозрачной заменой рифмующегося слова «подлец» вызывающе деликатными точками... Скромность чрезмерная, особенно если вспомнить, что указанная строфа уже опубликована Панаевым в 1855 году, причем в неурезанном виде.

«Новое время» ответило на объяснения «Вестника Европы» очередными насмешками, а 18 мая Суворин уже от имени самого Достоевского опубликовал решительное опровержение журнальной сплетни. Полемика оборвалась...

Но не оборвалась *традиция* («...ставши мифом и вопросом» — как в воду глядели авторы «Послания»: действительно *мифом* и действительно *вопросом*.) История с «каймой» периодически всплывала в той или иной мемуарной интерпретации — причем все версии в конечном счете восходят к Тургеневу. Достоевский, правда, до этого уже не дожил. И хотя нынешние исследователи склонны сюжет с «каймой» считать чистейшим, ни на чем не основанным вымыслом[4], настойчивость упоминаний заставляет поискать какие-то реальные обстоятельства, хотя бы и до неузнаваемости искаженные логикой мифа.

Для того, чтобы отвергнуть легенду, необходимо постичь ее механизм.

Кто в первую очередь был заинтересован в том, чтобы отличить «Бедных людей»? Разумеется, сам издатель. Он прекрасно понимал, что «эта штука» (похитим у будущего бессмертную формулу) если и не посильнее «Фауста» Гете, то тем не менее все же способна стать главной приманкой «Петербургского сборника». И Некрасов действительно *выделяет* роман, открывая им свой альманах.

Ни о какой «кайме» толков пока нет. Правда, говорят о другом: об иллюстрациях.

[1] Там же, с. 387, 390.
[2] См.: Волгин И. Л. Последний год Достоевского. М., 1988, с. 197—203, 273, 288, 292.
[3] В «Иллюстрированном альманахе» 1848 года «Ползунков» (то есть «Рассказ Плисмылькова») снабжен рисунками П. А. Федотова. Это единственное произведение Достоевского, иллюстрированное в 40-е годы. В тексте альманаха «Ползункову» непосредственно предшествует рассказ А. В. Станкевича «Дурак Федя»: справедливо ли усмотреть в этом *случайном* соседстве тонкий выпад издателей против одного из авторов?
[4] См. обстоятельную и конструктивную работу В. Н. Захарова «По поводу одного мифа о Достоевском» (Север, 1985, № 11, с. 113—120).

Что собираются иллюстрировать?

Открыв «Петербургский сборник», каких-либо картинок к «Бедным людям» мы там не обнаружим. И все же они существовали. Указания на это содержатся по меньшей мере в двух независимых друг от друга источниках.

Во-первых, свидетельство художника П. П. Соколова: ему были заказаны Некрасовым иллюстрации к роману.

Во-вторых, «Северная пчела». Ее сотрудник Л. В. Брант, как и следовало ожидать, был покороблен «великолепно-картинным» объявлением о «Петербургском сборнике», которое он углядел в кондитерской на Невском проспекте.

Без риска ошибиться можно утверждать, что речь у Бранта идет о первых в мире иллюстрациях к сочинениям Достоевского.

Выше уже говорилось, что булгаринская газета встретила дебютанта решительным поношением. И на сей раз упоминание о «Бедных людях» выдержано в таком же глумливом тоне. Но для нас в данном случае важна не оценка, а информация. Очевидно, те самые рисунки Соколова, которые по известным причинам не попали в печатный текст, были использованы для рекламы. И не исключено, что автор «Бедных людей», так и не дождавшийся обещанных иллюстраций, высказал в связи с этим свое неудовольствие.

Подобные огорчения не могли укрыться от его веселых литературных друзей: об этом свидетельствует блистательное «Послание».

Но что удивительно. Кроме указанного стихотворного текста (32 строки), не существует ни одного относящегося к 40-м годам источника, где бы упоминалась история с «каймой». Ни в переписке современников, ни в их дневниках на это нет и намека. Каким же образом такой соблазнительный факт мог ускользнуть от внимания друзей и врагов? Белинский, например, сообщает о Достоевском «анекдоты» куда менее занимательные. О «кайме» же впервые вспоминают лишь в 1855 году (фельетон Панаева): тут уже она повышается в звании и именуется «золотым бордюром». В самый момент происшествия «нехудожественные» известия о нем отсутствуют.

Все это наводит на мысль, что слух о «кайме» возрос не на основе конкретного, достоверно известного и твердо зафиксированного в общественной памяти события, а синтезировался из разного рода пересудов и кривотолков. Но как возникли эти последние?

И снова сквозь шум времени (который, как водится, большей частью состоит из звуковых помех) доходит до нас слабый голос героя. Доходит, правда, не «напрямую», а в позднейшей передаче Константина Леонтьева. Да и сам Константин Леонтьев в данном случае лишь ретранслятор: он старательно воспроизводит рассказ Ивана Сергеевича Тургенева.

Тем не менее — вслушаемся.

«Знаете,— мою-то повесть надо бы каким-нибудь бордюрчиком обвести!»

Вот она, криминальная фраза! Очевидно, на этих (действительно неосторожных!) словах и основывались авторы «Послания». Для них совершенно безразлично, когда и при каких обстоятельствах слова эти были произнесены.

Между тем самое замечательное тут — это интонация: она прорывается сквозь двойные литературные фильтры. В словах Достоевского нет ни гордыни, ни самоупоения; тон здесь скорее просительный, почти защитный (каким-нибудь бордюрчиком»!). Нам как-то уже приходилось говорить, что так мог бы изъясняться и Макар Девушкин.

К какому же тексту могла относиться указанная просьба?

«Бедные люди» и «Двойник» уже опубликованы; «Рассказа Плисмылькова» («Ползунков») нет еще и в наметках. Между тем Белинский, увлеченный издательским успехом Некрасова, затевает собственный сборник «Левиафан». Достоевский, поспешая, пишет для него повесть «Сбритые бакенбарды».

Справедливо замечено, что по буквальному смыслу «Послания» его герой «потребовал обвести каймой произведение, которое просто не существовало». А этого быть не могло, поскольку «Достоевский так не шутил» [1].

Не было текста — не было и просьбы о «кайме». Но, может быть, Достоевский и позволял себе такие шутки именно потому, что произведение еще не написано?

На титульном листе «Петербургского сборника» значится: «Некоторые статьи иллюстрированы». И это действительно так. К примеру, стихи Тургенева украшены 19 отличными рисунками, а рассказ Панаева — 25 политипажами! В «Бедных» же «людях» обещанные ранее иллюстрации отсутствуют. Так почему бы не намекнуть непрактичному Белинскому, что недурно бы в предполагаемом «Левиафане» украсить предполагаемую повесть хотя бы «каким-нибудь бордюрчиком» (сиречь иллюстрациями), раз чести этой удостаиваются и другие авторы. Чем он, Достоевский, хуже остальных?

Попробуем на минуту отвлечься и представить, как происходит дело. (Мысленная инсценировка — при скудности документов — не худшая форма познания.) Честная компания сидит у Белинского и обсуждает альманашный проект. Некрасов, Тургенев, Панаев — люди в издательском деле тертые — наперебой предлагают: мне хорошо бы такие-то иллюстрации, мне — такие-то... Достоевский, ущемленный, как помним, художниками «Петербургского сборника», робко встревает: и мне... Какое, однако, самомнение!

Между тем он требует не преимуществ, а равенства. И если бы речь шла именно о рисунках, никому бы не пришло в голову обыгрывать этот сюжет. Но герой, к несчастью, выражается непрямо. Он предпочитает иносказания. Эвфемистическое «бордюрчик» — бесценный подарок литературным остроумцам. Они подхватывают словцо и превращают его в улику.

Через тринадцать лет, в письме к брату из Семипалатинска, обсуждая планы переиздания «Бедных людей», Достоевский заметит: «Как бы хорошо сделал Кушелев, если б издал с иллюстрацией! Это было бы очень хорошо».

Опять — интонация: не сожаление ли об упущенных некогда возможностях?

И, наконец, последнее.

Что светит герою «Послания» впереди? «Обведу тебя каймою, помещу тебя в конец»,— сулит обозленный издатель. То есть? То есть преподнесу твой текст так, как положено, увы, подавать в печати неизбежные горестные заметы... Не намекалось ли тут самым невинным образом, что требующий «каймы» как бы печется о собственном некрологе?

Итак, если «каймы» физически не существовало, то, как справедливо замечено, «что-то без сомнения было». И это «что-то» принадлежит к тому же ряду двоящихся сюжетов, которые словно для того и возникают, чтобы подчеркнуть соблазнительное сходство (первым соблазнился Белинский!) между автором и героем «Двойника».

Отозвавшись в 1877 году, что «повесть эта мне положительно не удалась», Достоевский тут же добавляет: «серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил».

Двусмысленная судьба «Двойника»...

Главы из повести читались у Белинского еще в декабре 1845 года: об этом много лет спустя поведал сам Достоевский. Избирательная, как у всех авторов, память запечатлела подробности: Тургенев, прослушавший половину, «похвалил и уехал» («очень куда-то спешил»,— добавляется в скобках,— и эта тридцатилетней выдержки ирония свидетельствует о незабытых обидах). Самому же Белинскому все, что ни пишет его литературный крестник, нравится как бы по инерции. Правда, в его печатном отзыве уже различимы мягкие укоряющие нотки.

Это едва наметившееся охлаждение гораздо откровеннее заявляет о себе в коллективном «Послании»: «Из неизданных творений удели не „Двойника"». И не знающий этих строк, но известный своей чуткостью герой более всего огорчен

[1] Север, 1985, № 11, с. 118.

тем обстоятельством, что «иаши» (и прежде всего — Белинский) недовольны им «за Голядкина».

Впрочем, первый истолкователь «Бедных людей» еще столь пламенно верует в возможности молодого таланта, что, торопя Герцена поскорее дать повесть в проектируемый «Левиафан», уверяет своего корреспондента, что она (повесть) была бы в альманахе капитальною вещью, «разделяя восторг публики с повестью Достоевского» («Сбритые бакенбарды»): последний между тем еще не существует в природе, и она никогда не будет дописана.

Неуспех «Двойника» вызывает у его создателя сильнейшие душевные муки. И если первое сообщение брату, будто литературные переживания повели к тому, что автор «заболел от горя», выглядит не менее литературно, то подробности, явившиеся позднее (после обморока у Виельгорских), не оставляют сомнений, что больной действительно «был при смерти в полном смысле этого слова».

«Каждый мой неуспех производил во мне болезнь»,— скажет он позднее.

Речь зашла о здоровье: о том, чего Достоевскому всегда не хватало.

В отличие, скажем, от Пушкина или Толстого он не был человеком физически крепким. К нему легко привязывались мелкие телесные недуги. Его преследовали нервические расстройства. Все воспоминатели отмечают бледность его лица.

Он был чрезвычайно мнителен. «Пивший обыкновенно не чай, а теплую водицу», он приходит в ужас от цветочной заварки и беспокоится за частоту пульса (о чем нельзя читать без улыбки — особенно если вспомнить его позднейшую приверженность к почти черному, похожему на «чифир» чаю и крепчайшему кофе). Страшась печальных последствий летаргического сна (черта, кстати, общая с Гоголем), он оставляет на ночь предупреждающие записки; он внимательно надзирает за состоянием языка и бдительно прислушивается к малейшим нарушениям в деятельности своего организма. Его очень занимает строение собственного черепа (который, по отзывам, напоминал сократовский): он — чисто по-детски — пробует приложить к нему интригующие открытия медицины.

По его собственному признанию, эпилепсия впервые поразила его в Сибири. Однако, если верить доктору Яновскому, еще задолго до каторги обнаруживается у него та самая «кондрашка с ветерком», в которой можно усмотреть грозное предвестье надвигающейся болезни.

Осенью 1846 года он, мечтавший некогда об Италии, собирается посетить ее въявь — дабы поправить пошатнувшееся здоровье. Намерение не сбывается. Между тем 30 августа упомянутого года на свет появляется Анна Григорьевна Сниткина: спустя двадцать два года молодые проведут зиму во Флоренции.

«Я переехал с квартиры,— сообщает он брату 1 февраля 1846 года (все в том же, многажды помянутом письме),— и нанимаю теперь две превосходно меблированные комнаты от жильцов. Мне очень хорошо жить».

Он не подозревает, что этот так и не узнанный им в старости дом станет его последним пристанищем (круг переселений замкнется) и именно отсюда ровно через тридцать пять лет — почти день в день! — вынесут его гроб.

В год своего дебюта он все время меняет квартиры — словно одержимый каким-то тайным беспокойством. Душевная неприкаянность прежде всего воплощается в быте: он буквально не может найти себе места.

Он любит селиться в угловых домах — в точке схождений и пересечений — там, где запинается линейный ритм городской застройки и просматриваются разные пространственные возможности. При этом он отдает предпочтение тем квартирам, из окон которых можно наблюдать церковные купола и шпили: зримые знаки обетованной миру гармонии.

Но пока гармонии не предвидится — не только в мире, но и в одной, отдельно взятой душе...

За несколько лет до смерти он продиктовал Анне Григорьевне, именуя себя в третьем лице, краткую свою биографию (сделано это было в первый и единственный раз — по чьей-то настоятельной просьбе). Не без гордости поведав о беспримерном успехе «Бедных людей», автор далее замечает:«Но наступившее затем постоянное нездоровье несколько лет сряду вредило его литературным занятиям».

Сами «литературные занятия»—не столь, заметим, малозначительные—не расшифрованы хотя бы в названиях. Зато «нездоровье» упомянуто как важный (пожалуй, даже решающий) биографический фактор. Ни с каким другим периодом своей творческой жизни Достоевский не будет так тесно увязывать указанное обстоятельство.

И тут является мысль: сугубо ли медицинскими причинами были вызваны его тогдашние недомогания? Или же естественные расстройства усугублялись отчасти их литературным происхождением?

Ни в детстве, ни в юности (то есть до начала серьезных занятий словесностью) никаких признаков эпилепсии у Достоевского не наблюдается. Правда, доктор Яновский говорит о каких-то нервных явлениях (может быть, галлюцинациях? вспомним: «Волк бежит!»), которым, по словам его пациента, тот был подвержен в детские годы.

В одном из писем к брату он просит простить его за то, что был «угловат и тяжел», гостя у него в Ревеле, и «нарочно злился» даже на маленького Федю (племянника, названного так, разумеется, в его честь). Он говорит, что был «смешон и гадок», приписывает это своему болезненному состоянию и выказывает раскаяние. Он знает о своем нелегком характере, осуждает свои «уклонения» и просит поверить, что вовсе не они составляют его человеческую суть. Он занят не только самоанализом, но и тем, что позже будет названо им самоодолением (здесь он схож с Л. Толстым): воспитанием собственной личности, «выделкой» самого себя.

Из всех своих современников он наиболее дорожит мнением одного. Он работает с постоянной оглядкой на этого человека — того, чей образ всю его жизнь не будет давать ему покоя.

Чехов однажды заметил, что царствование Белинского было для автора «Бедных людей» существеннее, чем царствование императора Николая.

«К нему,— говорит П. В. Анненков о Белинском,— всегда являлись несколько по-праздничному, в лучших нарядах, и моральным неряхой нельзя было перед ним показаться...»

«Лучшим нарядом» Достоевского были «Бедные люди». Праздник, однако, продолжался недолго.

Три капитальных момента определяют стремительное сближение и последующее расхождение...— ученика и учителя, по старой школьной привычке чуть было не обмолвились мы, но на ходу сообразили, что эти определения здесь не вполне уместны. Итак, три момента («три составных части...» — если уж на то пошло). Во-первых, эстетика. Во-вторых, проблемы общего мировоззренческого толка. И, наконец, меняющаяся литературно-журнальная ситуация.

Все, что писал Белинский о Достоевском в «Отечественных записках», отмечено превосходной степенью. Даже указания на отдельные недостатки, встречающиеся порой у автора «Двойника», должны были льстить авторскому самолюбию: недостатки эти сопрягаются с избытком таланта, еще не ведающего собственных сил.

Всего около полутора лет Достоевский мог числить себя принадлежащим к ближайшему окружению Белинского. Он вхож не только в духовный мир критика; он принимает посильное участие в его издательских и даже домашних делах. Когда весной 1846 года жена Белинского вместе с сестрой и годовалым ребенком отправляется на воды в Гапсаль, Достоевский предваряет их приезд в Ревель письмом к брату, где даются подробнейшие инструкции относительно приискания для Белинских «порядочной няньки». Он умоляет Михаила Михайловича

оказать дружественному семейству всяческое содействие и гостеприимство: «Я люблю и уважаю этих людей». Он просит о снисхождении к гостям не только жену брата, Эмилию Федоровну, но и — в шутливо-назидательном виде — своих малолетних племянников: «Недурно, если Федя и Маша тоже окажут со своей стороны какую-нибудь приязнь и откровенно выскажут свое мнение в пределах их известной солидности».

Пока Достоевские приискивают няньку для дочери Белинского, сам глава отъехавшего в Ревель семейства путешествует в это время по югу России.

Осенью 1846 года все, как и положено, сходятся в Петербурге. Но за лето успели произойти события, которые явятся полной неожиданностью как для Белинского, так и для его литературного протеже.

Об этих изменившихся обстоятельствах будет сказано ниже. Пока остановимся на изменившихся *оценках*.

«...Это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе»,— жалуется Достоевский брату в ноябре 1846-го. Он словно предчувствует недоброе.

Предчувствия оправдались. В первой же статье Белинского в первом номере обновленного «Современника» (январь 1847) Достоевский помянут в тональности, прежде к нему неприменимой. Правда, и тут об авторе «Бедных людей» и «Двойника» сказано несколько сочувственных слов. Однако третья его вещь — «Господин Прохарчин»,— напечатанная в «Отечественных записках», оценена неприязненно. Хотя и в ней Белинский усматривает искры таланта, он раздражительно замечает, что искры эти сверкают «в такой густой темноте, что их свет ничего не дает рассмотреть читателю».

В мае тон еще более ужесточается. Возникают — что ранее полностью исключалось — откровенно насмешливые нотки. Белинский выговаривает критику Валериану Майкову за то, под чем какой-нибудь год назад он, пожалуй, собственноручно бы подписался: за упоминание Достоевского в одной компании с Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем...

О «Хозяйке» говорено с таким негодованием («что-то чудовищное»; «странная вещь! непонятная вещь!»), какое может быть сравнимо лишь с восторгами, возбужденными «Бедными людьми». А в предназначенном исключительно для дружеских глаз послании (П. В. Анненкову) Белинский прилагает к новой повести Достоевского уж вовсе не печатные определения[1].

В 60-е годы Тургенев тактично предположил, что прославление Белинским «свыше меры» «Бедных людей» «служило доказательством уже начинавшегося ослабления его организма». Казалось бы, пришедшее наконец прозрение должно свидетельствовать об окрепшем здоровье.

Увы, увы, знаменитое: «Надулись же мы, друг мой, с Достоевским — гением!» произносится почти из гроба: жить Белинскому остается всего чуть-чуть.

Выходит — *не* благословил?

«Я меняю убеждения, это правда,— говаривал «первый критик»,— но меняю их, как меняют копейку на рубль!»

Он был нерасчетлив, но искренен.

Да, Белинский был искренен: и тогда, когда превозносил «Бедных людей», и тогда, когда два года спустя признавался, что трепещет при мысли перечитать их. К счастью, он, кажется, так и не успел этого сделать: *первое* чувство (которое, как свидетельствует опыт, нередко оказывается самым верным) не подверглось ревизии ожесточенного критического рассудка.

---

[1] Письма Белинского (с несколько смягченной издателями формулировкой: «Хозяйка» названа здесь «нервической *чепухой*», хотя в подлиннике употреблено более энергическое выражение) были опубликованы в №№ 187—188 «С.-Петербургских ведомостей» за 1869 год и вполне могли стать известными находившемуся в то время за границей, но по мере сил следившему за отечественной прессой Достоевскому. Таким образом, спустя двадцать с лишним лет он имел возможность ознакомиться с «внутренними» отзывами «наших». Возможно, это знакомство сказалось в крайне резких оценках им Белинского, приходящихся как раз на этот период.

Рассудку, впрочем, было отчего ожесточиться. Ибо время с 1846 по 1849 год оказалось для Достоевского периодом *проб* (благозвучие требует непременного «и ошибок», но мы, затруднившись расшифровкой термина, пожертвуем им вовсе). Автор «Бедных людей» нимало не убежден, что, сочинив этот роман, он раз и навсегда решил вопрос о творческом методе. Он находится в постоянном поиске, «сталкивая», казалось бы, взаимоисключающие приемы письма и отваживаясь на рискованные художественные эксперименты. («В моем положении однообразие — гибель».) Он прекращает писание «Сбритых бакенбард», обнаружив, что «все это есть не что иное, как повторение старого». Он писатель *неустоявшийся*: он пребывает в движении. Направление этого движения (к «Преступлению и наказанию», к «Бесам»!) неразличимо для тех, кто лишен возможности тайком заглянуть в ответ.

Белинского, только недавно провозгласившего принципы новой реалистической поэтики, не мог не насторожить гипертрофированный психологизм «Двойника». Размытое, двоящееся, «несфокусированное» изображение могло представляться ему отходом от этих принципов. Рецидивы поверженного романтизма, обнаруженные в «Хозяйке» (этой негодной попытке «помирить Марлин<ского> с Гофманом, подболтавши немножко Гоголя»), должны были окончательно вывести его из себя.

Особого неудовольствия удостаивается «фантастический колорит». «Фантастическое,— строго замечает критик, как раз в это время обратившийся к новейшим откровениям позитивизма,— в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находиться в заведывании врачей, а не поэтов... В искусстве не должно быть ничего темного и непонятного...» Любопытно: как бы отнесся автор этих слов к Кафке, Булгакову, Маркесу или, скажем, к такому позднейшему оксюморону, как «фантастический реализм»?..

«Только с ним я сохранил прежние добрые отношения. Он человек благородный»,— говорит Достоевский. На дворе осень 1846 года. Но отношения не могут долго оставаться «добрыми», если само добро понимается розно.

Справедлива мысль, что, будучи одним из «виновников» такого явления, как Достоевский, Белинский влиял на будущего автора «Братьев Карамазовых» «*вовсе не как критик*» (вернее, не только как критик)[1]. Гораздо могущественнее было его воздействие как идеолога и ересиарха.

Если вера Достоевского прошла через «горнило сомнений», можно сказать, что впервые это горнило раздул Белинский.

«...Он тотчас же бросился... обращать меня в свою веру... Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма». Так говорит автор «Дневника писателя» в 1873 году.

Атеизм становится мировой религией.

За четыре года знакомства с автором «Бедных людей» Белинский писал В. П. Боткину, что он не может веровать «в мужичка с бородкою, который, сидя на мягком облачке, <— — —> под себя, окруженный сонмами серафимов и херувимов (вспомним «истерические взвизги херувимов» в «Братьях Карамазовых»! — *И. В.*), и свою силу считает правом, а свои громы и молнии — разумными доказательствами. Мне было отрадно...— заключает Белинский,— плевать ему в его гнусную бороду».

Крепкие выражения употреблялись, как видим, по поводам не только литературным.[2]

---

[1] См.: Виноградов И. Диалог Белинского и Достоевского: философская алгебра и социальная арифметика.— Знамя, 1986, № 6, с. 230.

[2] На этом месте, не скроем, перо наше дрогнуло и споткнулось. Похолодев, вспомнили мы о том, как, обсуждая предыдущую нашу книгу, один уже помянутый выше критик обличил нас за то, что, «пользуясь правом вседозволенности», мы осмелились процитировать «просторечное название экскрементов», встречающееся порой в письмах и записных книжках Достоевского. По мнению критика, нас не извиняет даже то обстоятельство, что указанные тексты давно опубликованы, ибо «одно дело — академическое издание», другое — «книга, адресованная массовому читателю» (Сибирские огни, 1989, № 2, с. 157). Принося целомудренному оппоненту живейшую благодарность за это в высшей степени полезное наблюдение, мы хотели бы лишь почтительно заметить, что напрасно он полагает, будто знание «просторечного названия экскрементов» (равно как и других аналогичных «названий») является привилегией одних лишь академических кругов.

Конечно, отсюда еще далеко до принципиального неверия: отрицается, скорее, определенный тип религиозности. Но доводы подобного рода запоминаются крепко. Недаром замечено, что «бунт» Ивана Карамазова, система его доказательств разительно схожи с атеистической логикой Белинского в начале 40-х годов. Не эта ли сокрушительная аргументация была обрушена на голову Достоевского при вступлении его на поприще?

И не тогда ли незамутненная «слезинка ребенка» (вспомним французский рассказ), утрачивая свойственную ей литературность, начала отливаться в грозное философское вопрошение?

«...Я страстно (подчеркнуто нами.— **И. В.**) принял все учение его»,— говорит Достоевский. «Все учение» означает и «бунт». Богоборческие инвективы Ивана, его этически неопровержимые «contra» — все это столь выстрадано и страстно, что заставляет задуматься о возможных автобиографических мотивах. Старые угли в «горниле сомнений» еще не подернулись пеплом...

(Весной 1846 года, сообщая брату литературные новости, Достоевский роняет загадочную обмолвку: «Пропускаю жизнь и мое учение...» В многозначительно подчеркнутом слове желательно бы, конечно, углядеть тайный намек на успехи Белинского в идейном совращении своего прозелита. Но с равным основанием нам могут указать и на конкурентов — помянутых выше Минушек и Кларушек... В жизни все смешалось, почти как в доме Облонских, и кто возьмется по прошествии стольких лет без риска ошибиться отделять агнцев от козлищ?..)

Кажется, Белинский мало преуспел, обращая Достоевского в свою веру (вернее, в свое без-верие). Слишком различен был их духовный состав. Зато почти безошибочно можно обозначить общую точку. Это жгучий интерес к проблеме теодицеи (то есть богооправдания, снятия вины с Творца за существование мирового зла). Ни Белинский, ни Достоевский вовсе не приходят в восторг от несовершенства творения. Ни тому, ни другому не нравится «лик мира сего». Но в их кажущемся единомыслии таится нота смертельного разлада.

Строго говоря, аргументация Ивана Карамазова неопровержима с точки зрения формальной логики. Алешино «Расстрелять!» — красноречивое тому свидетельство. Но у Алеши есть запасной козырь — тот, который одинаково чужд как брату Ивану, так и «предтече» Ивана — Виссариону Белинскому. Белинский полагал, что в творение только еще предстоит внести искупающий его смысл. По Достоевскому, такие обетования уже даны.

В 1867 году, находясь за границей, он пишет для готовящегося в России литературного сборника статью «Знакомство мое с Белинским». Работа подвигается туго, и в одном из писем можно отыскать намек на причину авторских мучений: «Только что притронулся писать и сейчас увидал, что возможности нет написать цензурно...».

Статья (немалая по объему) была все же написана, отослана и — бесследно исчезла. Она не найдена до сих пор. Однако ряд косвенных указаний позволяет понять, какой именно аспект смущал мемуариста.

В своем кругу Белинский никогда не стеснялся в выборе выражений. Особого шельмования («надоели мне эти ракалии») удостаивались имена, вчера еще высокопочитаемые: Ламартинишка, Блашка (читай: Ламартин, Луи Блан). Исключений не делалось и для более значительных фигур. Отвергая христианскую доктрину как не соответствующую новому гуманизму и новой морали, Белинский, естественно, не мог щадить и того, чьим именем обозначалась традиционная вера.

Между тем имя это исполнено для Достоевского высочайшего обаяния и смысла.

При каждом упоминании Белинским Иисуса Христа у будущего автора «Карамазовых» мгновенно менялось лицо — «точно заплакать хочет...» «Учитель»

бил в самую уязвимую точку. Его собеседник мог простить ему многое; мог даже понять необходимость «бунта». Но Белинский, как бы дразня «чуть не плачущего» Достоевского, употреблял крепкое словцо (оно, как помним, наличествовало в последней строфе «Послания», однако применительно ко Христу не имело ни малейших шансов появиться в печати). Это было непереносимо и через много лет вспоминалось как тяжелое личное оскорбление.

(Надо помнить, впрочем, об эпатажной лексике Белинского — обычной для его домашних полемик. Напротив, в своем знаменитом письме к Гоголю (1847) он как раз противополагает личность Христа существующей церковной ортодоксии. Не сказалось ли здесь «обратное» влияние Достоевского?)

«Дитя неверия и сомнения», убежденный, что останется таковым «даже... до гробовой крышки», Достоевский тем не менее «сложил в себе символ веры». Ему удастся пронести эту веру через «горнило сомнений»: кажется, излюбленный им образ лишь закалился в его всепожирающем пламени.

В 1854 году, выйдя с каторги, он напишет Н. Д. Фонвизиной, что если б ему доказали, «что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа», то ему «лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

Нам уже приходилось останавливаться на этих удивительных словах [1].

Достоевский допускает (пусть теоретически), что истина (которая есть выражение высшей справедливости) может оказаться вне Христа: например, если «арифметика» автоматически докажет, что дело обстоит именно так. Но в таком случае сам Христос как бы оказывается вне Бога (вернее, вне «арифметики», тождественной в данном случае мировому смыслу). И Достоевский предпочитает остаться «со Христом», если вдруг сама истина не совпадет с идеалом красоты. Это тоже своего рода бунт: остаться с человечностью и добром, если «истина» по каким-либо причинам окажется античеловечной и недоброй.

Он выбирает «слезинку ребенка».

...В уже упоминавшейся (единственной!) записке одного из участников спора другому запечатлен нежный отголосок их идейных баталий. «Достоевский, душа моя (бессмертная) жаждет видеть Вас». Конечно же, это «игровой», акцентированный текст, отсылающий адресата к каким-то предшествующим разговорам. Главнейший эпитет невинно прикрылся скобками: он-то и подлежал обсуждению.

Однажды Белинский сказал Тургеневу — «с горьким упреком»: «Мы не решили еще вопроса о существовании Бога,— а вы хотите есть!..». Достоевский, пожалуй, мог бы взять эту фразу в качестве эпиграфа к одной из глав «Братьев Карамазовых»...

В 1881 году, за несколько дней до смерти, знакомясь с письмом Л. Толстого к графине А. А. Толстой (в нем отрицалась божественность главного евангельского персонажа), автор «Карамазовых» хватался за голову и «отчаянным голосом» восклицал: «Не то, не то!..» [2]. Уж не припомнились ли ему те давние споры?

Его позднейшие оценки Белинского пристрастны и разноречивы. Ни об одном из современников не отзывался он с такой вызывающей непоследовательностью. Порою (это следует признать с особенной грустью) он доходит до чудовищных несправедливостей, почти до площадной брани — может быть, в чем-то схожей с той, какую позволял себе его оппонент насчет известных предметов. Он словно повторяет путь, некогда проделанный его собеседником по отношению к нему самому: оба они оказываются неправы.

В своих официальных высказываниях Достоевский гораздо сдержаннее.

Казалось бы, что мешало ему поведать о своих идейных несогласиях с автором знаменитого письма, публичное чтение которого обернулось для читающего смертным приговором? Лицу, находящемуся под следствием, афиширование подобного разномыслия (особенно политического и религиозного) сулило несом-

---

[1] См.: Последний год Достоевского, с. 406—408.
[2] Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857—1903. СПб., 1911, с. 26.

нениую выгоду. Достоевский между тем ие говорит об этом ни слова. В качестве главной и единственной причины их с Белинским размолвки указываются мотивы чисто эстетические: они-то как раз интересовали следователей в последнюю очередь.

Вообще обстоятельства «форменной ссоры» ие вполне ясны.

Конечно, им с Белинским далеко до единомыслия. Но никакие оттенки во мнениях при наличии взаимной приязни — а она, бесспорно, существовала в первые месяцы знакомства — не смогли бы повести к разрыву. Но, помимо прочих причин («неважных во всех отношениях»), имелась еще одна: может быть, капитальнейшая.

1 апреля 1846 года Достоевский сообщает брату «огромиую иовость»: Белинский оставляет «Отечественные записки». Это действительно была сенсация. Лучший русский критик покидал лучший в России журнал, который сделался таковым главным образом благодаря его в нем участию. Вконец изнуривший себя срочной журнальной работой, принужденный наряду с разбором пушкинских и гоголевских творений обсуждать достоинства песенников и гадательных книжек, Белинский решается на отчаянный шаг. Он расстается с бескорыстным своим работодателем — Андреем Александровичем Краевским (именуемым также за глаза Ванькой-Каином), чьи капиталы, помимо воли издателя, умножались прямо пропорционально радикализму издания.

Белинский уходит на вольные хлеба: дабы овеществить метафору, он затевает издание уже помянутого «Левиафана». Уповая лишь на «толщину басословную» замысленного альманаха, новоявленный издатель бросает клич: московские и петербургские друзья нестройно откликаются на призыв. Достоевский в числе первых: «из неизданных (и — еще раз напомним — так и не написанных.— **И. В.**) творений» он обещает «уделить» «Сбритые бакенбарды» (над призраком которых немедленно возникает призрак «каймы»).

Лето 1846 года приносит неожиданные перемены (именно о них и было упомянуто выше). Покуда Белинский, опекаемый добрейшим Михаилом Семеновичем Щепкиным, пытается поддержать гибнущие легкие целительным воздухом Одессы и Крыма, Некрасову и Панаеву является мысль: взять в аренду один из существующих литературных журналов. (Основать новый было бы затруднительно, ибо государь начертал некогда на подобном проекте: «И без того много».) После долгих переговоров П. А. Плетнев соглашается за 30 тысяч наличными плюс 3000 ежегодных отчислений уступить право издания «Современника»: славное имя основателя уже давно не приносит преемникам никаких материальных выгод. Практичный Некрасов рьяно берется за дело. Он убеждает Белинского за умеренное вознаграждение передать ему рукописи, предназначавшиеся ранее для «Левиафана». Бывшему их владельцу, помимо сказанной компенсации, обещана в новом издании почетная роль.

Тут надлежит появиться титрам: «Так начинался великий „Современник"». Но для самих современников это еще не вполне очевидно.

Не очевидно это и для 25-летнего энтузиаста, затеявшего все дело. Хотя 1846-й — это тоже его год, его звездный час.

Николай Алексеевич Некрасов, кажется, так и родился профессионалом.

Восемь лет назад, явившись из своего ярославского угла в Петербург, он так и не смог ни поступить в университет, ни устроиться в департамент. «Мечты и звуки» тоже, как знаем, не принесли ему славы. Случалось, он голодал.

Питаясь чуть не жестию,
Я часто ощущал
Такую индижестию,
Что умереть желал.

Он жил литературной поденщиной, сочинял все, что придется, не брезгуя даже зазывными афишами для «Кабинета восковых фигур».

Что-то очень знакомое слышится в его речах.

«Я дал себе слово не умереть на чердаке. Нет, думал я, будет и тех, которые погибли прежде меня,— я пробьюсь во что бы то ни стало. Лучше по Владимирке пойти, чем околевать беспомощным, забитым и забытым всеми. И днем и ночью эта мысль меня преследовала, от нервного волнения я подпрыгивал на своей кровати и голова горела, как в горячке» [1].

Так вполне бы мог рассуждать Родион Романович Раскольников.

Я за то глубоко презираю себя,
Что живу — день за днем бесполезно губя<...>
Что, доживши кой-как до тридцатой весны [2],
Не скопил я себе хоть богатой казны,
Чтоб глупцы у моих пресмыкалися ног,
Да и умник подчас позавидовать мог!<...>
И что злоба во мне и сильна и дика,
А хватаюсь за нож — замирает рука!

Эти стихи написаны все в том же 1846 году.

«Миллион — вот демон Некрасова!» — саркастически заметит Достоевский в 1878 году в посвященной поэту некрологии: он как бы «цитирует» общую молву. Но у автора «Дневника писателя» имеются собственные соображения на этот счет.

«Это был демон гордости, жажды самообеспечения, потребности оградиться от людей твердой стеной и независимо, спокойно смотреть на их злость, на их угрозы... Я думаю, что я не ошибаюсь, я припоминаю кое-что из самого первого моего знакомства с ним».

Он действительно не ошибается. Он не завидует поэту и не укоряет его. Он понимает, что у Некрасова — своя судьба.

«Петербургский сборник» свел их вместе. «Современник» их развел. Некрасов уже никогда не покинет журнального поприща. До конца своих дней будет стоять он во главе двух знаменитых изданий, в которых, собственно, воплотятся все наши исторические порывы и недоумения.

Век Пушкина кончился, по сути, в 1846-м. Начинался век иной.

В этом году появились не только «Бедные люди». В этом году написаны «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»), «Родине», «Псовая охота».

В этом году удачливый альманашник впервые ощутил себя поэтом.

Он добивается любви Авдотьи Панаевой. Он затевает «Современник».

Он расходится с Достоевским.

5 сентября Достоевский сообщает брату: «...к Новому году у нас может быть новый журнал». Самое замечательное здесь — это «у нас»: автор не сомневается, что он участвует в общем деле.

В широковещательных, рассылаемых едва ли не по всей России объявлениях о выходе нового издания наряду с прочими значится имя автора «Бедных людей». И действительно: в первом номере «Современника» за 1847 год появляется его «Роман в девяти письмах». Рассказ этот был написан им «в одну ночь» — еще в ноябре 1845-го — и предназначался для так и не разрешенного «Зубоскала»; оплаченный Некрасовым, он оставался в его издательском портфеле. Это первая и единственная публикация Достоевского в новом журнале. Один из самых, казалось бы, вероятных и желаемых авторов остается вне «Современника». Сдержанно-горделивое «у нас» обращается со временем в неприязненное «у них».

Как это могло случиться?

У обновленного «Современника» была цель: сокрушить своего потенциального двойника-конкурента — «Отечественные записки». Белинский полагал, что с его уходом все друзья его в обеих столицах немедленно оставят Краевского и примкнут к новому литературному делу. Он верил, что у журнала не будет со-

[1] Незнакомец <А. С. Суворин>. Недельные очерки и картинки.— Новое время, 1878, № 662.

[2] Строка, остерегающая нас от слишком прямого отождествления автора с лирическим героем. «До тридцатой весны» Некрасову еще целых пять лет.

периков, а если они пока и есть, то часы их уже сочтены. «Человек экстремы», он хочет поставить друзей перед выбором: или — или.

Ни Некрасов, ни Белинский, естественно, не сомневаются в том, что их питомец и литературный союзник будет с ними заодно.

Оба они ошиблись.

26 ноября 1846 года, извещая брата, что он «имел неприятность окончательно поссориться с «Современником» в лице Некрасова», Достоевский прямо называет причину. Кстати, совсем не ту, на которой настаивает А. Я. Панаева, описавшая, как помним, ссору между двумя приятелями (если все-таки отнести эту ссору к осени 1846-го). Про некрасовскую эпиграмму, якобы вызвавшую конфликт, в письме Достоевского не сказано вовсе. Хотя в словах «это все подлецы и завистники» можно уловить отголосок некой литературной обиды. (Кроме того, «подлецы и завистники» как бы находится в метафизической связи с той мужественной самоаттестацией, которой в «Послании» по воле авторов удостаивает себя Белинский: «поступлю я как подлец».) Согласно Достоевскому, главная причина его ссоры с Некрасовым — требование последнего «публично объявить», что автор «Двойника» не принадлежит более к «Отечественным запискам».

Что значит «публично объявить»?

Днем раньше, 25 ноября, в «Северной пчеле» было опубликовано заявление, в котором говорилось об исключительном участии ряда писателей (Некрасова, Панаева, Белинского, Искандера, Кронеберга и других) в обновлением «Современнике». Не потребовал ли Некрасов от Достоевского примкнуть к сей коллективной акции?

Достоевский отказывается это сделать.

Он отказывается отнюдь не по соображениям идейного или эстетического порядка и не по какой-то особой любви к журналу Краевского. Просто он уже намертво связан с ним самыми крепкими узами. И «виноват» в этом не кто иной, как один из нынешних руководителей «Современника».

Осенью 1845 года, когда автор еще трудится над «Двойником», Белинский «сватает» повесть в «Отечественные записки». Разумеется, такой рекомендации было достаточно. Огорченный тем, что он проморгал «Бедных людей», Краевский с профессиональной ловкостью вцепляется в хвост восходящей звезды.

«На днях Краевский, услышав, что я без денег, упросил меня покорнейше взять у него 500 руб. взаймы»,— с небрежной гордостью сообщает одолженный (еще бы: издатель «упросил» автора!). Имя названо и немедленно сопряжено с с у м м о й: последняя может меняться, но сама эта связь останется неизменной.

Андрей Александрович знает свое дело. Он верит в искусительную силу аванса. Он убежден, что вскоре «покорнейше» просить будет не он, а у него[1] («Бедность мешает сосредоточиться...» — со свойственной ему тягой к афористичности замечает Ч. Б.: тут, как говорится, с ним не поспоришь).

В отличие от издателя «Отечественных записок» Некрасов пока только учится редакторскому искусству. Раздосадованный тем, что Достоевский ничего не приготовил для «Современника», он «неосторожно» требует выданные вперед деньги. Такая оплошность не остается безнаказанной. Краевский немедленно берет на себя долговые обязательства своего автора, гася тем самым и аванс, выданный когда-то Некрасовым. Это был мудрый шаг: «Отечественные записки» приобретают отныне деятельного сотрудника.

Но и Достоевский пытается использовать ситуацию. В конце 1846 года — перед самым появлением преображенного «Современника» — Краевского охватывает нечто похожее на панику. Знавший Пушкина, водивший приятельство с Лермонтовым, допущенный в хороший литературный круг, вращаясь в котором он мог пользоваться трудами едва ли не всех сотоварищей Белинского, он страшится ныне, что все и м е н а окажутся в некрасовском журнале. Тем больше он до-

[1] За «Двойника» автор предполагал получить от Краевского полторы тысячи рублей ассигнациями. Он взял больше — 800 рублей серебром (2 100 ассигнациями), поскольку повесть разрослась. Из этой суммы пятьсот автор у ж е должен издателю: следовательно, надо вновь прибегать к его кредиту.

рожит автором «Бедных людей». Отсюда следует: «Я плачу все долги мои, посредством Краевского».

Правда, радоваться особенно нечему, ибо давно уже понято, что это «есть система моего рабства и зависимости литературной». Уходя на каторгу, он останется должен своему благородному антрепренеру 650 рублей.

Его просьбы к Андрею Александровичу Краевскому начинают напоминать исполненные желчи послания к Петру Андреевичу Карепину.

У него не устанавливается с его издателем ни идейной, ни личной близости. Как и Карепин, Краевский «человек деловой». Он сух, требователен, корректен. У него как редактора есть одно неоценимое преимущество: он никогда не вмешивается в авторский текст. Краевский надежен: все, что ни приносит ему автор «Двойника», немедленно идет в набор.

Белинский, оговорившись, что Краевский, «может быть, очень хороший человек», честит последнего во все корки: он для него вампир и приобретатель. Большинство современников как будто с этим согласны. Но, скажем, Григорович замечает, что мало кто из литераторов уходил от Андрея Александровича неудовлетворенным.

Для Достоевского важно, что у него есть с в о й журнал. И хотя он не испытывает особых симпатий к расчетливому патрону, тем не менее с 1846-го по 1849 год в «Отечественных записках» появятся десять его сочинений — практически почти все, что он напишет после «Бедных людей».

Известны случаи, когда Краевский не одобрял самого себя. В 1841 году он писал М. Н. Каткову: «Белинский работает по-прежнему, плохо ему, бедному, приходится от моего безденежья: глаза у меня на него не смотрят»[1].

«Безденежье» давно кончилось; число подписчиков возросло; издание окрепло и встало на ноги. Однако, получая сто тысяч годового дохода (ассигнациями), издатель не считает возможным платить ведущему критику более шести тысяч рублей.

В «Современнике» Белинскому положат восемь тысяч (ассигнациями, разумеется) — при том, что объем его обязанностей сильно уменьшится и участие его в некрасовском журнале будет, как он сам говорил, «больше нравственное».

В отличие от Белинского, получавшего от журнальных издателей постоянную плату, Достоевский мог рассчитывать только на авторский гонорар. Редактор «Отечественных записок» авансирует его малыми дозами — так, чтобы держать на коротком поводке. Белинский был все-таки прав, говоря о «счастии Краевского находить сотрудников в затруднительных обстоятельствах».

Когда Белинский умрет, оба конкурирующих журнала не удержатся от того, чтобы скрестить копья над его свежей могилой. И хотя приличия будут соблюдены и имена не названы, строки редакционных некрологов напоены скрытым ядом.

«Современник» с прискорбием укажет на беспрерывную осьмнадцатилетнюю деятельность покойного и «невозможность прекратить» оную, несмотря на прогрессирующий «упадок сил». Тем самым давалось понять, кто есть истинный виновник его ранней кончины. Ибо «при условиях более благоприятных» (то есть тех, какие Белинский, наконец, обрел в «Современнике») болезнь «не обнаружила бы столь решительного и быстрого влияния».

Увы, увлеченный разоблачениями, «Современник» забыл упомянуть о заслугах своего покойного автора (в редакционной заметке он назван всего лишь «известным литератором»).

Получив «Современник», Герцен напишет из Парижа своим московским друзьям: «И что за свиньи редакторы! Как глупо, пошло известили они о смерти Белинского. Я полагаю, сблизиться с «От<ечественными> зап<исками>» благопристойнее...»

Действительно, Краевский взял более достойный тон. Хотя «Отечественные

[1] Лит. наследство, т. 56. М., 1950, с. 154.

записки» и замечали,что болезнь Белинского, «сильно развившаяся в последние годы» (читай: в последние д в а года!), «лишала его возможности трудиться так деятельно, как желал он» (желал сам, а вовсе не заставлял его Краевский!), тем не менее со сдержанным благородством добавлялось, что «никакие журнальные отношения последнего времени» не помешают сказать доброе слово в адрес покойного.

Но все это произойдет в 1848-м. Пока же Белинский еще жив и с все возрастающим подозрением следит за деятельностью «нового Гоголя».

После появления в октябрьской (1846) книжке «Отечественных записок» «Господина Прохарчина» его автор замолкает ровно на год. Подписчики пребывают в недоумении, поскольку публично, в журнальном анонсе, была обещана на 1847 год «Неточка Незванова». Им придется ждать «большого романа» добрых два года.

Достоевский, как тень отца Гамлета, возникает в прихожей Краевского, но, так и не отдав рукописи, как призрак же, исчезает. Что за мимолетное виденье? То ли не хватило у автора духу предстать пред грозными редакторскими очами? Или, может, он так ш у т и т, исполняя условия договора — я в и т ь с я к издателю к такому-то числу? Белинский, живописуя в частном письме это мистическое происшествие, не без основания сравнивает его со сценой из «Двойника».

Между тем время идет — и Достоевскому так или иначе надо «отписывать» листаж — за деньги, взятые вперед. (Он так и выражается в сношениях с Краевским — о т п и с а л на столько-то рублей.) В октябрьском номере появляется, наконец, «Хозяйка» — единственное его произведение, напечатанное в журнале Краевского за весь 1847 год.

Позже сочинитель обвинит в неуспехе этой «дурной вещи» издателя: это-де он подгонял автора, заставляя его спешить, насиловать себя и портить повесть. Но как тогда быть с «родником вдохновения», бьющим прямо из души повествователя и водящим его пером: именно в таких выражениях сообщается брату о работе над повестью.

Издатель «Отечественных записок» уважал экономические методы. Давая деньги вперед, он не требовал немедленных возмещений. Разумеется, он торопил Достоевского: его, «человека делового», заботили тираж, подписка, репутация издания. Он не обязан был брать в расчет творческие муки.

При этом следует помнить, что сроки (с точностью до дня) назначались, как правило, самим самонадеянным автором.

Скажем больше. Никто из будущих менеджеров Достоевского не обладал таким капитальным терпением, как Андрей Александрович. Много позже, в начале 60-х годов, автор «Записок из Мертвого дома» возьмет у редактора «Библиотеки для чтения» Петра Дмитриевича Боборыкина аванс в 300 рублей и ч е с т н ы м с л о в о м («в котором еще никто не имел основания сомневаться») заверит его в том, что представит к намеченному сроку свой новый рассказ. Рассказ представлен не будет — и негодующий Петр Дмитриевич, как бы повторяя давнюю ошибку Некрасова, потребует деньги обратно; он потеряет при этом потенциального автора. Мыслимо ли представить в подобной роли Краевского?

Итак, Достоевский остается в «Отечественных записках» — журнале, с которым он связан словом и долгом: чтобы отказаться от первого, нужно вернуть второе. В объявлениях «Современника» о подписке на 1848 год имя его не значится.

С точки зрения новой редакции этот демонстративный н е п е р е х о д выглядел моральной изменой. С точки зрения Достоевского, такой изменой было поведение его бывших друзей.

Журнал Некрасова соединял вокруг себя литераторов разного калибра. Но конфликты, случавшиеся внутри этого круга, не приводили к его распаду. С Достоевским все обстояло иначе. И дело даже не в том, что он упорно работал на конкурента.

Большинство приятелей Белинского, несмотря на его упреки и брань, продолжают сотрудничать у Краевского (тому даже удается увеличить подписку). Однако они не подвергаются за это отлучению и позору. Ибо, во-первых, они не работают и с к л ю ч и т е л ь н о на Краевского. Во-вторых, далеко не все они были «открыты» Белинским и удостоены его родительского благословения. А в-третьих — и это, пожалуй, главное,— никто из них не ведет себя столь независимо и — уединенно.

Кто-то заметил, что молодость — это болезнь.

...«Я был... болен болезнью странною нравственною»,— скажет он спустя десятилетие, никак не пояснив своих слов и заставляя нас теряться в догадках. Был ли вызван этот странный недуг одиночеством, вечным недовольством собой, стремлением к иной, не дающейся в руки жизни?

Он падает в обморок — так, как это будет происходить со многими его героями. Но с ним самим подобного более не случится. Не легкие обмороки на балу, а свирепые приступы «священной болезни» будут сопровождать его в пути.

«И чуть-чуть скоропостижно не погиб во цвете лет»,— от души веселятся авторы «Послания Белинского к Достоевскому», не ведая, что эта их насмешка — самая первая (причем художественная!) фиксация будущего заболевания.

Они не подозревают также о том, что нечто подобное описанному ими происшествию повторится с героем при совсем других обстоятельствах.

...Один из самых сильных припадков поражает Достоевского, когда он узнает о смерти номинального автора «Послания» (Белинский умрет 26 мая 1848 года — в день рождения Пушкина и за четыре дня до собственного 37-летия). Проведай об этом факте (то есть о припадке) иной расторопный фрейдист, он не преминул бы связать его с теми тайными помыслами, которые якобы питал Достоевский относительно собственного родителя и расплатой за каковые явилась болезнь. Белинский тоже «отец» (хотя бы и крестный): заманчиво бросить отсюда луч в мрачные глубины подсознания, высветив наконец двусмысленную, если не криминальную, природу гения.

Присутствовал ли Достоевский на похоронах?

Вопрос, которым никто не задавался.

Единственное дошедшее до нас описание этого события принадлежит И. И. Панаеву (в его статье «По поводу похорон Н. А. Добролюбова»: автор вспоминает по аналогии).

Похороны Белинского состоялись 28 мая[1]. «...По Лиговке к Волкову кладбищу тянулась бедная и печальная процессия, не обращавшая на себя особенного внимания встречных... Это были литературные похороны, не почтенные, впрочем, ни одной литературной или ученой знаменитостью. Даже ни одна редакция журнала (за исключением редакции «Отечественных записок» и только что возникшего «Современника») не сочла необходимым отдать последний долг своему собрату...»

Кто же шел за этим, почти о т в е р ж е н н ы м гробом? Разумеется, от «Современника» должны были быть Некрасов и сам вспоминатель, то есть Панаев. Но «Отечественные записки»? Почел ли нужным Краевский явиться ко гробу бывшего своего работника — того, кто пожертвовал здоровьем, а может, и жизнью, поднимая его журнал?

«Из числа двадцати, провожавших этот гроб,— говорит Панаев,— собственно литераторов было, может быть, не более пяти-шести человек».

Мы не знаем, был ли среди этих «пяти-шести» автор «Бедных людей». По-

[1] И. И. Панаев ошибочно датирует похороны 29 мая. Как свидетельствует запись в «Приходо-расходной книге церкви Волкова кладбища», они состоялись, когда им и положено,— на третий день 28 мая.

следний год он не посещал Белинского. Их отношения прекратились. Но смерть — случай чрезвычайный.

Следует обратить внимание на одну деталь.

Герой «Записок из подполья» со вкусом живописует своей случайной ночной подруге ее грядущую участь. Он говорит о виденных им утром похоронах. Он предполагает, что в могиле, куда опустят гроб, вынесенный из «дурного дома», будет стоять вода.

«— Отчего в могиле вода? — спросила она с каким-то любопытством...

— Как же, вода на дне, вершков на шесть. Тут ни одной могилы, на Волковом, сухой не выроешь.

— Отчего?

— Как отчего? Место водяное такое, здесь везде болото. Так в воду и кладут. Я видел сам... много раз...»

«Эти слова,— замечено в позднейших комментариях,— ...навеяны, по-видимому, поэмой Некрасова «О погоде»...» [1].

Что ж, в поэме Некрасова действительно можно найти схожую картину:

Наконец вот и свежая яма,
И уж в ней по колено вода!
В эту воду мы гроб опустили,
Жидкой грязью его завалили,
И конец!

Но схожая картина есть и у Панаева! «Когда покойника отпели, друзья снесли гроб его на своих плечах до могилы, которая уже до половины была наполнена водою, опустили гроб в воду, бросили в него, по обычаю, горсть земли и разошлись молча, не произнеся ни единого слова над этим дорогим для них гробом» [2].

Герой Некрасова, придя на похороны, ищет на кладбище чью-то старую затерянную могилу («где уснули великие силы»). Посвященным нетрудно было догадаться, что речь идет о могиле Белинского.

В «Записках из подполья» точно указано место: Волково кладбище. То есть то самое, на котором похоронен Белинский. «Я видел сам...»,— говорит рассказчик. (Правда, он тут же добавляет: «Ни одного разу я не видал, да и на Волковом никогда не был, а только слышал, как рассказывали», но эта психологическая подробность понадобилась автору прежде всего для обрисовки характера «подпольного» парадоксалиста.)

Мог видеть, а мог и слышать, как рассказывали другие — например, тот же Панаев.

«Записки из подполья» написаны через шестнадцать лет после смерти Белинского. Еще через девять лет (то есть спустя четверть века после похорон) в рассказе «Бобок» вновь возникает тот же мотив: «Заглянул в могилки — ужасно! вода, и какая вода! Совершенно зеленая и... ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черпаком».

И в «Записках из подполья», и в «Бобке» — одна и та же поразившая воображение картина: очень близкая той, какую нарисовал Панаев.

Конечно, все эти подробности могли быть переданы Достоевскому очевидцами. Но похоже, здесь «работает» личное впечатление.

Нам неизвестно ни о каких петербургских похоронах (в 40-е годы), в которых принимал бы участие автор «Бедных людей».

Куда он направился от Яновского в тот майский полдень — после того, как принес роковую весть? Преследовал, терзал ли его вопрос — пойти или не пойти? Во всяком случае, и то и другое решение могло стать причиной нагрянувшего вскоре припадка.

В ночь, полагаем, с 28 на 29 мая 1848 года.

Смерть Белинского была для него потрясением: может быть, не меньшим, чем первое их знакомство. Пожалуй, никто более не играл в его жизни такой

[1] Примечание И. З. Сермана в кн.: Достоевский Ф. М. Собр. соч., т. 4. М., 1956, с. 800.
[2] Современник, 1861, № 11, отд II, с. 89—70.

громадной и исключительной роли. Белинский навсегда останется «вечным спутником» своего — на тридцать три года пережившего его — современника.

Но отложился ли этот образ в художественной памяти романиста?

Однажды, рассматривая иллюстрации к «Идиоту», мы вдруг испытали странное чувство. Почудилось, что в облике князя Мышкина проступили чьи-то знакомые черты...

Трудно сказать, входила ли такая трактовка в творческие намерения иллюстратора — Ильи Глазунова или же перекличка возникла случайно — под влиянием, скажем, малоизвестного портрета Белинского работы художника Н. Аввакумова (1941). Как бы то ни было, персонажи Аввакумова и Глазунова разительно схожи [1]. Не будем вторгаться в зыбкую область бессознательного (которое у художников, как известно, еще бессознательнее, чем у простых смертных). Признаем лучше, что для сближения «тихого князя» Мышкина с «неистовым Виссарионом» имеются некоторые основания.

Вглядимся внимательнее.

«Я увидел,— говорит И. С. Тургенев о своей первой встрече с Белинским,— человека небольшого роста, сутуловатого, с неправильным, но замечательным и оригинальным лицом, с нависшими на лоб белокурыми волосами и с тем судорожным и беспокойным выражением, которое так часто встречается у застенчивых и одиноких людей...» Но вот собеседник заговорил — «и все лицо его преобразилось... привлекательная улыбка заиграла на его губах и засветилась золотыми искорками в его голубых глазах, красоту которых я только тогда заметил».

В «Идиоте» Лев Николаевич Мышкин описан следующим образом:

«...роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные... Лицо... приятное, тонкое и сухое, но бесцветное...»

Эти описания можно, пожалуй, поменять местами. Особенно если к перечисленным Тургеневым «структурным» деталям добавить еще известные по другим воспоминаниям и по портретам.

«Я не видал глаз более прелестных, чем у Белинского»,— говорит Тургенев. Не заимствованы ли «большие, голубые и пристальные» глаза князя Мышкина у его возможного (осмелимся это сказать) прототипа?

Но сопоставима не только внешность. Сопоставимо и поведение.

Дело даже не в том, что князь, несмотря на свой титул, человек несветский; что он порой диковат и неловок; что, наконец, совершенно в духе Белинского — он разбивает в гостях китайскую вазу. Дело в более глубоких аналогиях.

«Очерк его моральной проповеди, длившейся всю жизнь его,— говорит о Белинском П. В. Анненков,— был бы и настоящей его биографией».

И князь Мышкин, и Белинский, оба они моралисты и проповедники; оба преображаются, когда речь заходит о дорогих им предметах.

«Князь даже одушевился говоря, легкая краска проступила в его бледное лицо, хотя речь по-прежнему была тихая». Тут, конечно, есть и отличие. Белинский, по словам Достоевского, волнуясь, «вскрикивал». Мышкин (как и Алеша Карамазов) почти никогда не повышает голос.

В период после написания «Идиота» его автор особенно резко отзывается об уже канонизированном Белинском. Не был ли образ «положительно прекрасного человека» своего рода художественной компенсацией?

«Смеялся он от души, как ребенок»,— говорит Тургенев и добавляет: «Невозможно себе представить, до какой степени Белинский был правдив с другими и с самим собою...»

[1] Ср.: Лит. наследство, т. 55, с. 389, и: Достоевский Ф. М. Собр. соч., т. VI. М., 1982, с. 96—97 (вклейка).

Детскость, открытость, непосредственность, прямота, чистота помыслов и житейская наивность — все эти качества в высшей степени присущи как «первому критику», так и далекому от изящной словесности князю.

...В романе «Идиот» Аглая Епанчина с чувством декламирует пушкинское стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный...» В сознании героини Дон Кихот, «рыцарь бедный», и князь Мышкин — фигуры родственные. Но Белинский родствен с ними со всеми. Он тоже беззаветно предан «прекрасной даме» — русской литературе.

Он имел одно виденье,
Непостижное уму,
И глубоко впечатленье
В сердце врезалось ему.

Достоевский еще одно звено этой великой цепи. Он полон той же «чистою любовью». И — к вящему нашему удивлению — мы вдруг постигаем, что «Жил на свете рыцарь бедный...» и «Витязь горестной фигуры...» написаны одним и тем же стихотворным размером — четырехстопным хореем. И улавливаем в этой звуковой перекличке тайный и знаменательный смысл.

Да, Достоевский — человек того же духовного склада.

Он человек того же типа и склада не потому, что и физически чем-то напоминает Белинского (чисто славянский, «поповский» тип лица), а потому, что в нем и в Белинском как бы раздваивается некая общая идея и каждый из них, взглянув в лицо другому, уже не в силах признать собственного двойника.

Их противоборство есть следствие общей духовной драмы, но Достоевский — по молодости лет — переживает ее особенно остро.

...По его собственному признанию, все эти годы он живет «как в чаду». Но, помимо прочих тягот и испытаний, для него припасено страдание особого рода. «Сделали они мне известность сомнительную, и я не знаю, до которых пор пойдет этот ад».

Как контрастирует эта «сомнительная известность» с тем, что возглашалось всего годом ранее («слава моя достигла до апогеи»). «Они» — этим личным безличным местоимением (так разнящимся от интимно-доверительного «наши») гневно обозначены вчерашние поклонники и адепты. Мог ли он всего год назад предположить, что судьба (литературная судьба) сыграет с ним такую коварную шутку и слова его сбудутся буквально. Первый шаг окажется «апогеей», выше которой — так полагает большинство — ему уже никогда не подняться.

Ни одно из следующих за «Бедными людьми» сочинений не вызывает со стороны его бывших друзей заметных критических сочувствий. А иные будут восприняты как очередное падение.

Художника менее сильного духом это могло бы повергнуть в отчаяние.

Достоевский в отчаяние не повергается. Он продолжает писать, подгоняемый нуждой и привычкой. «Тут бедность, срочная работа,— кабы покой!» Покоя не будет никогда, как не будет работы несрочной[1]. Но он этого еще не знает. Поэтому свое обычное жизненное состояние он воспринимает как временное и неестественное. Отторжение от враждебного теперь ему литературного круга, лихорадочные надежды на повторное признание («ничего, Виссарион Григорьевич, отмалчивайтесь, придет время, что и вы заговорите»), повторяющееся каждый раз несовпадение замысла и результата — все это создает то «прыгающее» эмоциональное напряжение, которое разрешается острыми приступами нервной болезни.

«Мне все кажется, что я завел процесс со всею литературою...» Раньше у него были могущественные союзники. Теперь он остается один.

[1] Так, над «Двойником» Достоевский еще трудится за четыре дня до появления повести в «Отечественных записках», что делает честь не только его художнической взыскательности, но и невообразимой (спустя сто сорок лет) быстроте производственного цикла.

Так кончаются «упоения».

Позднее он скажет: «...Мое первое вступление на литературное поприще... грустное, роковое для меня время».

Свой звездный час он именует роковым: эпитет справедлив, но несколько преждевременен.

Idée fixe[1]

Достоевский — М. М. Достоевскому. 24 марта 1845. Петербург

Моим романом я серьезно доволен. Это вещь строгая и стройная. Есть, впрочем, ужасные недостатки.(ПСС, XXVIII, 1, с. 107).

Д. В. Григорович

Достоевский, между тем, просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он ни слова не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского: буквы сыпались у него из-под пера, точно бисер, точно нарисованные. (Рус. мысль, 1893, № 1, с. 9—10.)

Достоевский

<...> писал я их <«Бедных людей»> с страстью, почти со слезами — «неужто все это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью,— все это ложь, мираж, неверное чувство?» Но думал я так, разумеется, только минутами, и мнительность немедленно возвращалась. (Дневник писателя, 1877, январь.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 24 марта 1845. Петербург

Кончил я его <роман> совершенно чуть ли еще не в ноябре месяце, но в декабре вздумал его весь переделать; переделал и переписал, но в феврале начал опять снова обчищать, оглаживать, вставлять и выпускать. Около половины марта я был готов и доволен. <...>

Но как бы то ни было, а я дал клятву, что коль и до зарезу будет доходить,— крепиться и не писать на заказ. Заказ задавит, загубит все. Я хочу, чтобы каждое произведение мое было отчетливо хорошо. Взгляни на Пушкина, на Гоголя. Написали немного, а оба ждут монументов. И теперь Гоголь берет за печатный лист 1000 руб. сереб<ром>, а Пушкин, как ты сам знаешь, продавал 1 стих по червонцу. <...>

Если мое дело не удастся, я, может быть, повешусь. (ПСС, XXVIII, 1, с. 106—107.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 4 мая 1845. Петербург

Итак, я решил обратиться к журналам и отдать мой роман за бесценок — разумеется, в «Отечеств<енные> записки». Дело в том, что «Отечеств<енные> записки» расходятся в 2500 экземплярах, след<овательно>, читают их по крайней мере 100 000 человек. Напечатай я там — моя будущность литературная, жизнь — все обеспечено. Я вышел в люди. (ПСС, XXVIII, 1, с. 109.)

К. А. Трутовский

Жил он <Достоевский> тогда на углу Владимирской улицы и Графского переулка. <...>

Квартира его была во втором этаже и состояла из четырех комнат: просторной прихожей, зальца и еще двух комнат; из них одну занимал Ф<едор> М<ихайлович>, а остальные были совсем без мебели. В узенькой комнате, в которой помещался, работал и спал Ф<едор> М<ихайлович>, был письменный стол, диван, служивший ему постелью, и несколько стульев. На столе, стульях и на полу лежали книги и исписанные листы бумаги. (Рус. обозрение, 1893, № 1, с. 214.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 4 мая 1845. Петербург

Этот мой роман, от которого я никак не могу отвязаться, задал мне такой работы, что если бы знал, так не начинал бы его совсем. Я вздумал его еще раз переправлять, и ей-богу к лучшему; он чуть не вдвое выиграл. Но уж теперь он кончен, и эта переправка была последняя. Я слово дал до него не дотрогиваться. Участь первых произведений всегда такова, их переправляешь до бесконечности. <...>

А не пристрою романа, так, может быть, и в Неву. Что же делать? Я уж думал обо всем. Я не переживу смерти моей idée fixe. (ПСС, XXVIII, 1, с. 108, 110.)

[1] Навязчивая идея (фр.)

«Это выше сна!»

Д. В. Григорович

Раз утром (это было летом) Достоевский зовет меня в свою комнату; войдя к нему, я застал его сидящим на диване, служившем ему также постелью; перед ним, на небольшом письменном столе, лежала довольно объемистая тетрадь почтовой бумаги большого формата с загнутыми полями и мелко исписанная.

— Садись-ка, Григорович; вчера только что переписал; хочу прочесть тебе; садись и не перебивай,— сказал он с необычною живостью. <...>

С первых страниц «Бедных людей» я понял, насколько то, что было написано Достоевским, было лучше того, что я сочинял до сих пор <...>. Восхищенный донельзя, я несколько раз порывался броситься ему на шею; меня удерживала только его нелюбовь к шумным, выразительным излияниям; я не мог, однако ж, спокойно сидеть на месте и то и дело прерывал чтение восторженными восклицаниями. (Рус. мысль, 1893, № 1, с. 10—11.)

Достоевский

Был май месяц сорок пятого года. В начале зимы я начал вдруг «Бедных людей», мою первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши. Кончив повесть, я не знал, как с ней быть и кому отдать. Литературных знакомств я не имел совершенно никаких, кроме разве Д. В. Григоровича, но тот и сам еще ничего тогда не написал, кроме одной маленькой статейки «Петербургские шарманщики» в один сборник. Кажется, он тогда собирался уехать на лето к себе в деревню, а пока жил некоторое время у Некрасова. Зайдя ко мне, он сказал: «Принесите рукопись (сам он еще не читал ее); Некрасов хочет к будущему году сборник издать, я ему покажу». Я снес, видел Некрасова минутку, мы подали друг другу руки. Я сконфузился от мысли, что пришел с своим сочинением, и поскорей ушел, не сказав с Некрасовым почти ни слова. Я мало думал об успехе, а этой «партии Отечественных записок», как говорили тогда, я боялся. Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным и — «осмеет он моих «Бедных людей»!» — думалось мне иногда. (Дневник писателя, 1877, январь.)

А. Г. Достоевская

Григорович убедил его доверить ему рукопись и показал ее Некрасову. Тот спросил его, знает ли он произведение своего друга, и услышав, что у Григоровича еще не было времени прочесть его, предложил ему просмотреть вместе с ним две или три главы и проверить, стоящая ли это вещь. (Лит. наследство, т. 86, с. 299.)

Д. В. Григорович

Из скромности, вероятно, он <Достоевский> умолчал о подробностях, как чтение происходило у Некрасова. Читал я. На последней странице, когда старик Девушкин прощается с Варинькой, я не мог больше владеть собою и начал всхлипывать; я украдкой взглянул на Некрасова: по лицу у него также текли слезы. Я стал горячо убеждать его в том, что хорошего дела никогда не надо откладывать, что следует сейчас же отправиться к Достоевскому, несмотря на позднее время (было около четырех часов утра), сообщить ему об успехе и сегодня же условиться с ним насчет печатания его романа.

Некрасов, изрядно также возбужденный, согласился, наскоро оделся и мы отправились. (Рус. мысль, 1893, № 1, с. 11.)

С. В. Ковалевская

С ним <Достоевским> произошел тяжелый психологический процесс, который, вероятно, пришлось пережить всякому автору: пока он писал свой роман, он сам восхищался им и верил, что происходит нечто великое и гениальное. Но лишь только рукопись была окончена и отослана в редакцию, как на него вдруг нашло сомнение и разочарование. Все недостатки романа ярко выступили перед ним, все в нем показалось ему бледным, ничтожным. Он почувствовал отвращение к собственному детищу и устыдился его.

<...> эти переходы от уверенности к подавленному состоянию духа в первые дни после отсылки рукописи дошли в нем до таких размеров, что он просто закутил с горя.

«Всю ночь,— рассказывал Достоевский своим приятелям,— провел я в разгуле, грязном, дешевом, без удовольствия, так просто, с тоски, с озлобления какого-то. Было уже четыре часа утра, когда я вернулся домой. Это было в мае месяце, и на дворе была белая петербургская ночь. Я этих ночей никогда выносить не мог, всегда они мне расстраивали нервы и наводили особую, какую-то «подлую» тоску. А уж сегодня и подавно. Вернулся я домой; не спится мне; сел я на открытую раму. Скверно на душе — ну хоть сейчас иди и топись. Сижу я так, вдруг слышу звонок. Кто бы это мог быть в такую пору?» (Воспоминания, с. 360.)

Достоевский

Вечером того же дня, как я отдал рукопись, я пошел куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о «Мертвых душах» и читали их, в который раз не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: «А не почитать ли нам, господа, Гоголя!» — садятся и читают, и пожалуй, всю ночь. <...> Воротился я домой уже в четыре часа, в белую, светлую как днем петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лег, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать на пробу: «С десяти страниц видно будет». Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. «Читает он про смерть студента,— передавал мне потом уже наедине Григорович,— и вдруг я вижу, в том месте, где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: «Ах, чтоб его!» Это про вас-то, и этак мы всю ночь». Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: «Что ж такое что спит, мы разбудим его, это выше сна!» (Дневник писателя, 1877, январь.)

Д. В. Григорович

На стук наш в дверь отворил Достоевский; увидав подле меня незнакомое лицо, он смутился, побледнел и долго не мог слова ответить на то, что говорил ему Некрасов. После его ухода я ждал, что Достоевский начнет бранить меня за неумеренное усердие и излишнюю горячность, но этого не случилось; он ограничился тем только, что заперся в своей комнате и долго после того я слышал, лежа на своем диване, его шаги, говорившие мне о взволнованном состоянии его духа. (Рус. мысль, 1893, № 1, с. 11.)

Достоевский

Они пробыли у меня с полчаса, в полчаса мы Бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь; говорили и о поэзии, и о правде, и о «тогдашнем положении», разумеется, и о Гоголе, цитуя из «Ревизора» и из «Мертвых душ», но, главное, о Белинском. «Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите,— да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!» — восторженно говорил Некрасов, тряся меня за плечи обеими руками. «Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!» Точно я мог заснуть после них! Какой восторг, какой успех, а главное — чувство было дорого, помню ясно: «У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ах хорошо!» Вот что я думал, какой тут сон! (Дневник писателя, 1877, январь.)

Из неоконченной повести Н. А. Некрасова

В тот же день часов в одиннадцать утра Чудов<Некрасов>, в страшных попыхах, побежал с «Каменным Сердцем» <«Бедными людьми»> к своему приятелю Мерцалову <Белинскому> <...>. (Некрасов Н. А. Каменное сердце. Повесть из жизни Достоевского. Пг., 1922, с. 39.)

Достоевский

Странно бывает с людьми; мы в жизнь нашу редко видались, бывали между нами и недоумения, но у нас был один такой случай в жизни, что я никогда не мог забыть о нем. Это именно наша первая встреча друг с другом в жизни. И что ж, недавно я зашел к Некрасову, и он, больной, измученный, с первого слова начал с того, что помнит об тех днях. Тогда (это было тридцать лет тому!) произошло что-то такое молодое, свежее, хорошее,— из того, что остается навсегда в сердце участвовавших. Нам тогда было по двадцати с немногим лет. (Дневник писателя, 1877, январь.)

«...Я хочу видеть этого человека»

Достоевский

«Новый Гоголь явился!» — закричал Некрасов, входя к нему <Белинскому> с «Бедными людьми».— «У вас Гоголи-то как грибы растут»,— строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Белинский встретил его «просто в волнении»: «Приведите, приведите его скорее!» [1] (Дневник писателя, 1877, январь.)

И. И. Панаев. Воспоминание о Белинском

Он <Белинский> в первый раз взялся за нее ложась спать, думая прочесть немного, но с первой же страницы рукопись заинтересовала его... Он увлекался ею более и более, не спал всю ночь и прочел ее разом, не отрываясь.

Утром Некрасов застал Белинского уже в восторженном, лихорадочном состоянии. <...>

— Давайте мне Д<остоевского>! — были первые слова его. <...>

Когда к нему привезли Д<остоевского>, он встретил его с нежною, почти

[1] Надеемся, что это ритмическое совпадение в какой-то степени извинит легкомысленное избрание нами есенинской строки в качестве названия настоящей главки.— И. В.

отцовскою любовью, и тотчас же высказался перед ним весь, передал ему вполне свой энтузиазм.

Открытее, искреннее и прямее Белинского я не знал никого. (Современник, 1860, № 1, с. 369.)

Достоевский. Униженные и оскорбленные.

Б. обрадовался как ребенок, прочитав мою рукопись.

П. В. Анненков. Замечательное десятилетие.

В одно из моих посещений Белинского, перед обедом, когда он отдыхал от утренних писательских работ, я со двора дома увидел его у окна гостиной, с большой тетрадью в руках и со всеми признаками волнения на лице. Он тоже заметил меня и прокричал: «Идите скорее, сообщу новость»... «Вот от этой самой рукописи,— продолжал он, поздоровавшись со мною,— которую вы видите, не могу оторваться второй день. Это — роман начинающего таланта: каков этот господин с виду и каков объем его мысли — еще не знаю, а роман открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому. Подумайте, это первая попытка у нас социального романа и сделанная притом так, как делают обыкновенно художники, т<о> е<сть> не подозревая и сами, что у них выходит. <...> Да я и забыл вам сказать, что художника зовут «Достоевский», а образцы его мотивов представлю сейчас». И Белинский принялся с необычайным пафосом читать места, наиболее поразившие его, сообщая им еще большую окраску своей интонацией и нервной передачей. (Вестник Европы, 1880, № 4, с. 478.)

В. Г. Белинский — В. П. Боткину. 8 сентября 1841, Петербург

Социальность, социальность — или смерть! Вот девиз мой. (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953—1959, т. XII, с. 69.)

Из неоконченной повести Н. А. Некрасова

— Слава Богу! — воскликнул Мерцалов <Белинский> и перевел дух <...> — Я просто измучился, дожидаясь вас. Так ему только двадцать четыре года?

— Никак не более двадцати пяти! — отвечал Чудов <Некрасов>.

— Ну так он гениальный человек! — с эффектом произнес Мерцалов.

— Я вам говорил,— заметил обрадованный Чудов.

— Вы говорили? Что вы говорили! Можно ли так говорить о подобной вещи! Пришел, повернулся, оставил рукопись и пропал!.. Превосходная вещь,— мало ли что мы называем превосходной вещью. <...> Это художественное гениальное произведение! — с одушевлением продолжал Мерцалов.— Я вам скажу, Чудов,— заключил он, вспыхнув так, что лицо его покраснело, и сделав резкое движение рукой,— я не возьму за «Каменное Сердце» <«Бедные люди»> всей русской литературы! (Некрасов, 1922, с. 42.)

Достоевский

Мне именно припомнился сам Белинский, каким я его тогда встретил и как он меня тогда встретил. <...> Эта была самая восторженная личность из всех мне встречавшихся в жизни. (Дневник писателя, 1873.)

К. Д. Кавелин

Белинский был небольшого роста, очень невзрачен с виду, сутуловат и страшно застенчив и неловок. Наружность его доказывала, что его воспитание и жизнь прошли вдали от светских кружков. Значительна была его голова и в ней особенно глаза. Несмотря на весьма некрасивые плоские волосы, прекрасно сформированный интеллигентный лоб бросался в глаза. Глаза большие, серые, страшно проницательные, загорались и блестели при малейшем оживлении. <...> Ходил он большими шагами, слегка опускаясь, как бы приседая при каждом шаге. Сморкался и кашлял он чрезвычайно громко и неизящно. Вечно бывал он нервно возбужден или в полной нервной атонии и расслаблении. (Собр. соч. СПб., 1899, т. III, стб. 1095—1096.)

Из неоконченной повести Н. А. Некрасова

Гениальный человек был не одет; лицо его носило признаки долгого колебания, борьбы с самим собою и слабости.

— Что же вы? — с упреком сказал Чудов <Некрасов>.

— Я не пойду к Мерцалову <Белинскому>,— отвечал Глажиевский <Достоевский>.

— Как? Что такое? Отчего?

— Да так... право... Не лучше ли будет не идти? — произнес он менее решительно, потупив глаза в пол.

— Отчего же?

— Да я так думал... Я сегодня целую ночь думал... Ведь вы говорите, он спрашивал обо мне, о моем лице даже... что, если... я боюсь... если...

Тут он вдруг остановился, как будто осекся, и потом с решительностию прибавил: — Нет, лучше не идти! <зачеркнуто: «Что ему, какая нужда до меня, до моей физиономии; он прочел произведение, сделал свое заключение — ну и пусть пишет, пусть пишет, как говорил — хоть целую книгу. А до автора какая нужда!..» Чудов невольно улыбнулся, поняв, в чем дело: очевидно было, что Глажиевский боялся своей физиономией разрушить эффект своего произ-

ведения, хотя подобный страх был довольно основательный...»> (Некрасов, 1922, с. 45.)

С. Д. Яновский

Вот буквально верное описание наружности того Федора Михайловича, каким он был в 1846 году: роста он был ниже среднего, кости имел широкие и особенно широк был в плечах и в груди; голову имел пропорциональную, но лоб чрезвычайно развитой с особенно выдававшимися лобными возвышениями, глаза небольшие светло-серые и чрезвычайно живые, губы тонкие и постоянно сжатые, придававшие всему лицу выражение какой-то сосредоточенной доброты и ласки; волосы у него были более чем светлые, почти беловатые и чрезвычайно тонкие или мягкие, кисти рук и ступни ног примечательно большие. (Рус. вестник, 1885, № 4, с. 797.)

Н. А. Некрасов. Несчастные. 1856

Рука, не твердая в труде,
Как спицы ноги, детский голос
И словно лен пушистый волос
На голове и бороде [1].

Достоевский

Он <Белинский> встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно. «Что ж, оно так и надо»,— подумал я, но не прошло, кажется, и минуты, как все преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать. Он заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да вы понимаете ль сами-то,— повторял он мне несколько раз и вскрикивал по своему обыкновению,— что это вы такое написали! <...> Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уж это понимали. <...> Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..» (Дневник писателя, 1877, январь.)

Из неоконченной повести Н. А. Некрасова

<...> простой и ласковый прием Мерцалова <Белинского>, а особенно похвалы, которыми он не замедлил осыпать «Каменное Сердце» <«Бедных людей»>, скоро возвратили Глажиевскому <Достоевскому> употребление способностей. Он даже перешел в другую крайность: вздумал щегольнуть развязностью <...> и рассказал анекдот о своем Терентии, который, по незнанию грамоты, съел какой-то пластырь, прописанный ему для наружного употребления. Анекдот не был забавен, а изложение его отличалось деланностью и двумя-тремя натянутыми сарказмами. (Некрасов, 1922, с. 48.)

И. И. Панаев. Воспоминание о Белинском

<...> <Белинский> говорил, что «Бедные Люди» обнаруживают громадный, великий талант, что автор их пойдет далее Гоголя, и прочее. «Бедные Люди» конечно замечательное произведение и заслуживало вполне того успеха, которым оно пользовалось, но все-таки увлечение Белинского относительно его доходило до крайности. (Современник, 1860, № 1, с. 369.)

Достоевский

Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим, ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель.) «И неужели вправду я так велик»,— стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда — разве можно было это вынести! «О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди! Вот где люди! Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они; пребуду «верен»! О, как я легкомыслен, и если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи! А всё говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочем, этих людей только и есть в России, они одни, но у них одних истина, а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом, мы победим; о к ним, с ними!» <...>

Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. (Дневник писателя, 1877, январь.)

---

[1] «Иногда муж заставал Некрасова бодрствующим,— пишет Анна Григорьевна Достоевская,— и тот читал мужу свои последние стихотворения и, указывая на одно из них — «Несчастные» (под именем «Крота»),— сказал: «Это я про вас написал!» — что чрезвычайно тронуло мужа». (Воспоминания, с. 340; ср.: Дневник писателя, 1877, декабрь.) Существует также мнение, что одним из прототипов «Крота» является Белинский.— И. В.

А. М. Конечный (установлено по спискам пассажиров в „Rewalsche Wochentliche Nachrichten"[1].

Июня 9 <1845>. Федор Д<остоевск>ий прибыл пароходом в Ревель к брату. (В сб.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 283.)

Любимец публики

Достоевский — М. М. Достоевскому. 8 октября 1845. Петербург

Но вот что скверно. Что еще ровнешенько ничего не слыхать из цензуры насчет «Бедных людей». Такой невинный роман таскают, таскают, и я не знаю, чем они кончат. Ну как запретят? Исчеркают сверху донизу? Беда, да и только, просто беда <...>. (ПСС, XXVIII, 1, с. 112—113.)

А. В. Никитенко. 26 февраля 1845

В цензурном комитете получено высочайшее повеление не дозволять печатать никаких статей о постройках по ведомству путей сообщения без предварительного сношения с главным начальством. У нас всякий отдельный начальник избегает гласности и старается окружить непроницаемым мраком все свои действия. Так, конечно, лучше: во мраке все позволительно. Чудная это вещь русская администрация! (Дневник, I, с. 290.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. Начало сентября 1845. Петербург

Прождав часа три, мы отправились уже в сумерках на гадчайшем, мизернейшем пароходе «Ольга», который плыл часа три с половиною в ночи и в тумане. Как грустно было мне въезжать в Петербург. Я смутно перечувствовал всю мою будущность в эти смертельные три часа нашего въезда. Особенно привыкнув с вами и сжившись так, будто бы я целый век уже вековал в Ревеле, мне Петербург и будущая жизнь петербургская показались такими страшными, безлюдными, безотрадными, а необходимость такою суровою, что если б моя жизнь прекратилась в эту минуту, то я, кажется, с радостию бы умер. Я, право, не преувеличиваю. Весь этот спектакль решительно не стоит свечей. Ты, брат, желаешь побыть в Петербурге. Но если приедешь, то приезжай сухим путем, потому что нет ничего грустнее и безотраднее въезда в него с Невы и особенно ночью. <...>

Голядкин выиграл от моего сплина. Родились две мысли и одно новое положение. Ну, прощай, мой голубчик. Послушай, что-то с нами будет лет через двадцать? Не знаю, что со мной будет; знаю только, что я теперь мучительно чувствую. (ПСС, XXVIII, 1, с. 110—112.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 8 октября 1845. Петербург

<...> Белинский недели две тому назад прочел мне полное наставление, каким образом можно ужиться в нашем литературном мире, и в заключение объявил мне, что я непременно должен, ради спасения души своей, требовать за мой печатный лист не менее 200 р. асс<игнациями>. <...> Терзаемый угрызениями совести, Некрасов забежал вперед зайцем и к 15 генварю обещал мне 100 руб. серебром за купленный им у меня роман «Бедные люди». Ибо сам чистосердечно сознался, что 150 р. сереб<ром> плата не христианская. И посему 100 р. сереб<ром> набавляет мне сверх из раскаяния. (ПСС, XXVIII, 1, с. 112—113.)

А. Я. Панаева

Белинский находил, что тем литераторам, которые имеют средства, не следует брать денег с Некрасова. Он проповедовал, что обязанность каждого писателя помочь нуждающемуся собрату выкарабкаться из затруднительного положения <...>. Герцен, Панаев, Одоевский и даже Соллогуб отдали свои статьи без денег. Кронеберг и другие литераторы сами очень нуждались, им Некрасов заплатил <...>. (Ист. вестник, 1889, № 3, с. 568—569.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 8 октября 1845. Петербург

Я бываю весьма часто у Белинского. Он ко мне донельзя расположен и серьезно видит во мне доказательство перед публикою и оправдание мнений своих. <...> Вообще говоря, будущность (и весьма недалекая) может быть хороша и может быть и страх как дурна. Белинский понукает меня дописывать Голядкина. Уж он разгласил о нем во всем литературн<ом> мире и чуть не запродал Краевскому, а о «Бедных людях» говорит уже пол-Петербурга. (ПСС, XXVIII, I, с. 113.)

И. С. Тургенев. Воспоминания о Белинском

«Да,— говорил он <Белинский> с гордостью, словно сам совершил величайший подвиг,— да, батюшка, я вам доложу! — Не велика птичка — и тут он указывал рукою чуть не на аршин от полу — не велика птичка — а ноготок востер!» — Каково же было мое удивление, когда встретившись вскоре потом с г-м Достоевским — я увидел в нем человека, росту более среднего — во всяком случае выше самого Белинского! — Но в припадке отеческой нежности к новонародившемуся таланту Белинский относился к нему как к сыну, как к своему «дитятке».

[1] «Ревельские недельные известия» (нем.)

Примечание[1]. Должно признаться, что прославление свыше меры «Бедных людей» — было одним из первых промахов Белинского и служило доказательством уже начинавшегося ослабления его организма. Впрочем — тут его подкупила теплая демократическая струйка. (Вестник Европы, 1869, № 4, с. 720—721.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 16 ноября 1845. Петербург

У меня бездна идей; и нельзя мне рассказать что-нибудь из них хоть Тургеневу, н<а>п<ример>, чтобы назавтра почти во всех углах Петербурга не знали, что Достоев<ский> пишет то-то и то-то. Ну, брат, если бы я стал исчислять тебе все успехи мои, то бумаги не нашлось бы столько. Я думаю, что у меня будут деньги. (ПСС, XXVIII, I, с. 116.)

Д. В. Григорович

После знакомства с Некрасовым и через него с Белинским, который прочел рукопись «Бедных людей», с Достоевским произошла заметная перемена. Во время печатания «Бедных людей» он постоянно находился в крайнем нервном возбуждении. (Рус. мысль, 1893, № 1, с. 11—12.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 8 октября 1845. Петербург

Один Григорович чего стоит! Он сам мне говорит: «Je suis votre claquer-chauffeur»[2]. (ПСС, XXVIII, I, с. 113.)

И. С. Аксаков — родным. 15 декабря 1845. Калуга

Какая деятельность! Множество альманахов должно выйти зимой, в том числе один, издаваемый «Отечественными Записками» с компанией <...>. Сии последние нашли новую звезду, какого-то Достоевского, которого ставят чуть ли не выше Гоголя, находя в Гоголе много славянофильского духа!!!!.... Ах, Господи Боже мой, все так гнусно и скверно, а у нас в Москве все так же пусто, бездейственно, что не знаешь, что делать, куда приклонить голову в России! (Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1888, ч. I, т. I, с. 312—313.)

Любовь с первого взгляда

Достоевский — М. М. Достоевскому. 16 ноября 1845. Петербург

Вчера я в первый раз был у Панаева и, кажет<ся>, влюбился в жену его. Она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма донельзя. Время я провожу весело. Наш кружок пребольшой. Но я всё пишу о себе; извини, любезнейший <...>. (ПСС, XXVIII, I, с. 116.)

А. А. Фет

Это <А. Я. Панаева> была небольшого роста, не только безукоризненно красивая, но и привлекательная брюнетка. Ее любезность была не без оттенка кокетства. Ее темное платье отделялось от головы дорогими кружевами или гипюрами; в ушах у нее были крупные бриллианты, а бархатистый голосок звучал капризом избалованного мальчика. Она говорила, что дамское общество ее утомляет и что у нее в гостях одни мужчины. (Фет А. А. Воспоминания, М., 1983, с. 261.)

В. А. Соллогуб

<...> романы Панаева тогда усердно читались, а жена его была одна из самых красивых женщин в Петербурге <...>. (Ист. вестник, 1886, № 4, с. 86.)

А. Г. Достоевская

Я расспрашивала Федора Михайловича о его увлечениях, и мне показалось странным, что, судя по его воспоминаниям, у него в молодости не было серьезной горячей любви к какой-нибудь женщине. Объясняю это тем, что он слишком рано начал жить умственной жизнью. Творчество всецело поглотило его, а потому личная жизнь отошла на второй план. Затем он всеми помыслами ушел в политическую историю, за которую так жестоко поплатился. (Воспоминания, с. 107.)

С. Д. Яновский

Череп же Федора Михайловича сформирован был действительно великолепно. Его обширный, сравнительно с величиною всей головы, лоб, резко выделявшиеся лобные пазухи и далеко выдавшиеся окраины глазницы при совершенном отсутствии возвышений в нижней части затылочной кости, делали голову Федора Михайловича похожею на Сократову. Он сходством этим был очень доволен, находил его сам и обыкновенно, говоря об этом, добавлял: «А что нет шишек на затылке, это хорошо, значит, не юпошник; верно, даже очень верно, так как я, батенька, люблю не юпку, а, знаете ли, чепчик люблю, чепчик вот такой, какие носит Евгения Петровна (мать Аполлона Николаевича и других Майковых, которую Федор Михайлович, да и все мы глубоко почитали и любили), больше ничего; ну и значит верно». (Рус. вестник, 1885, № 4, с. 806.)

А. Г. Достоевская (в передаче Л. П. Гроссмана)

Увлечение Панаевой было мимолетно, но все же это было единственным

[1] Исключенное Тургеневым в последующих изданиях.— **И. В.**
[2] «Я ваш клакер-пропагандист» (фр.)

увлечением Достоевского в его молодые годы. В доме у них <Панаевых>, где к Федору Михайловичу начали относиться насмешливо, неглупая и, по-видимому, чуткая Панаева пожалела Достоевского и встретила за это с его стороны сердечную благодарность и нежность искреннего увлечения. (Гроссман Л. П. Путь Достоевского. Л., 1924, с. 121.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 1 февраля 1846. Петербург

Я был влюблен не на шутку в Панаеву, теперь проходит, а не знаю еще. (ПСС, XXVIII, I, с. 118.)

С. Д. Яновский

Здесь же кстати я позволю себе сказать слово о том, что во все времена моего знакомства с Федором Михайловичем и во всех моих беседах с ним, я никогда не слыхал от него, чтоб он был в кого-нибудь влюблен или даже просто любил какую-нибудь женщину страстно. До ссылки Федора Михайловича в Сибирь я никогда не видал его даже «шепчущимся», то есть штудирующим и анализирующим характер какой-либо из знакомых нам дам или девиц, что однако же, по возвращении его в Петербург из Сибири, составляло одно из любимых его развлечений. (Рус. вестник, 1885, № 4, с. 814—815.)

Л. Ф. Достоевская

Удивляются тому, что в период первой молодости, которую большинство людей посвящает любви, у Достоевского не было ни одной женщины. (Лит. наследство, т. 86, с. 303.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 16 ноября 1845. Петербург

<...> я откровенно тебе скажу, что я теперь упоен собственной славой своей. <...>

Минушки, Кларушки, Марианны и т. п. похорошели донельзя, но стоят страшных денег. На днях Тургенев и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь. Эти господа уж и не сознают, как любить меня, влюблены в меня все до одного. Мои долги на прежней точке. (ПСС, XXVIII, I, с. 116.)

А. Я. Панаева

С первого взгляда на Достоевского видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человек. Он был худенький, маленький, белокурый, с болезненным цветом лица; небольшие серые глаза его как-то тревожно переходили с предмета на предмет, а бледные губы нервно передергивались. Почти все присутствовавшие тогда у нас уже были ему знакомы, но он видимо был сконфужен и не вмешивался в общий разговор. Все старались занять его, чтобы уничтожить его застенчивость и показать ему, что он член кружка. С этого вечера Достоевский часто приходил вечером к нам: застенчивость его прошла, он даже высказывал какую-то задорность, со всеми заводил споры, очевидно из одного упрямства противоречил другим. (Ист. вестник, 1889, № 3, с. 570.)

Из неоконченной повести Н. А. Некрасова

В минуты сильной робости он имел привычку съеживаться, уходить в себя до такой степени, что обыкновенная застенчивость не могла подать о состоянии его ни малейшего понятия. Оно могло быть только охарактеризовано им же самим изобретенным словом «стушеваться» <...>. (Некрасов, 1922, с. 48.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 16 ноября 1845. Петербург

Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народа самого порядочного. Князь Одоевский просит меня осчастливить его своим посещением, а граф Соллогуб рвет на себе волосы от отчаяния. Панаев объявил ему, что есть талант, который их всех в грязь втопчет. Соллогуб обегал всех и, зашедши к Краевскому, вдруг спросил его: Кто этот Достоевский? Где мне достать Достоевского? Краевский, который никому в ус не дует и режет всех напропалую, отвечает ему, что «Достоевский не захочет Вам сделать чести осчастливить Вас своим посещением». Оно и действительно так: аристократишка <зачеркнуто: «мерзавец»> теперь становится на ходули и думает, что уничтожит меня величием своей ласки. Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоев<ский> то-то сказал, Достоев<ский> то-то хочет делать. Белинский любит меня как нельзя более. (ПСС, XXVIII, I, с. 115.)

В. Н. Майков

Еще в ноябре и декабре 1845 года все литературные дилетанты ловили и перебрасывали отрадную новость о появлении нового огромного таланта. (Отеч. записки, 1847, № 1, отд. V. с. 2.)

Н. А. Некрасов — В. Ф. Одоевскому. 27 ноября 1845. Петербург

Я виделся с г. Достоевским. Он теперь очень занят и просил меня извинить его перед Вами, что не может быть у Вас ранее, как после первого декабря. (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч., М., 1948—1953, т. X, с. 48.)

А. А. Краевский — В. Ф. Одоевскому. 27 ноября 1845. Петербург

Вот «Бедные Люди», сейчас только мною полученные[1]. Даю их вам

[1] Речь идет о рукописи или верстке «Бедных людей»: до их выхода из печати остается еще два месяца.— **И. В.**

только на ночь и прошу никому не показывать; завтра утром возвратите мне их. (Рус. старина, 1904, № 6, с. 584.)

Достоевский

<...> мое первое вступление на литературное поприще, Бог знает сколько лет тому назад; грустное, роковое для меня время. (Дневник писателя, 1873.)

Час роковой

<А. А. Григорьев>

«<Петербургский> Сборник» наделал шуму еще до своего появления в свет, и этим шумом обязан он, сколько роману нового и сказать правду, блестящего дарования, столько же и голосу одного журнала, который довольно давно уже в нашей литературе уготовывает путь почти всему сколько-нибудь замечательному, что в ней появлялось и до сих пор появляется. (Финский вестник, 1846, № 9 (май), отд. V, с. 21—22.)

В. Г. Белинский

<...> наступающий год,— мы знаем это наверное — должен сильно возбудить внимание публики одним новым литературным именем, которому, кажется, суждено сыграть в нашей литературе одну из таких ролей, какие даются слишком немногим. Что́ это за имя, чье оно, чем занимательно,— обо всем этом мы пока умолчим, тем более что все это сама публика узнает на днях. (Отеч. записки, 1846, январь, отд. VI, с. 2.)

Библиографические и разные известия

В магазине русских книг Ильи Петр<овича> Лоскутова (бывшем М. И. Зайкина), состоящем против Гостиного Двора, подле Императорской Публичной Библиотеки, в доме Генерал-Лейтенанта Балабина, № 28, поступили в продажу: <...>

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ СБОРНИК»,

изданный Н. Некрасовым. С политипажными рисунками. Спб., 1846. Цена 4 р. сер., с пересылкою 5 р. с<еребром>. (Сев. пчела, 1846, 24 января.)

С. П. Шевырев

Нельзя не удивляться деятельности Петербургских литераторов! Любо смотреть! Давно ли вышла «Физиология Петербурга» в двух томах? И вот, вслед за ней, колоссальный «Петербургский Сборник», от которого столу тяжело! 560 страниц довольно мелкого убористого шрифта! Вот огромная повесть: «Бедные люди», нового дебютанта в литературе Г. Федора Достоевского! Одна уж эта повесть — целая книга! (Москвитянин, 1846, № 2, с. 163.)

П. В. Анненков. Молодость И. С. Тургенева

Удивительный был этот 1846 год. По странной случайности к нему относится единовременное появление замечательных памятников русской литературы. Тогда были кончены и опубликованы: «Обыкновенная история» И. А. Гончарова, «Бедные люди» Ф. М. Достоевского, «Антон Горемыка» Д. В. Григоровича — произведения, открывавшие новые дороги талантам и возвещавшие цветение литературы в скором будущем, не оправданное однако же событиями и обстоятельствами, вскоре затем наступившими... (Вестник Европы, 1884, № 2, с. 467.)

Ф. Б. <Ф. В. Булгарин>

Из разбора «Физиологии Петербурга» читатели наши знают, что Г. Некрасов принадлежит к новой, т. е. натуральной литературной школе, утверждающей, что должно изображать природу без покрова. Мы, напротив, держимся правила <...>: «Природа только тогда хороша, когда ее вымоют и причешут». Это, разумеется, относится только к литературе и к художествам, а не к Швейцарским горам и не к Океану. Вскоре будет помещен в «Северной Пчеле» разбор «Петербургского Сборника», а мы скажем только предварительно: славны бубны за горами! (Сев. пчела, 1846, 26 января.)

Из водевиля П. А. Каратыгина «Натуральная школа». 1847

Вихляев <И. И. Панаев>:

Мы, мы натуры прямые поборники,
Гении задних дворов:
Наши герои — бродяги да дворники,
Чернь Петербургских углов!

(Сев. пчела, 1847, 22 ноября.)

В. Г. Белинский — А. И. Герцену. 26 января 1846. Петербург

Альманах Некрасова дерет; больше 200 экземпляров продано с понедельника (<с> 21 января по пятницу 25-е). (Белинский, XII, с. 261.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 1 февраля 1846. Петербург

«Бедные люди» вышли еще 15-го. Ну, брат! Какою ожесточенною бранью встретили их везде! В «Иллюстрации» я читал не критику, а ругательство. В «Северной пчеле» было черт знает что такое. Но я помню, как встречали Гоголя, и все мы знаем, как встречали Пушкина. Даже публика в остервенении: ругают $^{3}/_{4}$ читателей, но $^{1}/_{4}$ (да и то нет) хвалит отчаянно. Debats пошли ужаснейшие. Ругают, ругают, ругают, а все-таки читают. (Альманах расходится не-

естественно, ужасно. Есть надежда, что через 2 недели не останется ни одного экземпляра.) Так было и с Гоголем. Ругали, ругали его, ругали — ругали, а все-таки читали и теперь помирились с ним и стали хвалить. Сунул же я им всем собачью кость! Пусть грызутся — мне славу дурачье строят. (ПСС, XXVIII, I, с. 117.)

В. Г. Белинский

А что́ нового в нашей литературе? Последняя новость в ней — явление нового необыкновенного таланта. Мы говорим о г. Достоевском, который рекомендуется публике «Бедными Людьми» и «Двойником» — произведениями, которыми для многих было бы славно и блистательно даже и закончить свое литературное поприще; но так начать — это, в добрый час молвить! что-то уж слишком необыкновенное... Теперь в публике только и толков, что о г. Достоевском, авторе «Бедных Людей»; но слава не бывает без терний, и говорят, что посредственность и бездарность уже точат на г. Достоевского свои деревянные мечи и копья... (Отеч. записки, 1846, февраль, отд. VIII. с. 126.)

<А. А. Григорьев>

Другое, резко противуположное этому <«Отечественных записок»> мнение выразилось в одной известной газете, оспоривавшей достоинства почти всякого нового самобытного дарования. Фельетонист этой газеты <...> не только тешился, но в буквальном смысле бесновался над промахами молодого таланта, над частыми повторениями слов: «маточка вы моя, голубушка вы моя» и т. п., и, разумеется, своими возгласами немало содействовал к распространению и Сборника и литературной известности г. Достоевского в читающей публике. (Финский вестник, 1846, № 9 (май), отд. V, с. 23.)

Я. Я. Я. <Л. В. Брант>

<...> «Северная Пчела» всегда будет на страже чистого вкуса и действительно художественной истины. Известно, что это очень не нравится нашим самозванцам-Гегелям; мы в отчаянии от их немилости, хотя впрочем совершенно здоровы и веселы. (Сев. пчела, 1846, 28 февраля.)

Ф. Б. <Ф. В. Булгарин>

<...> по городу разнесли вести о новом гении, Г. Достоевском (не знаем наверное, псевдоним или подлинная фамилия[1]), и стали превозносить до небес роман «Бедные люди». Мы прочли этот роман и сказали: бедные Русские читатели! (Сев. пчела, 1846, 1 февраля.)

<Аноним>

Роман <...> не имеет никакой формы и весь основан на подробностях утомительно однообразных, наводит такую скуку, какой нам еще испытывать не удавалось. Подробности да подробности в романе похожи на обед, в котором вместо супа сахарный горошек, вместо говядины, соуса, жаркого и десерта сахарный горошек. Оно, может быть, и сладко, может быть, и полезно, но в таком смысле, в каком подчивают сластями кондитерских учеников: чтобы поселить отвращение к сахарным произведениям. (Иллюстрация, 1846, 26 января.)

В. Г. Белинский — А. И. Герцену. 6 февраля 1846. Петербург

Альманах Некр<асова> — дерет, да и только. Только три книги на Руси шли так страшно: «Мертвые души», «Тарантас» и «Петербургский сборник». (Белинский, XII, с. 263.)

В. М. Карепина — М. М. Достоевскому и его жене. Начало 1846. Москва

Не знаешь ли, милый брат, чего-нибудь о брате Феденьке? Мы от него не имеем ни слуху, ни духу, не знаем, здоров ли он. Напиши, пожалуйста, не хочет ли он опять вступить на службу?.. (Лит. наследство, т. 86, с. 370.)

В. Г. Белинский

<Достоевский> <...> — имя совершенно неизвестное и новое, но которому, как кажется, суждено играть значительную роль в нашей литературе. (Отеч. записки, 1846, февраль, отд. VI, с. 45.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 1 февраля 1846. Петербург

До того осрамиться, как «Северная пчела» своей критикой, есть верх посрамления. Как неистово-глупо! Зато какие похвалы слышу я, брат! Представь себе, что наши все и даже Белинский нашли, что я даже далеко ушел от Гоголя! (ПСС, XXVIII, I, с. 117.)

«...Ушел от Гоголя»?

П. А. Плетнев — В. А. Жуковскому. 5 февраля 1846. Петербург

Верно вам пришлет Соллогуб «Петербургский Сборник». Там есть Достоевского роман: «Бедные люди». От него наши Некрасовцы[2] (печатающиеся в альманахе какого-то Некрасова) без ума, и говорят, что теперь смерть и Гоголю и

[1] Булгарин иронически намекает на то, что фамилия Достоевского — «говорящая» (о ее значении см. главу «Родословное древо»).— **И. В.**

[2] Плетнев, надо полагать, каламбурит: некрасовцы, как известно,— религиозная секта (старообрядцы-поповцы), потомки казаков — участников Булавинского восстания (1707—1709), ушедших в Турцию.— **И. В.**

всем. Но я пока не думаю этого. (Сочинения и переписка П. А. Плетнева. СПб., 1885, т. 3, с. 570.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 1 февраля 1846. Петербург

Во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое. Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубок, как я. (ПСС, XXVIII, I, с. 118.)

<А. А. Григорьев>

<...> все, что у Гоголя возводится в единослитный, сияющий перл создания, у Достоевского дробится на искры. (Финский вестник, 1846, № 9 (май), отд. V, с. 30.)

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту. 30 января 1846. Петербург

Я купил «Петербургский Сборник», чтобы сказать о нем слова два в № 2 «Современника». Это альманах, изданный Некрасовым, где вся шайка Соллогуба, Краевского и Белинского. Там и хваленый роман Достоевского «Бедные люди». Он мне почти не понравился, кроме одного места. Все на тон Гоголя и Квитки. Так утомительно. Однако тебе надо купить его для университетской библиотеки. (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896, т. 2, с. 663—664.)

Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 18 февраля 1846. Москва

Я послал тебе несколько книг: тут все, что вышло у нас нового, хотя сколько-нибудь любопытного <...>.

В Питере, по мнению «Отечеств<енных> Записок», явился новый гений — какой-то Достоевский; повесть его найдешь ты в сборнике Некрасова. Прочти ее и скажи мне твое о ней мнение: я сам не успел прочесть ее, потому что мои здешние благоприятели, читавшие ее, не похваляют ее! (Рус. старина, 1896, № 12, с. 640—641.)

Н. В. Гоголь — Н. М. Языкову. 9/21 апреля 1846. Рим

Мне бы теперь сильно хотелось прочесть повестей наших нынешних писателей. <...> для меня имеют много цены даже и те повествован<ия>, которые кажутся другим слабыми и ничтожными относительно достоинства художественного. Я бы все эти сборники прочитал с большим аппетитом <...>. (Полн. собр. соч. М., 1937—1952, т. 13, с. 52.)

П. А. Плетнев — Н. В. Гоголю. 4 марта 1846. Петербург

Не прислал ли тебе Аркадий Россет[1] каких новых Рус<ских> книг? Здесь Белинский с Краевским беснуются — <из->за какого-то Достоевского. По мне это пока — ничто. Разве?.. (Грот К. Я. К переписке Н. В. Гоголя с П. А. Плетневым. Неизданные письма 1832—1846 гг. СПб., 1900, с. 20.)

А. М. Виельгорская — Н. В. Гоголю. 18—21 марта 1846. Петербург

A propos[2], Николай Васильевич, с первым фельдъегерем мы вам пошлем повесть Достоевского: «Бедные люди», которая мне очень понравилась. Прочтите ее, пожалуйста, и скажите мне ваше мнение. (Вестник Европы, 1889, № 11, с. 105.)

Н. В. Гоголь — А. М. Виельгорской. 2/14 мая 1846. Генуя

«Бедные люди» я только начал, прочел страницы три и заглянул в середину, чтобы видеть склад и замашку речи нового писателя (напрасно вы оторвали одних «Бедных людей», а не прислали весь сборник <...>). В авторе «Бедных людей» виден талант, выбор предметов говорит в пользу его качеств душевных, но видно также, что он еще молод. Много еще говорливости и мало сосредоточенности в себе: все бы оказалось гораздо живей и сильней, если бы было более сжато. Впрочем, я это говорю еще не прочитавши, а только перелистнувши. (Полн. собр. соч., т. 13, с. 66.)

С. М. Виельгорская-Соллогуб — Н. В. Гоголю. 19 июня 1846. Павлино

30-го июня отправляется на год в чужие края Михаил Федорович Самарин. С ним я вам пришлю сборник, из которого я вырезала «Бедные люди», и еще другие русские книги. (Вестник Европы, 1889, № 11, с. 109.)

Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 24 июля 1846. Москва

Сердечно радуюсь, что книги, мною к тебе посланные, таки-дошли <...>. Скажи мне твое мнение о повести Достоевского: питерские критики, щелкоперы, прокричали ему большую похвалу; повесть эта довольно длинная — и мне не хотелось читать наудалую, ты же теперь томимый жаждою русского чтения, прочтешь и ее, какая бы ни была. Плетнев говорит, что Достоевский из числа твоих подражателей и что разница между тобою и им та же, что <между> Карамзиным и кн. Шаликовым!! Чертовская разница! (Рус. старина, 1896, № 12, с. 644.)

А. О. Смирнова-Россет

В 1848 году печатался роман Достоевского «Макар Девушкин»[3], который огорчил покойника <Н. В. Гоголя>. «А у него есть большой талант, жаль, что

[1] Брат А. О. Смирновой-Россет.— **И. В.**

[2] Кстати (фр.)

[3] Так в тексте.— **И. В.**

его перо пишет без остановки, но без руководства. Макар Девушкин оставляет в душе невыносимое чувство безотрадной грусти». (Автобиография, с. 308.)

Верноподданнейший доклад начальника III Отделения гр. А. Ф. Орлова. 23 февраля 1848

<...> превозноси одного Гоголя, писателя натуральной школы, вдались также в чрезмерную крайность; они хвалят только те сочинения, в которых описываются пьяницы, развратники, порочные и отвратительные люди, и сами пишут в этом же роде. Такое направление имеет свою вредную сторону, ибо если все наши литераторы обратятся к подобным сочинениям и публика не будет читать ничего другого, кроме произведений натуральной школы, то в народе, сверх уничтожения чистого вкуса, могут усилиться дурные привычки и даже дурные мысли. (Николаевские жандармы, с. 176.)

А. О. Смирнова-Россет

Я ему <Николаю I> напомнила о Гоголе, он был благосклонен. «У него есть много таланту драматического, но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие».— Читали ли вы «Мертвые души»? — спросила я.— «Да разве они его? Я думал, что это Сологуба». (Смирнова А. О. Записки. М., 1929, с. 283.)

А. С. Пушкин — М. П. Погодину. 5 марта 1833. Петербург

Государь <...> при вашем имени было нахмурился — (он смешивает вас с Полевым; извините великодушно; он литератор не весьма твердый, хоть молодец, и славный царь). Я кое-как успел вас отрекомендовать, а Д. Н. Блудов всё поправил и объяснил, что между вами и Полевым общего только первый слог ваших фамилий. (Полн. собр. соч., X, с. 428.)

П. С. Николаев

Литература в то время занимала все общество, да и сам Император Николай Павлович, как известно, очень много читал и очень любил литературу. (Отдел рукописей ГБЛ, 358.408.10, л. 54 об.)

Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, <И. И. Панаев>. Из «Послания Белинского к Достоевскому». <Апрель (?) 1846>

<...> Тебя знает император <...>.

(Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену. Женева, 1892, с. 207.)

Из каталога библиотеки П. Я. Чаадаева

55. Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым <...>. (Каталог библиотеки П. Я. Чаадаева. М., 1980, с. 24.)

Вокруг дебюта

В. Г. Белинский

Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах, и говорит о них обитателям раззолоченных палат: «ведь это тоже люди, ваши братья!» (Отеч. записки, 1846, март, отд. V, с. 9.)

<Аноним>

В страшной, сжимающей сердце картине, представляет он <Достоевский> несчастия, претерпеваемые бедным классом нашего общества. <...> Читаешь эти полузабавные, полупечальные страницы: иногда улыбка навернется на уста; но чаще защемит и заноет сердце, и глаза оросятся слезами. Вы кончите роман, и в душе вашей остается тяжкое, невыразимо-скорбное ощущение,— такое, какое наводит на вас предсмертная песня Дездемоны. (Рус. инвалид, 1846, 10 февраля.)

Я. Я. Я. <Л. В. Брант>

<...> не скажем, чтоб новый автор был совершенно бездарен, но он увлекся пустыми теориями «принципиальных» критиков, сбивающих у нас с толку молодое, возникающее поколение. <...> Пусть, в дальнейших опытах, он уклонится от соблазна наружного подражания, устранив нелепые теории фокусников искусства, и, может быть, лучше удастся. А на этот раз извините: первый блин комом вышел, гора родила мышь — «слухи» — не оправдались, и даже очень повредили автору, ибо настроили публику к ожиданию чего-то необыкновенного. (Сев. пчела, 1846, 30 января.)

В. Г. Белинский

Если б эту повесть приняли все с безусловными похвалами, с безусловным восторгом,— это служило бы неопровержимым доказательством, что в ней точно есть талант, но нет ничего необыкновенного. Такой дебют был бы жалок. Но вышло гораздо лучше: за исключением людей, решительно лишенных способности понимать поэзию, и за исключением, может быть, двух-трех испугавшихся за себя писак, все согласились, что в этой повести заметен не совсем обыкновенный талант. Для первого раза нечего больше и желать. (Отеч. записки, 1846, март, отд. V, с. 6.)

Г-н Имрек <К. С. Аксаков>

Г. Достоевский не явил в своей повести, как в целом, художественного таланта. <...> Картины бедности являются во всей своей случайности, не очищенные, не перенесенные в общую сферу. Впечатление повести тяжелое и частное, потому проходящее и не остающееся навсегда в вашей душе. (Московский литературный и ученый сборник[1]. М., 1847, 2-я пагин., с. 29.)

И. С. Аксаков — родным. 5 августа 1846. Калуга

Я спрашивал «Московский Сборник». Книгопродавец отвечал, что он его не выписывал, потому что его в «Отечественных Записках» и «Библиотеке <для чтения>» не очень хвалят, а «Петербургский Сборник» есть. (Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, ч. I, т. I, с. 357.)

С. П. Шевырев

Но заметно ли оригинальное художественное создание? Решить такой вопрос с первого раза очень трудно. Оригинальность художника определяется формою его созданий. На форме лежит еще такая резкая, неотразимая печать влияния Гоголева, что мы не видим возможности освобождения. (Москвитянин, 1846, № 2, с. 169.)

В. Г. Белинский

В этой книжке «Отеч<ественных> записок» русская публика прочтет и еще роман г. Достоевского: «Двойник»,— этого слишком достаточно для убеждения, что такими произведениями обыкновенные таланты не начинают своего поприща. (Отеч. записки, 1846, февраль, отд. V, с. 45.)

Я. Я. Я. <Л. В. Брант>

Февральская книжка «Отеч<ественных> Записок», с восторгом, в совершенном экстазе, сжимает в своих объятиях второе произведение нового Русского гения <...>. (Сев. пчела, 1846, 28 февраля.)

Новые приключения господина Голядкина

В. Г. Белинский

Как талант необыкновенный, автор нисколько не повторился во втором своем произведении,— и оно представляет у него совершенно новый мир. (Отеч. записки, 1846, март, отд. V, с. 18.)

П. В. Анненков. Замечательное десятилетие

В доме же Белинского прочитан был новым писателем и второй его рассказ: «Двойник» <...>. Белинскому нравился и этот рассказ по силе и полноте разработки оригинально-странной темы, но мне, присутствовавшему тоже на этом чтении, показалось, что критик имеет еще заднюю мысль, которую не считает нужным высказать тотчас же. Он беспрестанно обращал внимание Достоевского на необходимость набить руку, что называется, в литературном деле, приобрести способность легкой передачи своих мыслей, освободиться от затруднений изложения. Белинский, видимо, не мог освоиться с тогдашней, еще расплывчатой манерой рассказчика, возвращавшегося поминутно на старые свои фразы, повторявшего и изменявшего их до бесконечности и относил эту манеру к неопытности молодого писателя <...>. Но Белинский ошибся: он встретил не новичка, а совсем уже сформировавшегося автора <...>. Достоевский выслушивал наставления критика благосклонно и равнодушно. (Вестник Европы, 1880, № 4, с. 479.)

Д. В. Григорович

Белинский сидел против автора, жадно ловил каждое его слово и местами не мог скрыть своего восхищения, повторяя, что один только Достоевский мог доискаться до таких изумительных психологических тонкостей. (Рус. мысль, 1893, № 1, с. 12.)

Достоевский. Из записной тетради 1872—1875 гг.

У Белинского, в восторге слишком известные литераторы <...>. (ПСС, XXI, с. 264.)

Достоевский

Белинский, с самого начала осени 45-го года, очень интересовался этой новой моей работой. Он повестил о ней, еще не зная ее, Андрея Александровича Краевского, у которого работал в журнале, с которым и познакомил меня и с которым я и уговорился, что эту новую повесть «Двойник» я, по окончании, дам ему в «Отечественные записки» для первых месяцев наступающего 46-го года.

<...> в начале декабря 45-го года, Белинский настоял, чтоб я прочел у него хоть две-три главы этой повести. Для этого он устроил даже вечер (чего почти никогда не делывал) и созвал своих близких. На вечере, помню, был Иван Сергеевич Тургенев, прослушал лишь половину того, что я прочел, похвалил и уехал, очень куда-то спешил. Три или четыре главы, которые я прочел, понравились Белинскому чрезвычайно (хотя и не стоили того). Но Белинский не знал конца повести и находился под обаянием «Бедных людей». (Дневник писателя, 1877, ноябрь.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 1 февраля 1846. Петербург

Голядкин в 10 раз выше «Бедных людей». Наши говорят, что после «Мертвых душ» на Руси не было ничего подобного, что произведение гениальное и

[1] Печатный орган славянофилов в 1840-е гг.— *И. В.*

чего-чего не говорят они! С какими надеждами они все смотрят на меня! Действительно, Голядкин удался мне донельзя. Понравится он тебе, как не знаю что! Тебе он понравится даже лучше «Мертвых душ», я это знаю. (ПСС, XXVIII, 1, с. 118.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 1 апреля 1846. Петербург

У меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие. Идея о том, что я обманул ожидания и испортил вещь, которая могла бы быть великим делом, убивала меня. Мне Голядкин опротивел. Многое в нем писано наскоро и в утомлении. 1-я половина лучше последней. Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь, из души воротит, читать не хочется. Вот это-то создало мне на время ад, и я заболел от горя. (ПСС, XXVIII, I, с. 120.)

В. Г. Белинский

Если б автор «Двойника» дал нам перо в руки с безусловным правом исключать из рукописи его «Двойника» все, что показалось бы нам растянутым и излишним,— у нас не поднялась бы рука ни на одно отдельное место, потому что каждое отдельное место в этом романе — верх совершенства. Но дело в том, что таких превосходных мест в «Двойнике» уж чересчур много, а одно да одно, ка́к бы ни было оно превосходно, и утомляет и наскучает. <...> Итак, в этом отношении, суд толпы справедлив; но он ложен в выводе о таланте г. Достоевского. Самая эта чрезмерная плодовитость только служит доказательством того, как много у него таланта и как велик его талант. (Отеч. записки, 1846, март, отд. V, с. 18—19.)

О. И. Сенковский

У одних, говорят, была вакансия гения и они поскорее произвели автора статьи <романа «Бедные люди»> в гении — да еще в какие! — свет не видывал ничего подобного! — просто превосходит всякое вероятие! <...>. (Библиотека для чтения, 1846, № 3, отд. VI, с. 2.)

Я. Я. Я. <Л. В. Брант>

И эту путаницу слов, эту бессмыслицу выдают нам за огромный талант, за произведение гения! <...>

Что вы на это скажете, читатель, вместе с нами уже знающий, какого сорта гений Г. Достоевского, и из какого угла увенчан он славою? (Сев. пчела, 1846, 28 февраля.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 1 апреля 1846. Петербург

Слава моя достигла до апогеи. В 2 месяца обо мне, по моему счету, было говорено около 35 раз в различных изданиях. В иных хвала до небес, в других с исключениями, а в третьих руготня напропалую. Чего лучше и выше? Но вот что гадко и мучительно: свои, наши, Белинский и все мною недовольны за Голядкина. <...> Но что всего комичнее, так это то, что все сердятся на меня за растянутость и все до одного читают напропалую и перечитывают напропалую. А один из наших тем только и занимается, что каждый день прочитывает по главе, чтобы не утомить себя, и только чмокает от удовольствия. Иные из публики кричат, что это совсем невозможно, что глупо и писать и помещать такие вещи, другие же кричат, что это с них и списано и снято, а от некоторых я слыхал такие мадригалы, что говорить совестно. (ПСС, XXVIII, I, с. 119—120.)

С. П. Шевырев

<...> мы не понимаем, как автор «Бедных людей», повести все-таки замечательной, мог написать «Двойника» <...>. Это грех против художественной совести, без которой не может быть истинного дарования. Вначале тут беспрерывно кланяешься знакомым из Гоголя: то Чичикову, то Носу, то Петрушке, то индейскому петуху в виде самовара, то Селифану; но чтение всей повести, если вы захотите непременно до конца дочитать ее, произведет на вас действие самого неприятного и скучного кошмара после жирного ужина. (Москвитянин, 1846, № 2, с. 172—173.)

П. Б.[1] <П. С. Белярский>

Что касается повести г. Достоевского: «Двойник» («От. зап.» № 2), то желали бы мы не встречать более подобных злоупотреблений таланта и трудов. Нельзя видеть без удивления, как в этой повести разговор действующих лиц зашел за все границы приличия, и обратился в какую-то смесь ругательств, нетерпимых для круга образованных читателей[2]. (Журнал Министерства народного просвещения, 1846, № 7, отд. VI, с. 104.)

В. Г. Белинский

<...> публика тотчас же обнаружила ту неумеренную требовательность в отношении к таланту г. Достоевского и ту неумеренную нетерпимость к его недостаткам, которые имеет свойство возбуждать только талант. (Современник, 1847, № 1, отд. III, с. 35.)

[1] Так в «Оглавлении» (4-я стр. обложки). Личность рецензента установлена нами по изданию: Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей, т. 2, М., 1957, с. 312.— **И. В.**

[2] Трудно удержаться, чтобы не подкрепить этой здравой мыслью мнение нашего уважаемого оппонента, приведенное в сноске 2 на стр. 149! — **И. В.**

Я. Я. Я. <Л. В. Брант>

Нельзя представить себе ничего бесцветнее, однообразнее, скучнее длинного, бесконечно растянутого, смертельно утомительного рассказа о незанимательных «приключениях Господина Голядкина», который с самого начала и до конца повести является помешанным, беспрестанно делает разные промахи и глупости, ни смешные и ни трогательные, несмотря на все усилия автора представить их таковыми. <...> Искренне сожалеем о молодом человеке, так ложно понимающем искусство и очевидно сбитом с толка литературною «котериею», из видов своих выдающею его за гения. (Сев. пчела, 1846, 28 февраля.)

Г-н Имрек <К. С. Аксаков>

В этой повести видим мы уже не влияние Гоголя, а подражание ему <...>. В ней Г. Достоевский постоянно передразнивает Гоголя, подражает часто до такой степени, что это выходит уже не подражание, а заимствование. (Моск. лит. и ученый сборник, 1847, с. 33—34.)

Ф. Б. <Ф. В. Булгарин>

После Господина Гоголя, приводившего в отчаяние спекуляторов своим молчанием, выдвинули из толпы другого, молодого человека, Господина Достоевского, и назвали его гением, равным Гоголю, не для пользы Г. Достоевского, а для того только, чтоб обратить внимание публики на тот журнал, где печатались сказки Г. Достоевского. Попытка не удалась! (Сев. пчела, 1847, 12 апреля.)

А. А. Григорьев — Н. В. Гоголю. 17 ноября 1848. Москва

<...> вы, вчитываясь в это чудовищное создание <«Двойник»>, уничтожаетесь, мелеете, сливаетесь с его безмерно-ничтожным героем — и грустно становится вам быть человеком, и вы убеждаетесь, как будто, что человек только таков и может быть. Какая же тут вина, ответственность, какой суд над собою? Жил червем и умер червем, и дело кончено <...>. (Григорьев А. А. Собр. соч. М., 1916, вып. 8, с. 27.)

Литератор Д. К. Малиновский — Н. В. Гоголю. 1—12 апреля 1848. Петербург

Вот не читали вы повести нового писателя Достоевского: «Двойник», там кажется уже слишком пересолено или по крайней мере взят больной человек. По сходству кой в чем героя этой повести со мною я очень его дичился и, признаюсь вам, начал стыдиться того, чего прежде не стыдился. Грубому вкусу наших читателей так и надобно побольше посолить, чтобы они расчухали и начали исправляться. (Ранний Достоевский, с. 160.)

В. Г. Белинский

Искусственность и манерность слога, которым она <повесть «Двойник»> написана, разительно доказывается тем, что даже г. Имрек смастерил на слог ее довольно удачную пародию. <...> Г-н Имрек продолжает свою критику слогом повести <...>. (Современник, 1847, № 6, отд. III, с. 131.)

Г-н Имрек <К. С. Аксаков>

Приемы эти схватить не трудно; приемы-то эти вовсе не трудно схватить; оно вовсе не трудно и не затруднительно схватить приемы-то эти. Но дело не так делается, господа; дело-то это, Господа, не так производится; оно не так совершается, судари вы мои, дело-то это. А оно надобно тут знаете и тово; оно, видите ли здесь другое требуется, требуется здесь тово, этово, как его — другова. А этово-то, другово-то, и не имеется; именно этово-то, и не имеется; таланта-то, господа, поэтического-то, господа, таланта, этак художественного-то и не имеется. Да вот оно, оно самое дело-то, то есть, настоящее вот оно как; оно именно так. (Моск. лит. и ученый сборник, 1847, с. 35.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 8 октября 1845. Петербург

Яков Петрович Голядкин выдерживает свой характер вполне. Подлец страшный, приступу нет к нему; никак не хочет вперед идти, претендуя, что еще ведь он не готов, а что он теперь покамест сам по себе, что он ничего, ни в одном глазу, а что, пожалуй, если уж на то пошло, то и он тоже может, почему же и нет, отчего же и нет? Он ведь такой, как и все, он только так себе, а то такой, как и все. Что ему! Подлец, страшный подлец! (ПСС, XXVIII, I, с. 113.)

Достоевский

Повесть эта мне положительно не удалась, но идея ее была довольно светлая, и серьезнее этой идеи я никогда ничего в литературе не проводил. Но форма этой повести мне не удалась совершенно. Я сильно исправил ее потом, лет пятнадцать спустя, для тогдашнего «Общего собрания» моих сочинений, но и тогда опять убедился, что эта вещь совсем неудавшаяся, и если б я теперь принялся за эту идею и изложил ее вновь, то взял бы совсем другую форму; но в 46-м году этой формы я не нашел и повести не осилил. (Дневник писателя, 1877, ноябрь.)

Л. Ф. Достоевская

<...> второй роман отца не имел такого успеха, как первый. Это было слишком ново; тогда еще не был понятен этот детальный анализ человеческого сердца, завоевавший позднее столь большую популярность. Люди с больной психикой еще не вошли в моду; этот роман без героя и героини находили скучным. <...> Отец боялся, что выдающийся успех его первого романа может не повто-

риться более, и вернулся к ложному жанру Гоголя. (Лит. наследство, т. 86, с. 302.)

Достоевский. Из записной тетради 1872—1875 гг.

<...> мой главнейший подпольный тип (надеюсь, что мне простят это хвастовство ввиду собственного сознания в художественной неудаче типа). (ПСС, XXI, с. 264.)

Школа злословия

Достоевский. Из записной тетради 1875—1876 гг.

Я знаю, что появление их уязвило и потрясло множество самолюбий, ибо «Бедными людьми» я сразу стал известен, а они протекли, как вешние воды... С тех пор некоторые люди (в литературе) ужасно не полюбили меня, хотя я вовсе не знал их лично. (Лит. наследство, т. 83, с. 409.)

Из водевиля П. А. Каратыгина «Натуральная школа». 1847

Вихляев <И. И. Панаев>:

Новую школу ума и словесности
Мы на Руси завели.
В этой-то школе дойти до известности
Многим уж мы помогли.

(Сев. пчела, 1847, 22 ноября.)

Новый поэт <И. И. Панаев>. Литературные кумиры и кумирчики

Одного, произведенного таким образом в кумиры, курениями и поклонениями перед ним, мы чуть было даже не свели с ума. <...> его мы носили на руках по городским стогнам и, показывая публике, кричали: «Вот только что народившийся маленький гений, который со временем убьет своими произведениями всю нашу настоящую и прошедшую литературу. Кланяйтесь ему! кланяйтесь!..» (Современник, 1855, № 12, отд. V, с. 238.)

Из неоконченной повести Н. А. Некрасова

Такова была меньшая и не главная часть кружка литераторов... <...> Как и самые простые смертные, они — сплетничали и злословили, хвастали и завидовали.

И сплетни их были тем непростительнее, что они прекрасно знали и здраво судили, до какой степени такое ремесло унизительно. (Некрасов, 1922, с. 56.)

Д. В. Григорович

Могу сказать только с уверенностью, что успех «Бедных людей» и еще больше, кажется, неумеренно-восторженные похвалы Белинского положительно вредно отразились на Достоевском, жившем до той поры замкнуто, в самом себе, встречавшемся, да и то не часто, с немногими товарищами, не имевшими ничего общего с литературой. Возможно ли было такому человеку, даже при его уме, сохранить нормальное состояние духа, когда с первого шага на новом поприще такой авторитет, как Белинский, преклонился перед ним, громко провозглашая, что появилось новое светило в русской литературе? (Рус. мысль, 1893, № 1, с. 12.)

А. Я. Панаева

Когда Белинскому передавали, что Достоевский считает себя уже гением, то он пожимал плечами и с грустью говорил:

— Что за несчастье, ведь несомненный у Достоевского талант, а если он, вместо того, чтобы разработать его, вообразит уже себя гением, то ведь не пойдет вперед. Ему непременно надо лечиться, все это происходит от страшного раздражения нервов. Должно быть потрепала его бедного жизнь! Тяжелое настало время, надо иметь воловьи нервы, чтобы они выдержали все условия нынешней жизни. Если не будет просвета, так чего доброго все поголовно будут психически больны! (Ист. вестник, 1889, № 3, с. 571—572.)

А. В. Орлова (свояченица Белинского)

Как горячо заступался он <Белинский> за Некрасова, бранил Тургенева, что он раздражает Достоевского и подзадоривает больного человека, всех-то он любил, ценил и жалел. (В пользу голодающих: «Лепта Белинского». М., 1892, с. 30.)

А. Я. Панаева

Когда Тургенев, по уходе Достоевского, рассказывал Белинскому о резких и неправильных суждениях Достоевского о каком-нибудь русском писателе, то Белинский ему замечал:

— Ну, да вы хороши, сцепились с больным человеком, подзадориваете его, точно не видите, что он в раздражении, сам не понимает, что говорит. (Ист. вестник, 1889, № 3, с. 571.)

Д. В. Григорович

Увлечение Белинского не сделало бы еще, может быть, такого действия на Достоевского, как тот внезапный, резкий поворот на его счет в мнении Белинского и его кружка. (Рус. мысль, 1893, № 1, с. 12.)

А. Я. Панаева

У Достоевского явилась страшная подозрительность вследствие того, что один приятель передавал ему все, что говорилось в кружке лично о нем и о его «Бедных людях». Приятель Достоевского, как говорят, из любви к искусству, передавал всем, кто о ком что сказал. Достоевский заподозрил всех в зависти к его таланту и почти в каждом слове, сказанном без всякого умысла, находил, что желают умалить его произведение, нанести ему обиду <...>. (Ист. вестник, 1889, № 3, с. 571.)

Л. Ф. Достоевская

Для того, чтобы уронить его в общественном мнении, товарищи Достоевского распространяли о нем комические анекдоты. И Достоевский усумнился в своем даровании. (Достоевский в изображении дочери, с. 23.)

Новый поэт <И. И. Панаев>

С этих пор наш маленький гений сделался невыносим: — он ни за что не хотел ходить сам по земле или по тротуару, а непременно требовал, чтобы мы его носили на руках и поднимали как можно выше, чтобы все его видели; он беспрестанно злился на нас и кричал: — «выше! выше!» (Современник, 1855, № 12, отд. V, с. 239.)

Н. Ф. Щербина. Эпиграмма на И. И. Панаева. Между 1855 и 1862

Когда с Панаевым встречаюсь я порой,
При людях мне тогда неловко и конфузно,
Как будто кто передо мной
Показывает гузно.

(Щербина Н. Ф. Избр. произведения. Л., 1970, с. 290.)

Предательства, бывшие в моде

Из дневника Вс. С. Соловьева. 2 января 1873

<...> мы говорили о самолюбии и о конфузливости как об одном из проявлений самолюбия. Достоевский сказал, что я, должно быть, очень самолюбив! Он высказал одну мысль, которая мне очень понравилась: «Вы боитесь впечатления, производимого вами на незнакомого человека; вы разбираете ваши слова, движения, упрекаете себя в бестактности некоторых слов, воображаете себе то впечатление, которое произведено вами, и — непременно ошибаетесь; впечатление, произведенное вами, непременно другое, а все это потому, что вы себе представляете людей гораздо крупнее, чем они есть,— люди несравненно мельче, простее, чем вы себе представляете». (Лит. наследство, т. 86, с. 425.)

А. Я. Панаева

По молодости и нервности, он не умел владеть собой и слишком явно высказывал свое авторское самолюбие и самомнение о своем писательском таланте. <...> С появлением молодых литераторов в кружке, беда была попасть им на зубок, а Достоевский как нарочно давал к этому повод своею раздражительностью и высокомерным тоном, что он несравненно выше их по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбие уколами в разговорах; особенно на это был мастер Тургенев — он нарочно втягивал в спор Достоевского и доводил его до высшей степени раздражения. Тот лез на стенку и защищал с азартом иногда нелепые взгляды на вещи, которые сболтнул в горячности, а Тургенев их подхватывал и потешался. (Ист. вестник, 1889, № 3, с. 570—571.)

Д. В. Григорович

<...> в натуре Тургенева не было ничего агрессивного, не было признака того, что называется задором; его, напротив, можно было упрекнуть в излишней уступчивости, даже против тех, кто не стоил его мизинца, не мог равняться с ним ни в каком отношении. (Рус. мысль, 1893, № 2, с. 71.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 16 ноября 1845. Петербург

На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слыхал) и с первого раза привязался ко мне такою привязанностию, такою дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек? Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет[1] — я не знаю, в чем природа отказала ему? Наконец: характер неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе. (ПСС, XXVIII, I, с. 115.)

Л. Ф. Достоевская

Особенно тяжела для отца была злость Тургенева, который, вне себя от успеха «Бедных людей», не знал уже, что и придумать, чтобы навредить Достоевскому. Он так его любил, почитал его так искренно! Именно здесь начало их вражды, длившейся всю их жизнь и вызвавшей в России столько разговоров <...>. (Лит. наследство, т. 86, с. 301.)

---

[1] Тургеневу в 1845 году было 27 лет.— И. В.

А. Я. Панаева

Тургенев стал сочинять юмористические стихи на Девушкина, героя «Бедных людей», будто бы тот написал благодарственные стихи Достоевскому за то, что он оповестил всю Россию об его существовании, и в стихах повторялось часто «мамочка»[1]. (Ист. вестник, 1889, № 3, с. 572.)

Д. В. Григорович

Тургенев был действительно мастер на эпиграмму <...> Для красного словца он <...> не щадил иногда приятеля <...>. (Рус. мысль, 1893, № 2, с. 76.)

А. Я. Панаева

Раз Тургенев при Достоевском описывал свою встречу в провинции с одной личностью, которая вообразила себя гениальным человеком и мастерски изобразил смешную сторону этой личности. Достоевский был бледен, как полотно, весь дрожал и убежал, не дослушав рассказа Тургенева. Я заметила всем: — к чему изводить так Достоевского? — Но Тургенев был в самом веселом настроении, увлек и других, так что никто не придал значения быстрому уходу Достоевского. (Ист. вестник, 1893, № 3, с. 572.)

Д. В. Григорович

Неожиданность перехода от поклонения и возвышения автора «Бедных людей» чуть ли не на степень гения к безнадежному отрицанию в нем литературного дарования могла сокрушить и не такого впечатлительного и самолюбивого человека, каким был Достоевский. Он стал избегать лиц из кружка Белинского, замкнулся весь в себя еще больше прежнего и сделался раздражительным до последней степени. При встрече с Тургеневым, принадлежавшим к кружку Белинского, Достоевский, к сожалению, не мог сдержаться и дал полную волю накипевшему в нем негодованию, сказав, что никто из них ему не страшен, что дай только время, он всех их в грязь затопчет. <...>

Во всяком случае, я уверен, вина была на стороне Достоевского. Характер Тургенева отличался полным отсутствием задора; его скорее можно было упрекнуть в крайней мягкости и уступчивости. После сцены с Тургеневым произошел окончательный разрыв между кружком Белинского и Достоевским; он больше в него не заглядывал. На него посыпались остроты, едкие эпиграммы, его обвиняли в чудовищном самолюбии, в зависти к Гоголю <...>. (Рус. мысль, 1893, № 1, с. 12—13.)

Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, <И. И. Панаев>. Послание Белинского к Достоевскому

Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ

Хоть ты юный литератор,
Но в восторг уж всех поверг:
Тебя знает Император,
Уважает Лейхтенберг.

За тобой Султан турецкий
Скоро вышлет визирей.

(Письма Кавелина и Тургенева, с. 207—208.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 1 февраля 1846. Петербург

Одоевский пишет отдельную статью о «Бедных людях». Соллогуб, мой приятель, тоже. Я, брат, пустился в высший свет и месяца через три лично расскажу тебе все мои похождения. (ПСС, XXVIII, I, с. 117.)

«...И чуть-чуть скоропостижно...»

В. А. Соллогуб

<...> повесть эта <«Бедные люди»> привела меня в восторг. Прочитавши ее, я тотчас же отправился к <...> Андрею Александровичу Краевскому, осведомиться об авторе; он назвал мне Достоевского и дал мне его адрес. Я сейчас же к нему поехал и нашел <...> молодого человека, бледного и болезненного на вид. На нем был одет довольно поношенный домашний сюртук с необыкновенно короткими, точно не на него сшитыми, рукавами. Когда я себя назвал и выразил ему в восторженных словах то глубокое и вместе с тем удивленное впечатление, которое на меня произвела его повесть, так мало походившая на все, что в то время писалось, он сконфузился, смешался и подал мне единственное находившееся в комнате старенькое, старомодное кресло. Я сел, и мы разговорились; правду сказать, говорил больше я — этим я всегда грешил. Достоевский скромно отвечал на мои вопросы, скромно и даже уклончиво. (Ист. вестник, 1886, № 6, с. 561—562.)

Д. В. Григорович

В тогдашнее время в великосветском обществе существовал <...> дом,

[1] Т. е. «маточка». В «Историческом вестнике» скорее всего опечатка.— **И. В.**

в котором <...> собирались лица большого света и артисты; это был дом графов В<и>ельгорских. <...>

<...> запевалой в доме графа М. Ю. <Виельгорского> был его зять, граф В. А. Соллогуб <...>. Гр<афа> Соллогуба не долюбливали в кругу литераторов; виной был его характер, отличавшийся крайнею неровностью в обращении: сегодня — за панибрата, завтра — как бы вдруг не узнает и едва протягивает руку. <...> Стоило явиться молодому даровитому писателю, гр<аф> Соллогуб не давал ему покоя, пока не приведет его в гостиную графа В<и>ельгорского <...>. (Рус. мысль, 1893, № 1, с. 30—32.)

В. А. Соллогуб

Просидев у него <Достоевского> минут двадцать, я поднялся и пригласил его поехать ко мне запросто пообедать.

Достоевский просто испугался.

— Нет, граф, простите меня,— промолвил он растерянно, потирая одну об другую свои руки: — но, право, я в большом свете от роду не бывал и не могу никак решиться...

— Да кто вам говорит о большом свете, любезнейший Федор Михайлович,— мы с женой действительно принадлежим к большому свету, ездим туда, но к себе его не пускаем!

Достоевский рассмеялся, но остался непреклонным, и только месяца два спустя решился однажды появиться в моем зверинце. (Ист. вестник, 1886, № 6, с. 562.)

А. М. Виельгорская — Н. В. Гоголю. 7 февраля 1847. Петербург

У Софьи Михайловны <Виельгорской-Соллогуб> собираются по середам знакомые ее мужа, почти все русские, люди умные, некоторые из них литераторы <...>. (Вестник Европы, 1889, № 11, с. 120.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 1 февраля 1846. Петербург

Я, брат, пустился в высший свет и месяца через три лично расскажу тебе все мои похождения.[1] (ПСС, XXVIII, I, с. 117.)

В. А. Соллогуб

Один, всего один раз, мне удалось затащить к себе Достоевского. (Ист. вестник, 1886, № 6, с. 561.)

Л. Ф. Достоевская

Мой отец был неловок, робок, нелюдим и скорее некрасив; он говорил мало и больше прислушивался. (Достоевский в изображении дочери, с. 22.)

Новый поэт <И. И. Панаев>

<В. А. Соллогуб> <...> дал вечер — и к нему приехали (хотя на его вечера давно уже не ездили), приехали, потому что он ловко дал знать в городе: что такого-то числа, в таком-то часу, у него будут меня показывать. Я, признаюсь, сильно струсил, когда появился в многочисленной и незнакомой толпе, струсил и чуть-чуть скоропостижно не лишился жизни; но меня увели в другую комнату и похвалами моему великому таланту привели в чувство... (Современник, 1847, № 4, отд. IV, с. 154.)

Ф. Б. <Ф. В. Булгарин>

Кстати об авторах. Они почти то же, что модницы, страждущие **ваперами**[2], нервическими припадками и аппетитами. (Сев. пчела, 1846, 15 апреля[3].)

Новый поэт <И. И. Панаев>

Одна барышня с пушистыми пуклями и с блестящим именем, белокурая и стройная, пожелала его видеть, наслышавшись об нем <...> и наш кумирчик был поднесен к ней и подносивший его говорил ей с восторгом: «Вот он! смотрите! вот он!»

Барышня с пушистыми локонами изящно пошевелила своими маленькими губками, которые она беспрестанно обсасывала своим маленьким язычком, для придания им свежести, и хотела отпустить нашему кумирчику прелестный комплимент <...> как вдруг он побледнел и зашатался. Его вынесли в заднюю комнату и облили одеколоном. (Современник, 1855, № 12, с. 238—239.)

Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, <И. И. Панаев>. Послание Белинского к Достоевскому

Но когда на раут светский
Перед сонмище князей,

Ставшим мифом и вопросом,
Пал чухонскою звездой
И моргнул курносым носом
Перед русой красотой,

Как трагически недвижно
Ты смотрел на сей предмет

[1] Как, возможно, помнит читатель, эта фраза уже фигурировала выше (см. стр. 128).— **И. В.**

[2] Недомогания, истерические припадки (фр.)

[3] Если это намек на реальное происшествие, то тем самым подтверждается наше предположение, что вечер у Соллогуба состоялся в первых числах апреля.— **И. В.**

И чуть-чуть скоропостижно
Не погиб во цвете лет.

(Письма Кавелина и Тургенева, с. 208.)

Л. Ф. Достоевская

Друзья Достоевского высмеивали его робость перед женщинами и рассказывали, что он от волнения в обморочном состоянии упал к ногам юной красавицы, когда ей его представляли. (Лит. наследство, т. 86, с. 301.)

Из записной книжки Д. В. Григоровича

С Достоевским, представленным на вечере у Виельгорских красавице г-же Сенявиной, сделалось от волнения дурно. (Ежемесячные лит. приложения к «Ниве», 1901, № 11, стб. 393.)

А. И. Герцен. Былое и думы

Он <Белинский> являлся иногда на литературно-дипломатические вечера одного аристократического литератора <князя Одоевского>. Там толпились люди ничего не имевшие общего, кроме некоторого страха и отвращения друг от друга <...>.

Раз в субботу на кануне нового года, хозяин вздумал варить жженку en petit comité[1], когда главные гости разъехались. Белинский непременно бы ушел, но перед ним стояла баррикада мебели, он как-то забился в угол и перед ним поставили небольшой столик с вином и стаканами. Жуковский в белых форменных штанах с золотым «позументом» сел наискось против него. Долго терпел Белинский, но не видя улучшения своей судьбы, он стал несколько подвигать стол; стол сначала уступал, потом покачнулся и грохнул наземь, бутылка бордо пресерьезно начала поливать Жуковского. Он вскочил, красное вино струилось по его панталонам; сделался гвалт, слуга бросился с салфеткой домарать вином остальные части панталон, другой подбирал разбитые рюмки <...> во время этой суматохи Белинский исчез и, близкий к кончине, пешком прибежал домой. (Полярная звезда на 1855 год, кн. 1, с. 96—97.)

С. Д. Яновский — А. Г. Достоевской. 8/20 января 1882. Пельц

Федор Михайлович напр<имер> описывая мне один раз посещение салона Гр. Вьельгорского, на котором он присутствовал вместе с Белинским, прямо сказал — нас пригласили туда для выставки, на показ. Случайная сцена с Белинским, который уронил нечаянно рюмку с подноса, была шокирована самым оскорбительным образом. Фед<ор> Мих<айлович> мне говорил, что он собственными ушами слышал как дочь Вьельгорского, граф<иня> Салогуб произнесла след<ующие> слова: «они не только неловки и дики, но и не умны!» (Долинин, 1924, с. 387.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 26 апреля 1846. Петербург

Любезный брат.

Я не писал тебе оттого, что до самого сегодня не мог взять пера в руки. Причина же тому та, что был болен, при смерти в полном смысле этого слова. Болен я был в сильнейшей степени раздражением всей нервной системы, а болезнь устремилась на сердце, произвела прилив крови и воспаление в сердце, которое едва удержано было пьявками и двумя кровопусканиями. Кроме того, я разорился на разные декокты, капли, порошки, микстуры и тому подобн<ые> гадости. Теперь я вне опасности. (ПСС, XXVIII, I, с. 121.)

Свидетельства медицины

Краткие автобиографические сведения, продиктованные А. Г. Достоевской. 1878

В 1844 году вышел в отставку и тогда же написал свою первую довольно большую повесть «Бедные люди». Эта повесть разом создала ему положение в литературе, встречена была критикой и лучшим русским обществом чрезвычайно благосклонно. Это был успех в полном смысле слова редкий. Но наступившее затем постоянное нездоровье несколько лет сряду вредило его литературным занятиям. (ПСС, XXVII, с. 120.)

С. Д. Яновский

Лечение Федора Михайловича было довольно продолжительно; когда местная болезнь совершенно была излечена, он продолжал недели три пить видоизмененный декокт Цитмана, уничтоживший то золотушно-скорбутное худосочие, которое в сильной степени заметно было в больном. Во все время лечения, которое началось в конце мая <1846 года> и продолжалось до половины июля, Федор Михайлович ежедневно посещал меня, за исключением тех случаев, когда ненастная погода удерживала его дома и когда я навещал его. (Рус. вестник, 1885, № 4, с. 798.)

Вс. С. Соловьев

— Мои нервы расстроены с юности,— говорил он <Достоевский>.— Еще за два года до Сибири, во время разных моих литературных неприятностей и ссор, у меня открылась какая-то странная и невыносимо мучительная

[1] В узком кругу (фр.).

нервная болезнь. Рассказать я не могу этих отвратительных ощущений; но живо их помню; мне часто казалось, что я умираю, ну вот право — настоящая смерть приходила и потом уходила. Я боялся тоже летаргического сна. И странно — как только я был арестован — вдруг вся эта моя отвратительная болезнь прошла <...>. (Ист. вестник, 1881, № 3, с. 609.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 1 февраля 1846. Петербург

Здоровье мое ужасно расстроено; я болен нервами и боюсь горячки или лихорадки нервической. Порядочно жить я не могу, до того я беспутен. Если не удастся летом купаться в море, то просто беда. (ПСС, XXVIII, I, с. 118.)

С. Д. Яновский — А. Н. Майкову. 17 февраля/1 марта 1881. Канн

Покойный Федор Михайлович Достоевский страдал падучею болезнью еще в Петербурге и притом за три, а может и более лет до арестования его по делу Петрашевского, а следовательно до ссылки в Сибирь. Дело все в том, что тяжелый этот недуг, называемый Epilepsia — падучая болезнь, у Фед<ора> Мих<айловича> в 1846, 47 и 48 годах обнаруживался в легкой степени; между тем хотя посторонние этого не замечали, но сам больной, правда смутно, болезнь свою сознавал и называл ее обыкновенно кондрашкой с ветерком. (Заметьте это последнее слово, оно служило мнительному до крайности Фед<ору> Михайл<овичу> как предвозвестник припадка, вследствие чего он говорил — успею добежать до Сенной, т. е. до моей квартиры, а в сущности это есть один из характеристических признаков Epilepsii.) Для меня же, как для врача, было ясно, что дорогой друг наш страдал падучею. Впрочем и в то время несколько раз болезнь обнаруживалась не только в несомненной форме, но даже и в такой сильной степени, что угрожала серьезною опасностью жизни. (Новое время, 1881, 24 февраля.)

А. М. Достоевский — А. С. Суворину. 5 февраля 1881. Ярославль

С 1843 года до апреля 1849 года (времени его ареста) я, за редкими исключениями, почти еженедельно видался с братом, но никогда, в продолжительных наших беседах не слыхивал от него об этом недуге; — а следует заметить, что он своих болезней не скрывал от меня и часто жаловался, что худо себя чувствует. Правда, в этот период времени (не помню уже с какого именно года) он был несколько раздражителен и, кажется страдал какою-то нервной болезнью. Мне часто приводилось видеть записки его, оставляемые им на ночь, приблизительно следующего содержания: «Сегодня со мной может случиться летаргический сон, а потому — не хоронить меня (столько-то) дней». Но, скажу еще раз, о «падучей» в этот период времени он никогда не упоминал. Наконец, я помню слышанное от него самого, что эта болезнь приобретена им во время нахождения его в Сибири. (Новое время, 1881, 8 февраля.)

К. А. Трутовский

Случилось как-то, что в 1849 году Ф<едор> М<ихайлович> прожил у меня на квартире несколько дней, и в эти дни, когда он ложился спать, всякий раз просил меня, что если с ним случится летаргия, то чтобы не хоронили его ранее трех суток. Мысль о возможности летаргии всегда его беспокоила и страшила. (Рус. обозрение, 1893, январь, с. 216.)

Н. В. Гоголь. Завещание

1. Завещаю тела моего не погребать по тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться... Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности. (Выбранные места из переписки с друзьями. СПб., 1847, с. 7—8.)

С. Д. Яновский

Каждое утро, сначала около 10 часов, а потом ровно в половине 9-го, после звонка, раздававшегося в передней, я видел скоро входившего в приемную комнату Федора Михайловича, который, положив на первый стул свой цилиндр и заглянув быстро в зеркало (причем наскоро приглаживал рукой свои белокурые и мягкие волосы, причесанные по-русски), прямо обращался ко мне: «Ну, кажется, ничего; сегодня тоже не дурно; ну, а вы, батенька? (это было любимое и действительно какое-то ласкающее слово Федора Михайловича, которое он произносил чрезвычайно симпатично) ну да, вижу, вижу, ничего. Ну, а язык как вы находите? Мне кажется, беловат, нервный; спать-то спал; ну а вот галлюцинации-то, батенька, были, и голову мутило».

Когда, бывало, после этого приступа, я осмотрю подробно и внимательно Федора Михайловича, исследую его пульс и выслушаю удары сердца и, не найдя ничего особенного, скажу ему в успокоение, что все идет хорошо, а галлюцинации — от нервов, он оставался очень доволен и добавлял: «ну, конечно, нервы; значит, Кондрашка не будет? это хорошо! Лишь бы Кондрашка не пришиб, а с остальным мы сладим». (Рус. вестник, 1885, № 4, с. 798.)

Достоевский — С. Д. Яновскому. 17 декабря 1877. Петербург

<...> я Вас всегда глубоко уважал и искренно любил. А когда думаю о

давнопрошедшем и припоминаю юность мою, то Ваш любящий и милый лик всегда встает в воспоминаниях моих, и я чувствую, что Вы воистину были один из тех немногих, которые меня любили и извиняли и которым я был предан прямо и просто, всем сердцем и безо всякой подспудной мысли. (ПСС, XXIX, II, с. 178.)

С. Д. Яновский

<...> он часто жаловался на особенные головные дурноты, подводя их под общее название кондрашки. Я же, наблюдая за ним внимательно и зная много из его рассказов о тех нервных явлениях, которые бывали с ним в детстве, а также принимая во внимание его темперамент и телосложение, постоянно допускал какую-нибудь нервную болезнь. (Рус. вестник, 1885, № 4, с. 800.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. Январь — февраль 1847. Петербург

Иногда меня мучает такая тоска. Мне вспоминается иногда, как я был угловат и тяжел у вас в Ревеле. Я был болен, брат. Я вспоминаю, как ты раз сказал мне, что мое обхождение с тобою исключает взаимное равенство. Возлюбленный мой. Это совершенно было несправедливо. Но у меня такой скверный, отталкивающий характер. Я тебя всегда ценил выше и лучше себя. Я за тебя и за твоих готов жизнь отдать, но иногда, когда сердце мое плавает в любви, не добьешься от меня ласкового слова. Мои нервы не повинуются мне в эти минуты. Я смешон и гадок, и вечно посему страдаю от несправедливого заключения обо мне. (ПСС, XXVIII, I, с. 139.)

А. И. Герцен — жене. 5—8 октября 1846. Петербург

Видел сегодня Достоевского, он был здесь[1] — не могу сказать, чтоб впечатление было особенно приятно. (Собр. соч., XXII, с. 259.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 7 октября 1846. Петербург

Петербург ад для меня. Так тяжело, так тяжело жить здесь! <...> К тому же я страшно боюсь. <...>

Я теперь почти в паническом страхе за здоровье. Сердцебиение у меня ужасное, как в 1-е время болезни. (ПСС, XXVIII, I, с. 127—128.)

С. Д. Яновский

Легкие <Достоевского> при самом тщательном осмотре и выслушивании оказались совершенно здоровыми, но удары сердца были не совершенно равномерны, а пульс был неровный и замечательно сжатый, как бывает у женщин и у людей нервного темперамента. (Рус. вестник, 1885, № 4, с. 797.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. Январь — февраль 1847. Петербург

Говорят, что я черств и без сердца. Сколько раз я грубил Эмилии Федоровне[2], благороднейшей женщине, в 1000 раз лучше меня. Помню, как иногда я нарочно злился на Федю, которого любил в то же самое время даже больше тебя. Я тогда только могу показать, что я человек с сердцем и любовью, когда самая внешность обстоятельства, случая вырвет меня насильно из обыденной пошлости. До того времени я гадок. (ПСС, XXVIII, I, с. 139.)

С. Д. Яновский

<...> нельзя было иногда не рассмеяться, когда, бывало, видишь, что стоило кому-нибудь случайно сказать: «какой славный, душистый чай!» как Федор Михайлович, пивший обыкновенно не чай, а теплую водицу, вдруг встанет с места, подойдет ко мне и шепнет на ухо: «ну, а пульс, батенька, каков? а? ведь чай-то цветочный!» И нужно было спрятать улыбку и успокоить его серьезно в том, что пульс ничего и что даже язык хорош и голова свежа. (Рус. вестник, 1885, № 4, с. 802.)

Л. Ф. Достоевская

Здоровье его <Достоевского> пошатнулось, он стал нервным и истеричным. В нем уже пустила корни эпилепсия, и хотя припадков еще не было, он уже чувствовал себя чрезвычайно подавленным. Теперь он избегал салоны, часами отсиживался дома или блуждал по самым темным и пустынным улицам Петербурга. Гуляя, он разговаривал сам с собой, жестикулировал, так что прохожие оглядывались на него. Друзья, встречавшие его, считали его сумасшедшим. В этом бесцветном и отупляющем Петербурге его талант угасал <...>. (Лит. наследство, т. 86, с. 302.)

С. Д. Яновский — А. Н. Майкову. 17 февраля/1 марта 1881. Каин

Я прошу вас, Аполлон Николаевич, припомнить тот случай, как вы, прийдя ко мне однажды, совершенно случайно, в июле 1847 года (я жил тогда на Обуховском проспекте, в д<оме> докт<ора> Шольца), застали у меня в квартире страшную суматоху и когда вошли в приемную комнату, то увидали Фед<ора> Мих<айловича> сидящим на стуле с поднятою рукой, из которой текла струя черной как уголь крови и он закричал вам: «Спасен, батинька, спасен!» — Это был первый сильный припадок болезни, который сопровождался страшным приливом крови к голове и необыкновенным возбуждением всей нервной системы. Я тогда случайно встретился с Фед<ором> Мих<айловичем> на Исакиевской площади, он шел от Солоницына и его вел под руку какой-то писарь военного ведомства. Фед<ор> Мих<айлович> был в страшно возбужденном состоянии; кричал, что он умирает и чтобы его вели скорее ко мне, пульс

[1] У Панаевых, где остановился Герцен.— *И. В.*
[2] Жене Михаила Михайловича.— *И. В.*

у него был более 100 ударов и чрезвычайно сильный, голова прижималась к затылку и начинались конвульсии. <...> вы <...> видели у меня в квартире больного несколько дней после этого пароксизма и я <...> всем вам болезнь называл падучей и больного лечил средствами, болезни этой соответствовавшими. (Новое время, 1881, 24 февраля.)

С. Д. Яновский

<...> я совершенно инстинктивно, безотчетно, под влиянием какого-то тревожного чувства повернул направо к Сенатской площади, и как только дошел до нее, я увидал посреди площади Федора Михайловича без шляпы, в расстегнутом сюртуке и жилете, с распущенным галстуком, шедшего под руку с каким-то военным писарем и кричавшего во всю мочь: «вот, вот тот, кто спасет меня» и т. д. <...> Федор Михайлович называл случай этот знаменательным, и когда приходилось нам вспоминать о нем, то он каждый раз приговаривал: «ну, как после этого не верить в предчувствие?» (Рус. вестник, 1885, № 4, с. 801.)

Достоевский — М. Н. Каткову. 11 января 1858. Семипалатинск

В то время я, вдобавок ко всему, был болен ипохондрией, и нередко в сильнейшей степени. Только молодость сделала то, что я не износил<ся>, что не погиб во мне жар и любовь к литературе <...>. (ПСС, XXVIII, I, с. 296.)

Страсти вокруг каймы

В. Г. Белинский — А. И. Герцену. 2 января 1846. Петербург

К Пасхе я издаю толстый, огромный альманах. Достоевский дает повесть <...>. (Белинский, XII, с. 254.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 1 апреля 1846. Петербург

Он <Белинский> не возьмется за критику года два. Но для поддержания финансов издает исполинской толщины альманах (в 60 печ. листов). Я пишу ему две повести: 1-е) «Сбритые бакенбарды», 2-я) «Повесть об уничтоженных канцеляриях», обе с потрясающим трагическим интересом и — уже отвечаю — сжатые донельзя. Публика ждет моего с нетерпением. (ПСС, XXVIII, I, с. 120.)

Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, <И. И. Панаев>. Послание Белинского к Достоевскому

С высоты такой завидной,
Слух к мольбе моей склоня,
Брось свой взор пепеловидный
Брось, великий, на меня!

Ради будущих хвалений
(Крайность, видишь, велика)
Из неизданных творений
Удели не «Двойника».

Буду нянчиться с тобою,
Поступлю я, как подлец,
Обведу тебя каймою,
Помещу тебя в конец.

(Письма Кавелина и Тургенева, с. 208.)

Из записной книжки Д. В. Григоровича

Стихотворение это <«Послание Белинского к Достоевскому»>, написанное в 1846 г., когда Тургенев и Некрасов находились в дружественных отношениях, посвящено было Белинскому, восторгавшемуся тогда Достоевским. Достоевский настоятельно требовал помещения в «Сборнике» Белинского его повести «Двойник» и желал, чтобы она напечатана была окруженная рамкой, для отличия ее от других произведений «Сборника». (Ежемесячные лит. приложения к «Ниве», 1901, № 11, стб. 393—394.)

Новый поэт <И. И. Панаев>

Кумирчик наш потребовал, чтобы его статью напечатали непременно в начале, или в конце книги, чтобы она бросилась в глаза всем, и была не в пример другим обведена золотым бордюром, или каймою. Издатель на все согласился и запел, потрепав маленького гения по плечу:

Ты доволен будешь мною:
Поступлю я, как подлец,
Обведу тебя каймою,
Помещу тебя в конец!

(Современник, 1855, № 12, отд. V, с. 240.)

Из дневника Н. А. Добролюбова

2 янв<аря 1856>. В декабрь<ской> книжке «Совр<еменника>» помещено начало заметок Нового Поэта о петерб<ургской> жизни. Там толкуется о разных литераторах, и именно: литератор, к которому все ходят читать свои произведения,— Тургенев; литератор, любящий водку,— Писемский; литератор, которого все поднимали и который кричал все «выше, выше»,— Достоевский Ф. (Добролюбов Н. А. Дневники 1851—1859. М., 1931, с. 87.)

Из черновых набросков к неосуществленным главам «Дневника писателя». 1881

Каторга. <...>

И мужик постыдится, он не попрекнет «несчастного». (ПСС, XXVII, с. 198.)

Новый поэт <И. И. Панаев>

С этой минуты кумирчик наш стал совсем заговари<ва>ться и вскоре был низвергнут нами с пьедестала и совсем забыт. Бедный! мы погубили его, мы сделали его смешным. (Современник, 1855, № 12, отд. V, с. 240.)

Д. В. Григорович

Стороною только доходили до меня слухи о том, что он требовал печатать «Бедных людей» особым шрифтом и окружить рамкой каждую страницу; я не присутствовал при этих разговорах и не знаю, справедливо это или нет; если и было что-нибудь похожее, тут, вероятно, не обошлось без преувеличения. (Рус. мысль, 1893, № 1, с. 12.)

П. П. Соколов

<...> Некрасов <...> нервно начал ходить по комнате, лихорадочно потирая себе руки, и заговорил: — Так вот, г. Соколов <...>, главною вещью этого «Альманаха» и самою выдающеюся будет повесть Достоевского «Бедные люди»; уж Вы, пожалуйста, постарайтесь передать эти бесподобные типы. <...>

По моему совету Некрасов решил ограничиться одним заглавным листом: это было бы и дешевле и скорее могло быть исполнено. На большом листе я собрал все цветы поэзии этого альманаха в виде большого букета с группою из повести «Бедные люди». (Воспоминания. Л., 1930, с. 111—112.)

Я. Я. Я. <Л. В. Брант>

На Невском Проспекте, в многолюдной кондитерской Излера всенародно вывешено великолепно-картинное объявление о «Петербургском Сборнике». На вершине сего отлично расписанного яркими цветами объявления, по сторонам какого-то бюста, красуются, спиною друг к другу, большие фигуры «Макара Алексеевича Девушкина» и «Варвары Алексеевны Доброселовой», героя и героини романа Г. Достоевского: «Бедные люди». Один пишет на коленах, другая читает письма, услаждавшие их горести. Нет сомнения, что подвигнутый этим картинным объявлением «Петербургский Сборник» воспользуется успехом, отнятым у него покамест завистию и несправедливостию. (Сев. пчела, 1846, 1 марта.)

И. С. Тургенев (в передаче К. Н. Леонтьева). Осень 1851

Вот как, например, случилось с этим несчастным Достоевским. Когда он отдавал свою повесть Белинскому для издания, так увлекся до того, что сказал ему: «Знаете,— мою-то повесть надо бы каким-нибудь бордюрчиком обвести!» (Леонтьев К. Н. Страницы воспоминаний. СПб. 1922, с. 22.)

Из черновых набросков к неосуществленным главам «Дневника писателя». 1881

Но чтоб требовать каймы — не в таких я был отношениях. (ПСС, XXVII, с. 198.)

И. С. Тургенев

В тогдашнее темное, подпольное время сплетня играла большую роль во всех суждениях — литературных и иных... Известно, что сплетня и до сих пор не совсем утратила свое значение; исчезнет она только в лучах полной гласности и свободы. (Вестник Европы, 1869, № 4, с. 695.)

А. П. Толченов

Боже мой! Каких историй, рассказов, анекдотов не ходило в публике того времени про Белинского, Тургенева, Некрасова, Ф. Достоевского и др. (Музыкальный свет, 1876, № 33, с. 263.)

1880 год: воскрешение легенды

П. В. Анненков

Внезапный успех, полученный его повестью, сразу оплодотворил в нем те семена и зародыши высокого уважения к самому себе и высокого понятия о себе, какие жили в его душе. <...> когда решено было напечатать «Бедные люди» в альманахе Некрасова «Петербургский Сборник» (1846) автор совершенно спокойно, и как условие, следующее ему по праву, потребовал, чтоб его роман был отличен от всех других статей книги особенным типографским знаком, например — каймой. Роман и был действительно обведен почетной каймой в альманахе. (Вестник Европы, 1880, № 4, с. 479.)

<А. С. Суворин>

Мы взяли «Петербургский Сборник» 1846 г. и увидели, что г. Анненков это обстоятельство сочинил, вероятно по свойственному ему добродушию: «Бедные люди» напечатаны без всякой каймы, тем же самым шрифтом, как и другие статьи этого сборника. Мало этого, «почетной каймой» отличены «Помещик» Тургенева и «Парижские увеселения» Ив. Панаева — под этой почетной каймой мы разумеем иллюстрации <...>. (Новое время, 1880, 4 апреля.)

П. В. Анненков — М. М. Стасюлевичу. 7/19 апреля 1880. Баден

Память мне не изменила, да и не могла изменить. Всему тогдашнему литературному миру были известны долгие переговоры Достоевского с Некрасовым, предметом которых служило требование первого, чтобы роман его был отличен от других произведений в альманахе каким-либо почетным знаком <...>. Взбешенный Некрасов согласился на все требования автора и отомстил ему только эпиграммой, которая ходила тогда по рукам. Прошу Вас навести справку об этой подробности у Тургенева, который знал все это дело, да и помнил до недавнего времени эпиграмму наизусть <...> я сам видел первые экземпляры Сборника с рамками <...>. (М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, СПб., 1912, т. III, с. 383—384.)

И. С. Тургенев — П. В. Анненкову. 3/15 января 1857. Париж

Идеалист с широким пузом,
Рос<т>бифа неуклонный жрец,
Помещик, милый Русским Музам,
Бог опечаток — наконец!

(Наша старина, 1914, № 11, с. 987.)

<М. М. Стасюлевич>. От редакции

Автор «Воспоминаний» находится за границей; но нам и не пришлось ожидать от него объяснений, так как возможность справки оказалась у нас под рукой. Вся существенная сторона рассказа о «кайме» — несомненна, но автор «Воспоминаний» <...> отнес «обстоятельство», известное всем в ту эпоху, к «Бедным Людям», между тем как дело должно было идти о другом произведении г. Достоевского — «Рассказ Плисмылькова», или что-то в этом роде, предназначавшемся в задуманный Белинским сборник «Левиафан». <...> Белинский тогда же, смущенный таким оригинальным требованием, изложил свое затруднение близким друзьям; чтоб утешить его — Некрасов, Панаев и др. придумали написать от имени Белинского стихотворное послание к автору «Бедных Людей», которое заключалось таким четверостишием:

«Будешь ты доволен мною,
Поступлю я, как п......
Обведу тебя каймою,
Помещу тебя в конец».

Примечание. Это четверостишие памятно многим людям той эпохи <...> в настоящем же его виде, оно сообщено нам из записной книги 50-х годов, веденной одним из лиц, весьма близко стоявших к редакции «Современника» той эпохи. (Вестник Европы, 1880, № 5, с. 412—413.)

Достоевский — К. П. Победоносцеву. 19 мая 1880. Старая Русса

Профессора ухаживают там <в Москве> за Тургеневым, который решительно обращается в какого-то личного мне врага. (В «Вестнике Европы» пустил обо мне мелкую сплетню о небывалом одном происшествии 35 лет тому назад.) (ПСС, XXX, 1, с. 156.)

<А. С. Суворин>

Мы говорили уже об этой старческой сплетне почтенного г. Анненкова, поддержанной другим старцем, не объявившим своего имени, которое осталось тайною кабинета г. Стасюлевича. (Новое время, 1880, 18 мая.)

Из черновых набросков к неосуществленным главам «Дневника писателя». 1881

«Вестник Европы» утверждается именно на виршах. Но в результате вышло, что в виршах этих все его доказательства. Но вирши-то эти и могли бы, по-моему, открыть глаза столь горячим обвинителям моим (не понимаю, почему столько горячки) и убедить их, что они без сомнения не на меня написаны. (ПСС, XXVII, с. 198.)

А. С. Суворин — Достоевскому. 1 мая 1880. Петербург

Многоуважаемый Федор Михайлович,

Посылаю Вам «Вестник Европы» на случай, если его Вы не выписываете. На стр. 412 Вы найдете ответ на мою заметку, которую я сделал относительно «Каймы». Будете ли Вы отвечать или нет? Во всяком случае отвечать можно и мне. «Вест<ник> Евр<опы>» не выписал из моей заметки тех строк, где я говорю о том, что обведены были каймою рассказ Тургенева и очерк Панаева, т. е. иллюстрированы, в ответе вообще замечается путаница и он похож на какую-то сплетню, ибо никакого доказательства рассказанной выше сплетне нет. <...> Если Вы отвечать не будете — черкните два слова. Я отвечу сам, ибо, повторяю, ничего убедительного в рассказе «Вест<ника> Европы», вероятно, Тургенева, нет.

Ваш А. Суворин

Была ли у Вас повесть «Рассказ Плисмылькова»? (Отдел рукописей ГБЛ, ф. 93, разд. II, карт. 9, ед. хр. 33.)

<А. С. Суворин>

<...> никакого «Рассказа Плисмылькова» нет ни в «Сочинениях» Достоевского, ни в «Современнике». (Новое время, 1880, 18 мая.)

<В. П. Буренин>. К истории о «кайме», сочиненной г. Анненковым и поддерживаемой г. Стасюлевичем

Очевидно, новый поэт, т. е. покойный Панаев, вообще склонный к юмористическим подтруниваниям на счет литературных приятелей, сочинил в шут-

ку эту смешную сплетню, а разные литературные кумушки сороковых годов подхватили ее и начали выдавать за несомненную правду. (Новое время, 1880, 3 мая.)

Из черновых набросков к неосуществленным главам «Дневника писателя». 1881

Не припомню, кто это был, но скажу лишь про покойного Панаева.

Панаев этого никогда не мог мне простить[1] и, я повторяю, кое в чем мне вредил, но все же я не обвиняю его в изобретении анекдотика с каймой. Откуда его мог слышать г-н Анненков, от кого? (ПСС, XXVII, с. 198.)

<А. С. Суворин>

Ф. М. Достоевский, находясь в Старой Руссе, где он лечится, просит нас заявить от его имени, что «ничего подобного тому, что рассказано в «Вестнике Европы» П. В. Анненковым на счет «каймы», не было и не могло быть» и что он «никогда не получал стихотворения, якобы сочиненного Некрасовым и Панаевым на счет этой же каймы». (Новое время, 1880, 18 мая.)

Из черновых набросков к неосуществленным главам «Дневника писателя». 1881

Я было вовсе хотел их пренебречь и не ответить, но они прямо касаются моей биографии, а не поправь я, не возрази я сам, пожалуй, скажут, что я согласен и что все, стало быть, справедливо. (ПСС, XXVII, с. 198.)

П. В. Анненков — М. М. Стасюлевичу. 2/14 июня 1880. Симбирск

Скажите Тургеневу, чтобы не забыл положить на бумагу полной эпиграммы Некрасова на эту одичавшую собаку, кот<орая> зовется в мире... (М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, III, с. 388.)

Достоевский. Из записной тетради 1880—1881 гг.

Ах если б вам какой анекдотик. Прибегать к кайме, чтобы запачкать. (Лит. наследство, т. 83, с. 676.)

Заботы нелитературного свойства

Достоевский — М. М. Достоевскому, 26 апреля 1846. Петербург

У меня есть до тебя просьба, которую ты должен исполнить и хлопотать о ней всеми силами. Это вот что. Белинский едет на лето (он уехал сегодня) в Москву, а потом вместе с другом своим Щепкиным и еще кое с кем предпринимает путешествие на юг России, в Малороссию, в Одессу и в Крым. Он возвращается в сентябре и будет хлопотать о своем альманахе. Жена его с своей сестрой и с годовалым ребенком отправляются в Гапсаль. <...> Они остаются без няньки. <...> И посему просят меня покорнейше написать к тебе следующую просьбу их. Начиная со дня получения сего письма моего, постараться всеми силами (о чем и я прошу тебя) поискать в Ревеле няньку, немку, а не чухонку (это непременно), если можно, пожилую <...>. Умоляю тебя за себя. Я люблю и уважаю этих людей. Прошу тебя покорнейше, тебя вместе с Эмилией Федоровной, постарайтесь. M-me Белинская, весьма слабая, пожилая[2] и больная женщина, принуждена ехать одна-одинешенька, да еще с ребенком. Служить же у них не надо лучше. Они люди добрые, живут в довольстве и обходятся с людьми примерно хорошо. (ПСС, XXVIII, 1, с. 122.)

В. Г. Белинский — М. В. Белинской. 12 июля 1846. Одесса

Итак, поездка твоя в Ревель не принесла тебе ни пользы, ни удовольствия, оттого, главное, как теперь ясно оказывается, что ты ошибочно понадеялась найти в Ревеле прислугу и рискнула ехать туда без прислуги. <...>

Опасение Агриппины[3], чтобы я не проболтался Достоевскому о том, что его родные — размазня, совершенно неосновательно. Я был бы не болтун, а дурак, если бы счел себя вправе смеяться Достоевскому в глаза над близкими ему людьми, которые, в довершение всего, были к вам радушны. На этот счет я могу вас успокоить. (Белинский, XII, с. 300—301.)

Н. Н. Страхов

<...> Михаил Михайлович <Достоевский>, как и многое множество наших дворян, имел очень мало свойств делового человека. (Биография, с. 263—264.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 17 октября 1846. Петербург

Брат Андрей тебе кланяется. Белинские тоже, и тебе, и Эмилии Федоровне. Я у них бываю. Вот играют-то на авось! (ПСС, XXVIII, 1, с. 130.)

М. В. Белинская — Достоевскому. 12 декабря 1862. Москва

Милостивый государь Федор Михайлович!

Пятнадцать лет прошло с тех пор, как мы не виделись, и, быть может, что Вы забыли о моем существовании, но я никогда не переставала чувствовать к Вам самое дружеское расположение и принимала в Вас искреннее участие <...>.

[1] Не вполне ясно, о чем идет речь. Вряд ли имеется в виду супружеская ревность, хотя, если верить А. Я. Панаевой, муж однажды приревновал ее даже к Белинскому.— **И. В.**

[2] М. В. Белинской в 1846 году — 34 года.— **И. В.**

[3] А. В. Орлова, сестра М. В. Белинской.— **И. В.**

Как часто с сестрой моей вспоминаю я об Вас и о том времени, когда Вы познакомились с моим мужем; с каким вниманием слушает об Вас дочь моя, которую Вы носили на руках <...>. (Письма, 1, с. 559.)

А. Я. Панаева

Достоевский претендовал на Белинского за то, что он играет в преферанс, а не говорит с ним о его «Бедных людях».

— Как можно умному человеку просидеть даже десять минут за таким идиотским занятием, как карты, а он сидит по два и по три часа! — говорил Достоевский с каким-то озлоблением.— Право, ничем не отличишь общества чиновников от литераторов: то же тупоумное препровождение времени. (Ист. вестник, 1889, № 3, с. 571.)

К. Д. Кавелин

Как только приходил Белинский после обеда — тотчас же начиналась игра в карты, копеечная, но которая занимала и волновала его до смешного. Занграывались мы зачастую до бела дня. <...> Поверит ли читатель, что в нашу игру, невиннейшую из невинных, которая в худшем случае оканчивалась рублем, двумя, Белинский вносил все перипетии страсти, отчаяния и радости, точно участвовал в великих исторических событиях? (Собр. соч., III, стб. 1089.)

С. Д. Яновский

В карты Федор Михайлович не только не играл, но не имел понятия ни об одной игре и ненавидел игру. Вина и кутежа он был решительный враг. <...>. (Рус. вестник, 1885, № 4, с. 802.)

Рождение журнала: двойник-конкурент

В. Г. Белинский — А. И. Герцену. 2 января 1846. Петербург

Вот в чем дело. Я твердо решился оставить «Отечественные записки» и их благородного, бескорыстного владельца. <...> с г. Кр<ае>вским невозможно иметь дела. Это, может быть, очень хороший человек, но он приобретатель, следовательно, вампир, всегда готовый высосать из человека кровь и душу, <а> потом бросить его за окно как выжатый лимон. <...> Я живу вперед забираемыми у него деньгами,— и ясно вижу, что он не хочет мне их давать: значит, хочет от меня отделаться. Мне во что бы то ни стало надо упредить его. (Белинский, XII, с. 252—253.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 5 сентября 1846. Петербург

Белинские[1] доехали хорошо, и с самой пристани я еще не видался с ними. Зашел на другой день к Некрасову. Он живет в одной квартире с Панаевыми, и потому я виделся со всеми. <...> Дело-то кажется пошло на лад, и к Новому году у нас может быть новый журнал. (ПСС, XXVIII, 1, с. 124—125.)

И. И. Панаев — Н. Х. Кетчеру. 26 сентября 1846. Петербург

С самого приезда в Петербург Некрасова до 10 сего сентября включительно метались мы, отыскивая журнал. <...> наконец, двери «Современника» отверзлись нам. Я купил у Плетнева журнал сей. Кажется, лучше этого быть ничего не может. Журнал не запачканный, глухо и неслышно тянувший свое существование, и носящий такое удивительное имя!.. (В кн.: Белинский В. Г. Письма. Пг., 1914, т. III, с. 360.)

Устав о Цензуре 1826 года

§ 129. Право издавания в свет всякого повременного издания может быть предоставлено только человеку добрых нравов, известному на поприще отечественной словесности, доказавшему сочинениями хороший образ мыслей и благонамеренность свою, и способному направлять общественное мнение к полезной цели. (Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб., 1862, с. 161.)

В. Г. Белинский — А. И. Герцену. 2 января 1846. Петербург

Если вы не будете давать ему <Краевскому> ни строки, равно как и никто из порядочных людей, может быть, что ему на будущий год нельзя будет и объявить подписки. (Белинский, XII, с. 255.)

И. И. Панаев — Н. Х. Кетчеру. 26 сентября 1846. Петербург

В объявлении нашем о журнале будет сказано, что такие-то и такие-то участвуют исключительно в «Современнике». Да не испугаются этого Искандер[2] и другие! Это только avis aux lecteurs[3] «Отечественных записок». <...> Надобно употребить все меры, все эффекты для приобретения подписчиков — согласись с этим. (В кн.: Белинский. Письма, III, с. 361.)

Н. М. Языков — Н. В. Гоголю. 27 октября 1846. Москва

Вот тебе животрепещущие новости нашего литературного мира: «Современник» купили Никитенко, Белинский, И. Тургенев и прочие такие же, следственно с будущего 1847 г. сей журнал, основанный Пушкиным, будет орудием щелкоперов <...>. (Рус. старина, 1896, № 12, с. 645.)

[1] М. В. Белинская с дочерью и сестрой, возвратившиеся вместе с Достоевским из Ревеля.— **И. В.**

[2] Литературный псевдоним А. И. Герцена.— **И. В.**

[3] предуведомление для читателей (фр.).

В. П. Боткин — П. В. Анненкову. 20 ноября 1846

Фонд «Современника» состоит из 35 тысяч Панаева и 35 тысяч <Григория> Толстого. Редакторы — Никитенко, Панаев и Некрасов. Первый — для ограждения от цензурных хлопот, последний заведывает всею материальною частию, а второй будет писать повести да раскладывать на своем столе иностранные журналы и тем придавать себе немалую важность. (П. В. Анненков и его друзья. СПб., 1892, с. 521.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 7 октября 1846. Петербург

«Современник» издает Некрасов и Панаев 1-го января. Критик — Белинский. Подымаются разные журналы и черт знает что еще. (ПСС, XXVIII, 1, с. 128.)

Председатель петербургского цензурного комитета М. Н. Мусин-Пушкин — министру народного просвещения С. С. Уварову. 6 октября 1846. Петербург

Действительный Статский Советник Плетнев изъяснил, что по многочисленным занятиям своим он желает на неопределенное время передать издание журнала «Современник», без перемены программы его, господину профессору здешнего Университета Статскому Советнику Никитенку, с возложением на него ответственности пред Правительством.

<Резолюция министра.> Согласен. (Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1895, т. 9, с. 1.)

Я. К. Грот — П. А. Плетневу. 29 октября 1846. Гельсингфорс

Итак, решена участь Современника! Тень Пушкина! не содрогаешься ли ты? Твое создание... (Переписка. 2, с. 845.)

П. А. Плетнев — Я. К. Гроту. 2 ноября 1846. Петербург

В среду министр <С. С. Уваров> с обедом своим опять отвлек меня от обеда с моими дамами. Он рассказал мне, что Пушкина-Ланская, Вяземский и опека детей Пушкинских интригуют у него против меня, желая получаемые мною 3 тыс. р. доставить детям Пушкина, ибо-де журнал, наравне с прочими его сочинениями, составляет их неотъемлемое наследство. Министр много смеялся над этими штуками. (Переписка, 2, с. 848.)

Я. К. Грот — П. А. Плетневу. 5 ноября 1846. Гельсингфорс

Сегодня получил я № 11 Современника. Объявление о продолжении его прочел я не без некоторого — как бы сказать? — содрогания! И Некрасов в числе издателей — творец «1-го апреля»! И что за сотрудники! Признаться, я ожидал общества получше. Но этим брошен новый элемент борьбы в журнальный мир. Пусть переедят друг друга: этого-то и нужно. И публика пусть давится пищею, которую сама себе стряпает. (Переписка, 2, с. 849.)

С. П. Шевырев — М. П. Погодину. Ноябрь — декабрь 1846. Москва

Читал ли ты объявление о «Современнике»? Можно бы сделать наблюдение над нашими журналами. Это рой, отроившийся от «Отечественных Записок»,— и матка в нем Белинский. А все-таки на их стороне деятельность. (Жизнь и труды Погодина, 9, с. 3.)

Н. А. Некрасов — Н. М. Щепкину. 26 октября 1846. Петербург

Русь-матушка велика: скоро ли дойдет до нее, что «Отечеств<енные> записки» переменили квартиру и, приодевшись и приумывшись, хотят явиться к ней под именем «Современника»? (Некрасов, X, с. 56.)

«...До бешенства дошел»

Достоевский — М. М. Достоевскому. 5 сентября 1846. Петербург

Был я и у Краевского. Он начал набирать «Прохарчина»; появится он в октябре. Я покамест о деньгах не говорил; он же ласкается и заигрывает. (ПСС, XXVIII, 1, с. 125.)

Н. А. Некрасов — В. Г. Белинскому. Между 15 и 26 сентября 1846. Петербург

Достоевский Краевскому повесть дал, а Вам — неизвестно когда, и кончит ли <...>. (Некрасов, X, с. 52.)

И. И. Панаев — Н. Х. Кетчеру. 1 октября 1846. Петербург

<...> сборник Белинского <«Левиафан»> и не мог состояться... Господа здешние просто без церемонии объявили, что они не могут отдать Белинскому статей, обещанных ими (Достоевский, Гончаров и др.) ибо-де они — люди бедные, и им нужны деньги сейчас, а от Белинского они имеют еще только отдаленные надежды на деньги <...>. (В кн.: Белинский, Письма, III, с. 362.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 17 октября 1846. Петербург

«Сбрит<ые> баке<нбарды>» еще не совсем кончены. «Прохарчина» очень хвалят. Мне рассказывали много суждений. Белинский еще не приехал. Господа в «Современнике» все таятся. Так что я еще придерживаюсь с «Сбрит<ыми> бакенбард<ами>» и не обещал. Может быть, будут у Краевского. Впрочем, я еще не знаю, как устроюсь и с этим. Буду пользоваться обстоятельствами и пущу повесть в драку, кто больше. (ПСС, XXVIII, 1, с. 130.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 20-е числа октября 1846. Петербург

Я не пишу и «Сбритых бакенбард». Я всё бросил: ибо всё это есть не что иное, как повторение старого, давно уже мною сказанного. Теперь более оригинальные, живые и светлые мысли просятся из меня на бумагу. Когда я дописал «Сбр<итые> бак<енбарды>» до конца, всё это представилось мне само собою. В моем положении однообразие гибель.

Я пишу другую повесть, и работа идет, как некогда в «Бедных людях», свежо, легко и успешно. Назначаю ее Краевскому. Пусть господа «Современника» сердятся, это ничего. (ПСС, XXVIII, 1, с. 131.)

А. Я. Панаева

Однажды явился в редакцию Достоевский, пожелавший переговорить с Некрасовым. Он был в очень возбужденном состоянии. Я ушла из кабинета Некрасова и слышала из столовой, что оба они страшно горячились; когда Достоевский выбежал из кабинета в переднюю, то был бледен как полотно и никак не мог попасть в рукав пальто, которое ему подавал лакей; Достоевский вырвал пальто из его рук и выскочил на лестницу. Войдя к Некрасову, я нашла его в таком же разгоряченном состоянии.

— Достоевский просто сошел с ума! — сказал Некрасов мне дрожащим от волнения голосом.— Явился ко мне с угрозами, чтобы я не смел печатать мой разбор на его сочинение в следующем нумере. И кто это ему наврал, будто бы я всюду читаю сочиненный мною на него пасквиль в стихах! до бешенства дошел. (Ист. вестник, 1889, № 5, с. 278—279.)

Достоевский

Потом, помню, мы <с Некрасовым> как-то разошлись, и довольно скоро; близость наша друг с другом продолжалась не долее нескольких месяцев. Помогли и недоразумения, и внешние обстоятельства, и добрые люди. (Дневник писателя, 1877, декабрь.)

В. Г. Белинский, Н. А. Некрасов, И. И. Панаев — в редакцию «Северной пчелы». 12 ноября 1846. Петербург

<...> Гг. Белинский, Панаев, Некрасов, равно как Гг. Искандер, Кронеберг и некоторые другие, с 1847 года примут деятельное участие в «Современнике» и помещать трудов своих в «Отечественных записках» не будут. (Сев. пчела, 1846, 25 ноября.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 26 ноября 1846. Петербург

Скажу тебе, что я имел неприятность окончательно поссориться с «Современником» в лице Некрасова. Он, досадуя на то, что я все-таки даю повести Краевскому, которому я должен, и что я не хотел публично объявить, что не принадлежу к «Отечеств<енным> запискам», отчаявшись получить от меня в скором времени повесть, наделал мне грубостей и неосторожно потребовал денег. Я его поймал на слове и обещал заемным письмом выдать ему сумму к 15-му декабря. Мне хочется, чтобы сами пришли ко мне. Это всё подлецы и завистники. Когда я разругал Некрасова в пух, он только что семенил и отделывался, как жид, у которого крадут деньги. Одним словом, грязная история. Теперь они выпускают, что я заражен самолюбием, возмечтал о себе и передаюсь Краевскому затем, что <Валериан> Майков хвалит меня. Некрасов же меня собирается ругать. <...> Между тем Краевский, обрадовавшись случаю, дал мне денег и обещал сверх того уплатить за меня все долги к 15 декабря. За это я работаю ему до весны. (ПСС, XXVIII, 1, с. 133—134.)

А. Я. Панаева

<...>Достоевский уже более не показывался к нам и даже избегал встречи на улице с кем-нибудь из кружка. Раз, встретив его на улице, Панаев хотел остановиться и спросить, почему его давно не видно, но Достоевский быстро перебежал на другую сторону. Он виделся только с одним своим приятелем, бывшим в кружке <Д. В. Григоровичем>, и тот сообщал, что Достоевский страшно бранит всех и не хочет ни с кем из кружка продолжать знакомства, что он разочаровался во всех, что все это завистники, бессердечные и ничтожные люди. (Ист. вестник, 1889, № 3, с. 572.)

Андрей Александрович: жертва искусства

Ф. В. Булгарин — управляющему III Отделением Л. В. Дубельту. Март 1846

Словом, скоро Краевский овладеет общим мнением. Журналы его разбираются в училищах, и студенты списывают революционные идеи. Правительство молчит и покровительствует, а после удивляется, откуда берутся злодеи. Цель Краевского не та, чтоб теперь возжечь бунт, но чтоб приготовить целое поколение к революции,— подарок Наследнику. (Николаевские жандармы, с. 309.)

Н. И. Греч

Я не называю Краевского в числе людей опасных: он возбуждал молодых людей и распространял вредные учения вовсе не с революционным намерением, при всем радикализме своего образа мыслей, он употреблял несчастных вралей орудиями к своему обогащению, видя, что публика падка на смелые вещи. Сам же он конечно охотно потянул бы за веревку, если б их стали вешать. (Записки о моей жизни. М.— Л., 1930, с. 153.)

В. Г. Белинский — К. Д. Кавелину. 22 ноября 1847. Петербург

По нашему убеждению, журнал, издаваемый свинцовою <...>, вместо мыс-

лящей головы, не может иметь никакого направления, ни хорошего, ни дурного; а если «Отечественные записки» доселе имеют направление, и еще хорошее, это потому, что они еще не успели простыть от жаркой топки — Вы знаете, кем сделанной <...>. (Белинский, XII, с. 431.)

А. И. Кронеберг. К портрету Краевского

Вот он — тоже сочинитель!
Вот он — наглый мародер!
Из холопов управитель,
Конокрад и живодер.
Незнакомый ни с Европой,
Ни с родною стороной,
Он берет свинцовой ж...,
И чугунной головой. <...>
Осторожен как татарин,
И расчетлив как купец,
Либерал как русский барин
И как барин — весь подлец.

(Звенья, т. VI, с. 792.)

Н. И. Греч

Некоторая свобода тисиения бывает очень полезна правительству, показывая ему, кто его враги и друзья. Таким образом, гиусные «Отечественные Записки», до 1848 г., могли служить лучшим телеграфом к обнаружению, что за люди Белинский, Достоевский, Герцен (Искандер) <...>. (Записки о моей жизни, с. 153.)

А. И. Кронеберг. К портрету Краевского

Он чужой жиреет кровью
И чужим живет умом,
И полиция с любовью
Отзывается о нем.

(Звенья, т. VI, с. 792.)

Достоевский — М. Н. Каткову. 11 января 1858. Семипалатинск

Но работа для денег и работа для искусства — для меня две вещи несовместные. Все три года моей давнишней литературной деятельности в Петербурге я страдал через это. Лучшие идеи мои, лучшие планы повестей и романов я не хотел профанировать, работал поспешно и к сроку. Я так их любил, так желал создать их не наскоро, а с любовью, что, мне кажется, скорее бы умер, чем решился бы поступать с своими лучшими идеями не честно. Но, быв постоянно должен А. А. Краевскому (который, впрочем, никогда не вымогал из меня работу и всегда давал мне время),— я сам был связан по рукам и по ногам. (ПСС, XXVIII, 1, с. 296.)

Д. В. Григорович

Говоря по совести, в обращении Краевского мало было привлекательного: то, что называется приветливостью, у него вполне отсутствовало; говорил он мало, отрывисто, не любил праздных слов, прямо, без обиняков, без любезностей приступал к делу,— словом, не обладал качествами, располагающими с первого взгляда к человеку. За этою несколько бирюковатою внешностью скрывалось, однако ж, очень доброе сердце. <...> Краевский, как все люди, достигшие благосостояния трудом, знал цену деньгам и не бросал их, но от этого далеко еще до жадности и скаредничества. <...> Обращаюсь к совести тех <...> которые еще живы: часто ли случалось уходить им от Краевского с пустыми руками? (Рус. мысль, 1893, № 1, с. 41.)

Подпись под карикатурой Н. Степанова

<Достоевский и А. А. Краевский:>

— Вы изволили прочесть мою повесть?

— Прочел, ничего; недурна, местами есть промахи, поверхностный взгляд на предметы...

(С глубокомысленною важностию.)

Знаете, повесть ваша собственно не повесть, а психологическое развитие.

— Именно-с... Вы может быть изволили забыть, что это мнение Г-на Т., которое я изложил в письме к вам при посылке повести? (Иллюстрированный альманах. Спб., 1848, вклейка.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 7 октября 1846. Петербург

А система всегдашнего долга, которую так распространяет Краевский, есть система моего рабства и зависимости литературной. <...> Рассчитайся, если можешь ссудить меня до 1-го января, то дай. На меня же в отношении отдачи надейся как на каменную гору. (ПСС, XXVIII, 1, с. 128.)

В. П. Боткин — П. В. Анненкову. 20 ноября 1846. Петербург

Конкуренция явилась страшная. Краевский дает большие деньги за малейшую статью с литературным именем. Недавно за пол-листа печатных стихотворений <Аполлона> Майкова заплатил 200 руб. сер<ебром>. Все это наделало появление «Современника». Видите: законы промышленности вошли уже в русскую литературу, а ведь это сделалось на наших глазах; за 10 лет об этом слуха не было. (П. В. Анненков и его друзья, с. 521—522.)

А. В. Никитенко. 4 января 1847

Вышел первого числа первый № «Современника» под новой редакцией. Он произвел хорошее впечатление. Отовсюду слышу благоприятные отзывы его тону и направлению. (Дневник, 1, с. 299.)

В. Г. Белинский — В. П. Боткину. 22 апреля 1847. Петербург

Кредит Кр<аевско>го падает со дня на день; недаром он поседел, как лунь. Его раскусили. Несмотря на горькие опыты, он все тот же: найдет дешевле сотрудника и откажет тому, который подороже. (Белинский, XII, с. 359.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. Апрель 1847. Петербург

Я возьму у Краевского после окончания романа 1000 руб. серебр<ом>, вперед и не иначе как на неопределенный срок. Так как «Современник» идет и с ожесточением переманивает к себе сотрудников «Отеч. записок», то он, Андр<ей> Алексан<дрович> Краевский, сильно трусит. Он будет согласен на всё. (ПСС, XXVIII, 1, с. 140.)

Who is who

Достоевский. Из записной тетради 1876—1877 гг.

Реалисты неверны, ибо человек есть целое лишь в будущем, а вовсе не исчерпывается весь настоящим.

В одном только реализме нет правды. (Лит. наследство, т. 83, с. 628.)

В. Г. Белинский

Мы убеждены, что если бы г. Достоевский укоротил своего «Двойника» по крайней мере целою третью, повесть его могла бы иметь успех. Но в ней есть еще и другой существенный недостаток: это ее фантастический колорит. Фантастическое в наше время может иметь место только в домах умалишенных, а не в литературе, и находиться в заведывании врачей, а не поэтов. <...>

В искусстве не должно быть ничего темного и непонятного <...>. (Современник, 1847, № 1, отд. III, с. 36—37.)

Достоевский. Из записной тетради 1875—1876 гг.

Нужно наблюдать природу человека во всех ее видах. Я люблю тех, которым мерещится. (Лит. наследство, т. 83, с. 403.)

Из показаний Достоевского Следственной комиссии. 1849

Я упрекал его <Белинского> в том, что он силится дать литературе частное, недостойное ей назначение, низводя ее единственно до описания, если можно выразиться, одних газетных фактов или скандалезных происшествий. Я именно возражал ему, что желчью не привлечешь никого, а только надоешь смертельно всем и каждому, хватая встречного и поперечного на улице, останавливая каждого прохожего за пуговицу фрака и начиная насильно проповедовать ему и учить его уму-разуму. (ПСС, XVIII, с. 127.)

В. Г. Белинский — И. С. Тургеневу. 1 марта 1847. Петербург

Насчет Кр<аевского> я сильно ошибся: у него не только не убавилось, но даже прибавилось число подписчиков, несмотря на успех «Современника»,— мы отняли у него, может быть, сотню, другую, а у него новых набежало несколько сотен. Вот как велика в публике жадность к журналам. Было бы из чего не спать, а работать. (Белинский, XII, с. 345.)

Всеподданнейший доклад начальника III Отделения графа А. Ф. Орлова. 23 февраля 1848

Общий дух этих двух журналов <«Современника» и «Отечественных записок»> состоит в том, что они изображают природу и людей как они есть, без всяких прикрас и преувеличений, называя себя поэтому писателями натуральной школы и с презрением отзываются о всех прежних и нынешних литераторах, которые описывали и описывают предметы более идеальные, нежели существующие в природе. (Николаевские жандармы, с. 175.)

«...Как в чаду»

В. Г. Белинский

В десятой книжке «Отеч<ественных> записок» появилось третье произведение г. Достоевского, повесть «Господин Прохарчин», которая даже и почитателей таланта г. Достоевского привела в неприятное изумление. В ней сверкают искры таланта, но в такой густой темноте, что их свет ничего не дает рассмотреть читателю... Не вдохновение, не свободное и наивное творчество породило эту странную повесть, а что-то вроде... как бы это сказать? — не то умничанья, не то претензии... иначе она не была бы такою вычурною, манерною, непокятною <...>. (Современник, 1847, № 1, с. 37.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 26 ноября 1846. Петербург

Что же касается до Белинского, то это такой слабый человек, что даже в литературных мнениях у него пять пятниц на неделе. Только с ним я сохранил прежние добрые отношения. Он человек благородный. (ПСС, XXVIII, 1, с. 134.)

Д. В. Григорович

Белинский, человек в высшей степени пылкий и впечатлительный, искренно

привязанный к друзьям, нередко, однако ж, переносил свои увлечения то к одному из них, то к другому; отсюда происходила та переменчивость, то внезапное пристрастие, в котором его упрекали лучшие его приятели. (Рус. мысль, 1893, № 1, с. 21—22.)

И. А. Гончаров

Он <Белинский> как Дон Жуан к своим красавицам — относился к своим идолам: обольщался, хладел, потом стыдился многих из них и как будто мстил за прежнее свое поклонение. Идолы следовали почти непрестанно один за другим. Истощившись весь на Пушкина, Лермонтова, Гоголя (особенно Гоголя, от обаяния которого он еще не успел вполне успокоиться, когда я познакомился с ним), он сейчас же, легко перешел к Достоевскому, потом пришел я — он занялся мною, тут же явился Григорович, попозже Кольцов, наконец Дружинин. Ко мне он отнесся сравнительно покойнее и трезвее, потому что я подвернулся с своей книгой как раз после одного из этих разочарований, в котором он покаялся даже где-то печатно — и стал немного осторожнее. (Четыре очерка, Спб., 1881, с. 198.)

А. Я. Панаева

Достоевский уже не бывал у нас с тех пор, как Белинский напечатал в «Современнике» критику на его «Двойника» и «Прохарчина». Достоевский оскорбился этим разбором. Он даже перестал кланяться и гордо и насмешливо смотрел на Некрасова и Панаева; они удивлялись таким выходкам Достоевского. (Ист. вестник, 1889, № 5, с. 276.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. Январь — февраль 1847. Петербург

Я, брат, работаю; не хочу ничего выдавать раньше, чем кончу. Денег между тем нет, и если б не было добрых людей, я бы погиб. Разложение моей славы в журналах доставляет мне более выгоды, чем невыгоды. Тем скорее схватятся за новое мои поклонники, которые, кажется, очень многочисленны и отстоят меня. Я живу очень бедно. <...>. (ПСС, XXVIII, 1, с. 138.)

В. Г. Белинский

<...> должно быть чуждыми фанатической гордости настоящим и избегать, например, таких фраз: «Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский...»[1] <...> Ну, а если вы не угадали <...> насчет дарования, которое силитесь произвести в гении? (Современник, 1847, № 5, отд. IV, с. 130.)

В. П. Боткин — В. Г. Белинскому. 27 марта 1847 г. Москва

Мне тяжко вспомнить вычурного Достоевского, хоть должно признаться, что у этого, при всей его тугости и смуте, есть глубокое чувство трагического. Но до него надо докапываться — сквозь целые груды навоза. (Лит. мысль, II, с. 190.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 17 декабря 1846. Петербург

Я теперь завален работою и к 5-му числу генваря обязался поставить Краевскому 1-ю часть романа «Неточка Незванова», о публикации которой ты уже, верно, прочел в «Отечеств<енных> записках». (ПСС, XXVIII, 1, с. 135.)

А. Я. Панаева

Любители-вестовщики передавали в редакцию «Отечественных Записок» — какие статьи заготовляются на будущий номер и что говорится при этом, а затем, прибегая из редакции «Отечественных Записок», передавали, что там говорилось о «Современнике» и его издателях, конечно, с разными прибавлениями; все это делалось под видом живого участия. (Ист. вестник, 1889, № 4, с. 47.)

В. Г. Белинский — И. С. Тургеневу. 19 февраля 1847. Петербург

Кстати: вот Вам анекдот об этом молодце. Он забрал у Кр<аевско>го более 4 тысяч асс<игнациями> и обязался контрактом 5 декабря доставить ему 1-ую часть своего большого романа, 5 января — 2-ю, 5 февраля — 3-ю, 5 марта — 4-ю. Проходит декабрь и январь — Дост<оевский> не является, а где его найти, Кр<аевский> не знает. Наконец в феврале в одно прекрасное утро в прихожей Кр<аевского> раздается звонок. Человек отворяет — и видит Дост<оевского>. Наскоро схвативши с него шинель, бежит доложить — Кр<аевский>, разумеется, обрадовался, человек выходит сказать — дескать, пожалуйте, но не видит ни калош, ни шинели Дост<оевско>го, ни его самого — и след простыл... Не правда ли, что это точь-в-точь сцена из «Двойника»? (Белинский, XII, с. 335.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. Апрель 1847. Петербург

<...> роман мой <«Неточка Незванова»> печатается в конце года. Он завершит год, пойдет во время подписки и, главное, будет, если не ошибаюсь теперь, капитальною вещью в году и утрет нос друзьям «Современникам», которые решительно стараются похоронить меня. Но к черту их. (ПСС, XXVIII, 1, с. 140.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. 17 декабря 1846. Петербург

Я плачу все долги мои, посредством Краевского. Вся задача моя заработать ему всё в зиму и быть ни копейки не должным на лето. Когда-то я выйду из долгов. Беда работать поденщиком! Погубишь всё, и талант, и юность, и надежду,

[1] Из статьи В. Майкова в апрельском (1847) номере «Отечественных записок» — И. В.

омерзеет работа и сделаешься наконец пачкуном, а не писателем. (ПСС, XXVIII, 1, с. 135.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. Апрель 1847. Петербург

Ты не поверишь. Вот уже третий год литературного моего поприща я как в чаду. Не вижу жизни, некогда опомниться; наука уходит за невременьем. Хочется установиться. Сделали они мне известность сомнительную, и я не знаю, до которых пор пойдет этот ад. Тут бедность, срочная работа,— кабы покой! (ПСС, XXVIII, 1, с. 141.)

Счастливейший из людей

В. Г. Белинский — Достоевскому. <Начало апреля 1846?> Петербург

Достоевский, душа моя (бессмертная) жаждет видеть Вас. Приходите, пожалуйста, к нам, вас проводит человек, от которого вы получите эту записку. Вы увидите все наших, а хозяина не дичитесь, он рад вас видеть у себя.

В. Белинский

(Голос минувшего, 1915, № 11, с. 21—22.)

Сообщение Комиссии по разбору бумаг арестованных петрашевцев. 16 мая 1849

Копия

Секретно

По рассмотрении бумаг поручика Достоевского не оказалось в них ничего непосредственно относящегося к настоящему делу, но найдены: записка к нему от Белинского, заключающая в себе приглашение в собрание у одного лица, с которым он еще не знаком <...>. (В кн.: Бельчиков Н. Ф. Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1971, с. 113.)

А. Я. Панаева

Вдруг ему <В. П. Боткину> вообразилось <...> что в бумагах Достоевского могут найти какую-нибудь записку, писанную к нему года два тому назад, и Боткин озлобленно говорил:

— Не честно, подло не уничтожать записок знакомых. Можешь рисковать собой сколько угодно, но других обязан не вмешивать в свое дело. (Ист. вестник, 1889, № 5, с. 280.)

Допрос Достоевского Следственной комиссией. 8 июня 1849

<Вопрос.> В бумагах ваших найдена записка от Белинского, заключающая в себе приглашение вас в собрание у одного лица, с которым вы еще не были знакомы. Объясните, какое это собрание, были ль вы на оном, и сколько именно раз.

<Ответ.> О записке Белинского решительно ничего не могу припомнить, не знаю, какого она содержания, и теперь только в первый раз узнаю, что у меня была записка от Белинского. Но этими словами я вовсе не хочу отречься от моего знакомства с Белинским.

<...> если я был приглашен куда-нибудь, то не в собрание, а в гости, к какому-нибудь литератору. Но куда? как? — припомнить ничего не могу, потому что о записке совершенно забыл и не знаю ее. (ПСС, XVIII, с. 164—165.)

Из неоконченной повести Н. А. Некрасова

Через три дня Глажиевский <Достоевский> действительно получил записку следующего содержания:

«Любезный Осип Михайлович! У меня собралось сегодня несколько хороших приятелей, они все будут рады познакомиться с автором «Каменного Сердца» <«Бедных людей»>, которое вы будете так добры,— прочтете нам и прочее прочее.

Мерцалов <Белинский>»

(Некрасов, 1922, с. 50.)

Достоевский

Первая повесть моя «Бедные люди» восхитила его (потом, почти год спустя, мы разошлись — от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях); но тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушною торопливостью обращать меня в свою веру. Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. (Дневник писателя, 1873.)

Показания Достоевского Следственной комиссии. 1849

Тогда, то есть в первые дни нашего знакомства, он очень интересовался мною; ибо первый роман мой ему очень понравился и он смотрел на меня, несколько преувеличивая и мое дарование и значение мое. Через роман мой я с ним и познакомился. Сколько помню, мы только и говорили тогда об одной литературе, и несколько месяцев велся у нас жаркий спор о некоторых мнениях чисто литературных. (ПСС, XVIII, с. 165.)

Достоевский. Из записной тетради 1876—1877 гг.

<...> зарождающийся социализм и Белинский — да неужто и Белинский не сила? Именно все это сила и даже страшно себя проявившая. (Лит. наследство, т. 83, с. 628.)

Анонимный донос, поступивший в III Отделение. Февраль 1848

Участвуя прежде в московских журналах и потом в «От<ечественных> Зап<исках>», Белинский всегда обращал на себя внимание резкостью суждений о прежних писателях наших, не признавая почти никаких достоинств ни в Ломоносове, ни в Державине, ни в Жуковском, ни во всех прочих литераторах и этим оскорбляет чувство тех, которые питают уважение к нашим старым писателям. Это мнение разделяют с Белинским Краевский и почти все молодые писатели наши, которые дошли до того, что считают за ничто всякую старую знаменитость. С одной стороны, это дело литературное, зависящее от мнений, но с другой — оно может сделаться важным по своим последствиям. Нет сомнений, что Белинский и его последователи пишут таким образом только для того, чтобы придать больший интерес статьям своим, и нисколько не имеют в виду коммунизма, но в их сочинениях есть что-то похожее на коммунизм, а молодое поколение может от них сделаться вполне коммунистическим. (*Николаевские жандармы*, с. 174.)

Достоевский

Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до парижской революции 48 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46 году был посвящен во всю *правду* этого грядущего «обновленного мира» и во всю *святость* будущего коммунистического общества еще Белинским. (*Дневник писателя*, 1873.)

А. И. Герцен

Идеал Белинского, идеал наш, наша церковь и родительский дом, в котором воспитались наши первые мысли и сочувствия, был *западный мир* с его наукой, с его революцией, с его уважением к лицу, с его политической свободой, с его художественным богатством и несокрушенным упованием. (*Колокол*, 1863, 15 *апреля*.)

Объяснения Достоевского Следственной комиссии. 1849

Несколько времени я был знаком с Белинским довольно коротко. Это был превосходнейший человек как человек. Но болезнь, сведшая его в могилу, сломила в нем даже и человека. Она ожесточила, очерствила его и залила желчью его сердце. <...> В литературном мире небезызвестно весьма многим о моей ссоре и окончательном разрыве с Белинским в последний год его жизни. Известна тоже и причина нашей размолвки: она произошла из-за идей о литературе и о направлении литературы. Взгляд мой был радикально противуположный взгляду Белинского. <...> Белинский рассердился на меня и, наконец, от охлаждения мы перешли к формальной ссоре, так что и не видались, наконец, друг с другом в продолжение всего последнего года его жизни. (ПСС, XVIII, с. 127.)

П. В. Анненков. Замечательное десятилетие

С Белинским он <Достоевский> вскоре разошелся — жизнь развела их в разные стороны, хотя довольно долгое время взгляды и созерцание их были одинаковы. (*Вестник Европы*, 1880, № 4, с. 480.)

Из показаний Достоевского Следственной комиссии. 1849

Я был с ним <Белинским> знаком в первый год знакомства довольно коротко, во второй год очень отдаленно, а в третий год был с ним в ссоре и не виделся с ним ни разу. (ПСС, XVIII, с. 164.)

И. И. Панаев

Белинский, как я замечал уже, не мог скрывать своих ощущений и впечатлений и никогда не драпировался. В этом отношении он был совершенный контраст Лермонтову. (*Лит. воспоминания*, М., 1950, с. 136.)

И. С. Тургенев

Лицо он <Белинский> имел небольшое, бледно-красноватое, нос неправильный, как бы приплюснутый, рот слегка искривленный, особенно когда раскрывался, маленькие, частые зубы, густые белокурые волосы падали клоком на белый, прекрасный, хоть и низкий лоб. Я не видывал глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления; в минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья. <...> Смеялся он от души, как ребенок. (*Вестник Европы*, 1869, № 4, с. 698.)

А. И. Герцен. Былое и думы

Но в этом застенчивом человеке, в этом хилом теле обитала мощная, гладиаторская натура; да, это был сильный боец! Он не умел проповедовать, поучать, ему надобен был спор. Без возражений, без раздражения, он не хорошо говорил, но когда он чувствовал себя уязвленным, когда касались до его дорогих убеждений, когда у него начинали дрожать мышцы щек и голос прерываться, тут надобно было его видеть; он бросался на противника барсом, он рвал его на части, делал его смешным, делал его жалким и по дороге с необычайной силой, с необычайной поэзией развивал свою мысль. Спор оканчивался очень часто кровью, которая у больного лилась из горла; бледный, задыхающийся, с глазами остановленными на том с кем говорил, он дрожащей рукой поднимал платок ко рту и останавливался, глубоко огорченный, уничтоженный своей физической слабостью. Как я любил и как жалел я его в эти минуты! (*Полярная звезда на 1855 год*, кн. I, с. 98.)

Достоевский

В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он <Белинский> верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. (*Дневник писателя*, 1873.)

Т. Н. Грановский — Н. Х. Кетчеру. Начало марта 1845. Москва

Поклонись Белинскому. <...> Я помирился даже с его невозможными речами, понимая как оне сходят с благородного языка. (*Т. Н. Грановский и его переписка*. М., 1897, т. II, с. 464.)

Достоевский

— Мне даже умилительно смотреть на него,— прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня,— каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет. Да поверьте же <...> что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

— Ну не-е-т! — подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперед по комнате.) — Ну нет; если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его...

— Ну да, ну да,— вдруг и с удивительною поспешностью согласился Белинский.— Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними. (*Дневник писателя*, 1873.)

Достоевский — Н. Н. Страхову. 18/30 мая 1871. Дрезден

Этот человек ругал мне Христа по матерну, а между тем никогда он не был способен сам себя и всех двигателей всего мира сопоставить со Христом для сравнения. Он не мог заметить того, сколько в нем и в них мелкого самолюбия, злобы, нетерпения, раздражительности, подлости, а главное, самолюбия. Ругая Христа, он не сказал себе никогда: что же мы поставим вместо него, неужели себя, тогда как мы так гадки. (ПСС, XXIX, I, с. 215.)

Ф. В. Булгарин — управляющему III Отделением Л. В. Дубельту. Март 1846

Белинский, у которого собиралось юношество, явно называл себя русским Иисусом Христом (чему можно представить свидетелей), а Краевский верит, что ему будут воздвигнуты монументы. (*Николаевские жандармы*, с. 309.)

Из дневника А. А. Киреева. 7 апреля 1880

Вечером был у Бестужева-Рюмина <...>. Достоевский рассказывал из давних лет — Белинский так говорил об Иисусе Христе: «Этот подлец <...>». А мы-то кланялись в пояс Белинскому. (*Лит. наследство*, т. 86, с. 498.)

Из дневника А. И. Герцена. 1843

Белинский не переменился ни на волос, вечно в экстреме; но глубоко вникающий и симпатичный <...> резкий до цинизма в словах, но верный в смелости и не трус, конечно, в консеквентности[1]. Я люблю его речь и недовольный вид и даже ругательство. (*Собр. соч.*, т. II, с. 291.)

И. С. Аксаков — родным. 1 июня 1846. Калуга

Узнав, что Белинский женат, имеет ребенка и что он атеист, она <А. О. Смирнова-Россет> почувствовала к нему сильное сострадание; в самом деле он жалок да еще болен. (*И. С. Аксаков в его письмах*, ч. I, т. I, с. 339.)

Достоевский

Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться. Учение Христово он <Белинский> как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукой и экономическими началами; но все-таки оставался пресветлый лик Богочеловека, Его нравственная недостижимость, Его чудесная и чудотворная красота. Но в беспрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием. (*Дневник писателя*, 1873.)

Достоевский — Н. Д. Фонвизиной. Январь — февраль 1854. Омск

Я скажу Вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Хри-

[1] последовательности (фр.)

ста, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной. (ПСС, XXVIII, I, с. 176.)

Из записной тетради 1880—1881 гг.

Подставить ланиту, любить больше себя — не потому, что полезно, а потому, что нравится, до жгучего чувства, до страсти. Христос ошибался — доказано! Это жгучее чувство говорит: лучше я останусь с ошибкой, со Христом, чем с вами. (ПСС, XXVII, с. 57.)

Из подготовительных записей к «Дневнику писателя». 1877

Христианство есть доказательство того, что в человеке может вместиться бог. Это величайшая идея и величайшая слава человека, до которой он мог достигнуть. (ПСС, XXV, с. 228.)

О. Ф. Миллер

По свидетельству Ст. Дм. Яновского, в 1847 и 1849 гг. Ф. М. вместе с ним говел у Вознесенья и «делал это не для формы». (Биография, с. 94—95.)

Достоевский

Это <Белинский> был самый торопившийся человек в целой России. Раз я встретил его часа в три пополудни у Знаменской церкви. Он сказал мне, что выходил гулять и идет домой.

— Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка (вокзала Николаевской железной дороги, тогда еще строившейся). Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце.

Это было горячо и хорошо сказано; Белинский никогда не рисовался. (Дневник писателя, 1873.)

Из записной тетради 1872—1875 гг.

Белинск<ий>: он тосковал только. Зачем не сейчас, зачем не так скоро. Он, конечно, имел самолюбие, но саморисования в нем не было. Он предвидел высшую цель. (ПСС, XXI, с. 252.)

Достоевский

При такой теплой вере в свою идею это был, разумеется, самый счастливейший из людей. <...>

Этот всеблаженный человек, обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил; но грусть эта была особого рода,— не от сомнений, не от разочарований, о нет,— а вот почему не сегодня, почему не завтра? (Дневник писателя, 1873.)

И. С. Тургенев

Невозможно себе представить, до какой степени Белинский был правдив и с другими и с самим собою; он чувствовал, действовал, существовал только в силу того, что он признавал за истину, в силу своих принципов. (Вестник Европы, 1869, № 4, с. 699.)

Достоевский

<...> много ли было тогда воистину либералов, много ли было действительно страдающих, чистых и искренних людей, таких, как, например <...> Белинский (не говоря уже об уме его)? (Дневник писателя, 1876, март.)

И. С. Тургенев

Белинский был тем, что́ я позволю себе назвать центральной натурой; он всем существом своим стоял близко к сердцевине своего народа, воплощал его вполне и с хороших, и с дурных его сторон. (Вестник Европы, 1869, № 4, с. 701.)

Достоевский. Из записной тетради 1875—1876 гг.

Белинский в каторге,— я благоговел[1]. (Лит. наследство, т. 83, с. 402.)

Достоевский — А. Н. Майкову. 18 февраля/1 марта 1868. Женева

Вспомните лучших либералов — вспомните Белинского: разве не враг отечества сознательный, разве не ретроград? (ПСС, XXVIII, II, с. 259.)

Из записной тетради 1875—1876 гг.

Но знайте, что Белинский прав, когда и виноват,— нужно иметь ум. (Лит. наследство, т. 83, с. 466.)

Достоевский — А. Н. Майкову. 11/23 декабря 1868. Флоренция

<...> никогда не поверю словам покойного Аполлона Григорьева, что Белинский кончил бы славянофильством. Не Белинскому кончить было этим. Это был только паршивик — и больше ничего. Большой поэт в свое время; но развиваться далее не мог. Он кончил бы тем, что состоял бы на побегушках у какой-нибудь здешней м-м Гёгг адъютантом по женскому вопросу на митингах и разучился бы говорить по-русски, не выучившись все-таки по-немецки. (ПСС, XXVIII, II, с. 328.)

Из записной тетради 1875—1876 гг.

Но у Белинского была правда и его заблуждение, а у вас и правда выходит заблуждением. (Лит. наследство, т. 83, с. 463.)

[1] Очевидно, имеется в виду отношение к Белинскому Достоевского во время пребывания последнего на каторге.— И. В.

Достоевский — Н. Н. Страхову. 18/30 мая 1871. Дрезден

Я обругал Белинского более как явление русской жизни, нежели лицо: это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни. Одно извинение — в неизбежности этого явления. (ПСС, XXIX, I, с. 215.)

Из записной тетради 1876—1877 гг.

В старину по крайней мере писали так, что читать можно было,— ну, Белинский, например <...>. (Лит. наследство, т. 83, с. 620.)

И. С. Тургенев

<...> как литературный критик, он был именно тем, что англичане называют — «the right man in the right place», «настоящим человеком на настоящем месте», чего нельзя сказать об его преемниках. (Вестник Европы, 1869, № 4, с. 706.)

Достоевский — Н. Н. Страхову. 23 апреля/5 мая 1871. Дрезден

Смрадная букашка, Белинский <...> именно был немощен и бессилен талантишком, а потому и проклял Россию и принес ей сознательно столько вреда <...>. (ПСС, XXIX, I, с. 208.)

Из записной тетради 1876—1877 гг.

<...> так что самые заблуждения Белинского, если у него только есть они, выше вашей правды, да и всего, что вы натворили и написали. (Лит. наследство, т. 83, с. 526.)

Достоевский — Н. А. (неустановленному лицу). 19 декабря 1880. Петербург

Каких лет Ваш сын — этого Вы не обозначаете.— Скажу лишь вообще: берите и давайте лишь то, что производит прекрасные впечатления и родит высокие мысли. <...> Если хотите, то можете дать и Белинского. Но других критиков — повремените. (ПСС, XXX, I, с. 237.)

Отказ от родства

В. Г. Белинский. <Рецензия на первое отдельное издание «Бедных людей»>

Шум конечно не всегда одно и то же со славою, но без шуму нет славы. «Бедные люди» доставили своему автору громкую известность, подали высокое понятие о его таланте и возбудили большие надежды — увы! — до сих пор не сбывающиеся. (Современник, 1848, № 1, отд. III, с. 43.)

С. Д. Яновский

Я знаю, что Федор Михайлович, по складу его ума и по силе убеждений, не любил подчиняться какому бы там ни было авторитету, вследствие чего он нередко даже о Белинском выражался так: «Ничего, ничего, Виссарион Григорьевич, отмалчивайтесь; придет время, что и вы заговорите» (это он говорил так по поводу того, что Белинский, расхваливший его «Бедных людей», потом как бы игнорировал его произведения, а Федору Михайловичу молчание о его творениях было горше брани) <...>. (Рус. вестник, 1885, № 4, с. 817.)

Достоевский — М. М. Достоевскому. Январь — февраль 1847. Петербург

Я пишу мою «Хозяйку». Уже выходит лучше «Бедных людей». Это в том же роде. Пером моим водит родник вдохновения, выбивающийся прямо из души. Не так, как в «Прохарчине», которым я страдал всё лето. (ПСС, XXVIII, I, с. 139—140.)

В. Г. Белинский — В. П. Боткину. 4—8 ноября 1847. Петербург

Его <Краевского> беда — повести; не то, что у него нет хороших повестей, а то, что он печатает мерзости, вроде <...> «Хозяйки» Достоевского (нервическая <...>) да еще без конца. (Белинский, XII, с. 421.)

В. Г. Белинский — П. В. Анненкову. 20 ноября — 2 декабря 1847. Петербург

Достоевский славно подкузьмил Кр<аевско>го: напечатал у него первую половину повести; а второй половины не написал, да и никогда не напишет. Дело в том, что его повесть до того пошла, глупа и бездарна, что на основании ее начала ничего нельзя (как ни бейся) развить. Герой — какой-то нервический <...> — как ни взглянет на него героиня, так и хлопнется он в обморок. Право! (Белинский, XII, с. 430.)

В. Г. Белинский

Но мы должны сказать еще несколько слов о «Хозяйке», повести г. Достоевского <...>. Будь под нею подписано какое-нибудь неизвестное имя, мы бы не сказали о ней ни слова. <...> Не только мысль, даже смысл этой, должно быть, интересной повести остается и останется тайной для нашего разумения, пока автор не издаст необходимых пояснений и то<л>кований на эту дивную загадку его причудливой фантазии. Что́ это такое — злоупотребление или бедность таланта, который хочет подняться не по силам и потому боится идти обыкновенным путем и ищет себе какой-то небывалой дороги? Не знаем; нам только показалось, что автор хотел попытаться помирить Марлинского с Гофманом, подболтавши сюда немного юмору в новейшем роде и сильно натеревши все это лаком русской народности. Удивительно ли, что вышло что-то чудовищное <...>. Во всей этой повести нет ни одного простого и живого слова или выражения: все изысканно, натянуто, на ходулях, поддельно и фальшиво. <...> Что́ это такое?

Странная вещь! непонятная вещь!.. (Современник, 1848, № 3, отд. III, с. 37—39.)

М. В. Белинская — И. А. Астафьеву. 24 декабря 1873. Корфу

<...> последние 3, 4 месяца Виссарион Григорьевич не мог сам писать, а, лежа на кушетке, диктовал мне: изнурительная лихорадка пожирала его в это время (это, как мне помнится, было Великим постом), лицо у него страшно горело, а лоб был перевязан белым носовым платком, намоченным в холодной воде. (Былое, 1917, № 4, с. 181—182.)

В. Г. Белинский — П. В. Анненкову. 15 февраля 1848. Петербург

Не знаю, писал ли я Вам, что Достоевский написал повесть «Хозяйка» — ерунда страшная! В ней он хотел помирить Марлин<ского> с Гофманом, подболтавши немножко Гоголю. Он и еще кое-что написал после того, но каждое его новое произведение — новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о «Бедных людях». Я трепещу при мысли перечитать их, так легко читаются они! Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением! О Тург<еневе> не говорю — он тут был самим собою, а уж обо мне, старом чорте, без палки нечего и толковать. Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате. (Белинский, XII, с. 467.)

Достоевский. Из записной тетради 1876—1877 гг.

Белинский. Необычная стремительность к восприятию новых идей с необычайным желанием, каждый раз, с восприятием нового, растоптать все старое, с ненавистью, с оплеванием, с позором. Как бы жажда отмщения старому, и я сжег все, чему поклонялся. (Лит. наследство, т. 83, с. 672.)

И. А. Гончаров

Я не ошибочно сравнил эти увлечения Белинского с Дон-Жуановскими увлечениями женщинами: и у Белинского, как у поклонников женской красоты, все прежние идолы бледнели перед последним, иногда невзрачным, но имеющим более всего прелесть новизны. (Четыре очерка, с. 200.)

В. Г. Белинский — П. В. Анненкову, 15 февраля 1848. Петербург

Из Руссо я только читал его «Исповедь» и <...> возымел сильное омерзение к этому господину. Он так похож на Дост<оевского>, который убежден глубоко, что все человечество завидует ему и преследует его. (Белинский, XII, с. 467.)

Из неоконченной повести Н. А. Некрасова

Вообще крайности составляли главную черту его <Белинского> характера как в литературе, так и в жизни. Середины у него не было — и человек или книга, еще сегодня милые ему, рисковали завтра возбудить его отвращение. Такие переходы совершались в нем всегда резко и круто <...>. (Некрасов, 1922, с. 40.)

С. Д. Яновский — А. Н. Майкову. 17 февраля 1881. Кани

<...> в одно утро Ф<едор> М<ихайлович> пришел ко мне чрезвычайно встревоженный и возбужденный. Не дав мне возможности спросить у него — отчего он так взволнован, он сам предупредил меня восклицанием: «батинька, великое горе свершилось — Белинский умер!» Я <...> прежде всего старался убедить его в том, чтобы он не увеличивал постигшего нас горя своею болезнью, а потом я просил его остаться у меня на целый день и хотел не расставаться с ним в этот день ни на минуту. Но он в 12 часов от меня все-таки ушел, попрося позволения ночь провести со мною. Так и сделали. И когда в 10 часов вечера я возвратился домой, то застал у себя Федора Михайловича и Якова Петр<овича> Буткова. Втроем мы напились чаю и когда Бутков ушел, мы, пробеседовав еще час-другой, улеглись спать. <...> Вдруг часу в 3-м ночи я услыхал чрезвычайно тяжелые хриплые вздохи и когда я вошел с зажженною свечою в комнату, где спал Фед<ор> Мих<айлович>, то увидал, что он лежит навзничь, с открытыми глазами, в конвульсиях, с пеною у рта и с высунувшимся языком. (Новое время, 1881, 24 февраля.)

Достоевский. Из записной тетради 1875—1876 гг.

Много ли было страдавших душою Белинских? (Лит. наследство, т. 83, с. 458.)

Из приходо-расходной книги церкви Волкова кладбища. 28 мая 1848

Виссарион Григорьев Белинский
За копку могилы 1 руб.
На храм 50 коп.
За место по 5 разряду 5 руб.

(Лит. наследство, т. 56, с. 198.)

Конец первой книги

Вера МЕРКУРЬЕВА

Из литературного наследия

«Кассандра»

Есть поэты известные, есть забытые, есть безвестные. Вера Александровна Меркурьева (1876—1943) была безвестной. За всю жизнь она напечатала полтора десятка стихотворений: в альманахе «Весенний салон поэтов», М., 1918 (несмотря на то, что в принципе альманах состоял из перепечаток, для сорокалетней дебютантки было сделано исключение) и в альманахе «Золотая зурна», Владикавказ, 1926. И это — несмотря на то, что Вячеслав Иванов в рекомендательном письме «Салону поэтов» (т. е. Эренбургу и Цетлину-Амари) писал 23 февраля 1918 г.: «Я вижу во всем, что она мне сообщает, дарование необыкновенное, силу и смелость чрезвычайные...» А когда ее в 1933 г. принимали в Московский горком писателей, то рекомендателями ее были шестеро: академик М. Н. Розанов (для которого она переводила английских поэтов), твердокаменный В. Вересаев, Георгий Чулков, Осип Мандельштам, Борис Пастернак и Борис Пильняк.

На фотографии она сгорбленная, морщинистая, с острыми чертами лица и грустной улыбкой. Фотография снята в 60 лет, стихотворный «автопортрет» написан в 42 года, но и в нем она такова же: трудно вообразить подобное стихотворение у любой другой поэтессы.

...Весь-то день — уборка и плита,
Да еще аптекарские склянки.
Вся-то ночь — небесная мечта,
Бред Кассандры — или самозванки?..

«Кассандра», пророчица, которую никто не слушает,— было ее прозвищем со времен владикавказской юности. Она родилась во Владикавказе, с детства и всю жизнь была болезненна, служить не могла, перебивалась домашними уроками. После смерти матери она в 1917—1920 гг. пробует прижиться в Москве, становится одной из «прихожанок» (трудно иначе сказать) Вяч. Иванова в его квартире на Зубовском бульваре («...Зубовскую пустынь посещает...»), месяц живет в доме у него и у его жены. За эти три московских года написано около половины ее стихов — рукописный сборник «Тщета». Когда в 1920 году жить в изголодавшейся Москве стало совсем трудно, она с овдовевшим Вяч. Ивановым переезжают на Северный Кавказ почти одновременно. Меркурьева явно надеялась, что он там задержится, но он вскоре перебрался преподавать в Баку. Из Баку шли взволнованные письма: «...Знайте (вопреки всему, что Вы думали и думаете обо мне), что дружба с Вами — одна из значительнейших и мучительнейших страниц моей жизни. Мысль о Вас меня почти не покидает. Как бы желал я быть с Вами!..» (30 ноября 1921). «Дорогая Вера Александровна, я почти не сомневаюсь, что Вы **слышите** меня на расстоянии (так упорно и **томительно** я думаю о Вас), и тогда Вы поймете, о чем **писать** не умею...» (26 декабря 1922). Но письма становятся все реже, и еще до отъезда Иванова в Италию переписка замирает.

Преклонение Меркурьевой перед Вяч. Ивановым было бесконечно, но не безоговорочно. Его рекомендация в «Салон поэтов» и его горячие письма из Баку не были простой любезностью за любезность. Он недаром писал ей в надписи на книге (1 мая 1920): «Моей дорогой подруге Вере Александровне Меркурьевой, поэтессе, которою горжусь, собеседнице, постоянно остерегающейся быть обманутой, но сознательно мною не обманываемой,— памятуя завет: **«Любите ненавидящих вас»...»** Отношение к Иванову среди московской молодежи было двойственным. О чем больше всего говорил Иванов в своих беседах на Зубовском? Конечно, о вере. Но вера начинается там, где кончается знание. А Вячеслав Иванов знал **всё** — «таков был общий глас». Так веровал ли он сам? Может быть, он был не кто иной, как Великий Инквизитор? Об этом думает и пишет Вера Меркурьева в своем, может быть, самом замечательном произведении «Мечтание о Вячеславе Созвездиом» (февраль 1918), в пяти его частях: «Миф о нем», «Легенда о нем», «Ложь о нем», «Правда о нем», «Сон о нем». Каждая часть — ритмическая и

рифмованная проза, заканчивающаяся коротким стихотворением. Содержание — преодоление сомнений. Ни его соборности, ни индивидуальной святости Меркурьева не принимает («церковь цирком называет»), но все прощает за его поэзию. «За то, что он — о, зная, слишком **зная**, чтоб верить и любить, но зная тоже, что без знамения — конец и край нам, не уставал неволить и тревожить, о Имени послушествуя тайном,— я поклоняюсь. За то, что стон земли моей опальной он повторил, как хор венчальный; за то, что где прошел он счастья вестью, там процвела земля сухая песнью; за то, что он — как мы, утрат во власти — избрал высокий подвиг счастья,— я поклоняюсь...» и т. д.

Знакомство Меркурьевой с Вяч. Ивановым — 22 октября 1917 г.; а через три дня по Москве покатилась неделя революционной войны. Меркурьева приняла революцию как должное («прав державный лапоть, венцы сегодня свергший ниц...») и долю своего поколения — тоже как должное («На лобном месте, веку злого лихие вины искупив...»). Потом, 25 лет спустя, за год до смерти, она писала старому другу: «Вы и я верны себе, измененные, вошедшие в иную жизнь, приявшие ее как свою, верные ей — этой новой,— но мы есть мы — и в этом наша ценность для новой жизни» (Е. Архиппову, 4 апреля 1942). Но потрясение было потрясением, и, когда при обстреле Кремля был пробит купол Успенского собора (не все знают, что красной артиллерией при этом командовал футурист Василиск Гнедов, а реставрацией купола через десять лет занимался символист Модест Дурнов), она откликнулась на это сонетом — одним из самых сильных стихотворений революционного года:

Пробоина — в Успенском соборе!
Пробоина — в Московском Кремле!
Пробоина — кромешное горе —
Пробоина — в сраженной земле.

Пробоина — раздор на раздоре.
Пробоина — течь на корабле.
Пробоина — погромное море —
Пробоина — огромно во мгле.

Пробоина — брошенные домы —
Пробоина — братская могила —
Пробоина — сдвиг земной оси!

Пробоина — где мы в ней и что мы?
Пробоина — бездна поглотила.
Пробоина — нет всея Руси.

«Голодно и весело»,— пишет она о своем возвращении из Москвы во Владикавказ.— «Снята с социального обеспечения как не прослужившая 8 лет при Советской власти, даю уроки английского языка и бедствую терпеливо и довольно равнодушно, но упорно и постоянно. Жизнь впрохолодь, еда впроголодь...» Голодно было всем, а весело было, потому что вокруг Меркурьевой собираются молодые поэты, мечтающие о революции в литературе: это они организовали кружок «Вертеп» и издали микроскопический альманах «Золотая зурна». Почти все они остались дилетантами и выпали из литературы. Исключениями были двое.

Первый — это А. С. Кочетков, с которым она познакомилась еще в Москве у Иванова; с ним «знакомство мое... составляет любопытную и причудливую сказку, но здесь ей не место»,— писала Меркурьева в автобиографии. Это будущий переводчик, автор романса «С любимыми не расставайтесь» и оригинальный, до сих пор по-настоящему неизвестный поэт; Меркурьевой он годился в сыновья, ее любовь к нему — и материнская, и женская, с женой его она тоже была очень близка, а он всю жизнь признавал себя учеником Меркурьевой: «Вы единственный человек, с которым у меня истинная душевная близость... Вас я готов слушаться всегда и во всем... И пока Вы существуете на свете, мне все-таки легче бороться с судьбой. Целую Вашу руку» (17 июля 1931).

Второй — это Е. Я. Архиппов, друг еще дореволюционных лет, владикавказский преподаватель (впоследствии награжденный орденом Ленина), поклонник Анненского, Волошина и Черубины де Габриак, автор рукописной «Книги о Вере Меркурьевой». Потом Меркурьева описывала его Анне Ахматовой так: «Серебряные волосы, юное розовое лицо, черные глаза, грустные и спрашивающие. Насмешлив, зол и нежен. Остроумен, редкий чтец. Картонажных дел мастер. Предан М. Волошину, любит Гумилева, Ахматову, ценит Маяковского. Не писатель и не спутник литературы, но сам литератор истинный, нашедший свой стиль». Стиль Архиппова — захлебывающийся, импрессионистический; «картонажным мастером» он назван за то, что свои и чужие любимые стихи он переписывал в маленькие книжечки (почерки у него были, как у князя Мышкина) и художественно их переплетал для себя и друзей: образец старой культуры, ушедшей в быт, в рукопись. Такова и его «Книга о Вере Меркурьевой» («Пепельной царице»): «Глаза темно-янтарные, затененные, спрашивающие и хотящие, чтобы не был услышан вопрос. Улыбка — ласки и тонкой благословляющей насмешки... Ее речь — несколько растянутая, поющая, как в сказке. Ее походка — скользящая, но шаги мелкие и тревожные. В ее прикосновениях больше прохлады, чем тепла... Желая обратить внимание, ...касается обратной стороной ладони» и т. д. Он посылал ее стихи Черубине

де Габриак, та отзывалась о них с завистью: «в ней есть то, чего так хотела я и чего нет и не будет: подлинно русское, от Китежа...» (автобиография 1927 г.). «Вертеп» он переименовал в «Винету» — сказочный город, скрывший свои богатства на морском дне. Меркурьева любила его, но не без иронии: «Вы будто в хронической обиде на меня. А за что? Могу сказать: неповинна ни деянием, ни помышлением, разве иногда словом зубастым, так это манера моя» (25 июня 1934 г.). В «Винете» ей было не так весело, как в «Вертепе»; скоро она окончательно покинула Владикавказ и уехала в Москву, куда ее настойчиво звал Кочетков.

Отъезд был болезненным: «Милые! поймите же: я иду в изгнание» (16 сентября 1932 г.). За считанные месяцы до этого умерла ее сестра, с которой они жили вдвоем: порвалась последняя родственная связь с Владикавказом. В стихах на смерть сестры замечательна кульминация: «а наша кошка?..» Подбирать и выхаживать искалеченных кошек, щенков, птиц было постоянной заботой Меркурьевой — как, впрочем, и Кочетковых; когда с этим «зверолюбивым миром» (выражение С. В. Шервинского) столкнулась Анна Ахматова, она спросила: «У них всегда такое безобразие?»

В Москву Меркурьева приехала совсем больная, для беготни по редакциям у нее не было сил. Помогли друзья и добрые люди: Кочетков, Шервинский, М. Н. Розанов. Лежа в постели, она переводила сперва Байрона, потом Шелли. «Избранные стихотворения» Шелли (М., 1937) — единственная книга, выпущенная ею; да и то на титуле вместо «Пер. В. А. Меркурьевой» было напечатано «Пер. В. Д. Меркурьевой». Перевод получился плох: резкий угловатый стиль, к которому пришла в эту пору Меркурьева (ср. «За то, что в ней...») мало подходил к нежной лирике Шелли. Он оказался на месте в переводе «Освобожденного Прометея» —

— Властитель демонов, богов и духов —
Всех, кроме одного,— во всех мирах
Кружащихся и ярких, что лишь ты
Да я бессонными очами зрим!
Взгляни на землю, где твоих рабов
За поклоненье, за мольбы и труд
Ты наградил презрением к себе,
И страхом, и бесплодностью надежд;
А мне — врагу — ты, злобой ослеплен,
Дал власть и над несчастием моим
И над твоею местию пустой.
Бессонные часы трех тысяч лет,
Когда был годом пытки каждый миг,
Скорбь, одиночество, презренье — вот
Над чем я царствую — славней, чем ты
На жалком троне, о могучий бог! —

но перевод этот не был ни закончен, ни напечатан. Заявка на перевод Браунинга (вот где был бы уместен этот стиль!) не прошла, переводить приходилось туркмен, узбеков, а также разные мелочи вроде эпиграфов. Правда, директор Гослита И. К. Луппол однажды воскликнул: «Почему все только переводы? пусть сделает сборник — издаем же мы Ахматову, издадим и Меркурьеву»; но, как известно, ни Ахматова, ни Меркурьева в Гослитиздате в 1930-х годах так и не появились.

Летом, начиная с 1935 года, она живет вместе с Кочетковыми в избе в Старках, под Коломной, близ летнего дома Шервинских: комната разгорожена на четыре четвертушки, в двух Кочетков с женой, в двух Меркурьева с подругой, Кочетков гонит в день по 100 строк Шиллера, она, в постели,— по 30—50 строк Шелли. «Я в первый раз близко к северной природе и могу сказать — успокоительна». «Больно, что от старости, от бессилия не могу почувствовать в полной мере: проходит мимо, как тени в полусне. Кончена жизнь, кончена я как поэт,— осталась высохшая личинка» (Е. Архиппову, 17 июля 1936 г.). Это здесь, в этой избе, заходила к Меркурьевой Ахматова, и Меркурьева всерьез огорчалась, что нет ничего красного — подстелить гостье под ноги. «Это лето было осмыслено только встречами с Ахматовой... Необычайно и совершенно прекрасна она. Жизнь неполна у тех, кто не видел ее в лицо. Знаете, Евгений, ни с кем, ни к кому у меня не было такого, что к ней: полное признание, полное отречение от себя — есть только она. Встреться мы 20 лет тому назад — была бы, вероятно, дружба до гроба, а сейчас — мое преклонение и ее отклонение. Так и должно быть, несбыточного не бывает» (3 октября 1936 г.).

И все-таки, отвечая еще в 1934 году на анкету Е. Архиппова: «Кто Вам ближе: А. Ахматова или Марина?» — Меркурьева написала: «Боюсь — вторая». Чуткий читатель сам расслышит цветаевские интонации хотя бы в таких стихах Меркурьевой, как «Пробоина» или «Как все». Волошин, как известно, говорил молодой Цветаевой, что ее хватило бы на нескольких поэтов; одним из этих поэтов могла бы быть Меркурьева. Сделаем опыт по психологической арифметике: вычтем из стихов Цветаевой самое броское — ее пафос самоутверждения, представим себе, что самое программное для нее стихотворение — «А может, лучшая победа над временем и тяготеньем — пройти, чтоб не оставить следа, пройти, чтоб не оставить тени...» — и в остатке такого психологического вычитания получится Вера Меркурьева.

С Цветаевой Меркурьева была отдаленно знакома еще по Москве, через Иванова или через Эренбурга. Когда в 1939 году Цветаева вернулась в Россию, одинокая и бездомная, то Меркурьева написала ей; Цветаева откликнулась (20 февраля 1940 г.): «Я Вас помню — это было в 1918 г., весной, мы с вами ранним рассветом возвращались из поздних гостей. И стихи Ваши помню — не строками, а интонацией — мне кажется, вроде заклинаний? Э[ренбур]г мне говорил, что Вы — ведьма и что он, конечно, мог бы Вас любить... Мы все старые — потому что мы раньше родились! — и все-таки мы, в беседе с молодыми, моложе их — какой-то неистребимой молодостью! — потому что на нашей молодости кончился старый мир, на ней — оборвался». Это первое из трех сохранившихся цветаевских писем к Меркурьевой, а в третьем (31 августа 1940 г.) Цветаева пишет: «Моя жизнь очень плохая. Моя нежизнь... Москва меня не вмещает. Мне некого винить. И себя не виню, потому что это была моя судьба. Только — чем кончится??... Меня — все меньше и меньше... Остается только мое основное нет». Меркурьева с Кочетковыми откликаются на это самым человеческим образом: приглашают Цветаеву с сыном на лето в 1941 году к себе в Старки. В десятых числах июня они списываются, а 22-го начинается война. «Она прожила у нас в Старках перед отъездом две недели и была такая — сама не своя, что чувствовалось что-то недоброе»,— писала потом Меркурьева уже из эвакуации (К. Архипповой, 23 февраля 1942 г.).

Место эвакуации был Ташкент, ехали туда 24 дня, Меркурьева — с воспалением легких. В Ташкенте — голод, холод, теснота, темнота, нервы, ссоры, венок сонетов «На подступах к Москве», письма, каких так много было в войну,— «помогите, вы же можете что-нибудь сделать!» Последняя встреча с Ахматовой (Е. Архиппову, 4 апреля 1942 г.): «Была недолго, как всегда, накинув на голову черное кружево. Оставила, как всегда, черты невероятного, неправдоподобного. Моя ташкентская мука оправдана ею. А жить — трудно, не жить — легче... От кровати до стола еле додвигаюсь... Вообще последняя глава «Книги о Вере Меркурьевой» — лучше Вам ее не писать: сварливая, поедом едящая всех яга, сгорбленная, вся в морщинах, уродливая калека — и злая». Умерла она 20 февраля 1943 года. Подруга пишет: «Похоронили ее на одном кладбище с Черубиной и, по-моему, недалеко от Черубины — тоже над городом». (Черубина де Габриак, как известно, умерла в том же Ташкенте, в ссылке, в 1928 году). «Там чудесный вид на горы, целую цепь гор. Был ясный солнечный день, и горы были как на ладони» [1].

М. Л. ГАСПАРОВ

---

[1] Стихи и письма Веры Александровны Меркурьевой печатаются по рукописям, хранящимся в ЦГАЛИ, ф. 2209 (Меркурьева), ф. 1458 (Архиппов) и др.

Веселая

Из цикла «Души неживых вещей»

Черным окошко занавесила,
Белые две лампы зажгла.
Боязно чего-то и весело —
Не перед добрым весела.

За день-то за долгий намаешься,
Ходишь по людя́м по чужим.
К маленьким пойдешь ли —
спокаешься,
Вдвое спокаешься — к большим.

Дай-ка оденусь попригляднее,
В гости пойду к себе самой.
Будет чуднее и занятнее
Речи вести с самой собой.

— Милая, вы очень фривольная.
— Милая, я — на колесе.
— Бедная, есть средства —
безбольные...
— Бедная, пробовала все.

— Нежная, где друг опечаленный?
— Нежная, заброшен, забыт.
— Певчая, где голос ваш
хрустальный?
— Певчая, хрустальный — разбит.

— Порченая, знахаря надо бы.
— Порченая, знахарь-то — я.
— Гордая, есть пропасти адовы.
— Гордая, и там я — своя.

— Грешная, а Бог-то, а любящий?
— Грешная. Знаю. Не дано.
— Нищая, на гноище, в рубище.
— Нищая, верно и смешно.

Что уж там громкие названия,
Жалкие, жуткие слова.
Проще — бесцельное шатание,
Правильней — одно, а не два.

Сердце, разбившись, обнаружится
Обручем игрушки — серсо.
Весело взвивается, кружится,
Прыгает со мной — колесо.

17 декабря 1917

Как все

Евг. Архиппову

— Живи, как все! — это мило,
Но я и жила, как все:
Протянутая, шутила
На пыточном колесе.

Пройдя до одной ступеньки
Немой, как склеп, нищеты,—
Как все, я бросала деньги,
Голодная — на цветы.

Весь день на черной работе
Замаливала грехи,
Как все — в бредовой дремоте
Всю ночь вопила стихи.

Как все, любившему снилась
Тяжелым сном на беду.
За ярость дарила милость,
Как все — любовь за вражду.

Ступив своей жизни мимо,
Навстречу смертной косе —
Давно я живая мнимо
И только кажусь, как все.

1922

Бабушка русской поэзии

Автопортрет

Полуседая и полуслепая,
Полунемая и полуглухая,
Вид — полоумной или полусонной,
Не говорит — мурлычет монотонно,
Но — улыбается, в елее тая.

Свой бубен переладив на псалмодий,
Она пешком на богомолье ходит
И Зубовскую пустынь посещает,
Но если церковь цирком называет,
То это бес ее на грех наводит.

Кто от нее ль изыдет, к ней ли внидет,—
Всех недослышит или недовидит,
Но — рада всякой одури и дури,—
Она со всеми благолепно курит
И почему-то ладан ненавидит.

Ей весело цезуры сбросить пояс,
Ей — вольного стиха по санкам полоз,
Она легко рифмует п л ю с и п о л ю с,
Но — все е е н е, н е т и б е з, и п о л у —
Ненужная бесплодная бесполость.

Июнь 1918

Сказка про тоску [1]

1

Брожу вокруг да около
Ступенчатых сеней,
Фениста — ясна сокола
Жду много, много дней.
Жила я белой горлицей
За каменной стеной,
Молчальницей, затворницей,
Шестнадцатой весной.
Забуду ль, как на зореньке
Слетел ко мне Фенист —
В моей светелке-горенке,
Лучист, перист, огнист?
Забуду ли, доколе я
Не пронзена стрелой,
Глаза его соколии,
Руки его крыло?

---

[1] Вариант заглавия: «Сказочка обо мне».

2

Что дождик, слезы капали,
Что росы на лугах;
Догнать ли ветра на поле,
А птицу в облаках?
Пошла путем-дороженькой
Соколика искать,
Изнеженною ноженькой
По тернию ступать.
Мне беличьи, мне заячьи
Тропинки по пути,
Всем кланялась, пытаючи,
Где Ясного найти?
Не знали — ни соломина,
Ни папороть, ни ель.
Но сердце привело меня
За тридевять земель.

3

Мой Сокол в крепком тереме
У лютой у Тоски,
За десятью за дверями
Со двадесять замки.
«Докучница, разлучница,
Ты двери отопри,
Дай видеть ясный луч лица
И — все мое бери».
Пустила злая, жадная
Три ночи ночевать,
Три ночи непроглядные
Фениста миловать.
Купила те три ноченьки
Я дорогой ценой:
Прокинулись, точь-в-точеньки,
Я — ведьмой, ведьма — мной.

4

Свою из-под убруса я
Ей косу отдала,
И стала ведьма — русая,
А я — как лунь бела.
Сменили исподтишенька
Румянец щек и уст,
Она горит, как вишенка,
А я — корявый куст.
Сняла из-под мониста я
Свой голос молодой,
Та — птица голосистая,
А я — шиплю змеей.
Не знала ведь доселе я,
Меняяся легко,
Что быть тоске — веселием,
Веселию — тоской.

5

У милого крылатого
Две ночи проводить,
Хмельного иль заклятого
Ничем не разбудить.
Напрасно разбирала я
По перышку крыло,
Напрасно целовала я
И в очи и в чело.
Ах, дубу ли, высоку ли
До травки у косы?
Фенисту ль — ясну соколу
До брошенной красы?
На третью ночь — единою
Слезою изошла,
И сердце соколиное
Насквозь она прожгла.

6

Взглянул — я тоже глянула,
Не охну, не вздохну.
А сердце разом кануло
Да камешком ко дну.
Ступила безнадежно я,
Как в омут по края:
Я — верная, я — прежняя,
Я — милая твоя.
И слышу, точно с башни, я
Сквозь полымя и дрожь:
— Ты старая, ты страшная,
Я молод и пригож. —
Пошла обратно маяться,
Одна, одним-одной.
А Сокол утешается
Да с молодой женой.

Сентябрь—ноябрь 1917

* * *

Без лета были две зимы,
Две мглы, две темноты.
Два года каторжной тюрьмы,
Два года рабской немоты
Я вынесла. А ты?

Я не сдаюсь. Смеюсь, шучу
В когтях у нищеты,
Пишу стихи, всего хочу,
Как хлеба — красоты.
Я не грущу. А ты?

В двухлетней пляске двух теней —
Обмана и Тщеты
Я вижу только сон о сне
Последней пустоты.
И я — свой сон — как ты.

1920

Стансы

У двери каменные гости —
К нам Смерть и Страх на последях.
И люди-тени, люди-трости
На непомерных площадях.

Ребячьи руки точно спицы,
Голодной птицы стук в окно.
Мы скоро скажем: дети, птицы —
Да, это было, но давно!

Родная, встань, всплесни руками —
Ты детям хлеба не дала.
Но над зарытой — только камень,
На погорелой — лишь зола.

Ведь правда нам была дороже
Тебя и дома твоего.
Неужто правда — дело Божье,
А человечье — естество?

Нас неготовыми доспели
Проговорившие грома.
Покров нам — каменные щели,
Тяжелоярусы — дома.

Мы молча ждем, могилу вырыв,
Удару шею обнажа —
Как раб на плахе ждет секиры,
Как вол на бойне ждет ножа.

Как вол на бойне, раб на плахе —
Связали нас, зажали рот,
И в горьком прахе, в смертном страхе
Молчит поэт и нем народ?

Не будет так. Клянусь гробами,
Уже раскрытыми для нас:
Порабощенные рабами,
Мы им споем в последний раз.

Споем, что прав державный лапоть,
Венцы сегодня свергший ниц,
Но завтра — слезы будут капать
На сгибы Пушкинских страниц.

Споем, что ветхи краски партий,
И сквозь поблекшие листы
Проступят вечных знаки хартий —
Все те же звезды и цветы.

Споем, что слово правды — с нами,
Что слова жизни — страшен гнев,
Что тот, кто бросил в слово камень, —
Не оживет, окаменев.

На лобном месте, веку злого
Лихие вины искупив,
Мы верно сдержим наше слово,
Не изменив, не отступив.

Совьем лирические бредни
В созвучий вольных коловерть —
И кончим ямб, свой ямб последний,
Прощальной рифмой к слову: смерть.

Москва, август 1918

* * *

Был вечер утру солнца равен —
Пронизан светом каждый миг,
И в старой лавке старый раввин
Перебирал страницы книг.

«Находит Бог свои утраты
На дне морей, в песках пустынь
И возмещает седьмикраты
Он оскорбителям святынь.

Но если мы падем на лица
Свои у страшных Божьих ног —
Он отомстит и примирится:
Не вечен гнев, но вечен Бог».

Лоскутьев темные отрепья,
Бумаги шелест, звонкий торг —
И строгих рук великолепье,
И глаз экстатика восторг.

А рядом — город: в шума лаве
Гудит мотор, звенит трамвай.
О старый равви, мудрый равви,
Напрасных снов не вызывай.

Смерть поколенья — смерть и Бога.
Что новый род — иной кумир.
Но наша — в вечности дорога,
Не вечен Бог, но вечен мир.

И будем век мы тщиться всуе
Сойти с дороги слепо той,
И ужасаясь и любуясь
Мирскою буйной лепотой.

И нам у сонных побережий
Покоя смерти не вкусить,
Моляся Времени о еже
Нам нашу Вечность износить.

20 августа 1917

Из цикла «Осталась». На смерть сестры

Свидание

Села рядом, шубки не снимая,
Куталась платком.
Говорила: «За тобой пришла я,
Жить ко мне пойдем».

Спрашиваю: «Что с собою взять-то,
Что мне уложить?»
Отвечала: «Не бери ты платья,
Нам не износить».

Спрашиваю: «Что захватим на дом,
Что у тебя есть?»
Отвечала: «Ничего не надо,
Нам не пить, не есть».

А потом задумалась, вздохнула:
«Нет, тебе нельзя».
И в тумане белом затонула
Млечная стезя.

Нашей печки горячо дыханье,
Ровен огонек,
А в глазах расплывшийся в тумане
Серенький платок.

Без тебя мне не носить цветного,
Сладкого не есть.
Приходи скорей за мною снова,
Чтоб к себе увесть.

3 марта 1932

Она пришла

— Ты готова? Так со двора мы,
Из чужого — к себе домой.
— Погоди, есть малыш упрямый,
Беспокойный и дорогой.
— У своей здесь ребенок мамы,
А твоя тебя ждет со мной.

— Ты готова? — не опечалясь,
От земного проснуться сна?
— Погоди, кто со мной скитались,
Будет им слеза солона.
— У твоих и свои остались,
У меня — только ты одна.

— Ты готова — от здешних, прежних
Без оглядки со мной уйти?
— Погоди до проталин вешних,
Дай подснежникам зацвести.
— Для чего тебе здесь подснежник?
На могилу мне принести?

— Ты готова? Очнись, воскресни,
Ночь кончается, близок свет.
— Погоди, в неволе, в болезни
Мой последний стих недопет.
— Ты такие там сложишь песни,
Для которых и слов здесь нет.

— Ты готова? — А наша кошка,
Искалеченный пыткой зверь?
Ей без нас в подполье дорожка —
На голодную смерть.
Не поймет до конца безножка,
Почему не отворят дверь. —

И задумалась, и сказала,
Легким вздохом грусть затая:
— Кто забудет о твари малой,
Позабуду о том и я.
Оставайся, — она сказала
И ушла неслышимая.

13 мая 1932

Поминальная суббота

А вдруг — о нас боясь позабыть,
Нас помянуть — покойников забота?
Родительская наша з д е с ь суббота,
Т а м — детская суббота, может быть?

И мы для них — давным-давно мертвы,
Хоть нас они сегодня поминают,
И на небесных папертях читают
Плачевные синодики живых?

От нас ли к ним, от них ли к нам — призыв,
Двойного поминанья шепот встречный.
И вечной памяти, и жизни вечной
Для мертвых просят мертвые — забыв?

1918

* * *

Каштан, ссыпающий золото
В зеленую дрожь пруда, —
Ревниво память уколота —
Такой же, как тот — тогда.

Мучительно разрешается
Сожженных губ немота,
И песня смолой скипается
Такая же — как тогда.

Глаза под ресницы прячет он.
Затмится, взойдя, звезда, —
И сердце зажимом схвачено
Тоски — такой, как тогда.

Неправда. Не повторяется
Ни лист, ни любовь, ни сказ,
И все, что с нами сбывается, —
Свершается в первый раз.

И если солнце померкнуло
При свете вот этих глаз —
Мы жизнь разобьем, как зеркало,
В последний и первый раз.

31 августа 1927

Из цикла «С песенной клюкой»

Давно я знахарки личину
Таскаю с песенной клюкой,
Давно пора бы в домовину
Костям усталым на покой.

Да не уйти, пока другому
Не передашь проклятый дар —
Той песни жуткую истому,
Тот непроглядный морок чар.

И я с мольбой, и я с тоскою
Пытаю по чужим дворам:
Кому я слово колдовское,
Кому я силу передам?

Она иному не по нраву,
Она другим невмоготу.
Кто бросит счастье, как забаву,
За окаянную мечту?

Ответа нету от неровни,
Не по плечу им тягота.
Но будет время — выйдет кровник
И примет дух из уст в уста.

И станет он, как я, по чину
Глухою ночью ворожить,
И заговаривать кручину,
И сердце дремою сушить.

А спозаранок — выйдет в поле;
Как я, поклонится горам —
И хлынет песней властной воли
По четырем лихим ветрам.

12 сентября 1925

* * *

Анне Ахматовой

Из тусклой створки голос пел протяжный,
Как говор волн в раковине влажной.
И были в нем созвучия слиянны,
Как над водой встающие туманы.
Он тосковал разлуки ожиданьем,
Он укорял несбыточным свиданьем,
Он заклинал обетом непреложным,
Он искушал ответом невозможным.

И заклинанию — сердцебиенье.
Сжимая горло, застилая зренье,
Отозвалось — беззвучней, бестелесней
Неслышным отголоском, вздохом, песней, —
Клянясь тоской ночного расставанья
Не знать забвенья на путях скитанья,
Пока иного утра совершенство
Не озарит бессонное блаженство.

2 декабря 1934

За то, что в ней

Анне Ахматовой

За то, что вот — качнется в клетке комнат,
    Прильнет к решетке стен —
И кажется, стоит наш утлый дом над
    Прибоем гулких пен.

За то, что вся прозрачность, вся бездонность,
    Вся небосклона синь —
В ней, через всю неверность, всю влюбленность
    Волны, приливной вхлынь.

За то, что в ней безжалостность и нежность
    В алмазной призме, и
Слились в нечеловеческую смежность
    Голубки и змеи.

За то вот, что над ней, восстав из рани
    Времен, прошла гроза,
Не ослепив, смертельно не поранив
    Прозрачные глаза.

За то, что вновь — и непрестанно внове —
    При взлете этих рук
Заслышим мы в своем биеньи крови
    Иного сердца стук.

И новым сердцем, вещим и смиренным,
    Поймем, что с нами — та,
Кем пленены, нерасторжимым пленом,
    И песнь и красота.

За красоты поющее сиянье,
    За песни светопад —
Как не отдать последнее дыханье
    И свой последний взгляд

Вот этим раковинкам розоватым
    На зыблемых перстнях,
Заброшенных — каких морей раскатом? —
    В наш побережный прах.

17 февраля 1936

* * *

Я пришла к поэтам со стихами,
Но они стихи слагали сами.
Было им не до меня, конечно,
И, спеша, они сказали: вечно.

Я — к друзьям, они меня читали,
Но друзья продукты покупали,
А купить так дорого и трудно,
И, грустя, они сказали: чудно.

Я — к чужим: примите и прочтите,
И поверьте мне, и полюбите.
Но чужие вежливы фатально,
И, вздохнув, сказали: гениально.

Где же быть вам, где вам быть уместней,
Бедные, бездомные вы песни?
Что ж у вас по целому по свету
Своего родного дома нету?

Спрячьтесь в землю, станьте там магнитом —
Но земля сокрыта под гранитом.
Сгиньте в небе молний мятежами —
Но закрыто небо этажами.

Я в окно вас, я вас ветру кину,
Вашему отцу и господину.
Внук Стрибожий веет, песни носит,
В чье-нибудь он сердце их забросит.

Отзовется чье-то сердце эхом,
Отольется чьей-то песне смехом, —
А не знает, с кем смеется вместе,
Как и мне о нем не чаять вести.

1920-е годы

Публикация М. Л. ГАСПАРОВА

Гелий ШМЕЛЕВ,
член-корреспондент ВАСХНИЛ

Хозяин?.. Работник?..

В настоящее время много говорится о необходимости вернуть труженику чувство хозяина средств производства. В современной публицистической и научной литературе все чаще звучат слова «наемный работник», «поденщик». В этой связи и возникает вопрос о том, что же такое наемный труд и насколько приложимо понятие наемного работника к современному труженику.

Прежде всего что такое наемный труд? Очевидно, можно в основном согласиться с определением из экономической энциклопедии, характеризующим наемный труд как производственное отношение, возникающее между собственником средств производства и работником, продающим свою рабочую силу во временное пользование в обмен на стоимость, общественно необходимую для воспроизводства этой рабочей силы.

Однако допустим ли наемный труд при социализме?

Вопрос этот может показаться чисто риторическим. Если исходить из теоретических постулатов и государственно-правовых норм, то наемный труд недопустим, ибо он означает эксплуатацию человека человеком, иную, отличную от социализма систему производственных отношений. Не случайно в той же энциклопедии, как и в учебниках политической экономии, разговор о наемном труде обращен в прошлое — к капиталистическому способу производства. Действительно, именно при капитализме наемный труд становится всеобщим явлением. Это объясняется тем, что трудящийся при капитализме, будучи лично свободен, «свободен» и от средств производства. Если бы он обладал ими, то выходил не на рынок труда с предложением рабочей силы, единственного товара, которым располагает, а на рынок товаров, производимых с помощью лично ему принадлежащих средств производства. Капиталистический способ производства, разоряя массу мелких производителей, создает обширный рынок труда. Так утверждает теория. Совпадает это в основном и с современной практикой, хотя здесь необходимы и некоторые уточнения. Сегодня значительная часть мелких и средних фермеров, не переставая быть владельцами хозяйств, следовательно, и средств производства, имеет дополнительный доход вне сельского хозяйства, совмещая труд на ферме с работой в межсезонье по найму в других отраслях производства. Именно этот дополнительный доход и позволяет многим мелким собственникам оставаться «на плаву» в качестве предпринимателей. И продажа рабочей силы не обязательно происходит лишь в пределах возмещения стоимости, необходимой для ее воспроизводства. Она может осуществляться и на более высоком уровне, тем не менее обеспечивая ее потребителю, капиталисту, относительно значительную прибыль.

Но каково же все-таки положение с наемным трудом при социализме? Существует ли у нас рынок труда?

К наемному труду в условиях социализма в теории долгое время наблюдалось в лучшем случае то же отношение, как и к товарному производству и рынку при социализме: они вроде бы и есть, но в то же время лишь видимость, особая субстанция, которая если и может признаваться, то с многочисленными оговорками, выхолащивающими саму ее суть.

Рассмотрим же проблему найма рабочей силы применительно к основным формам собственности при социализме — общей (государственной, кооперативной) и индивидуальной (частной и личной).

Каков характер отношений труда на государственных предприятиях и в учреждениях? Выступают ли они в данном случае в качестве отношений найма или нет? По-видимому, да. Так, желая поступить на работу на государственное предприятие, я выясняю, на какое рабочее место могу претендовать, какие там условия труда, уровень оплаты, льготы. Сравниваю с другими вариантами устройства на этом и других предприятиях. Выбираю. Подаю заявление. Чем не наем?

Могут против этого возразить, сославшись на звучащий как рефрен и повторяющийся во всех учебниках политэкономии тезис о том, что при социализме трудящиеся являются собственниками общественных средств производства и

поэтому не могут наниматься к самим себе, что в условиях социализма при государственной собственности на средства производства каждый работает на себя и свое общество. Аксиоматичность подобных положений давно не вызывает сомнений. Но задумаемся: если бы работник непосредственно и всегда работал на себя и ощущал это, то не было бы остроты проблемы сочетания государственных, коллективных и личных интересов в производстве и общественный интерес в основном совпадал с личным. Не было бы проблемы отчуждения работника от средств производства, проблемы, которая со всей остротой стоит пред нами сегодня. Не было бы безразличного, сохранившегося со времени национализации средств производства отношения к государственной собственности как к ничейной.

Если бы труд работников в государственном секторе полностью совпадал с интересами общества, если бы он направлялся ими как собственниками средств производства, мы, очевидно, не имели бы тех огромных не востребованных гражданами накоплений залежалых, не пользующихся спросом товаров, не имели бы плохо учитываемых потерь продукции, которые в сельском хозяйстве доходят до уровня каждого четвертого-пятого годового урожая за пятилетие. Если бы хозяин производства и орудий труда у нас действительно совпадал с фактическим работником в одном лице (возьмем ли мы отдельного трудящегося или всю их массу), он не потерпел бы многолетнего содержания на своем иждивении работников сферы управления, доходящих числом до умопомрачительной, не имеющей аналогов в мировой истории цифры в 18 миллионов человек, расточительной оплаты массы не только не нужных, но и вредных для народнохозяйственных интересов чиновников наряду с действительно приносящими пользу управленцами и специалистами.

А разве мог бы народ и каждый из нас в отдельности, будучи сособственником средств производства и национального богатства страны, мириться с калечением Минводхозом земли, расточительством им народных денег да еще поощрением за подобное главы ведомства высоким орденом?!

Если рассматривать отношения найма работника на государственное предприятие как некую видимость, как теоретический нонсенс, исходя из того, что работник, являющийся совладельцем принадлежащих государству средств производства, не может продавать сам себе рабочую силу, то элементарная логика требует идти и дальше и объявлять в порядке известной очередности блефом, видимостью и другие отношения. При этом все последовательно становится нереальным, как в театре абсурда. Например, мы сейчас говорим о необходимости распространения арендных отношений. Но аренда средств производства собственником их, выступает ли в качестве арендатора отдельный работник или трудовой коллектив, является, исходя из этой концепции, в лучшем случае видимостью, в худшем — сплошным абсурдом. А рынок потребительских товаров, произведенных государственной промышленностью, также есть определенная видимость, ибо эти товары еще до того, как попадают ко мне в ходе их реализации, принадлежали мне как собственнику государственных средств производства, и так далее и тому подобное.

«*Все* граждане превращаются здесь в служащих по найму у государства... *Все* граждане становятся служащими и рабочими *одного* всенародного, государственного «синдиката»,— писал В. И. Ленин, рассматривая отношения между государством и трудящимися при социализме.

Я как совладелец общественных средств производства вроде бы не могу нанять самого себя, но предприятие, на которое желаю устроиться, может принять или не принять меня на работу. Реальная жизнь не совмещается с теорией, а в анализе производственных отношений следует идти от жизни.

Очевидно, в государственном секторе производства отношения с работниками есть отношения трудового найма, так они и выступают, по существу, с правовой стороны, которая есть лишь отражение реальных экономических отношений. В данном случае собственником рабочей силы является сам трудящийся, поступающий на работу. Противники рассмотрения труда в общественном секторе как отношений найма считают, правда, что таким собственником является государство, общество. Но эти взгляды вряд ли могут быть признаны серьезными особенно в период раскрепощения личности, в условиях свободного выбора трудящимися сферы деятельности.

Ну, а кто же все-таки является работодателем: само государство или государственное предприятие, что в общем-то далеко не одно и то же?

Функции работодателя до последнего времени в значительной мере сосредоточивались в руках государства, поскольку именно оно, а не само предприятие определяло количество работников (через централизованно устанавливаемые штаты), их оплату труда (фонд заработной платы, тарифы, оклады, размеры премий и т. д.). При этом предприятие или учреждение в лице их администрации выступает лишь представителем государства во взаимоотношениях между ним и работником.

Реальная передача важных правомочий по распоряжению государственной собственностью самим предприятиям (в колхозах восстановление прав на владение кооперативной собственностью, узурпированных различными ведомствами, партийными органами) должна поставить на принципиально иную основу и анализ трудовых отношений. Уже сейчас предприятия и учреждения, переходящие на

подлинный хозрасчет, включая хозяйственную самостоятельность, на арендные отношения с государством, сами определяют штаты, самостоятельно решают вопросы оплаты труда и прочее.

К пониманию необходимости всего этого мы приходим не просто. Именно самостоятельность в формировании кадров и установлении форм организации и оплаты труда лежала в основе эксперимента известного новатора И. Н. Худенко в Казахстане. И она же, не воспринимавшаяся чиновниками от земледелия, стала причиной трагического конца эксперимента и гибели его автора.

Помимо обычного поступления на постоянную работу по месту жительства на основе трудового договора в государственном секторе экономики существуют и другие формы трудоустройства. Что, как не наем, представляет собой система оргнабора на различные новостройки страны, работа по так называемому вахтовому методу, подряжение на работу временных строительных бригад!

В сельском хозяйстве относительно распространен и традиционно применяется сезонный наем работников совхозами. Из-за недостатка средств производства и постоянных работников совхозы в первые годы Советской власти нередко прибегали к испольщине, передаче земли в аренду на сторону. В качестве сроковых работников нанимались крестьяне, бывшая помещичья челядь, горожане, батраки, ранее работавшие на помещиков.

В середине 20-х годов число постоянных рабочих и служащих в совхозах достигает 75 тысяч человек. В то же время в течение летнего сезона общее количество занятых в совхозах с учетом сезонных и временных (поденных) рабочих переваливает за полмиллиона. Как видим, совхозы того времени вели свое хозяйство преимущественно за счет привлеченных работников.

Система срокового найма работников совхозами просуществовала до настоящего времени, однако долгое время отсутствовали здесь четкие правовые основы, регулирующие взаимоотношения этих временных работников с предприятиями.

Следует сказать также и о расширяющемся кооперативном секторе. Это уже другая форма собственности, и отношения членов кооператива как его собственников не могут не отличаться от отношений с кооперативом сторонних граждан, выполняющих для него работу. Последние и с чисто практической, и с теоретической стороны носят характер трудового найма. Как записано в «Законе о кооперации в СССР»: «Кооператив может привлекать для работы по трудовому договору граждан, не являющихся членами кооператива, с оплатой их труда по соглашению сторон». При этом количество занятых и максимальный размер заработков членов кооператива и других работников не ограничиваются.

Следовательно, и при социализме существует «рынок труда», продажа работником своей рабочей силы в соответствии со спросом и предложением, превращение ее в товар.

Рассматривая кооперацию как форму выделения крестьянами в личных интересах части своего хозяйства для организации ее в более крупных масштабах, А. В. Чаянов отмечал: «Кооперация крестьянская, по нашему мнению, представляет собой весьма совершенный организованный вариант крестьянского хозяйства, позволяющий мелкому трудовому хозяйству, не разрушая своей индивидуальности, выделить из своего организационного плана те его элементы, в которых крупная форма производства имеет несомненные преимущества над мелкой, и организовать их совместно с соседями на степень этой крупной формы производства, часто используя наемный труд». В то же время кооперация отдельных отраслей и функций крестьянского хозяйства позволяет обойтись без найма рабочей силы или при меньшем ее количестве, чем в условиях исключительно единоличного ведения хозяйства. Это достигается как за счет рационального разделения труда и повышения его производительности в условиях сложения трудовых усилий, так и за счет больших возможностей совместного приобретения и проката средств производства, замещающих живой труд.

В колхозах нашей страны в начале 80-х годов работало около полумиллиона наемных работников, или более трех процентов к общей численности занятых в общественном хозяйстве. Очевидно, теперь наемный труд в связи с распространением кооперации будет использоваться более широко. Возникновение новой организационной структуры колхозов — превращение их в ассоциацию небольших кооперативов, своеобразных «колхозов в колхозах» — порождает и новые отношения со специалистами, находящимися в штатах колхозов. Мини-кооперативы нанимают их на работу.

Более широко, чем у нас, используется наемный труд в кооперативах ряда братских стран, где, кстати, ему обеспечиваются более четкие правовые гарантии. В сельскохозяйственных кооперативах Польши доля наемных работников в общем количестве занятых составила в 1982 году около 13 процентов, Венгрии — около 22 (в середине 70-х годов — 12). Разрешается использовать наемный труд в определенных границах и объединениям мелких ремесленников.

В последнее время расширяются права наемных работников в хозяйственной сфере. Так, в Польше предусматриваются определенные организационные формы, посредством которых наемные работники могут влиять на дела кооператива. Хотя управление кооперативом относится к компетенции его членов и осуществляется через общее собрание, наблюдательный совет и правление, комитет самоуправления наемных работников может выражать свое мнение по вопросам

управления, планирования хозяйственной, социальной и культурной деятельности, вносить предложения по персональному составу руководства предприятия, взаимодействовать с ним в определении способов выполнения стоящих перед предприятием задач, участвовать через своих представителей в заседаниях наблюдательного совета кооператива, а также осуществлять контрольные функции.

В некоторых странах наемный труд в кооперативах находится или находился под запретом. Так, одним из принципов, на основе которого базировалось создание кооперативов в Югославии, было запрещение использования наемной рабочей силы. В Болгарии малым производственным коллективам, а именно бригадам, перешедшим на коллективный подряд, мелким кооперативам, работающим по договорам и заказам предприятий, а также отдельным лицам и коллективам граждан, взявшим в аренду малые хозяйственные объекты (небольшие магазины, торговые киоски, предприятия общественного питания, мастерские по оказанию бытовых услуг, хлебопекарни, склады, камеры хранения и т. д.), вплоть до последнего времени запрещалось пользоваться наемным трудом. Но это скорее исключения, чем правило.

Итак, наем работников коллективом трудящихся в большинстве социалистических стран допустим и весьма распространен. А как обстоит дело с личным наймом, мы посмотрим дальше.

Сразу следует определить, о чем здесь идет речь. Что касается личного обслуживания отдельных граждан, то этот вид найма никогда не прерывался: домашние работницы, няни, сиделки при больных — эти виды трудовой деятельности существовали всегда.

Построить дом, гараж... Для этого также можно нанять работников вполне легально из числа тех, кто занимается индивидуальной трудовой деятельностью. Но как обстоит дело с личным наймом работников, связанным не с оказанием бытовых услуг, а с производством сельскохозяйственной или иной продукции, с определенным промыслом?

Мы долгое время были против этого, причем не только в отношении единоличного крестьянского хозяйства, но и личного подсобного.

В проекте Примерного устава колхоза, одобренном IV Всесоюзным съездом колхозников, до его окончательной редакции была следующая запись: «Приусадебный участок не может... обрабатываться с применением наемного труда». Между тем основное назначение личного подсобного хозяйства — обеспечение потребительских нужд семьи в основных продуктах питания. Поэтому-то и приусадебный участок имеет размеры не в несколько гектаров, а всего лишь соток в 30 у колхозников, на треть меньше у работников совхозов, у прочих категорий населения нет и того. Именно отсюда колхозные семьи получают для домашнего стола от 60 до 80 процентов таких необходимых продуктов, как молоко, мясо, яйца, овощи, фрукты, картофель. Безусловно, в полноценных семьях сельских жителей, где есть к тому же трудоспособные подростки, особых сложностей с обработкой участка и уборкой урожая не возникает, и здесь, очевидно, нет необходимости прибегать к помощи сторонних помощников. Появляется же такая потребность и необходимость в семьях престарелых или одиноких колхозников; а таких у нас на селе не десятки, а многие сотни тысяч. Силы стариков, увы, с годами убывают, и им все труднее становится управляться со своим садом-огородом. А ведь в период проведения наиболее важных работ потребность в трудовых затратах в подсобных хозяйствах возрастает в два-три раза.

Так что, пока у нас отсутствует отлаженная система общественной помощи в ведении личного подсобного хозяйства, пока недостаточна обеспеченность хозяйств средствами малой механизации, потребность во временном найме существовать будет. Ничего плохого, а тем более не соответствующего социализму в использовании дополнительной рабочей силы на таких началах нет. При доработке проекта Примерного устава колхоза пункт о запрещении наемного труда в личном подсобном хозяйстве из него был исключен. Но ведь были защитники его сохранения. И на самом съезде колхозников этот пункт не вызывал возражений.

Многими, к сожалению, еще разделяется мнение, что услуги наемных лиц при сооружении и ремонте хозяйственных построек, обработке приусадебных участков, забое скота следует относить к несоциалистическим видам деятельности. Между тем очевидно: в обычных условиях это есть оплаченная услуга, не более, а не эксплуатация чужого труда.

Кстати, говоря о найме рабочей силы, нельзя рассматривать его в некоем усредненном варианте. Еще В. И. Ленин в своем выдающемся труде «Развитие капитализма в России» отделял наем рабочей силы крестьянами «из нужды», т. е. по недостатку семейных работников, от «предпринимательского найма» рабочих.

Принципиальные различия между двумя формами найма в крестьянские хозяйства нашли отражение в декрете об организации и снабжении деревенской бедноты, утвержденном ВЦИК в июне 1918 года. В этом документе, содержавшем предложенный Лениным параграф о том, что в комитеты бедноты избирать и быть избранными могут «жители сел и деревень, за исключением заведомых кулаков и богатеев, хозяев, имеющих излишки хлеба или других продовольственных продуктов, имеющих торгово-промышленные заведения, пользующихся батрацким или наемным трудом», было примечание, что «пользующиеся наемным трудом для ведения хозяйства, не

превышающего потребительской нормы, могут избирать и быть избираемы в комитеты бедноты».

Возникает и другой вопрос: может ли нанимать рабочую силу семья, берущая в аренду несколько гектаров земли для производства на договорных началах, скажем, овощной продукции? Как тут поступить: выделять ли участки, исходя из возможностей отдельной семьи проводить своими силами все работы в расчете на период «пик», или же исходить из той площади, которую одна семья может обеспечить своим трудом на протяжении большей части года, но без учета относительно кратковременного пикового периода, а в последний предоставить ей возможность, подобно сельскохозяйственному предприятию, использовать дополнительную рабочую силу, сообразуясь с потребностью в ней? Вспомним, еще К. Маркс отмечал, что «сельскохозяйственных рабочих всегда оказывается слишком много для средних потребностей земледелия и слишком мало для исключительных или временных его потребностей». Вопрос этот, повторяем, принципиальный, существенно влияющий на размеры закрепляемой площади. В случае прихода к первому решению часть трудового потенциала семьи оставалась бы недоиспользованной на протяжении многих месяцев, при втором — вроде бы нарушается «чистота» производственных отношений.

Постепенно в подходе к этому вопросу стал одерживать верх здравый смысл. Так, в комментариях по поводу арендных отношений, данных газетой «Сельская жизнь» от 31 августа 1988 года, уже отмечается, что привлечение дополнительной рабочей силы арендаторами допускается как исключение на период сезонных работ. Оплата труда осуществляется по согласованию сторон и не ниже общепринятых выплат за аналогичные работы. Но почему же только на сезонные работы?

Заметим попутно: опыт самых разных стран показал, что наемный труд в сельском хозяйстве менее производителен, эффективен, а поэтому и менее предпочтителен по сравнению с трудом семейным, с деятельностью работника-хозяина, готового трудиться с полной отдачей сил. Поэтому хороший хозяин прибегает к нему лишь в случае крайней необходимости.

Однако теперь пора более подробно остановиться и на возможности найма при индивидуальной трудовой деятельности.

У нас такая возможность исключается. В законе «Об индивидуальной трудовой деятельности» записано: «Не допускается индивидуальная трудовая деятельность с привлечением наемного труда...» В Конституции СССР в ст. 17, где говорится об индивидуальной трудовой деятельности, отмечается, что она допускается «исключительно на личном труде граждан и членов их семей». Поэтому и поведем мы речь не о нашем опыте, а о практике других социалистических стран.

В ГДР на предприятиях, находящихся в индивидуальной собственности, разрешается использовать, кроме членов семьи, десять наемных работников и трех учеников. В Польше можно иметь 15 работников, в Югославии до десяти и так далее.

В отдельных сферах экономики Югославии, скажем, в гостиничном обслуживании, ныне допускаются или предполагаются относительно большие масштабы найма рабочей силы.

Интересно, что в период национализации средств производства в европейских странах, приступивших к строительству социализма, критерием национализации в некоторых из них служила численность рабочих на предприятиях меньшая, нежели допускается сейчас. Так, в Венгрии национализировались предприятия с числом рабочих от десяти (а в некоторых отраслях даже с пятью), в Югославии были национализированы практически все предприятия, кроме кустарно-ремесленных.

В КНДР, МНР, на Кубе, в ЧССР, Албании наемный труд при индивидуальной трудовой деятельности, как и у нас, запрещен. Допускается только обеспечение мелких предприятий, находящихся в индивидуальной собственности, семейной рабочей силой владельца (арендатора) предприятия.

Во многих социалистических странах происходит передача в аренду отдельным лицам, семьям, группам граждан мелких мастерских, ателье, предприятий общественного питания и магазинов государственного сектора. В основном сдают внаем (собственность государства на них сохраняется) малорентабельные или убыточные заведения. Арендная плата, устанавливаемая за их использование, как правило, выше прибыли, получаемой этими заведениями до передачи внаем.

Цель передачи в аренду мелких торговых точек и иных предприятий сферы услуг, помимо роста доходов от них, заключается в улучшении снабжения населения, повышении культуры обслуживания, эффективности труда, в сокращении административных расходов, привлечении личных сбережений к финансированию производства и торговли, освобождении государственного и кооперативного сектора экономики от производства и реализации экономически невыгодных или маловыгодных товаров и услуг. На этих предприятиях, как правило, может работать большее количество рабочих и служащих, чем на объектах, находящихся в индивидуальной собственности.

Желающие взять предприятия в аренду подходят к этому шагу весьма осмотрительно, тщательно взвешивая возможные выгоды и риск. И тем не менее аренда расширяется. В 1983 году на условиях аренды в Венгрии работало примерно девять тысяч магазинов и точек общест-

венного питания, а в 1986 году — около 12 тысяч с общим числом работающих более 34 тысяч человек.

Арендные формы в той или иной степени получили распространение в ВНР, НРБ, ГДР, ПНР, СРР и ЧССР главным образом в сфере услуг, розничной торговле, общественном питании. Они начинают развиваться и в социалистических странах Азии. В Китае в рамках эксперимента в аренду частным лицам и коллективам передано к концу 1986 года в шести наиболее крупных городах страны около шести тысяч мелких государственных предприятий.

В ряде стран, где разрешен наем рабочей силы на частные предприятия, действует весьма обширная система норм, гарантирующих права нанимающихся в социальной области, а также поддерживающая и усиливающая заинтересованность в том, чтобы обходиться в производстве «семейными» работниками. Например, имеется специальный налог на использование наемной рабочей силы (в ВНР он достигает одной пятой к заработной плате наемных рабочих, а в Югославии даже превышает ее). В некоторых странах предприниматель, использующий наемный труд, лишается отдельных налоговых льгот, ему также снижается уровень социальных выплат (например, в Венгрии оплата больничного листа предпринимателя, нанимающего работников, начинается не сразу от начала болезни, а несколько позже и в зависимости от того, нанимается ли им один человек или больше). В ряде стран уплачиваемый налог за использование наемных работников дифференцируется в зависимости от их количества. На работников частных предприятий распространяется закон о социальном страховании. Им, как и владельцам частных предприятий, обеспечивается пенсия.

В условиях социализма купля-продажа рабочей силы хотя и происходит под регулирующим воздействием государства, однако в значительной мере определяется конкретными условиями на рынке труда, соотношением спроса и предложения на этот специфический товар. Отсутствие безработицы, а тем более дефицит рабочей силы, ведет к тому, что в тех странах социализма, где допускается в ограниченных масштабах наемный труд, условия найма зачастую во многом определяет сам нанимающийся. Напротив, в тех социалистических странах, где не изжита безработица, что прежде всего относится к странам, только вступившим на путь социалистического строительства, во взаимоотношениях нанимающегося и нанимателя господствует последний, хотя и ограниченный правовыми рамками.

Каков же уровень оплаты и социальных льгот работников наемного труда?

Заработки их в европейских странах — членах СЭВ, как правило, выше, чем в общественном производстве. По нашим расчетам, оплата труда наемных работников, скажем, в крестьянских хозяйствах Польши примерно в полтора раза выше соответствующей оплаты в госхозах. Причем она неизменно растет. В 1988 году в ГДР мне довелось познакомиться с заведением мясника Зигфрида Кайзера, высококвалифицированного мастера своего дела, унаследовавшего профессию от отца. Предприятие это производит до 50 видов колбас и ветчины. Туши для разделки хозяин получает непосредственно с мясокомбината, покупая их по государственным ценам. Здесь же в специально оборудованном цехе их разделывают, а изготовленная затем продукция поступает в находящийся в этом же доме небольшой магазинчик. Колбасные изделия и продаются по государственным (розничным) ценам. Прибыль достигается главным образом за счет скорости оборота, небольших накладных расходов, разницы в ценах за сырье и готовую продукцию.

В заведении, включая магазин, кроме самого мясника и его жены, заняты десять работников и три ученика. Оплата труда в день выше, чем на государственном предприятии, большей продолжительности отпуск, социальные льготы такие же, как и в государственном секторе экономики. Помимо этого, Кайзер обеспечивает их бесплатными завтраками и обедами, а также раз в неделю бесплатно отпускает своей продукции на 15 марок (что примерно равноценно выдаче полутора килограммов хорошей колбасы). Правда, рабочий день занятых в его колбасной более уплотнен в отличие от государственного предприятия, но и здесь, как лукаво заметил Кайзер, есть то преимущество, что работники не участвуют в каких-либо утомительных заседаниях и собраниях в конце трудового дня или за его пределами. Отношения между мастером и работниками дружеские. В случае необходимости рабочие могут подменять друг друга. Члены семьи Кайзера трудятся вместе со всеми: сын — в производственном цехе, жена — за кассовым аппаратом.

Регулируются труд, его оплата, социальное страхование наемных работников в частном секторе и ряда других социалистических стран.

Продолжительность рабочего дня наемных работников на частных предприятиях Китая не может быть выше восьми часов. Оплата труда устанавливается по соглашению сторон, но доходы директоров частных предприятий и фирм не должны более чем в десять раз превышать заработки наемных работников.

Нередко задаются вопросом: угрожает ли наем рабочей силы на предприятия, находящиеся в индивидуальной собственности, основам социализма? По-моему, нет. Как я отмечал, в ГДР, где разрешено иметь до десяти наемных работников на одно такое предприятие, в 1986 году в среднем на двух владельцев частных предприятий и членов их семей приходилось трое наемных рабочих и служащих.

Лишь четыре процента частных предприятий в ГДР имеет более пяти работников. В 1987 году в Югославии один наемный работник приходился на двух хозяев, занятых в необобществленном секторе производства (вне сельского хозяйства), а в Венгрии лишь один из четырех индивидуально работающих ремесленников захотел пригласить наемного работника.

Нет, не стремятся, как правило, владельцы мелких предприятий нанять максимально возможное число рабочих и служащих, предпочитая в большинстве случаев обходиться семейной рабочей силой или заменять по возможности дорогостоящую наемную рабочую силу машинами и автоматами.

Трактовка наемного труда при социализме как безусловной формы эксплуатации трудящихся проистекает, по-видимому, из наблюдения отношений купли-продажи рабочей силы при капитализме, с неизменно сопутствующей этому общественному строю массовой безработицей, давящей на рынок труда и ухудшающей условия продажи товара «рабочая сила». Между тем эксплуатация чужого труда, и это демонстрирует наглядно не только капитализм, может иметь место и при отсутствии непосредственного найма рабочей силы. Что же касается отношений найма при социализме, то они регулируются не только трудовыми договорами (договоры могут и нарушаться), но и всей социально-экономической обстановкой. Отсутствие безработицы и, напротив, наличие дефицита рабочей силы в народном хозяйстве большинства социалистических стран, возможность выбора сферы приложения труда не позволяют владельцам мелких предприятий в обход официальных норм навязывать нанимающимся кабальные условия. Напротив, наниматель поставлен в жесткие условия конкуренции за рабочую силу с общественным сектором и должен дополнительной оплатой и прочими льготами компенсировать низкую престижность занятости в необобществленном производстве, невысокую техническую вооруженность труда, зачастую худшие его условия, отсутствие возможности социального продвижения. Поэтому на многих мелких предприятиях частного сектора недостает работников, несмотря на более высокую, чем в обобществленном секторе, оплату труда. Отмеченные факторы обусловливают и более пожилой возраст работников в большинстве частных магазинов и предприятий. При этом, конечно, следует иметь в виду, что интенсивность труда на частных предприятиях также выше и здесь нет платы лишь за присутствие на работе, с которым приходится встречаться в общественном секторе производства.

В идеологической литературе братских стран вопрос социальной оценки использования наемного труда при социализме обычно обходился стороной. Замалчивание оправдывалось кратковременностью этого явления, его несовместимостью (как некоего рудимента) с величественным фасадом уже достигнутого зрелого (развитого) социализма, его действительно небольшими масштабами. Стыдно признаться, но у нас до конца 60-х годов не было диссертаций, посвященных личному подсобному хозяйству. А ведь оно и сейчас дает четвертую часть валовой продукции сельского хозяйства! За все годы Советской власти не было также защищено ни одной диссертации, в которой бы специально исследовались вопросы индивидуальной трудовой деятельности, семейного и индивидуального подряда. Все это рассматривалось в течение десятилетий как доживающее последние дни, темы — как «недиссертабельные», а к тем, кто занимался подобной проблематикой, относились с предубежденностью и подозрительностью. Отмечаю это со знанием дела, поскольку мне довелось в 1970 году защищать докторскую о личном подсобном хозяйстве и изведать на себе все связанные с этим злоключения. Характерно, что когда в 1977 году было принято первое за годы, прошедшие после коллективизации, постановление партии и правительства о развитии личных подсобных хозяйств, полный текст его многие месяцы нигде не публиковался, хотя оно касалось десятков миллионов семей и кто, как не они, должен быть полностью информирован о его содержании.

В 1982 году у нас была создана рабочая группа по подготовке для директивных органов доклада об индивидуальной трудовой деятельности, в которую вошел и я. И опять же, что характерно, в протоколе заседания Межведомственного совета, который возглавлял тогдашний Председатель Госплана Н. Байбаков, даже не решились назвать доклад своим именем. Так и фигурировал он в госплановских материалах анонимным.

А уж сколько замечаний поступало на проект Закона об индивидуальной трудовой деятельности от немалой части депутатов Верховного Совета СССР и членов рабочей группы при Комиссии законодательных предположений, направленных на ограничение этой деятельности! Таких предложений, что впору эту деятельность вообще прикрыть, а не развивать! И хотя эти предложения не прошли, но сам закон, скажу откровенно, оказался хилым. Безусловно, тогда постановка вопроса о возможности использования даже в самых ограниченных масштабах наемного труда была обречена на неизбежный провал. Не прошел на заседаниях рабочей группы даже вопрос об ученичестве.

Разумеется, отсутствие исследований по наемному труду при социализме мешает выработке правильного отношения к нему со стороны широкой общественности. Наши политэкономия и социология зачастую высотой своих теоретических абстракций напоминают движение космического корабля, совершающего витки вокруг Земли на большой от нее удаленности. С этой космической высоты становятся неразличимыми не только отдельные люди, но и их большие группы, фактические взаимоотношения между ними и их интересы. Игнорирование реальных производственных отношений, слабое их изучение и было одной из основных причин распространения догматизма, мешавшего объективному развитию науки.

На чем, например, основывалось наше многолетнее неприятие индивидуального мелкотоварного хозяйства? На том, что оно может стать основой капиталистического? Мы хорошо помним и часто повторяем ленинскую цитату, говорящую о том, что мелкое производство ежечасно, стихийно и в массовом масштабе рождает капитализм. Это положение выдавалось, да и сейчас выдается за характеристику мелкотоварного производства. Однако возможность одной формы производства превратиться в другую, капиталистическую, в данном случае не может быть главным отличительным ее признаком. Это, во-первых.

Во-вторых, это положение оказывается верным, когда социалистическое государство еще не может или не научилось использовать находящиеся в его распоряжении экономические и административные рычаги для воздействия на развитие мелкого производства. В иных условиях, как показывает длительный опыт ряда стран социализма, государство может руководить развитием мелкотоварного частного производства, регулировать его через цены, кредит, налоги, правовые и прочие ограничители, сохранять в границах, не допускающих возрождения капитализма. Нельзя механически переносить некоторые закономерности развития единоличного хозяйства при капитализме на социалистическую формацию.

Не следует воспринимать указанное выражение В. И. Ленина и применительно к современному капитализму. Рождение при нем из мелкого производства капиталистов происходит не столько за счет массового продвижения мелких производителей в класс буржуазии (в этот класс в отличие от эпохи первоначального накопления капитала ныне выбиваются лишь немногие мелкие производители), сколько за счет их массового разорения и создания таким образом обширной базы для расширенного воспроизводства капиталистических отношений. Нельзя также не видеть развитие ленинских идей о мелком производстве, изменение им оценки последнего на различных этапах переходного периода. Без учета этого обстоятельства легко попасть на кривую дорогу постоянного открытия «противоречий» в ленинском учении. В. И. Ленин в своих более поздних работах и выступлениях, посвященных анализу нэпа, подчеркивал необходимость дать хозяйственную свободу крестьянину как мелкому производителю и отмечал, что это не будет страшно для социализма, пока транспорт и крупная промышленность остаются в руках пролетариата.

Также с точки зрения конкретных условий, прежде всего отношений спроса и предложения, должен рассматриваться вопрос о найме рабочей силы в условиях социализма.

Конкретный пример в этой связи.

В конце 40-х годов мне, тогда студенту Ростовского государственного университета, по поручению горкома ВЛКСМ довелось знакомиться с условиями, в которых находились домработницы в семьях некоторых ответственных работников города. Условия эти, прямо скажем, удручали. Домработницы, постоянно проживающие в семьях, нередко вербовались из числа колхозниц, перебравшихся без паспорта не от хорошей жизни из села в город. Некоторым из них хозяева в качестве спальных мест в больших квартирах отводили крохотные чуланы, ванные, на которые настилали доски. Работали они с раннего утра до позднего вечера, обстирывая, готовя на стол, убирая квартиры, ухаживая за детьми. Условия их труда были самые что ни на есть кабальные, несовместимые с нашими моральными принципами, а оплата мизерной. И тем не менее им, привыкшим к тяжелому физическому труду, к работе не за «живую деньгу», а за «пустопорожние» трудодни-«палочки», находящимся в городе на полулегальном положении, условия эти казались вполне сносными, приемлемыми, а наличие большого предложения со стороны других обладателей свободных рук, таких же неустроенных женщин и девушек, покинувших колхозы и ищущих работы, заставляло примиряться с тяжелыми условиями. Все это было.

Ныне в условиях слабого развития общественных форм бытового обслуживания населения, общего недостатка рабочей силы и особенно дефицита граждан, предлагающих свои услуги в частном порядке в качестве домработниц, сиделок при больных, строителей по возведению и ремонту жилья, не столь уже редки случаи откровенного вымогательства, использования беспомощного положения нанимающего (при невозможности получения этих услуг со стороны общества), навязывания нанимающимися лицами чрезмерно высокой оплаты и других вынуждаемых чрезвычайной обстановкой благ. На условия найма воздействует сама обстановка, когда нанимающий прибегает к найму при крайней необходимости, отсутствии выбора, а нанимающийся может ждать и выбирать.

Думаю, многим читавшим «Капитал» запомнилось то место в первом томе этого труда, где Маркс весьма живописно показывает психологическое состояние покупателя и продавца, покидающих рынок труда после состоявшейся сделки. «Бывший владелец денег шествует впереди как капиталист, владелец рабочей силы следует за ним как его рабочий; один многозначительно посмеивается и

горит желанием приступить к делу; другой бредет понуро, упирается, как человек, который продал на рынке свою собственную шкуру и потому не видит в будущем никакой перспективы, кроме одной: что эту шкуру будут дубить».

Так вот, в нынешней непростой ситуации при найме работника, призванного обслужить насущные потребности рядового гражданина — потребителя услуг, например, при найме мастера по ремонту автомашины, плотника, картина обычно оказывается прямо противоположной. Потирает руки и посмеивается нанимающийся, а наниматель бредет понуро, ибо хотя и не предполагает, что будут дубить его шкуру, тем не менее наперед знает, что ее с него снимут, и притом не одну.

А взять житейскую проблему, постоянно возникающую у сельских пенсионеров при необходимости со сторонней помощью отремонтировать дом и надворные постройки, заготовить топливо и корма, обработать приусадебный участок, добыть транспорт для личных нужд! Кто же в этой вынужденной ситуации при найме поденного работника является «страдающей» стороной?

В свое время мы полагали, что расширение сети общественных бюро добрых услуг, комбинатов бытового обслуживания начисто исключит обращение населения к услугам частных лиц. Однако этого не произошло даже там, где такие услуги можно получить без особого труда. Причин тому много. Об одной из них мне поведала знакомая. Она неоднократно вызывала из бюро добрых услуг мойщиц оконных стекол. Приходили разные женщины, однако хозяйка оставалась недовольной ими. Но однажды по вызову явилась работница, которая ловко, с большой добросовестностью помыла окна. И моя собеседница, поблагодарив ее за хорошую работу и рассчитавшись за нее, попросила отныне, чтобы приходила только она. Но бюро не учитывает персональных пожеланий жильцов, и знакомой пришлось переходить на условия личного найма, личной договоренности с этой работницей.

Мы призываем к расширению индивидуального жилищного строительства. Однако систематически и намного срываются задания по продаже населению местных строительных материалов. В этой ситуации даже тем, кто мог бы обойтись собственными силами, приходится прибегать к услугам наемных лиц, располагающих невесть где добытыми лесными и другими строительными материалами и соглашающихся пустить их в дело при условии найма, что гораздо для них выгоднее простой реализации этих материалов.

Существуют и неофициальные рынки труда, а в некоторых крупных городах имеется даже по нескольку мест, где обычно собираются люди, желающие подработать.

Небезынтересно, думается, будет в этой связи посмотреть, как складывалась в соответствии с законом легальная практика использования наемного труда в частных хозяйствах и предприятиях нашей страны.

В связи с переходом к новой экономической политике часть мелких предприятий была денационализирована.

С июля 1921 года помимо передачи в аренду была также разрешена организация частных предприятий с числом рабочих до 20 человек. В декабре 1921 года был издан декрет ВЦИК и СНК, которым разрешалась денационализация тех предприятий, где численность рабочих также доходила до 20 человек. Часть бездействующих, не подлежавших денационализации предприятий была передана в аренду частным лицам, трудовым артелям, но прежде всего бывшим владельцам. Частные лица составили более половины всех арендаторов. Частная промышленность примерно на три четверти состояла из арендованных предприятий, численность работников на которых достигала порой и нескольких сотен человек. На работающих здесь полностью распространялось советское законодательство о труде.

Существенную долю частный сектор занимал в начальные годы нэпа в розничной торговле — в 1922—1923 годах доля частников в розничном товарообороте составляла около 44 процентов. Однако уже в конце 20-х годов предпринимаются меры, прямо и косвенно направленные на свертывание частного сектора и найма в нем рабочей силы. Для кустарей и ремесленников подоходный налог был установлен в зависимости от масштабов использования наемного труда, а число учеников не могло превышать двух на одного ремесленника. Уже в 1932 году на частный сектор приходилось всего 0,8 процента всех лиц наемного труда. В первой половине 30-х годов частная промышленность и торговля из экономики были фактически полностью вытеснены, а аренда государственных предприятий частными лицами была упразднена.

Поскольку основной сферой применения наемного труда было сельское хозяйство, остановимся более подробно на этой сфере.

Следует отметить, что В. И. Ленин не подходил догматически к вопросу о применении наемного труда в сельском хозяйстве. В том пункте проекта Положения об общественной обработке земли, подготовленного в 1919 году Наркомземом, где говорилось, что «замена трудового участия отдельных лиц или семей в общественной обработке путем *найма* других или в форме денежных взносов не допускается», Ленин, подчеркнув слово «найма», написал: «чем отличается «наем» от *временного участия*? Почему его не разрешить? Временное участие должно быть *поощряемо* (курсив В. И. Ленина.— **Г. Ш.**), а этого в проекте нет».

В написанном В. И. Лениным в 1922 го-

ду в связи с проходящим XI съездом партии проекте резолюции о работе в деревне говорится: «По вопросу об условиях применения наемного труда в сельском хозяйстве и аренды земли партсъезд рекомендует всем работникам в данной области не стеснять излишними формальностями ни того, ни другого явления и ограничиться проведением решения последнего съезда Советов, а также изучением того, какими именно практическими мерами было бы целесообразно ограничивать крайности и вредные преувеличения в указанных отношениях».

По декрету ВЦИК от 22 мая 1922 года использование наемного труда в сельском хозяйстве допускалось по договору тогда, когда «хозяйство по состоянию рабочей силы или инвентаря не может выполнить своевременно необходимые сельскохозяйственные работы» и при условии, что все трудоспособные члены хозяйства работают в нем наравне с наемными работниками. Нанимающая сторона должна была обеспечить работника одеждой и обувью, соблюдать установленную договором продолжительность рабочего дня, предоставлять выходные дни и отпуск. В 1925 году были изданы Временные правила об условиях применения подсобного наемного труда, которыми был запрещен наем лиц моложе 12—14 лет, предусмотрены обязательное предоставление одного выходного в неделю, увольнение с предупреждением за две недели, оплата не ниже установленного государством минимума, а также другие меры, защищающие интересы нанимающегося работника.

Не забудем, однако, что все это имело место в годы, когда еще существовали относительно высокая безработица в городах (даже в начале 1929 года в стране насчитывалось более 1,7 миллиона безработных), аграрное перенаселение в сельской местности и, следовательно, имелись благоприятные условия для предпринимателей обходить установления Советской власти при использовании наемного труда, для навязывания нанимающимся тяжелых для них условий. И тем не менее партия и правительство шли в интересах роста производства на допущение использования наемного труда.

Н. И. Бухарин, выступая на собрании актива Московской партийной организации в апреле 1925 года, отмечал, что остатки военно-коммунистических отношений в деревне, характерные для первых послевоенных лет, мешали не только кулаку, но и деревенской бедноте. «Зажиточный крестьянин недоволен тем, что мы ему мешаем накоплять, нанимать работников; с другой стороны, деревенская беднота, которая страдает от перенаселения, в свою очередь, ворчит на нас иногда за то, что мы мешаем ей наниматься к этому самому крепкому крестьянину.

Излишняя боязнь наемного труда, боязнь накопления, боязнь прослойки капиталистического крестьянства и т. п. может привести нас к неправильной экономической стратегии в деревне. Мы излишне усердно наступаем на ногу зажиточному крестьянину. Но из-за этого середняк боится улучшать свое хозяйство, подвергаться сильному административному нажиму; а бедняк ворчит на то, что мы мешаем ему применять рабочую силу у богатого крестьянина и т. д.». В то же время разрешение найма рабочей силы не означало прекращения классовой борьбы между различными социальными группами деревни и безучастного отношения к этому Советской власти.

«Борьба между кулаком и батраком,— писал Н. И. Бухарин в брошюре «Путь к социализму и рабоче-крестьянский союз»,— идет по линии вопросов, касающихся условий наемного труда (величина рабочего дня, заработная плата, формы оплаты труда, общие условия работы и т. д. и т. п.). Но и здесь линия классовой борьбы со стороны батраков, являющихся частью рабочего класса, стоящего в настоящее время у власти, имеет все же другие формы, чем те формы классовой борьбы, которые были свойственны капиталистическому режиму. Это вытекает из того обстоятельства, что батрачество, которое в кулацком хозяйстве находится, так сказать, *под* своим хозяином, в то же время как часть господствующего класса стоит *над* ним, хотя бы отдельные батраки этого и не осознавали. В чем находит себе выражение этот факт? В том, что все законодательство нашей страны направлено своим острием против эксплуататоров и каждым своим параграфом защищает интересы рабочих; в том, что *профессиональные союзы* рабочего класса и *профессиональные союзы* батраков пользуются законом признанными правами, каких они не имеют ни в одной капиталистической стране; в том, что суды нашей страны карают предпринимателей за нарушение этих законов, и т. д. и т. п. Поэтому классовая борьба со стороны батрачества в конечном счете направлена вовсе не на то, чтобы разгромить хозяйство кулаков и разделить его между собой... Батрачество ведет свою классовую борьбу в других формах, вынуждая через свои профессиональные организации и через свою государственную власть, власть Советов, соответствующие условия труда, и прибегает к судам своего класса, если необходимо обуздывать сельскохозяйственных предпринимателей».

Разрешением и официальным регламентированием найма рабочей силы в крестьянские хозяйства пресекались скрытые формы эксплуатации бедноты, облегчался контроль со стороны советских органов над кулачеством в области найма. Защита интересов батраков возлагалась на Наркомат труда и профсоюзы.

Следует отметить, что в конце двадцатых годов наем рабочей силы не являл-

ся определяющим в социально-классовой квалификации сельских хозяйств, их отнесении к хозяйствам «мелкокапиталистическим», то есть кулацким.

Это можно проиллюстрировать и на примере моего деда. Дед по матери, Петр Ерасов, до революции занимался, помимо сельского хозяйства, извозным промыслом. Он построил в своем родном селе Руднево Пронского уезда Рязанской губернии добротный дом вместо старого ветхого, в котором ютилось его многочисленное семейство. В хозяйстве и до и после революции никогда не было больше двух лошадей, коровы, нескольких овец. Вырастил хороший сад, насчитывавший с полсотни яблонь, имел пасеку — более десяти пчелосемей, наладил крупорушку. Семья была большая, семейной рабочей силы хватало. Поэтому к найму работников не прибегал. Тем не менее в 1930 году его раскулачили как владельца крупорушки и хорошего дома, сослали за Урал, в Абакан, откуда он уже не вернулся. И таких вот «кулаков» было не десятки, а сотни тысяч.

В конце 20-х годов, то есть накануне сплошной коллективизации и ликвидации кулачества, резко сокращается количество индивидуально нанятых в крестьянских хозяйствах. Еще сильнее этот процесс ускоряется в ходе завершения коллективизации.

В результате экономических и административных мер свертывается применение наемного труда и на частных предприятиях в промышленности и торговле. Сыграли здесь свою роль забастовки на частных предприятиях, в ходе которых работниками выдвигались различные экономические требования. На селе непосредственно перед коллективизацией также участились батрацкие забастовки. В конечном счете отношения индивидуального найма в основном вытесняются из производственной сферы в сферу личного (семейного) обслуживания, а в производственной сфере преобладающим становится коллективный наем, преимущественно пастухи, сторожа при коллективных бахчах и огородах.

Мы знаем о привычных формах найма рабочей силы в 20-е годы. Однако следует сказать и об относительно менее распространенных да и замалчиваемых. Н. К. Крупская на заседании комиссии ВЦСПС по работе в деревне в 1929 году свидетельствовала: «В деревню рабочий приезжает отдохнуть, он нанимает обычно батрака и т.д. Конечно, это не везде одинаково. Но надо прямо сказать, что в деревне... рабочий не был тем толкачом, каким некоторые его представляют». Другой формой использования чужого труда в некоторых районах было возложение на середняков обязанности отработать какое-то количество времени на бедняков. Именно о такой форме говорилось в 20-е годы на пленумах ЦК партии.

Безусловно, некоторые и, в частности, эти разновидности наемного труда в нашем обществе исчезли. И тем не менее наем работников у нас никогда не прерывался.

Многолетняя в ряде социалистических стран практика функционирования мелкого индивидуального предпринимательства с допущением под контролем государства ограниченного найма рабочей силы показывает необоснованность опасений о стихийном разрастании в связи с этим наймом частного сектора в экономике и перерождении общества.

А вот представим себе на минуту, что было бы, если б в ГДР или Польше сейчас вдруг посчитали использование наемного труда на частных предприятиях, обслуживающих потребности населения, несовместимым с нынешним этапом строительства социализма. Это привело бы к прекращению общественно полезной деятельности многих мелких ресторанов, булочных, кондитерских, мелких магазинов. Это вызвало бы нарушение в удовлетворении общественных потребностей и рост социальной напряженности. В свое время В. И. Ленин даже частнохозяйственный капитализм рассматривал в роли пособника социализма, поскольку он развивает оборот, и противопоставлял его как приносящий пользу делу социалистического строительства бесполезности для него тех, кто лишь думает о чистоте коммунизма и чрезмерно регламентирует государственный капитализм и кооперацию.

Ленин не держался за теоретические положения, не подтвердившиеся в процессе общественного развития, имел мужество отказаться от них на основе теоретического осмысления потребностей строительства социализма, на основе приобретенного в ходе его опыта. Именно этого ценного качества многие годы недоставало нам. Сколько же потеряно для роста общественного богатства, для народного благосостояния от того, что мы, исходя из догматически усвоенных и бездумно повторяемых теоретических концепций, десятилетиями отказывали социализму в возможности использования аренды основных средств производства, семейного и индивидуального подряда, развития индивидуальной трудовой деятельности!

Мы запрещаем наемный труд при индивидуальной трудовой деятельности, в том числе и в области сельскохозяйственного производства. Но чем же, как не наймом, является эта деятельность в такой области, как оказание услуг по благоустройству земельных участков, предоставленных гражданам, или пастьба скота для тех же граждан.

Мы не допускаем личный наем, но разрешаем создание кооперативов из трех человек, каким может быть и семья. Но семейный кооператив, поскольку в законе нет на этот счет никакой оговорки, уже может, как и всякий другой, нанимать работников.

Социализму, его основам и принципам опасность угрожает главным образом с другой стороны. Эксплуатация чужого труда угрожает ему не в виде оплачиваемого наемного труда, а в виде коррупции, использования государственных средств в личных целях, оплаты за счет общества «присутствия на работе», присвоения в различных формах должностными лицами продукции подчиненных им по службе работников, обеспечения «номенклатурным» работникам особых привилегий и благ за счет общественных средств, содержания совершенно излишнего, с точки зрения общества, аппарата управления и т. д. и т. п. Все это — распространенные формы паразитической жизни за счет других.

В свое время мы совершенно спокойно восприняли, правда, просуществовавший недолго, институт денщиков в армии (офицерам, не пользовавшимся услугами денщиков, выплачивалась небольшая прибавка к окладу), а ведь подобное явно не совмещалось с принципами социализма. Ныне обычными стали факты интеллектуальной эксплуатации, которая недостаточно оценена с точки зрения масштабов, социальных корней и последствий. К ней относится содержание на службе (государственной, партийной, советской) большого количества лиц, основной задачей которых является подготовка докладов и выступлений своим непосредственным начальникам и даже написание за этих деятелей, как то имело место с Брежневым, литературных произведений.

А по какой социальной статье следует числить оплату расходов на прислугу и централизованное обеспечение так называемых государственных дач, на которых отдыхают семьи государственных и партийных руководителей высшего ранга? К обычному найму рабочей силы все это, конечно же, отношения не имеет.

Наша необычно разросшаяся, паразитирующая на трудящихся массах бюрократия разве не наглядно воспроизводит отношения эксплуатации, не являет собой пример жизни за счет общества? Не играя сколь-нибудь полезной роли в сфере управления производством (в отличие от большинства «акул-капиталистов»), она, напротив, создает помехи на пути развития производительных сил, тормозит научно-технический прогресс, внедрение в производство достижений науки и практики.

Эксплуатация чужого труда становится многообразной по форме, как правило, анонимной по существу, захватывает весьма широкий слой управленческого аппарата, о чем говорят многочисленные разоблачения последнего периода, особенно в Узбекистане, Казахстане, Краснодарском крае, Азербайджане, Молдавии.

От опасности перерождения отдельных социальных слоев и политических сил после пролетарской революции предостерегал Н. И. Бухарин: еще в первые годы Советской власти, а точнее, в 1922 году, он отмечал, что при культурной отсталости рабочих и при повышенном против средних рабочих потребительском обеспечении руководящих кадров «возникает опасность значительного отрыва от масс даже той части кадрового состава, которая сама была выдвинута рабочей массой из своей собственной среды. Апелляция к рабочему происхождению и пролетарской добродетели сама по себе не может служить аргументом против возможности такой опасности». Он считал, что в условиях «грандиозной социальной ломки, как наша эпоха, классы вообще до известной степени деформируются, и принципиально отнюдь не исключена возможность полной деформации некоторых частей старых классов и образования из них новых классов. В таком случае «оторвавшиеся» от масс кадровые работники могут... быть ассимилированы более культурными своими коллегами по командующим функциям и вместе с ними превратиться в зародыш нового господствующего класса. Наша задача состоит в том, чтобы не допустить вообще такого «эволюционного» возврата к эксплуататорским отношениям». И добавлял: «Нарисованная выше опасность есть опасность всякой пролетарской революции».

К сожалению, наша политическая экономия выводила до сих пор отношения эксплуатации из отношений, базирующихся на частнокапиталистической форме собственности, из отношений, складывающихся в сфере производства. Такой подход естественно перекрывал пути для рассмотрения возможности эксплуатации в условиях общественной собственности на средства производства, из отношений не производства, а распределения, таких отношений, когда при чрезмерном за счет других росте благосостояния отдельных членов общества было совершенно недопустимо указывать на то, кто конкретно и кем эксплуатировался, за счет чего можно было в пределах одного поколения не сменяемых долгие годы руководителей накапливать имущество и средства для безбедной жизни не только этих руководителей после отстранения их от власти, но и их отпрысков. Если такого рода явления имели массовый характер, то они и заслуживают глубокого анализа.

Речь идет не только о прямых злоупотреблениях властью и преступлениях, но и о детально разработанной за многие годы, тщательно закамуфлированной, оранжированной по служебной иерархической лестнице системе привилегий. При этой системе заработная плата, на которую часто кивают головой в доказательство отсутствия материальных преимуществ руководителей, играет второстепенную роль. Но это опять-таки тема особого разговора.

Итак, при социализме сохраняются (в ограниченных масштабах) различные формы найма: наем на предприятия общественного сектора и личный наем, наем для оказания производственных и бытовых услуг, наем работников физического (строители, домработницы, няни) и интеллектуального (специалисты по составлению программ для ЭВМ, переводчики) труда. В области личного найма имеется форма обслуживания одним нанимающимся многих, не связанных между собой лиц (репетиторство). Существует также наем объединившимися гражданами одного или нескольких работников (пастухов объединенного стада индивидуальных владельцев скота, сторожей общественных огородов, кооперативных гаражей и т. д.). Существенно различается наем труда по продолжительности — постоянный, сроковый, поденный, сдельный. Все эти формы требуют изучения. К найму рабочей силы следует подходить дифференцированно, учитывая, кто, кого и на каких условиях нанимает, а также общую социально-экономическую обстановку в той или иной стране. Представляется, что нам, исходя из задачи обеспечения индивидуальной трудовой деятельности по тому весьма уже широкому кругу профессий, которые становятся возможными и, более того, поощряемыми, следует разрешить в ограниченных пределах (скажем, пять — десять человек) наем рабочей силы и ученичество с обеспечением нанимающимся примерно таких же социальных льгот и условий труда, которые установлены для занятых в общественном секторе экономики. В то же время в соответствии с различными формами найма (постоянный, сезонный, кооперативный, личный и т. д.) должны быть разработаны и соответствующие особенностям этих форм положения о его регулировании, гарантиях социальных прав нанимающихся, включая вопрос о пенсионном обеспечении, санкциях за несоблюдение сторонами условий найма, режима работы и отдыха. Хотя некоторые элементы такого регулирования имеются, но в нем остается немало «белых пятен», связанных, например, с представлением о скором и полном отмирании индивидуальной трудовой деятельности, о мизерном количестве нанимающихся лиц.

Безусловно, наряду с определением правовых условий, на которых будет допущено использование наемного труда, внимание должно быть обращено на контроль за соблюдением этих условий.

Более четкой должна быть и правовая основа ученичества как формы подготовки предпринимателей в сфере индивидуальной трудовой деятельности.

В настоящее время у нас не только не разрешается наем рабочей силы теми, кто занимается индивидуальной трудовой деятельностью, но и крайне ограничивается передача ими своего мастерства другим гражданам на правах ученичества. Ограничивается из боязни, что ученичество может стать скрытой формой использования наемного труда. Так и кажется, что рукой законодателя водил небезызвестный «человек в футляре» Беликов с его маниакальными тревогами по поводу «как бы чего не вышло».

Сегодня ученичество, по существу, допускается лишь в порядке исключения лицам, владеющим высоким мастерством изготовления редких художественных изделий, и только с разрешения исполкомов местных Советов при наличии рекомендаций художественных советов при исполкомах, министерствах и ведомствах и предприятий, занимающихся производством изделий народных художественных промыслов. Виды художественных ремесел, по которым может быть разрешено ученичество, определяются в особом перечне, утверждаемом отделениями Художественного фонда СССР совместно с министерствами культуры союзных республик.

Срок обучения устанавливается, как правило, до одного года и лишь в отдельных случаях, при большой сложности овладения ремеслом, до трех лет. Но разве нужда в ученичестве существует только по художественным ремеслам? Разве у нас мало других остродефицитных и тем не менее вымирающих профессий, навыки и мастерство по которым могут быть переданы лишь через индивидуальное обучение (печники, шорники, бондари, скорняки, кузнецы, пимокаты)? А они ведь обречены на полное и безвозвратное исчезновение в течение ближайших лет, вместе с уходом из жизни нынешнего поколения мастеров, достигших в подавляющем большинстве преклонного возраста. Поэтому необходимо спешить с распространением ученичества на ныне вымирающие профессии.

Именно так и поступают в ряде социалистических стран, где институт ученичества при индивидуально работающих мастерах нормально функционирует и материально поощряется. В ГДР, например, в соответствии с решением Совета Министров владельцам частных предприятий, где проходят практику ученики, выплачиваются средства из бюджета торгово-промышленных палат округов в размере 500 марок в год на одного ученика. С другой стороны, в ЧССР, где с большим подозрением относятся к практике ученичества, оно, как и использование наемного труда в случае индивидуальной трудовой деятельности, находится под запретом.

В ряде стран, где индивидуальное ученичество запрещено, господствует концепция, согласно которой сама индивидуальная трудовая деятельность есть лишь не соответствующее социализму, но пока терпимое зло, которое без «подпитки» его свежими кадрами, прежде всего через систему ученичества, отомрет само собой, естественным путем, ко всеобщему удовлетворению, с точки зрения приведения практики в соответствие с теорией. Говоря о наемном труде, следует иметь в виду возможное появление среди тех, кто занят индивидуальной трудовой деятельностью, и крестьянина-единоличника, современного фермера, ведущего на договорной основе с крупным сельскохозяйственным предприятием, на арендованной у государства земле, но вполне самостоятельно собственное производство. В Эстонии в марте 1988 года было принято постановление ЦК КП и Совета Министров республики «Об индивидуальной трудовой деятельности в сельском хозяйстве», в соответствии с которым гражданам, желающим заниматься такой деятельностью, будет передаваться в бессрочное пользование земля с предоставлением первоочередного права на пользование ею наследниками. Крестьяне смогут получать пустующие здания хуторов в сельской местности, открывать счета и брать кредит в банке, покупать и получать на договорной основе необходимые машины и оборудование.

Целесообразность разрешения найма рабочей силы в условиях индивидуальной трудовой деятельности связана еще вот с каким немаловажным обстоятельством.

Ведение производства небольшим коллективом, семьей или вообще в одиночку связано с определенным риском: в случае болезни владельца хозяйства (предприятия), ухода помогающего семейного работника из семьи или его смерти, в связи с необходимостью дать себе отдых и т. д. Подобные изменения и обстоятельства, безболезненные для трудового ритма большого коллектива, нарушают естественный ход производственного процесса в индивидуальном хозяйстве и могут существенно сократить доходы его владельца (особенно там, где процесс труда должен быть непрерывным, а отдельные операции неотложны). Именно в этом случае разрешение временного найма для замещения работника-владельца поможет избежать отрицательных последствий таких изменений.

В самое последнее время тенденция к более терпимому отношению к найму рабочей силы наметилась на региональном уровне.

В опубликованном в последних числах января 1989 года в газете «Советская Латвия» проекте «Закона о крестьянских хозяйствах в Латвийской ССР» предполагается разрешить в напряженные периоды сельскохозяйственных работ привлекать для работы в крестьянских хозяйствах, помимо членов семьи, других граждан по трудовому договору. Оплата труда этих лиц будет производиться по соглашению сторон, за ними сохраняется в полном размере назначенная ранее пенсия.

Допущение в определенных границах найма на предприятия в сфере индивидуальной трудовой деятельности соответствовало бы праву свободного распоряжения гражданами своей рабочей силой, свободному выбору ими профессии и сферы занятости, что является конституционным правом личности и в этой области.

То, что говорилось о найме рабочей силы на предприятия, находящиеся в индивидуальной собственности, относится к совместным предприятиям, функционирующим на территории нашей страны и других социалистических стран, организованных на паях с фирмами капиталистических стран. Такое совместное предпринимательство в последнее время все более расширяется. И снова напрашивается вопрос: являются или нет граждане, работающие на этих предприятиях, объектом эксплуатации? Безусловно, положение рабочего класса на них складывается по-разному в зависимости от уровня экономического развития той или иной страны и ряда других условий. Но в целом можно констатировать, что уровень заработной платы, социальное обеспечение занятых здесь работников определяется социалистическим государством, и оно, естественно, не допускает худших по сравнению с действующими в общественном секторе условиями. О наличии эксплуатации трудящихся со стороны иностранного капитала очень осторожно, будто подвигаясь по скользкому льду, попробовал порассуждать недавно на страницах журнала «Коммунист» заместитель председателя Государственной внешнеэкономической комиссии Совета Министров СССР И. Д. Иванов и, как можно понять, пришел к выводу, что эксплуатации здесь нет, что перераспределение национального дохода при этом происходит на взаимовыгодных условиях, как и при любом другом типе внешнеэкономических связей.

«Иностранные капиталовложения,— не без иронии пишет американский экономист и политолог Джерри Хаф в книге «Раскрытие советской экономики»,— означали бы одно из двух — или что некоторых советских рабочих будут эксплуатировать менеджеры-иностранцы, или что эти рабочие будут получать такую зарплату, что остальные должны будут чувствовать себя обманутыми».

Очевидно, возникает аналогичный вопрос и об участии СССР в эксплуатации иностранных рабочих при создании совместных предприятий на территории капиталистических и развивающихся стран, об уровне и формах оплаты труда и обеспечении социальных льгот иностранным рабочим у нас, о социальной сущности этих явлений.

Встает, наконец, вопрос о социальной оценке отъезда на заработки по найму в капиталистические страны части граждан социалистических стран, если такой отъезд не был вынужден безработицей, а явился результатом сознательно сделанного выбора между работой в своей стране и возможностью выехать и устроиться на работу в каком-нибудь из западных государств.

«Не занимается ли автор апологетикой наемного труда?» — может задать вопрос иной читатель. Отнюдь нет. Я уже говорил по этому поводу. Сейчас же остановлюсь более подробно. В длительной исторической ретроспективе существуют четыре формы отношений производителя к средствам производства, различающиеся и по степени заинтересованности его в труде. Во-первых, труд подневольного работника, при котором обладатель рабочей силы не может ею самостоятельно распорядиться и соединение ее со средствами производства происходит помимо его доброй воли. Наиболее характерна такая система производственных отношений была для рабства и крепостничества. Именно в этих формациях работник не был не только хозяином средств производства, но и хозяином своей рабочей силы. Владельцем же ее мог быть как индивидуум, так и государство.

Во-вторых, отношения наемного работника, который, не являясь ни собственником, ни хозяином средств производства, тем не менее свободен в выборе соединения с ними своей рабочей силы при наличии работы и необходимой квалификации. В-третьих, отношения работника в качестве хозяина не только своей рабочей силы, но и основных средств производства, однако с той особенностью, что он не является их собственником. Наиболее характерная форма — отношения арендатора, когда функции собственника и хозяина-пользователя средств производства разъединяются, персонифицируются в разных физических либо юридических лицах и работник становится их хозяином. В-четвертых, отношения, когда собственник средств производства (в сельском хозяйстве прежде всего земли) и их хозяин сливаются в одном лице. Итак, четыре формы трудовых отношений и четыре типа работника: подневольный работник, наемный работник, работник-хозяин, работник-собственник. Иного, по-видимому, не дано. Идеальным с точки зрения отношения работника к средствам производства, к самому производству в целом являются отношения собственника. Именно здесь достигается наивысшая заинтересованность в труде, полностью отсутствует какая бы то ни было отчужденность. Это обстоятельство и определяет феномен личного подсобного хозяйства, когда мелкое производство, основанное на ручном труде, по ряду позиций может проявлять большую экономическую эффективность, чем крупное. Возможно, наш пример и не совсем удачен, поскольку земля в этом случае не является собственностью семьи, ведущей личное подсобное хозяйство. Но она, как правило, по существу, бессрочно и наследственно закрепляется, а остальные средства производства, как и продукция, обычно принадлежат семье.

В историческом процессе развития производственных отношений наблюдается переход от одной формы к последующей. Однако это, во-первых, не обязательно совершается последовательно, а во-вторых, между этими формами нет четких границ. Мы помним из истории нашего государства, что в эпоху феодализма, в период формирования Московского государства, у крепостных крестьян было право один раз в год в течение недели до и после Юрьева дня (26 ноября) при условии уплаты долгов менять своего хозяина. До конца XVI века свободный переход, отказ крестьян от своего помещика, был весьма массовым явлением. Таким образом, раз в течение года крепостной крестьянин мог свободно распорядиться своей рабочей силой. Впоследствии Юрьев день был ограничен и отменен, что означало окончательное закрепощение крестьян. Своеобразный характер носили в эпоху феодализма и земельные отношения. На пашню помещика, которая обрабатывалась холопами, приходилась незначительная часть земли — иногда до десяти процентов, остальная же была отдана в пользование крестьянам, которые обрабатывали ее исполу, за треть, или платили с нее владельцу оброк различными продуктами и деньгами. Таким образом, процесс раскрепощения труда шел иногда вспять и труд не предстает перед нами при том или ином общественном строе в одной форме, в единственном «чистом» виде. Никакой истины я здесь не открываю.

Различные формы труда, а следовательно, и отношения работника к средствам производства могут сочетаться в рамках одной общественной формации одного государства.

Мы привыкли раскладывать систему трудовых отношений по общественно-экономическим полочкам: вот система рабства, вот крепостничество, капитализм. По этой схеме подневольный труд имеет отношение к труду при рабстве и крепостничестве (давно прошедшее время), наемный труд — к капитализму, освобожденный — к социализму. Но что же такое подневольный труд миллионов иностранных рабочих в фашистской Германии, труд миллионов лагерников, спецпоселенцев, ссыльных в период сталинщины у нас? Колхоз как кооперативное предприятие, если рассматривать отношения в нем с точки зрения приближения производителя к средствам производства, должен быть более близок к типу отношений «работник-хозяин», чем государственное предприятие, но ведь работник государственного предприятия был фактически свободен в выборе работы, а колхозник прикреплен к колхозу. Он не имел паспорта, без которого не существовало возможности покинуть колхоз и свободно выбирать работу. Здесь так же, как при крепостном праве, четко разграничивался труд на колхоз (незаинтересованный, когда оплата его была чрезвычайно низкая) и труд на себя (труд в личном подсобном хозяйстве,

дававший в довоенные годы основной доход колхозной семье). Заготовка кормов для индивидуального скота на общественных угодьях велась в лучшем случае исполу (на неудобьях), а на хороших угодьях за счет такой доли от заготавливаемого сена, которая зачастую не позволяла сводить концы с концами без «трудоночи». Существовал и обязательный минимум трудодней.

Но разве можно сравнивать подневольный труд на крепостника-помещика с несвободным трудом на все общество в целом? Нельзя. Но давайте задумаемся: что же давал этот труд многим из тех, кто работал за «палочки», тем, кто до 1965 года не мог рассчитывать по достижении преклонного возраста не только на приличную, но и хоть какую пенсию? С формальной стороны колхозник вроде являлся собственником средств производства данного колхоза как кооперативной организации. Однако фактически разницы в отношении к средствам производства между ним и работником совхоза не было. Неделимые фонды так же отчуждены от производителя, как и фонды государственного предприятия.

Фактически положение колхозников было гораздо худшим, чем положение рабочего на государственном предприятии. Это и объясняло весьма легкий и желанный для многих колхозников переход от коллективных собственников колхозной собственности к статусу работников государственных предприятий при массовом преобразовании колхозов в совхозы.

Итак, следует рассматривать не только формально провозглашенный принцип, брать во внимание не только традиционно сложившиеся формы собственности, необходимо еще анализировать реальную систему отношений, в которой оказывается работник, возможности фактической реализации им права собственности.

Нам нечего бояться наемного труда, в том числе и в сфере индивидуальной трудовой деятельности, если условия этого труда регулируются и контролируются обществом, если наемному работнику гарантируется определенный уровень оплаты труда и социальные льготы. В то же время наемный работник наемному работнику рознь, если он не просто исполнитель чужой воли, а приобретает определенные функции, свойственные хозяину, если ему обеспечено право участия в решении производственных вопросов, в выборе руководства предприятия, если он участвует в распределении прибыли и т. д. Именно по этому пути расширения прав трудящихся, приобщения их через различные формы к решению производственных и бытовых вопросов на предприятии, прямой заинтересованности в обеспечении больших доходов идет развитие производственных отношений во многих зарубежных странах.

В рамках упомянутых четырех типов работников есть возможности для развития, для перехода одного типа в другой. Очевидно, через развитие арендных отношений, получающих у нас права гражданства в государственном и кооперативном секторах экономики, будет происходить превращение производителя в хозяина и сохозяина производства. Но оно будет происходить в меру наделения его реальными хозяйскими правомочиями.

В свою очередь, система аренды должна определенными элементами, в частности долгосрочностью ее, приближать положение арендатора к положению владельца-собственника.

Только при реальной оценке фактического положения работника в производстве и в системе производственных отношений можно правильно определить направление нашего движения — куда же мы в конце концов идем: движемся ли мы вспять, отступая от работника — собственника общественных средств производства, что мы постоянно и настойчиво провозглашали, к работнику-арендатору или же идем вперед от наемного работника, отчужденного от средств производства, слабо заинтересованного в труде, к работнику-хозяину, активному субъекту производства, кровно заинтересованному в его развитии.

Вячеслав ВОЗДВИЖЕНСКИЙ

Путь в казарму, или Еще раз о наследстве

20 октября 1988 года Политбюро ЦК КПСС отменило как ошибочное постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Этим актом был закреплен решительный поворот в подходе партии к литературе и искусству, те перемены в ее культурной политике, которым мы все свидетели. Отечественная словесность на глазах обогащается, меняется ее состав, прирастает само вещество, из которого она состоит,— пусть пока в основном за счет накопленного ранее.

Обогащение художественного творчества стало возможным потому, что партия и государство отказываются сейчас от политики прямого вмешательства в него, от жесткого руководства эстетическим процессом. Долгие годы советская литература была «управляемой структурой». Теперь она получает возможность вновь стать саморазвивающимся, саморегулирующимся организмом. Одновременно это и ее долг. Литературе возвращают свободу творчества. Ей предстоит, однако, эту *извне* пришедшую, сверху дарованную свободу сделать своим *внутренним* достоянием, осознать и освоить как естественное, непременное условие творчества. Тогда она сможет пойти дальше, продолжить тот беспримерный ряд произведений, который предъявлен сегодня читателю из запасов прежних лет. Ведь чтобы появились «Мастер и Маргарита», «Котлован», «Реквием», «Колымские рассказы», «Доктор Живаго», «Жизнь и судьба», недостаточно было лишь незаурядного таланта,— нужна была еще и внутренняя творческая свобода, которую их авторы не уступили обстоятельствам.

Однако путь не обещает быть легким. Инерция прошедших десятилетий по-прежнему сильна. Да и инерция ли это? Отвычка от творческой свободы стала скорее собственной природой современных советских художников. Управляемая литература — это не только вмешательство в творчество сверху, но и во многом согласие самих литераторов на такое вмешательство, их готовность подчиниться диктату, следовать установкам и представлениям, заданным извне.

Такая привычка к зависимости давала и хорошо известные «организационные» последствия. То же постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград» прямо не предписывало, скажем, изгнать Ахматову и Зощенко из Союза писателей. Это сделал сам союз. А десять с лишним лет спустя не понадобилось ни какого-либо постановления, ни руководящего доклада, подобного ждановскому, чтобы начать кампанию против автора «Доктора Живаго». Расправа с Б. Пастернаком совершилась устами «собратьев по перу» и их руками, поднятыми за изгнание коллеги не только из Союза писателей, но и из Союза ССР. Нет, разумеется, сомнения, что писательской организацией были получены незримые сигналы «сверху». Но речь о другом — о собственном поведении литераторов, о том энтузиазме, с которым они демонстрировали покорность обстоятельствам и собственное рвение. По той же схеме был исключен из писательского союза и ряд других литераторов в более близкие к нам времена. А в 1980 году руководящие литературой лица при молчаливом согласии большинства додумались даже исключить поэтов И. Лиснянскую и С. Липкина (которые в знак протеста против расправы над молодыми авторами «Метрополя» вышли из Союза писателей) из Литфонда: это была совсем уж низкая попытка наказать товарищей по профессии материальными трудностями.

Такое прошлое отнюдь не изжито.

Не так давно критик И. Роднянская заметила, что литературные споры идут ныне в совершенно новой ситуации — «когда начальство ушло» («Литературное обозрение», 1988, № 7). Думаю, что с этим выводом она поторопилась. Начальство-то, может быть, и ушло, точнее, уходит. (Впрочем, не слишком далеко. И его голос временами вполне отчетливо доносится из этого недалека). Но тут и обнаружилось, что литературная и литературно-критическая мысли попросту разучились обходиться без него. Остается

в силе то понимание творчества, которое исходит как раз из наличия директивных истин; сохраняется нормативное мышление, считающее естественным вмешательство в художественный процесс. Когда произносятся с высоких трибун речи о всеобщем разложении в современной литературе и обществе или когда один литературный журнал обвиняет другие издания в пропаганде буржуазных взглядов и в публикации клеветнических произведений,— это расчет именно на находящееся поблизости начальство (не только в прямом, но и в фигуральном смысле). Того же рода длящиеся по сей день попытки отсортировать в искусстве тех, кто не «с народом», не выражает «национального сознания», и на этом основании вычеркнуть из списков то Б. Пастернака и М. Булгакова, то Ю. Трифонова и Б. Окуджаву, то В. Гроссмана и Ф. Искандера, то еще кого-нибудь. Это тоже феномен нормативного мышления, для которого искусство должно быть подчинено некоему идеалу, заданной норме, а все не укладывающееся в них должно быть отсечено.

На такой именно способ «художественного» мышления и было ориентировано постановление «О журналах «Звезда» и «Ленинград», но сложился этот способ гораздо раньше. Путь и к самому постановлению 1946 года, и ко многому, что последовало позднее,— к исключению Б. Пастернака из Союза писателей, к суду над А. Синявским и Ю. Даниэлем, к аресту рукописи «Жизни и судьбы», к изгнанию А. Солженицына из России, к сметенной бульдозерами художественной выставке в 1974 году, к санкциям против участников неофициального альманаха «Метрополь» в 1979-м,— путь ко всему этому начался не в 1946 году, а за добрых два десятилетия до него. Не так уж трудно разглядеть этапы этого пути. Завязка лежит еще в недрах 20-х годов.

Хорошо известно, что литературную жизнь этого времени отличали пестрота и противоречивость. Но за ними проступает определенная равнодействующая. Она в том, что созданный революцией социальный уклад постепенно, но неуклонно воздействовал на литературу. Шел нарастающий процесс сближения писателей с новой действительностью. Они вживались в нее; происходила их идейная, моральная и творческая перестройка. Ведь многие из тех, кто принял социалистическую революцию, разделяли далеко не все ее идеи, принимали не все ее способы, сохраняя как художники независимую позицию. Эдуард Багрицкий в набросках автобиографии писал: «Моя повседневная работа — писание стихов и плакатов, частушек для... газет — была только обязанностью, только способом добывания хлеба. Вечерами я писал о чем угодно: о Фландрии, о ландскнехтах, о «Летучем голландце», тогда я искал сложных исторических аналогий, забывая о том, что было вокруг... Я еще не был во времени, и я только служил ему».

Это очень точно сказано: художники уже служили новой действительности, но внутренне еще не принадлежали ей. Вот это и переменялось на протяжении 20-х годов. Социалистическая революция и созданный ею уклад принимались уже не просто как исторический факт, а как собственное мировоззрение, как своя судьба. Писатели соглашались принять предлагавшуюся тогда оценку действительности как руководство в творчестве.

Это достаточно естественный процесс. Ведь ни один настоящий художник не хочет жить в разладе с окружающей действительностью, в изоляции от нее. Если это и происходит, то большей частью не по вине художника: его вынуждают к такому разладу. Поэтому писатели искренне стремились вжиться в новую действительность, понять и принять ее идеи и требования.

Долгие годы в нашей историко-литературной науке и критике с большим одобрением относились к этой внутренней перестройке писателей. И в учебных пособиях, и в академических исследованиях о ней писали не иначе, как со знаком плюс. На деле же она принесла нашей литературе немалые потери. Ибо в условиях общества, очень жестко и прямо воздействовавшего на искусство, сближение с этой действительностью сопровождалось постепенным, а иногда и резким отходом от собственной художнической позиции и оборачивалось в итоге утратой творческой независимости.

Вернемся к Э. Багрицкому и его словам. Вместо революционных боев и будней он писал о Тиле Уленшпигеле, ландскнехтах, контрабандистах. Во многом тут сказалась просто незрелость. Но вместе с тем здесь была и поэтическая самостоятельность, свой подход. Багрицкий не копировал «того, что было вокруг», а преломлял социальные эмоции своего поколения через традиционную романтическую образность. Это был, может быть, и не такой уж самобытный, но именно его собственный художнический угол зрения на эпоху и угол отражения ее. Однако сам Багрицкий, как и многие его современники, рассуждал обо всем этом иначе. Свою независимость от «того, что было вокруг», он осознал как изъян. В набросках автобиографии он продолжал: «...Потом я почувствовал провал — очень уж мое творчество отъединилось от времени. Два или три года я не писал совсем... лишь бы услышать голос времени и по мере сил вогнать в свои стихи».

Что же открыл для себя Багрицкий, пока молчал и прислушивался к сигналам извне, из окружающей среды? Он понял и принял зависимость человека от времени, а с нею и свою зависимость от него — зависимость художника от окружающей социальной действительности, от главенствующих идей времени, его велений. Именно об этом поэма «Дума про Опанаса» (1926), ставшая итогом периода внутренней ломки для Багрицкого.

Стремление жить по собственному свободному выбору, а не по диктату времени представлено здесь как индивидуалистическое своеволие и с пафосом развенчивается.

Во весь рост эта готовность зависеть от современности выступает в книге лирики Багрицкого «Победители» (1932).

Механики, чекисты, рыбоводы,
Я ваш товарищ, мы одной породы,—
Побоями нас нянчила страна!

Здесь благородное чувство близости, равенства с современниками, товарищами по эпохе. Но здесь же и сомнительная готовность принять от своей эпохи, своей страны любые «побои» — любые их деяния и качества. Багрицкий едва ли не с восторгом соглашается быть вместе с веком во всем, без всяких оговорок:

Но если он скажет: «Солги»,— солги.
Но если он скажет: «Убей», — убей.

Таков конечный результат отказа от внутренней независимости, от собственного взгляда на вещи — решимость не рассуждая следовать любым велениям общества, велениям тех, кто его возглавляет, им командует. А уже надвинулось время, когда созданный в стране режим потребовал именно солгать и убить. Убивать большинству писателей все-таки не пришлось. Но солгать — неоднократно.

И дело не в одних писателях. Строки Багрицкого точно отразили то состояние, к которому в начале 30-х годов пришла советская общественность: она с полным согласием восприняла практику сталинизма, внедрившего ложь и расправу как норму жизни. Сегодня много и по праву говорят о тех, кто не принял этой практики, так или иначе сопротивлялся ей. Но их были единицы. А советская общественность в целом отнеслась к деяниям нового режима как раз по формуле Багрицкого: «Если он скажет: «Солги»,— солги».

Эти выразительные строки Багрицкого ныне часто цитируются. Иногда с нечистыми целями — намекнуть, будто подобные мотивы привнесены в русскую словесность со стороны — литераторами нерусской традиции. Бесполезная затея: вполне русские по традиции А. Толстой и Л. Леонов, Вс. Иванов и К. Федин, Н. Тихонов и Н. Асеев проделали тот же путь, что и Багрицкий или Сельвинский, или И. Эренбург, и с тем же, в общем, результатом. Так что в цитируемых стихах выразился общий грех отечественной литературы 30-х годов, ее общая готовность принять любые веления «века». И как раз этим они показательны. Этот живой пример демонстрирует, как внутреннее сближение с новым укладом и новой идеологией приводило к добровольному отказу от творческой свободы, к согласию жить и творить по установкам извне.

Словом, равнодействующая пестрого литературного развития 20-х годов сулила художественному творчеству сомнительные перспективы. Но хуже того. С этим процессом вживания в новую действительность путем отказа от идейно-художественной независимости фатально совпал другой — возраставшее стремление политического режима все жестче и непосредственнее управлять литературой.

На протяжении 20-х годов в литературном развитии сосуществовали, соперничали, а во многом и боролись две тенденции: тенденция к свободному творческому соревнованию различных направлений в искусстве, к художественному плюрализму — и тенденция к регламентации творчества, к нормативной эстетике и прямому управлению литературой. Первая проявлялась в самом богатстве художественных решений и творческих индивидуальностей, в свободе эстетических исканий, разнообразии литературных течений и их программ. Особенно надо выделить литературное объединение «Перевал», отстаивавшее именно независимость творчества. Свободное творческое соревнование различных художественных направлений предусматривала и политика партии, какой она была сформулирована в Резолюции ЦК РКП(б) 1925 года «О политике партии в области художественной литературы».

Но всему этому противостояла обратная тенденция, постепенно набиравшая мощь. Стремление регламентировать художественное творчество, предписать литературе определенную сумму норм и требований несли в себе программы и сама практика РАПП и Лефа. Их деятельность была попыткой утвердить нормативную эстетику; их отличала установка на диктат, убежденность в своем праве и долге указывать товарищам по искусству, о чем и как им писать. Прямым вмешательством в литературный процесс была повседневная практика Главлита, Главреперткома, государственных издательств. Тенденция к диктату и регламентации творчества выступала в постоянной готовности партийных органов указывать литературе темы и пути их решения.

Инструментом прямого давления на художников стало утвердившееся за 20-е годы понятие социального заказа. Оно игнорировало художественное — именно художественное — сознание писателя, то есть ту решающую сферу, где происходит проникновение художника в обстоятельства и настроения его времени. Дело сводилось к линейному отклику на события, на возникающие в обществе интересы и проблемы. Социальная весомость заказа при этом неизменно ставилась выше эстетического права художника на собственный выбор. Одновременно поощрялся конформизм, поверхностное приспособление к моменту.

Обе эти тенденции, повторяюсь, соперничали в литературном процессе 20-х годов. Однако к концу десятилетия, к 1928—1929 годам, решительно и весомо возобладала вторая: художественному плюрализму был положен конец. Связано это с принципиальными переменами в самой социально-политической жизни страны. Именно к 1928—1929 годам Сталин сумел (без большого труда и особенной борьбы) убедить партию отказаться от органического и естественного врастания в социализм, от пути, учитывающего все реальные обстоятельства и факторы действительности,— и перейти к казавшемуся более простым и ясным пути насильственного и волевого строительства социализма. (Социализма в этом случае неизбежно казарменного. На словах это, разумеется, называлось иначе.) Стремительно утверждался сталинизм как социально-политическая система и как идеология. В области литературы и искусства для этой идеологии стало вполне естественным, единственно правильным именно напрямую руководить творчеством. Задача перевоспитать писателей, уже сама по себе сомнительная, подменена была задачей прямо подчинить их себе.

Главным инструментом такого прямого управления литературой в конце 20-х годов становится РАПП. Он выступает теперь уже не просто как литературная организация в ряду других, а как бы получает от партии мандат на хозяйничанье в литературе. А. Смелянский не так давно («Советская культура», 27. 10. 88) очень уместно напомнил, что руководство РАПП не избиралось демократическим путем, а назначалось («кооптировалось») непосредственно ЦК. Его руками и осуществлялись первые шаги идеологической чистки в литературе, первый акт ликвидации творческой свободы.

«Победив» к концу 20-х годов и «Перевал», и Леф, и все другие группы и течения, рапповцы немедленно принялись за «перестройку» литературы, за насильственную переделку творческой психологии. 1929 год — первый черный год в истории советской литературы, тот рубеж, на котором покончили с художественным плюрализмом. В этом году (и в самом начале 1930-го) прекратил существование ряд литературных объединений: распался и самоликвидировался Леф, самораспустился ЛЦК («Литературный центр конструктивизма»). Достигли пика гонения на «Перевал». Прошла череда проработочных кампаний против упорно сохранявших независимость писателей — М. Булгакова, Е. Замятина, Б. Пильняка.

Проработки имели целью не только расправиться с неподдающимися, но и дать острастку остальным, произвести впечатление на писательскую среду. И этой цели они достигли. Последовало немало публичных выступлений писателей с признанием ошибок и отречением от былых соратников. «Отмежевание» стало популярным словом. Отмежевывались от «Перевала», от конструктивизма; в декабре 1929 года Рюрик Ивнев вдруг заявил о своем разрыве с имажинистами, про которых все уже и думать забыли.

Так утверждалось представление о творчестве, нуждающемся в постоянной опеке, контроле, указаниях. Так сами художники принимали как естественную принадлежность творческой работы опеку над собой, следование указаниям и обязательным нормативам.

Однако довольно скоро РАПП перестал удовлетворять сталинское руководство. Почти наверняка потому, что сфера его воздействия на литературу была все-таки недостаточно всеобъемлющей; за ее пределами оставалось немалое число писателей, состоявших в других литературных организациях или находившихся вне групп и не признававших авторитета РАПП. Вот почему 23 апреля 1932 года появилось постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Этим постановлением РАПП ликвидировался, и предлагалось создать единый Союз советских писателей, для чего созвать их съезд.

Эта правительственная акция разразилась как гром среди ясного неба и для самих рапповцев, и для всего писательского большинства. Это большинство и вообще художественная интеллигенция восприняли ликвидацию РАПП с большой радостью. «Дело было под пасху,— пишет тот же А. Смелянский,— многие (в том числе и во МХАТе) целовались и поздравляли друг друга: «Христос воскресе». Радовались напрасно».

Радовались действительно напрасно. Никто не собирался освобождать художников от опеки и вмешательства в их творчество. Наоборот, на смену не слишком совершенному инструменту такого вмешательства была выдвинута программа создания куда более властной организации. Сфера ее воздействия должна была охватывать уже всю литературу целиком, вне ее становилось невозможным уже никакое профессиональное существование литератора.

Прямым следствием постановления 1932 года был самороспуск всех оставшихся литературных групп («Перевала», организации крестьянских писателей). Началась подготовка к писательскому съезду. И сразу был создан орган, уже начавший осуществлять руководство всей литературой,— Оргкомитет будущего Союза писателей во главе с М. Горьким. Оргкомитет стремился закрепить происходившее сближение художников с новой социальной действительностью. Он наладил выезды писателей на социалистические стройки, посылал писательские бригады в союзные республики.

Казалось бы, это было полезное для творчества дело: художники расширяли запас жизненных впечатлений. Однако при этом писатель отнюдь не сам выбирал, куда ему ехать и что видеть. За него решали организаторы, они определяли, к чему привлечь писательское внимание. Так художников приучали смотреть на жизнь через чужие очки. Это тоже одна из форм управления творчеством. Каковы бывали ближайшие результаты, говорит

следующий пример. В августе 1933 года 120 писателей проехали по Беломорско-Балтийскому каналу, только что построенному трудом заключенных. Жизнь этих последних художники слова наблюдали, не отходя далеко от теплохода. И в начале 1934 года коллектив из 36 авторов (в их числе М. Горький, В. Шкловский, Вс. Иванов, В. Катаев, А. Толстой, В. Инбер, М. Зощенко и др.) выпустил позорную книгу о Беломорканале — книгу, в которой принудительный труд в зоне представал как образец социалистической «перековки» людей.

Немалую роль в перестройке литературы на рубеже 20-х и 30-х годов играл М. Горький. Он возглавил тот поворот к новой социальной действительности и безоговорочное утверждение ее, которые возобладали тогда на переднем плане литературы. Думаю, что Горьким двигало достаточно сложное сочетание побуждений. С одной стороны, он скорее всего действительно верил в подлинность происходивших в стране перемен. Ему казалось, будто в них воплощается то, что для него, Горького, всегда было высшей ценностью,— активное человеческое деяние, преобразующее мир и самого человека. Он верил, что советская литература способна быть и уже становится реальным фактором такого преобразования мира и людей. Но думаю, что одновременно он поддавался тому же непрерывному, неотступному воздействию, как и вся писательская среда. По отношению к Горькому это воздействие было ненавязчивым, но исключительно упорным.

Горький в начале 30-х годов вернулся в Советский Союз, где его ждали, в него верили. И здесь Сталин поставил цель приблизить Горького к своей генеральной линии, сделать его в глазах народа сторонником проводимой в стране политики. В начале 30-х годов Горький и Сталин были довольно близки, неоднократно встречались — в Горках и в пожалованном писателю особняке Рябушинского. Затем, правда, отношения разладились. Возможно, Сталин убедился, что Горький не собирается увековечить его образ. Судя по всему, Сталин понимал, что литературная челядь, с готовностью плодящая песнопения в его честь, не способна по-настоящему обессмертить его, создать образ, который останется жить. Он догадывался, что это смогут сделать, если захотят (если их приручить или вынудить), скорее те, кто пока не уступает, не желает служить созданному им обществу. Отсюда странные на первый взгляд игры Сталина с писателями — с Булгаковым и Замятиным, с Пастернаком и Мандельштамом («изолировать, но не уничтожать»). И прежде всего с Горьким. Но затем, очевидно, Сталин перестал ждать от Горького нужных ему плодов. И вообще окрепнувший сталинизм не нуждался больше в словесной поддержке писателя. А возможно, и Горький что-то понял,— убедился, с кем и с чем имеет дело. Но все это позже. А в начале 30-х годов Горький — активный проводник сближения литературы с действительностью — действительностью утверждавшегося сталинизма. И ему не делает чести, что насилие над страной, ее людьми, над самой жизнью писатель спутал с начавшимся будто бы социалистическим переустройством ее.

Ныне достаточно хорошо известна история посещения Горьким Соловков. В июне 1929 года он побывал в страшных Соловецких лагерях особого назначения (СЛОН) и ничего из творящегося там не увидел. Этому даются разные объяснения, но фактом остается, что в своих очерках «По Союзу Советов» Горький нарисовал весьма благостные картины жизни и труда заключенных на Соловках.

Конечно, сегодня, из нашего безопасного и хорошо информированного далека винить за все это Горького — невелик труд. Но и оправдать нельзя.

В августе 1934 года состоялся Первый Всесоюзный съезд писателей. Его принято называть видной вехой в истории советской литературы, и он действительно ею был. Эта веха обозначила внутреннюю перестройку литературы, изменившееся положение ее в государстве. Впервые столь отчетливо и во всей полноте выступили новые, неравноправные отношения общества и искусства. Подводя итоги съезда, Горький в заключительном слове говорил: «Перед литераторами Союза социалистических советов встала вся страна, встала и предъявила к ним — к их дарованиям, к работе их — высокие требования». Так оно и было. А в ответ литераторы недвусмысленно заявили, что готовы выполнить эти требования, готовы стать исполнителями заданий.

Вперемежку с писателями на трибуну съезда поднимались многочисленные представители рабочих, колхозников, военных, ученых, школьников. От имени народа они указывали литераторам, чего от них ждут. Председательница колхоза требовала переделать шолоховскую Лушку, которая лишь ласкается к мужчинам, в ударницу колхозного производства. Военные утверждали, что мало книг о Красной Армии, а бывший правонарушитель тов. Глазов заявлял, что нужны книги о трудовых исправительных коммунах и о тех, кто их создает,— о товарищах Ягоде, Погребинском и им подобных. Кто такой Ягода, объяснять не надо, тов. Погребинский же был одним из создателей системы исправительно-трудовых лагерей и колоний, еще и писавшим теоретико-публицистические трактаты о перевоспитании людей трудом в специально отведенных для этого местах.

Писатели своими аплодисментами и в ответных речах с благодарностью принимали указания.

Одной из главных тем в писательских выступлениях были те перемены, которые произошли в их взглядах и творчестве. Всеволод Иванов говорил: «Я утверждаю, что все без исключения подписавшие и сочувствовавшие декларации «Серапионовых братьев» — против тенденциозности — прошли за истекшие 12 лет такой путь роста сознания, что не найдется больше ни одного, кто со всей искренностью не принял бы произнесенной т. Ждановым формулировки, что мы — за большевистскую тенденциозность в литературе». Эти слова тоже были встречены писательскими аплодисментами, а между тем они означали капитуляцию художника перед внехудожественными, внелитературными воздействиями на него. Литература соглашалась отступить от художественной правды во имя определенной тенденции. Истинную цену такой тенденции Всеволод Иванов достаточно простодушно раскроет в той же речи. «...Утверждаю,— скажет он,— что работа в одной из литературных бригад над созданием истории Беломорканала будет и останется для меня одним из лучших дней моей творческой жизни». Так задание поддержать художественным словом созданную в стране систему лишения свободы воспринимается самим писателем чуть ли не как как высшая цель творчества. Разумеется, это относится не к одному Всеволоду Иванову. Таков был вообще реальный смысл говорившегося на съезде.

На Первом съезде писателей был создан Союз советских писателей, избрано его Правление, которое, в свою очередь, избрало Президиум и секретариат Союза. В. Розов заметил уже в наши дни: «...Создание Союза писателей было актом Сталина — очень мудрым (с точки зрения злодея) и очень хитрым: он взял и уничтожил сразу все направления, которые естественно существовали в нашей литературе, объединил их в одно и дал одну программу поведения. Создал, так сказать, писательскую казарму, в которой команды «вольно» чуть побольше, чем в простой казарме».

Автор этих слов не вполне точен только в одном: естественно существовавшие направления были фактически задавлены уже к 1932 году. Но верно, что Союз советских писателей был учрежден именно для того, чтобы задать писателям общую и обязательную для всех программу творчества и творческого поведения. Каково общество, такова и литература. В обществе казарменного социализма и искусство начало жить по команде. ССП стал государственным ведомством литературы, лишь оформленным как общественная организация, творческий союз. Красноречивым подтверждением служил хотя бы тот факт, что первым секретарем Союза писателей, руководившим всей его практической работой, стал не имеющий отношения к литературе профессиональный партийный чиновник А. С. Щербаков.

В начале 30-х годов возникло и быстро утвердилось также и теоретическое, вернее, идеологическое обоснование новых отношений искусства и действительности, литературы и общества — доктрина социалистического реализма как художественного метода советской литературы.

Представления о некоем искомом, желательном для советской литературы художественном (или творческом) методе зародились еще в конце 20-х годов. Тогда их усиленно эксплуатировали рапповцы. Сейчас такой метод получает свое определение. С мая 1932 года на страницах периодики (сначала в «Литературной газете») появляется понятие «социалистический реализм». В октябре того же года во время беседы с группой писателей в квартире Горького это рождающееся понятие поддержал Сталин. После чего оно получило значение бесспорной, основополагающей категории.

В 1932—1934 годах вопросы социалистического реализма как нового творческого метода советской литературы были постоянным предметом обсуждения в литературной печати, на писательских собраниях, пленумах Оргкомитета. Серьезнее других стремились осмыслить это понятие Горький и Луначарский. Их усилиями было выработано представление, что главное в социалистическом реализме — это изображение действительности в ее развитии. В таком виде формула социалистического реализма вошла в Устав ССП, утвержденный Первым съездом писателей: «...Являясь основным методом советской литературы, социалистический реализм требует правдивого, исторически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии». В Уставе ССП говорится также, что такое изображение должно «сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма».

Тут мы вступаем в область странную. Уже более полувека соцреализм считается основным методом советской литературы — и тем не менее остается чем-то почти неосязаемым, скорее мифом, чем реальной эстетической категорией. В концепциях социалистического реализма нет недостатка. Их предлагали в разные годы Л. Тимофеев, Б. Сучков, С. Петров, А. Метченко, А. Овчаренко, Н. Гей, Д. Марков и многие другие. Однако ни в одной не дано не только его удовлетворительного определения, с которым согласились бы если не все, то хотя бы большинство, но даже сколько-нибудь полного описания его качеств и границ как художественного метода. Даже на элементарный вопрос: чем эстетически — именно эстетически — отличаются произведения социалистического реализма от классических произведений «прежнего» реализма или от окружающих его современных художественных явлений,— даже на этот вопрос до сих пор не последовало ясного ответа.

Можно, впрочем, считать бесспорным два основополагающих качества, требования соцреализма как художественной доктрины. Во-первых, он признает зависимость творчества от окружающей социальной среды, от общества, называющего себя социалистическим. И делает это своим ведущим принципом: художник соцреализма открыто и сознательно служит

существующему социалистическому строю, его интересам, его идеологии. Во-вторых, социалистический реализм требует изображать действительность не такой, какова она есть, а в определенной проекции — с точки зрения социалистического идеала. Он требует ставить в фокус именно то, что показывает в настоящем и прошлом черты этого идеала, требует раскрывать настоящее и прошлое как движение к будущему («действительность в ее революционном развитии»).

В истории советской литературы не так уж мало произведений, которые вполне отвечают этим основным требованиям соцреализма: поэмы Маяковского, «Разгром» и «Поднятая целина», «Как закалялась сталь» и «Хождение по мукам», «Оптимистическая трагедия» и «Кремлевские куранты». Но в ней по крайней мере не меньше и таких художественных явлений, для которых эти требования остаются прокрустовым ложем, которые не умещаются в этих границах. Тем не менее они — и это главное — не теряют ни эстетической, ни этической, ни социальной ценности. Здесь могут быть названы не только «Котлован» и «Чевенгур», «Мастер и Маргарита», поэзия Анны Ахматовой и Пастернака, «Жизнь и судьба» Гроссмана, но и «Тихий Дон», и «Василий Теркин», и такие близкие к нам по времени явления, как проза Шукшина и Трифонова, драматургия Вампилова.

За пятьдесят с лишним лет своего существования концепция соцреализма не принесла советской литературе никакой пользы — ни как эстетическая теория, ни как практическая программа литературного творчества.

Как эстетическая теория она ничем не помогает понять художественную — именно художественную — природу советской литературы в ее сущностных чертах. Она не дает, повторяюсь, ответа, чем отличается само художественное вещество «Тихого Дона» от «Войны и мира», «Василия Теркина» — от «Кому на Руси жить хорошо», «Оптимистической трагедии» — от пьес, скажем, Леонида Андреева. Ведь если советской литературе присущ особый художественный метод, то отличие, казалось бы, должно быть — подобно тому, как очевидно отличие художественного вещества произведений классического («критического») реализма от произведений, допустим, романтизма. Теория социалистического реализма всего этого не объясняет.

Равно доктрина соцреализма не способна служить и реальной программой художественного творчества. Она дает, с одной стороны, лишь самые общие рекомендации. Так, если верить литературному апокрифу недавней поры, Сталин в свое время в ответ на вопросы писателей, в чем же существо социалистического реализма, ответил: пишите правду, это и будет соцреализм. Ясно, что бессодержательные рецепты такого сорта немногим могут помочь в творчестве. Либо же программа соцреализма превращается в набор обязательных правил. На протяжении десятилетий эта категория выступала чаще всего именно как некий эстетический кодекс, как сумма идейно-художественных нормативов, посредством которых и регламентировали живое творчество, задавая ему желательные параметры. Одним из таких нормативов была, например, известная догма о положительном герое как якобы обязательном предмете изображения для советских художников. Она преследовала советское искусство до самого последнего времени, и боюсь, что способна в любой момент возродиться.

Горький и Луначарский предлагали в свое время понятие социалистического реализма как такую программу, которая будет стимулировать искусство, побуждать художников выйти за пределы эмпирически данной реальности. Они заблуждались. Опыт показал, что какой-либо о б щ е й д л я в с е х программы творчества просто не должно быть: если она появляется, то неизбежно оборачивается системой эстетических нормативов, жестким давлением на творчество.

В самые последние годы категория социалистического реализма все реже и все меньше занимает литературную мысль. Не только сами художники, но теоретики и критики перестают ссылаться на его каноны и его гипотетические возможности. Понятие соцреализма все чаще предстает в контексте проблемы: нужна ли вообще эта категория? Дискуссия о социалистическом реализме, прошедшая в 1988 году на страницах «Литературной газеты», открылась «круглым столом» как раз на эту тему — «Отказываться ли нам от социалистического реализма?».

Я полагаю — да, отказываться. Надо отказываться от соцреализма как основополагающей категории, которая якобы содержит ключ к «секретам» советской литературы, к ее особенностям и ее богатствам.

Иное дело, что в советской литературе существовали, как уже сказано, художественные явления, вполне отвечающие основным требованиям этой эстетической доктрины, выросшие на их почве. Применительно к ним вполне правомерно говорить о соцреализме, но лишь как о конкретном литературном течении, конкретном историко-литературном этапе. Правомерно, видимо, и изучать действительное место именно так, конкретно понимаемого социалистического реализма в истории послеоктябрьского отечественного искусства. Представления же о нем как о художественном (или творческом) методе, определяющем саму эстетическую природу советской литературы и, стало быть, принципиально отличающем ее от предшествующего и современного ей мирового искусства, пора решительно отвергнуть. Ничего, кроме вреда и теоретической путаницы, они не дают. К тому, пожалуй, идет.

На мой взгляд, замечательно — одновременно и образно, и очень точно эту обременительную для советской литературы роль категории социалистического реализма определил год назад Андрей Синявский: «Общий образ соцреализма я представляю себе как тяжелый кованый сундук, который занял собою всю комнату, отведенную литературе в качестве жилья. Так что оставалось либо залезть в сундук и жить под его неусыпной крышкой, либо то и дело наталкиваться на этот сундук, ушибаться, падать, иной раз протискиваться с трудом, боком, или проползать под ним. Теперь этот сундук все еще стоит, но то ли стены комнаты раздвинулись, то ли сундук перенесли в более просторное и проветренное помещение».

Продолжая метафору Синявского, скажу, что надо сменить сам сундук: вместо громоздкого и тяжелого поместить сундучок куда поменьше. Пусть социалистический реализм занимает в пространстве нашей литературы ровно столько места, сколько реально заслужил.

Но вернемся к 30-м годам. И организация ССП как единого для всех писателей ведомства, и внедрение соцреализма как единой для всех программы творчества — все это звенья одной цепи. Так создавалась система управляемого искусства взамен саморазвивающегося, саморегулирующегося. Последствия не замедлили сказаться. Литература начала расслаиваться, раздваиваться. Художественную и историческую правду продолжали нести произведения тех немногих, кто не отказался от творческой независимости, не подчинился ни внутренне, ни внешне регламентации и диктату. И кто был именно за это вытеснен с переднего плана литературы — того «плана», где печатают, переиздают, ставят на сцене, воздают хвалу, морально и материально поощряют. Художественная правда уходила в недра художественного процесса, «в стол», в подполье, оставаясь неопубликованной.

Большинство же, принявшее зависимость как норму творчества, пошло иным путем. В поле изображения писателей 30-х годов действительность чем дальше, тем больше представала только в одном измерении — в том, где был виден лишь процесс строительства нового мира с его предпосылками в прошлом, героикой в настоящем и перспективами в будущем. О другом измерении — тяжких потерях, жестоком насилии над экономикой, культурой, жизнью нации, над самим человеческим бытием — из произведений, опубликованных в 30-е годы, почти невозможно узнать. Литература все больше теряла в подлинности. Рос разрыв между тем, что она изображала, и тем, что в действительности происходило в жизни народа, общества и в жизни человека, личности. Объяснить это нетрудно.

Сталинизм был извращением не только социального бытия людей, но и их социального сознания. В реальном историческом бытии сталинский строй — это строй угнетения, где вставшая над страной иерархия власти эксплуатировала трудящееся большинство. В общественном сознании же он представал как новый уклад, при котором ликвидированы эксплуатация и неравенство и осуществляются принципы социализма. Страна, миллионы граждан которой находились в лагерях, а другие миллионы беспощадно угнетались, была провозглашена воплощением социальной свободы и социальной справедливости.

При этом сталинизм воинствующе требовал веры в эту извращенную картину, утверждал, что происходящее в стране и есть социализм, другого социализма не бывает. И это требование принималось большинством сознательных членов общества; одними — с готовностью, другими — с теми или иными затруднениями, но принималось. Недавно В. Кардин («Знамя», № 3 за этот год) показал, какому множеству мифов было подчинено сознание людей той поры. Из этого множества складывался один огромный миф о будто бы построенном социализме.

Так возникала величайшая двойственность всей жизни в 30-е и последующие годы. Утверждался разрыв между тем, что происходило на самом деле, и тем, как происходящее отражалось в сознании, в представлениях и словесной практике общества. Эту двойственность мало кто сознавал, в том числе и писатели. Ее и теперь все еще недостаточно сознают. В 30-е годы писатели в большинстве находились на общем для всех уровне понимания действительности. Неадекватную, неполную, неистинную картину происходящего они принимали на веру. Не только вынужденно, но и искренне они стремились усвоить господствующую концепцию, сделать ее собственным мировоззрением. В создаваемой ими художественной модели мира они исходили именно из мифа об осуществляемом социализме. Нужно было обладать незаурядной духовной силой, особой независимостью художнического и гражданского сознания, чтобы сохранить способность к восприятию действительности объемно, во всех ее измерениях. Это было дано, как мы теперь видим, немногим.

Конечно, это не значит, что произведения 30-х годов вовсе не имеют художественной подлинности, что литература лишь обманывалась сама и обманывала других. Невиданное трудовое напряжение и его весомые, зримые результаты тоже были реальностью тех лет. Страна действительно строила, создавала, преодолевала испытания. Достоверны были и вошедший в привычку энтузиазм, готовность к самопожертвованию, вера в прекрасное будущее, создаваемое собственными руками. Они были, видимо, вовсе не такими всеобщими, как до сих пор утверждается, но они еще не выветрились, не были обесценены тогда и остаются достоверной приметой 30-х годов, их отличием на все времена. Этими реальными чертами времени и питались романы и поэмы 30-х годов о социалистическом строительстве, о пятилетках. Правда, произведения, подобные «Соти», «Людям из захолустья», «Стране Муравин», уже отходят в ряду худо-

жественных ценностей на второй план. Но они — реальная история нашей литературы. Даже утрачивая эстетический приоритет, романы и поэмы 30-х годов остаются живой приметой, отнюдь не такой привлекательной, как считалось, но в самом деле небывалой и яростной эпохи.

Все это надо признать за писателями 30-х годов. Но и вины с них все это не снимает. При всех объективных причинах и обстоятельствах не меньшую роль играли и субъективные — мера личности каждого художника, его персональная нравственная и художническая состоятельность. На этой «субъективной» почве и распространялся литературный конформизм — готовность приспособиться к идейным заданиям и эстетическим нормативам. Им было загублено немало писательских биографий: творчество А. Толстого, Вс. Иванова и многих других выхолащивалось от книги к книге при всех внешних достоинствах их писательского облика. Нарастали иллюстративность, бесконфликтность, облегченное изображение действительности. И сама литературная мысль не могла этого не замечать. Мне уже приходилось цитировать доклад о современной прозе, который сделали прозаик П. Павленко и критик Ф. Левин 31 января 1941 года на открытом партийном собрании писателей в Москве. Как бы подводя итог только что истекшему десятилетию, они вынуждены были говорить об ослаблении реализма в литературе, об уходе писателей от действительных проблем современности. И объясняли, из-за чего это происходит: «Из боязни сделать что-нибудь отрицательное, вредное, преступное... Автор... в результате занимается смягчением конфликта и лакировкой действительности, полагая, что на этом пути ему будет гораздо легче».

Такую оценку сама себе давала литература 30-х годов. Вот почему так двойственны, противоречивы ее художественные результаты. Казалось бы, именно в эти годы писались «Тихий Дон» и «Петр Первый», романы Михаила Булгакова и Андрея Платонова, многие лирические шедевры Бориса Пастернака, «Воронежские тетради» Мандельштама, «Реквием» Анны Ахматовой... Но с другой стороны, автор «Тихого Дона» завершал свою эпопею едва ли не вопреки тому, чего ждали от него современники. Они полагали, что в финале Григорий Мелехов с шашкой, покрытой кровью врангелевцев, в руках въедет на буденновском коне в новую жизнь. В романе вышло иначе, и в отзывах критики той поры — таких, как статья В. Ермилова «О «Тихом Доне» и трагедии», например.— звучит, как это сегодня ни смешно, откровенное разочарование.

Поэзия Пастернака тем более возникала вопреки всему, что требовали тогда от литературы,— вопреки бешеной кампании против «формализма», разразившейся как раз в середине 30-х годов. Проза Булгакова и Платонова, «Воронежские тетради» и «Реквием» вообще рождались в прямом конфликте со своим временем, и зачислять их на свой счет советская литература 30-х годов вряд ли вправе.

«Петр Первый» А. Толстого при всем изобразительном блеске несет следы попыток приспособиться к идеологическим установкам времени. Сперва это было следование историческим схемам Покровского, затем — стремление создать апофеоз государственности, что весьма импонировало вкусам Сталина и идеологии сталинизма. И уж тем более было испорчено «Хождение по мукам»: автор совершенно откровенно пытался дать образцовое решение темы человека и революции, и из-за этой прямолинейности эпопея теряла от книги к книге свое художественное обаяние. Хотелось бы занести в число художественных удач «Страну Муравию» начинающего как раз тогда А. Твардовского, однако и эта поэма — достаточно сомнительное достижение на фоне того, что мы теперь знаем о насилии над крестьянством в годы «коллективизации». О «Поднятой целине» в этом смысле и говорить не приходится.

Столь же небесспорны и другие художественные образцы времени. «Как закалялась сталь» — продукт не столько художественной, сколько нравственной силы и высоты. «Оптимистическая трагедия» — вещь, скорее облекавшая революцию в романтические одежды, чем раскрывшая ее действительные проблемы. Романы Л. Леонова, И. Эренбурга, А. Малышкина о пятилетках, как уже сказано, давали одномерную, неадекватную картину своей эпохи. Словом, все эти художественные итоги в точном смысле двойственны.

Таково направление, в котором пошла отечественная литература с рубежа 30-х годов. Как оно продолжалось и осложнялось в 40—50-е, а затем и в 70-е годы — отдельная тема. Здесь же важно было показать истоки. Мы долгое время гордились своим послеоктябрьским литературным прошлым. Совсем недавно литераторы и вся общественность торжественно отмечали пятидесятую годовщину Первого съезда писателей и создания писательского союза. Пройденный путь казался не подлежащим сомнению. Однако пора юбилеев проходит и настает время посмотреть на вещи трезвыми глазами. Огромный массив открывшихся всем фактов — и художественных, и исторических — делает неизбежной переоценку пройденного пути. Не затем, чтобы чернить его, как опасаются некоторые, а затем, чтобы точно, с беспристрастностью исследователя отделить в полученном наследстве то, что остается жить, от того, с чем нужно расстаться. Мы обязаны ясно видеть, бремя каких навыков и традиций сбрасывать с плеч, чтобы вернуться к свободе творчества.

Вольф СЕДЫХ

«Приношу свои раны...»

Марии

Тебе, жена и друг, в дар приношу свои раны.
Они — лучшее, что дала мне жизнь.
Ими, как вехами, был отмечен каждый мой шаг вперед.

Ромен РОЛЛАН, сентябрь 1933.

Летом 1942 года Ромен Роллан отправил письмо своему старому другу, известному искусствоведу Луи Жилле, приглашая его приехать в Везлей, где жила в то время семья писателя. «Мы с женой,— говорилось в письме,— будем очень рады видеть вас (у меня теперь есть славная спутница жизни, она разделяет мою участь, защищает меня от всех напастей и выносит на своих плечах одновременно и нелегкие садовые работы (помощи ждать неоткуда), и умственные занятия...)».

В том же послании Роллан упоминал о своей парижской квартирке: «Самое большое, что мне по силам,— это иногда наезжать в Париж, я там снова снял антресоль в доме 89 по бульвару Монпарнас, рядом с церковью «Нотр-Дам-де-Шан».

Впервые мне довелось переступить порог этой квартиры и познакомиться с женой писателя весной 1956 года, 11 лет спустя после его смерти. В последний раз я побывал здесь в 1984 году, за несколько месяцев до кончины Марии Ромен Роллан.

Направил меня к ней Илья Эренбург. Торопливо черкнув на клочке бумаги телефон и адрес Марии Павловны, он буркнул:

— Советую выкроить время, не пожалеете. Это — женщина необычной судьбы. О многом может рассказать. И главное — о Роллане. Этого великого правдолюбца еще не поняли до конца. Поймут, наверное, в XXI веке.

И вот я в тесном помещении, сразу не скажешь — то ли квартира, то ли архив. Стены двух смежных комнаток (дверь в третью прикрыта) с пола до потолка заставлены стеллажами с досье. Десятки, сотни пухлых картонных папок с цветными наклейками на корешках, например: «Жан-Кристоф (материалы)», «Письма Р. Роллана, 1886 год» или «Письма Р. Роллана, 1944 год». На столах — такие же досье с разноцветными закладками, книги, фотографии, вырезки из газет, пишущая машинка с еще девственным листом бумаги.

Пока я обводил взором все эти богатства, хозяйка искоса и нетерпеливо поглядывала на меня: «Кого еще прислал ко мне этот неуемный Эренбург?» — как будто спрашивали ее светлые, с лукавинкой глаза.

«Женщина необычной судьбы» — эта фраза Ильи Эренбурга интриговала меня. Ведь тогда, в очень далеком теперь уже 1956 году, я почти ничего не знал о Марии Павловне, разве только то, что она по происхождению русская и была замужем за французским писателем. Знавал я и некоторых других моих соотечественниц с похожей судьбой. Например, писательницу Эльзу Триоле (Эльзу Юрьевну Каган) — жену Луи Арагона. Или художницу Надю Леже (Надежду Петровну Ходасевич) — супругу Фернана Леже. Имена этих двух дочерей России нередко мелькали в печати, их знали в мире литературы и искусства. Хотя, как мне кажется, жизнь и творчество обеих женщин еще ожидают своих исследователей. А вот Мария Ромен Роллан... Что мы знаем о ней?

Откровенно говоря, потребовалось несколько лет нашего знакомства, прежде чем Мария Павловна поведала мне о некоторых подробностях своей жизни и даже позволила записать ее воспоминания на магнитофон. А уже после смерти вдовы Ромена Роллана более полно восстановить ее биографию любезно помогла мне Татьяна Николаевна Кудашева. О ней речь еще впереди.

Итак, на закате прошлого века, в 1895 году, у француженки Мека Кювилье, служившей гувернанткой в Москве, в семье одного русского полковника, родилась дочь. Событие радостное и, в общем-то, обычное, если бы не некоторые обстоятельства. Дело в том, что счастливая мать не была замужем и отцом ее ребенка оказался хозяин дома, доблест-

ный полковник, обремененный многочисленным семейством и потому, видите ли, не решившийся официально признать собственное дитя. Девочку назвали Марией, и крестил ее конюх полковника — Михайлов. В свидетельстве о рождении было так и записано: «Мария, урожденная Михайлова». Первое время она воспитывалась в доме полковника. Однако ни официальная жена «героя», ни его «законные» дети не жаловали непрошеную родственницу, и в конце концов малышку «откомандировали» во Францию, к сестре ее матери. И все же через несколько лет Мария вернулась в Россию («Меня неудержимо тянуло на родину»,— исповедовалась она впоследствии).

Начитанная, свободно владевшая французским языком, девушка рано увлеклась литературой, искусством, сама писала стихи. Вскоре она вошла в литературную среду, познакомилась с Мариной Цветаевой, Андреем Белым, Вячеславом Ивановым, другими известными поэтами.

А потом судьба свела ее с князем Сергеем Александровичем Кудашевым. Молодой князь по отцовской линии продолжал старый дворянский род Кудашевых, многие из них отличились на службе России. За храбрость, проявленную в сражениях против наполеоновской «великой армии», один из Кудашевых был удостоен Золотой сабли. Ее вручил ему Михаил Кутузов.

Что же касается матери Сергея Александровича — Екатерины Васильевны Кудашевой, урожденной Эссен Стембон Фермор, то она могла бы проследить свой род и до шведских королей.

Причудливы зигзаги судьбы. Вскоре Сергей Александрович — потомок русских князей и шведских королей — предложил руку и сердце «незаконнорожденной» крестнице конюха, ставшей после брака княгиней Кудашевой, и в 1917 году у счастливой четы родился мальчик, названный в честь отца Сережей.

Сын появился на свет в самый разгар Февральской революции, потом грянул Великий Октябрь, а в 1918 году, в начале гражданской войны, эпидемия «сыпняка» скосила его отца — офицера белой армии, как она косила тысячи и тысячи его соотечественников без разбора — и «красных», и «белых».

Можно себе представить положение 23-летней вдовы с малышом на руках, которая мечется в пучине гражданской бойни, ища приюта, какой-нибудь работы, просто куска хлеба. Слава богу, мир не без добрых людей. Еще в канун мирового кровопролития Мария Павловна провела два лета в Крыму, в Коктебеле, в доме известного поэта и художника Максимилиана Волошина. В этом же доме ее приютили и в огненные 1919—1921 годы, вплоть до конца гражданской войны.

И все же, каким бы гостеприимным ни был дом поэта Волошина, Марию Павловну постоянно влекло в «белокаменную», в родной город. Едва дождавшись подходящей оказии, она возвращается в Москву. К счастью, здесь она находит в живых родственников ее покойного мужа: известного профессора Льва Александровича Тарасевича, свою свекровь Екатерину Васильевну и ее брата Николая Васильевича. Профессорская квартира в доме № 41 в переулке Сивцев Вражек хоть и не резиновая, но вмещает в свои стены еще одну «бывшую» с ее сыном.

Нужно было продолжать жить. Мария Павловна устраивается на секретарскую работу в Академию художественных наук и в свободное время переводит стихи современных французских поэтов. Один из них — Жорж Дюамель, побывав в Советском Союзе, познакомился с миловидной переводчицей его поэзии и поведал о ней своему другу Ромену Роллану, который, кстати, еще в 1923 году получил письмо из России от незнакомой ему почитательницы его таланта Марии Кудашевой. Вот почему, когда в 1929 году одно из советских издательств приступило к выпуску на русском языке собрания сочинений Роллана, писатель порекомендовал для работы над этим изданием свою русскую корреспондентку.

В гости к Екатерине Васильевне нередко наведывается Елизавета Ефимовна Мукалова — когда-то они познакомились на Украине, в имении Сергея Александровича Кудашева. Вместе с ней в квартире профессора Тарасевича все чаще появляется и ее дочка Таня. Веселая, необыкновенно подвижная девочка быстро сдружилась с Сережей (хотя и была старше его), сдружилась всерьез и навсегда и много лет спустя вышла за него замуж. Именно благодаря Татьяне Николаевне Кудашевой, бывшей артистке ансамбля Игоря Моисеева, а впоследствии кандидату искусствоведения, я смог уточнить некоторые факты жизни Марии Павловны и получить еще не опубликованные фотографии Ромена Роллана.

Как же разворачивалось заочное знакомство героини нашего повествования с великим писателем? Много лет назад я записал на магнитофонную ленту рассказ Марии Павловны об этом знакомстве, перевернувшем всю ее жизнь. Предоставляю эту подкупающую своей искренностью исповедь на суд читателей без каких-либо изменений. Итак, говорит Мария Ромен Роллан:

«Я первая написала Роллану. Я вовсе не была в него влюблена сначала, я полюбила Жан-Кристофа. Я ничего не знала о Роллане, но однажды дядюшка моего первого мужа Лев Тарасевич дал мне прочесть «Жан-Кристофа». Читав четвертую книгу, я написала Ромену Роллану. В письмах я начала рассказывать ему о своих отношениях с моим другом, который был женат. В ответ Роллан вдруг начал мне «читать мораль». Я обиделась и перестала отвечать на письма. Но, перечитав через несколько лет «Жан-Кристофа», я вдруг увлеклась автором.

Я с детства писала стихи. Если вы любите поэзию, а не просто стихотворство, то вы знаете, что стихотворением можно все сказать. Вместе с моим первым письмом я послала Роллану стихи, написанные когда-то для других людей. Должна сказать, что он тогда почувствовал ко мне влечение, он мне потом об этом сам сказал.

Я была когда-то влюблена в поэта Вячеслава Иванова. Познакомилась с ним, когда мне было 18 лет, а ему 47; в нем был какой-то магнетизм, об этом даже писал Блок в одном из своих стихотворений: «... весь излученье тайных сил». Он очень меня любил, но никогда ничего между нами не было. Он подарил мне свою книгу с надписью: «Заветной радости моего сердца, родной и любимой Марье тот, которого она нежно зовет отцом, богом благословенному дитяти». Когда я бывала с ним одна, то от волнения не могла произнести ни слова. Встречала его на вечерах у Николая Бердяева, родственника моего первого мужа. На этих вечерах я, влюбленная в Иванова, читала стихи и совсем не стеснялась. Но когда я каждое воскресенье приходила к нему, то не могла произнести ни слова. Я приносила ему очередное письмо, а он мне отвечал на прежнее письмо.

И вот я послала Роллану эти стихи, чтобы он немножко узнал меня изнутри, как узнают поэта по его стихам, а не по разговорам, встречам и т. д. Одно из моих стихотворений Роллан переделал и включил в «Очарованную душу».

В 1928 году, перечитывая «Жан-Кристофа», я написала Роллану вновь, напомнила ему, что уже писала несколько лет назад, и послала ему стихи. Он испугался, потому что был уравновешенным французом, ему было 63 года, а я была сумасшедшей русской (французы считают русских сумасшедшими). Но он привык к русским сумасшедшим, потому что любил Толстого, любил Достоевского,— не любил он так называемых разумных людей. Когда-то он мне сказал: «Я люблю опасные характеры». Опасные не для других, а для самих себя.

Я никогда ничего от него не скрывала. Всю мою жизнь он знал досконально, и все в ней ему нравилось. И вот я начала ему посылать стихи. Он сначала защищался, писал, что у него семья. Но потом написал: «Я хотел бы, чтобы ты приехала». Но у меня не было денег, паспорта и визы. Роллан сказал, что деньги он пришлет, а паспорт поможет оформить Максим Горький. Паспорт мне дали назавтра после звонка Горького. Швейцарский министр, отвечая на письмо Роллана, сказал: «Вы — слава швейцарцев, честь нашей страны, все, что вы хотите, я сделаю». Так что я смогла вскоре к Роллану приехать. Но так как он знал мою жизнь, знал, что я нередко бывала влюблена, то он боялся, что это вдруг опять какая-то авантюра, он держал меня три недели в Швейцарии, а потом попросил поехать обратно. Я, конечно, была в ужасе, ибо боялась, что Горький умрет и мне паспорт больше не дадут. Во второй раз он опять попросил меня уехать, захотел, чтобы я пожила два-три месяца во Франции. Но я испугалась того, что в России подумают, будто я эмигрировала, и уехала обратно. В третий раз приехала к Роллану в 1931 году, и тогда он меня у себя оставил.

Но у него была сестра, умная, хорошая, которая с 1922 года жила вместе с ним и с отцом в Швейцарии. Роллан думал, что она меня хорошо примет, а она сначала не хотела, чтобы я жила с ними в одном доме. Роллан ждал три года, и только в 1934 году женился на мне. Вот и вся история».

Впрочем, «история» только начиналась. Конечно, в то время немало людей лишь пожимали плечами, когда речь заходила об экстравагантном браке 40-летней «взбалмошной» русской и 70-летнего французского писателя, которого называли «совестью века». Всякое говорили по этому поводу. Ромену Роллану даже пришлось публично дать резкую отповедь одному из бывших деятелей Коминтерна, Анри Гильбо, не постеснявшемуся оклеветать жену писателя. А разве в наши дни перевелись любители подглядывать «в чужие дела и постели»?

Мария Павловна не раз рассказывала мне о своей жизни с Роменом Ролланом в его доме в швейцарском городке Вильневе. Это были счастливые годы, согретые взаимным уважением и любовью, наполненные литературным трудом, совместными заботами, общими интересами и привязанностями. Конечно, совершенное знание мадам Ромен Роллан французского языка пришлось как нельзя кстати: она читала мужу русские газеты, книги, рассказывала о жизни на ее родине. Писатель не раз говорил впоследствии, что жена в значительной степени помогла ему понять Страну Советов, полюбить ее народ. Советские люди не оставались в долгу — у Роллана появилось в России немало новых друзей и знакомых, а Сергей Кудашев стал его названым сыном.

В 1933 году под общим названием «Провозвестница» вышли из печати два тома четвертой, заключительной книги романа «Очарованная душа». Рядом с главной героиней Аннетой Ривьер встала со страниц этого монументального произведения Ася Волкова — русская эмигрантка. Возникает вопрос: не была ли Мария Павловна прототипом этого литературного образа? Сама она отрицала свое «родство» с Асей Волковой. Между тем очень многое заставляет предположить, что Ромен Роллан, создавая свою Асю, прежде всего вдохновлялся судьбой реальной и очень дорогой ему Марии. Напомним, что «Провозвестница» писалась в начале 30-х годов, когда Мария Павловна была уже фактической

женой Ромена Роллана, его другом и помощницей. Недаром писатель закончил свой роман посвящением «Марии» (часть его стала эпиграфом к нашему очерку). «Хождения по мукам» Аси — дочери профессора Казанского университета Федора Волкова, расстрелянного красными в самом начале его «крестного пути» — революции, напоминают метания княжеской вдовы Марии Кудашевой в вихре гражданской войны. Да и литературный портрет русской героини «Очарованной души» словно бы писался с молодой Марии Павловны: «Среднего, скорее маленького роста, она на вид казалась хрупкой, однако впечатление это было обманчиво. Худое, но крепко сколоченное, сильное тело; плоская грудь, но крутые бедра и мускулистые руки. Лицо у нее было бледное, широкое, круглое и скуластое, а выражение, как у кошки, которая никогда не станет ручной. Глаза ясные,— они оставались ясными, даже когда душу охватывало смятение: в них был кремень. Суровая складка волевого рта с чуть припухшей нижней губой, которую она имела обыкновение покусывать, и в этой складке — тень горестных воспоминаний и неумолимость. От нее веяло силой, которая захватывает, тревожит и связывает. Особенно доверять этой силе не следовало. У нее бывали периоды упадка. (Это была натура непостоянная...)».

Даже в ее шестьдесят, когда я впервые увидел мадам Ромен Роллан, можно было бы говорить о сходстве Марии Павловны с этим образом, созданным пером выдающегося мастера. Фотографии же молодой Марии Кудашевой лишь подтверждают это сходство.

Почему же Мария Павловна упорно отказывалась «узнавать» себя в Асе Волковой? Думается, что жена создателя «Очарованной души» не хотела, чтобы в ней видели русскую эмигрантку, искавшую за рубежом спасения от революции. И Мария Павловна действительно не была таковой: ведь если бы она хотела бежать, то она могла бы это сделать, скажем, еще в 1920 году, когда из Крыма вместе с остатками разбитой армии Врангеля выплеснуло к чужим берегам тысячи наших соотечественников. Сама Мария Павловна — о чем лишний раз свидетельствует приведенная выше запись беседы с нею — признавалась, что она стремилась отвести от себя малейшие подозрения в намерении эмигрировать. И объяснялось это не столько опасениями возможных в то время репрессий, сколько ее истинно патриотическими чувствами, глубокой привязанностью к своей родине. Мария Павловна любила Россию и, несмотря на все перипетии, связанные со своим происхождением и первым замужеством, приняла Великий Октябрь и до конца своей жизни восхищалась его вождем. Незадолго до своей смерти она передала мне свое написанное по-французски стихотворение, посвященное В. И. Ленину: «В Бразилии, в Германии, в Китае, в деревнях, в рудниках и на заводах, все знают твое имя — Ленин... Ничто, никогда не уничтожит это имя, ни ваши устрашающие суды, ни ваши эшафоты, ни ваши пушки! От тебя ко мне, от Бомбея до Астурии,— это имя произносят или очень тихо или его скандируют — оно проносится по всему миру как жизнь!»

Однако уважение Марии Павловны к Ленину отнюдь не означало, что она достаточно хорошо знала его учение или безоговорочно поддерживала все, что происходило в нашей стране после смерти Владимира Ильича. Нет, ее коробило, выводило из себя многое из того, что творилось у нас и в 30-е да и в последующие годы, в особенности неуважение, даже презрение к личности, не говоря уже о грубом насилии над ней. И в этом отношении Мария Павловна также была близка Асе Волковой, которая в конце концов встала на сторону Советской России, но не смогла принять авторитарную «философию» одного из ее представителей — Дито Джанелидзе. По мнению этого персонажа, «закон природы, закон борьбы» сводится к предельно простой формуле: «Либо с нами. Либо против нас».

Мы теперь знаем, какими чудовищными преступлениями и страшными бедами обернулось для нашего общества и народа тупое претворение в жизнь этого лозунга. Русская же героиня «Очарованной души», как и Мария Павловна в начале 30-х годов, могла лишь все это предчувствовать.

Любопытно, кстати сказать, что Ромен Роллан вложил беспощадный девиз «Кто не с нами, тот против нас» в уста Дито Джанелидзе. Напомним описание этого «революционера»: «На низкий лоб, прорезанный глубокой поперечной морщиной, спадали всклокоченные густые и жесткие, очень черные волосы. Мохнатые, разлетающиеся брови. Прищуренные глаза, между которыми существовало своеобразное разделение труда: правый говорил о лукавстве, левый — о твердости характера. Большой, широкий в переносице, мясистый нос с крупными, четко очерченными ноздрями. Щетинистые усы. Смуглые, крепкие щеки. Хищно выдвинутая вперед челюсть, настороженная усмешка. Во всем облике грубоватая ирония, беспощадная зоркость».

Случайно ли автор «Очарованной души» придал единственному в романе представителю Советской власти столь очевидные внешние приметы Иосифа Сталина? Не думаю. Мужественно выступив в поддержку Страны Советов с самого ее рождения, Ромен Роллан до конца своих дней опасался установления авторитарной власти, которая, по его мнению, может привести к подавлению личности, насилию и террору.

Свои сомнения писатель передал, например, в размышлениях Марка Ривьера, мужа Аси и в какой-то степени антипода Дито Джанелидзе. «Ныне Революция милитаризована,— рассуждает Марк.— Казарма. Дисциплина распространяется на все — на то, что делаешь, пишешь, думаешь. Новые жрецы серпа и молота мнят, что они вправе властвовать даже над философией и наукой. Разве не предали они анафеме свободные гипотезы современной физики и энергетики, не укладывающиеся в рамки марксистского материалистического евангелия?»

Очевидно, что под «жрецами серпа и молота» Марк Ривьер (а с ним и Ромен Роллан) имеет в виду Дито Джанелидзе и ему подобных «марксистов», которые, как показало время, в лице Сталина и его окружения на самом деле грубо исказили марксистско-ленинское учение, деформировали облик социализма. И можно лишь поражаться ясновидению создателя «Очарованной души», который еще в начале 30-х годов предсказывал пагубность слепого авторитаризма, породившего впоследствии лысенковщину, дикие гонения на генетику, кибернетику, позорное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» и другие «варфоломеевские ночи», опустошавшие нашу науку, культуру, искусство...

Спору нет, в начале 30-х годов, когда с помощью Марии Павловны Ромен Роллан смог лучше понять и оценить новую Россию, он был еще не в состоянии полностью осознать «феномен Сталина». В своих открытых посланиях и заявлениях Роллан воздерживался от прямой критики в адрес Сталина, хотя и выступал против «диктаторского духа», наблюдавшегося в СССР, но в художественном творчестве, как мы это видели в «Очарованной душе», в своих размышлениях и интимной переписке, по существу, вел с «вождем народов» заочный спор о методах его правления. Вскоре писателю представилась возможность поговорить на эту тему с самим Сталиным...

В 1935 году студент механико-математического факультета МГУ Сергей Сергеевич Кудашев женился на Татьяне Николаевне. В том же году, 23 июня, Ромен Роллан по приглашению Максима Горького приехал вместе с Марией Павловной в Советский Союз.

Об этой поездке написано немало, однако можно было бы поведать гораздо больше: ведь только в 1989 году в журнале «Вопросы литературы» (№№ 3, 4, 5) был опубликован «Московский дневник» Ромена Роллана (в 1985 году истек 50-летний запрет автора на публикацию этого уникального документа). Как вспоминала Мария Павловна, в Москве ее муж встречался с литераторами, молодежью, рабочими метростроя. Его радовали оптимизм многих советских людей, их вера в будущее. В то же время писателя, с юных лет твердо выступавшего за независимость и свободу духа личности, не могли не шокировать и не раздражать бесконечные, стандартные славословия в адрес Сталина, грубо насаждавшийся повсюду культ «великого вождя», почти что «бога на земле».

С этим «богом» Ромену Роллану довелось дважды встречаться и беседовать: один раз в Кремле, другой — на даче у Горького.

Первая встреча состоялась 28 июня, в пятницу, в кремлевском кабинете Сталина и продолжалась один час сорок минут — с десяти минут пятого до без десяти минут шесть. Наши читатели смогут познакомиться в «Вопросах литературы» с полной записью этой беседы. Мне хотелось бы лишь обратить внимание на попытки Роллана склонить своего всемогущего собеседника к проведению более демократичной, гуманной политики. Нужно понять всю сложность ситуации: зарубежный гость, казалось бы, не имеет права вмешиваться во внутренние дела пригласившей его страны. Он может лишь ссылаться на негативную реакцию, которую вызывала на Западе нараставшая в СССР страшная волна репрессий. Ромен Роллан предельно деликатен, но настойчив. Он пытается убедить Сталина в необходимости терпеливого разъяснения западной общественности смысла происходящих в СССР событий. «Мне кажется,— говорит писатель,— что на Западе надо было бы организовать франко-советский центр идейного взаимопонимания, что-то вроде ВОКСа, но более определенной политической ориентации. Без этого накапливается недопонимание, и при этом ни одна из аккредитованных служб СССР, в том числе посольство, не обеспокоена тем, чтобы преодолеть его...» Роллан приводит некоторые примеры. «Советское правительство,— отмечает он,— в соответствии с приговорами и постановлениями суда или в соответствии с особыми законами, расходящимися с общепринятой юридической практикой, принимает то или иное решение, что является его неотъемлемым правом. Часто эти приговоры приобретают большой резонанс, лица, которым они выносятся, становятся объектом всеобщего внимания. По той или иной причине общественность за границей проявляет к ним повышенный интерес. Было бы желательно в этих случаях избегать расхождений во мнениях. Почему же этого не делается?»

А что же Сталин? Нужно признать, что «вождь» умел производить нужное впечатление на зарубежных гостей, да и не только на них. По словам Марии Павловны, «чрезвычайно учтивый и обходительный», Сталин (об этом свидетельствует и запись его беседы с Ролланом) подробно разъяснял гостю сложную обстановку в нашей стране, говорил о подрывных действиях враждебных сил (в том числе детей, «натравливаемых» родителями против Советской власти), делился своими соображениями о политике зарубежных коммунистических партий, заметив, например, что каждый народ должен сам совершать свою революцию без вмешательства извне.

Напомним, что встречи Роллана со Сталиным проходили летом 1935 года, до сфабрикованных позднее «московских процессов», и писатель, разумеется, еще не мог представить себе тогда масштабы будущих репрессий, развязанных по воле Сталина, снедаемого безудержной жаждой единоличной власти.

И все же некоторые беседы не могли не настораживать зарубежного гостя. 27 июня, накануне встречи со Сталиным, Роллан записывает в своем «Дневнике» доверительный разговор с доктором Плетневым. «Наедине, без свидетелей,— отмечает писатель,— Плетнев открывается мне, но очень осторожно. (Позднее мне сказали, что он был в тюрьме, но Горький, который уважает его и нуждается в нем, вызволил его оттуда. Я не смог проверить этот факт.) Доктор Плетнев проводит многозначительную параллель современности с итальянским Возрождением и говорит, что он хотел бы жить лет через сорок, но не сейчас. Жестокие времена (я молчу), и тогда он торопливо добавляет, что «несмотря ни на что, выбор сделан». «Десять лет назад еще можно было в чем-то усомниться. Но не сейчас. Долой фашизм!»

Какой поистине драматический эпизод! Один из блистательных представителей советской интеллигенции очень осторожно стремится приоткрыть перед выдающимся зарубежным писателем закулисную сторону сталинской деятельности («жестокие времена»). Он сознает всю опасность своего демарша: даже у стен есть уши! В то же время доктор словно пытается объяснить, оправдать свой неутешительный «диагноз»: еще десять лет назад можно было бы избавиться от серьезной болезни, но не теперь, когда над страной нависла еще более грозная опасность: чума гитлеризма.

Угрозой войны пытался объяснить Ромену Роллану архисложное положение в стране и Карл Радек, который ссылался также на особую ситуацию, сложившуюся у нас после убийства в 1934 году С. М. Кирова. «Черт возьми! — восклицал импульсивный Радек.— В таких случаях неизбежны многочисленные ошибки и несправедливости, но что значат несколько ошибок в сравнении с общим числом! Это не важно, когда речь идет об общественном спасении».

Пройдет всего лишь несколько лет, и Радек, и доктор Плетнев, так же как и многие тысячи других верных идеалам социализма наших соотечественников, сами станут жертвами сталинских преступлений, которые многим из этих людей даже до последнего их вздоха казались «ошибками и несправедливостями».

Более откровенно и смело высказывала Роллану свои суждения о происходивших тогда беззакониях свекровь Марии Павловны — Екатерина Васильевна Кудашева. 13 июля писатель так изложил в своем «Дневнике» ее слова: «Концентрационные лагеря предназначены не только для уголовных преступников. Независимые, не сумевшие осторожно помалкивать, исчезают. Навязывается официальное мнение».

Весьма показательна также запись разговора Марии Павловны с Максимом Горьким, внесенная Ролланом в «Московский дневник» 6 июля. «Во второй половине дня,— зафиксировал писатель,— у Маши состоялась интересная беседа с Горьким. Утром я получил письмо от какого-то несчастного парня, который был сыном купца. Из-за его происхождения перед ним оказались закрыты двери всех университетов и заводов. Нетерпимость системы обрекает на отчаяние и смерть большое число невинных людей. Маша очень возмущена такой жестокостью. Горький в затруднении и смущении. Она доказывает, сколько ложного и абсурдного в самой попытке судить о детях по положению их родителей... Маша приводит в пример себя. Она говорит также, что я женился на ней, чтоб дать возможность ее сыну учиться в университете, и что если бы я этого не сделал, то его бы не приняли. Справедливо ли это и разумно ли?»

Сама история ответила на этот и другие трудные вопросы, которые не давали покоя ни Ромену Роллану, ни Марии Павловне, ни многим-многим другим. Пытаясь подступиться к этим сложным вопросам в своем «Дневнике», писатель подробно излагает свои впечатления от праздника физкультурников, организованного на Красной площади 30 июня, на котором в качестве почетного гостя присутствовал и Роллан. В тот день на Мавзолее были Сталин, Калинин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Димитров, Буденный, Ярославский, Бухарин, Лозовский и другие видные деятели. «Мне,— признается писатель,— не удается найти согласие между Сталиным, который позавчера беседовал со мной в Кремле, и Сталиным, который подобно римскому императору в течение шести часов наслаждался своим апофеозом. Нескончаемая вереница колоссальных портретов Сталина, плывущих над головами людей. Самолеты, рисующие в небе инициалы вождя. Огромное количество статистов, запевающих перед императорской ложей гимн во славу Сталина. Шествие людей, не спускающих глаз с него, стоящего с поднятой, согнутой в локте рукой. Сталин, как бы смущенный, стесняющийся, прячущийся, но в то же время демонстрирующий себя. Какое удовольствие получил бы Шекспир, изображая двух этих цезарей, двух Сталиных, слитых в одном человеке!»

Думается, что пока еще наше время не выдвинуло современного Шекспира, который смог бы с равной ему художественной мощью и глубиной раскрыть всю противоречивость, трагичность и неоднозначность сталинского периода трудной истории нашей страны.

Очень интересны свидетельства Ромена Роллана о его встречах с Н. И. Бухариным и родственниками Марии Павловны. 4 июля писатель рисует в своем «Дневнике» такую сцену: «Завтрак с Бухариным, молодым, веселым и смешливым; он обменивается с Горьким тумаками (но Горький быстро запросил пощады, жалуясь на тяжелую руку Бухарина)». По признанию Роллана, его очень удивило и растрогало то чувство симпатии, которое высказывал по отношению к нему Бухарин. Писатель отмечал также, что Николай Иванович Бухарин — единственный из руководителей, кто хорошо говорил по-французски. Изъяснялся на этом языке и Карл Радек, но с сильным акцентом.

Вторую половину дня 26 июня Ромен Роллан и его супруга проводят у родственников Марии Павловны. В «Дневнике» появляется такая запись: «Дядя Коля (Николай Васильевич — брат свекрови Марии Павловны.— **В. С.**) — с длинной, белой, пышной бородой — живет в деревянной конуре (или, как он говорит, в саркофаге) в старом, ветхом доме с облупившейся штукатуркой, узкими извилистыми коридорами, на старой улице. Вся семья скучена в нескольких комнатках. Впрочем, это не мешает при случае разместить на диване в углу комнаты друга или гостя проездом...» (Почему бы не установить на этом сохранившемся до сих пор доме мемориальную доску в память пребывания здесь Ромена Роллана? — **В. С.**). «По шаткой лесенке,— продолжает писатель,— поднимаемся на голубятню к моему пасынку Сергею в его жене Тане, их комната находится под самой крышей из раскаленного толя, из окна видны высокие кроны деревьев. Из всех присутствующих Сергей вызывает у меня самую большую симпатию. Мне нравятся его красивые искренние и озабоченные глаза. У него в разгаре экзамены. Сегодня он успешно сдал второй зачет».

Да, Ромен Роллан испытывал искренние чувства симпатии к Сергею Кудашеву, его жене, ко всей советской молодежи, на долю которой выпала небывало трудная миссия строить новое общество и защищать его. Этими чувствами писатель делился и в своем «Дневнике», и во многих посланиях, обращенных к нашим молодым людям. Уезжая 21 июля из Москвы на родину, Ромен Роллан обратился к советским юношам и девушкам с таким приветствием: «Переполненный впечатлениями пребывания в СССР, воодушевленный встречей с жизнерадостной, бодрой советской молодежью, я покидаю Советский Союз с чувством еще более близкой и тесной дружбы.

Прошу передать мой сердечный привет славным пионерам, энтузиастам-комсомольцам и всей советской молодежи».

А накануне, 20 июля, Роллан направил письмо Сталину. Писатель отмечал в своем послании, что во время своего слишком короткого пребывания в СССР он «соприкоснулся с могучим народом, который, проводя непрестанную борьбу против тысячи препятствий, создает под руководством компартии (заметьте — компартии, а не Сталина.— **В. С.**) в героическом и упорядоченном порыве новый мир». Роллан подчеркивал также, что «единственно настоящий мировой прогресс неотделимо связан с судьбами СССР» и что «обязательным долгом во всех странах является защита его против всех врагов, угрожающих его подъему». «От этого долга,— Вы это знаете, дорогой товарищ,— твердо заявлял выдающийся гуманист,— я никогда не отступал, не отступлю никогда до тех пор, пока буду жив».

Противоречит ли это письмо, опубликованное тогда же, 20 июля 1935 года, в «Правде», сокровенным дневниковым заметкам Роллана о «двуликости» Сталина, которые в своем полном виде стали достоянием читателей лишь 54 года спустя? Не думаю. В своем письме, хотя формально и адресованном Сталину (обычный международный этикет), Ромен Роллан, по существу, обращался к советскому народу, строившему новый мир, «несмотря на лишения и трудности». Писатель воздерживался от общепринятых тогда эпитетов вроде «гениального вождя», но особо подчеркивал свою братскую привязанность к великому народу и стране, защиту которых он считал своим долгом. Иначе говоря, Роллан выступал в поддержку советского народа, а отнюдь не Сталина. Что же касается наблюдений и сомнений, доверенных им своему «Дневнику», то писатель оставлял их на суд грядущих поколений. В то время, повторяю, на дворе стоял 1935 год, и далеко не все, даже ближайшее окружение Сталина, могли предвидеть будущие чудовищные «московские процессы».

«Эти процессы,— делилась со мной своими наблюдениями Мария Павловна,— окончательно подорвали веру писателя в Сталина. Именно в Сталина, но отнюдь не в Советский Союз».

Правда, в результате встреч со Сталиным Роллану удалось добиться разрешения на освобождение из ссылки и высылку за пределы нашей страны французского анархиста Виктора Сержа. Однако это была лишь «капля в море». Впоследствии Ромен Роллан неоднократно обращался к Сталину с аналогичными просьбами и каждый раз, увы, безрезультатно.

Мария Павловна подобрала мне копии нескольких писем с такими ходатайствами. 4 августа 1937 года Роллан писал сестре Мадлен об аресте своего московского знакомого, тогдашнего председателя Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС) Александра Аросева и его жены. «Я написал Сталину,— сообщал Роллан.— (совершенно без всякой надежды!)».

В послании от 5 марта 1938 года немецкому писателю-эмигранту Герману Гессе, просившему его ходатайствовать за двух арестованных в СССР лиц, Ро-

мен Роллан писал: «Вот мое нынешнее положение: восемь месяцев назад мой друг, врач из Ленинграда, которого я знаю двадцать лет (речь идет о профессоре Оскаре Хартоше.— **В. С.**), был заключен в тюрьму без всяких объяснений; и с тех пор о нем нет никаких известий. Я сделал для него все, что могу, и достаточно энергично; я написал всем руководителям (Сталину два раза), всем тем, кто мог его знать и помочь ему: — в течение восьми месяцев я ни разу не получил хотя бы одно ответное слово. То же самое происходит со всеми письмами, написанными мною в последние два года ради других арестованных или исчезнувших людей, которых я знал: — молчание. Можете себе представить, что мне ответили бы о людях, которых лично я не знаю? Когда был жив Горький, я многое мог при его посредничестве.— Теперь ничего. «Философы» (как говорили во времена Жан-Жака) больше ничего не стоят в глазах властителей».

Можно себе представить смятение этого выдающегося мыслителя: ведь на него, по существу, наплевал «властитель» великой страны, которую Роллан неустанно защищал от нападок ее врагов.

Конечно, сейчас, с полувековой дистанции, было бы нетрудно упрекать Ромена Роллана и многих других зарубежных друзей Страны Советов за то, что они открыто не протестовали против «московских процессов». Но можно ли упускать из виду конкретную историческую обстановку того времени? Ведь в глазах большинства советских людей и значительной части международной общественности образ Сталина как бы ассоциировался с первой в истории страной социализма. Выступать против действий «великого вождя», как казалось очень многим, означало бы в тех условиях играть на руку врагам оплота социализма, над которым угрожающе сгущались тучи фашистской агрессии. И все же Ромен Роллан стремился делать все возможное, чтобы сбить чудовищную волну сталинских репрессий.

Среди других подобранных ею документов Мария Павловна ознакомила меня и с письмом, направленным Роменом Ролланом 3 марта 1938 года своему другу писателю Жану Ришару Блоку в связи с политическим процессом над Бухариным, Рыковым и их товарищами. «...Московский процесс для меня мучение,— говорилось в послании.— Я не хочу ничего писать здесь по существу дела — мы еще поговорим об этом... Но резонанс этого события во всем мире, в особенности во Франции и в Америке, будет катастрофическим.

Не считают ли лучшие друзья СССР, что нужно срочно, самым быстрым способом доставить советским властям послание (закрытое, не предназначенное для печати), заклинающее их подумать о том, какие разрушительные политические последствия для Народного фронта, для сближения социалистической и коммунистической партий, для совместной защиты Испании будет в этот момент иметь смертный приговор обвиняемым? Именно в данный момент, когда ФКП делает все возможное, чтобы создать единый фронт трудящихся различных тенденций, все ее усилия рискуют быть уничтоженными в результате моральных последствий такого приговора...»

Увы, подобные отчаянные предупреждения Ромена Роллана оставались гласом вопиющего в пустыне.

Между тем на Францию, Советский Союз, на всю Европу стремительно надвигалась опасность фашистской агрессии. Казалось, напрасны были действия Страны Советов, всех миролюбивых сил, направленные на создание единого фронта СССР с Францией, Англией и другими «западными демократиями», который мог бы сорвать алчные устремления гитлеровцев. Мария Павловна вспоминала о том, сколько драгоценного времени и энергии немолодой и не очень здоровый Ромен Роллан тратил на работу, связанную с борьбой участников антивоенного, антифашистского движения «Амстердам—Плейель». Увы, при всем своем размахе это подлинно массовое движение, организованное по инициативе Анри Барбюса, Ромена Роллана и других передовых деятелей того времени, так и не смогло помешать новому мировому кровопролитию. Похоронным звоном по надеждам народов на мир прозвучали напыщенные речи тогдашних правителей Франции и Англии, подписавших в конце сентября 1938 года мюнхенское соглашение с Гитлером и Муссолини.

За несколько месяцев до этого злосчастного события Ромен Роллан и его жена окончательно уехали из Швейцарии. Предлагаю вниманию читателя еще одну расшифровку записанной мною на магнитофон беседы с Марией Павловной: «Мы переехали из Швейцарии во Францию в 1938 году. Роллан решил переехать по двум причинам. Одна из них — вдруг перестали приходить все левые газеты, которые он получал. Даже пацифистские газеты, происпанские и т. д. И он написал тогдашнему министру иностранных дел Швейцарии: «Я — французский писатель, я должен знать, что происходит в мире. Я могу дать слово, что никто этих газет читать не будет, кроме меня и моей жены». Он получил такой ответ: «Я — министр иностранных дел и никогда не читал ни одной газеты». И Роллан решил, что невозможно ему жить в Швейцарии, где, как он надеялся, он будет свободен. И кроме того, он узнал — все-таки ему было тогда 72 года,— что если он умрет в Швейцарии, то мне и его сестре Мадлен придется платить налог на наследство и во Франции, и в Швейцарии, и от этого наследства ничего не останется. Это вторая причина, почему он решил переехать во Францию.

Мы купили дом в Везлее, иногда приезжали в Париж и останавливались или в отеле, или у друзей. А потом сняли квартиру на бульваре Монпарнас. Мы успели купить этот стол, четыре стула и две кровати. Но вскоре началась война...»

Летом 1939 года в доме Ромена Роллана и Марии Павловны в Везлее проводил свои каникулы их сын Сергей. На душе у всех было тревожно: что-то до бесконечности затягивались, то прерываясь, то вновь возобновляясь, переговоры французских, английских и советских представителей. Неужели они так и не смогут договориться о совместных действиях в защиту мира в Европе? Ведь тогда может произойти катастрофа...

24 августа радио разносит ошеломляющую весть: накануне в Москве подписан советско-германский договор о ненападении. Вслед за этим диктор читает возмущенные комментарии французских и английских обозревателей: «Москва предала мир».

Ромен Роллан смущен: почему Советский Союз пошел на это тяжкое соглашение? Быть может, потому, что не удалось договориться с Парижем и Лондоном? Писателя возмущает наигранное негодование мюнхенцев, которые явно пытаются снять с себя ответственность за свое подстрекательство фашистов к войне против СССР. И все же... Разве Советский Союз не мог найти какой-то другой выход из этого тупика? Но какой?

Сергей торопился вернуться на родину. Ему нужно было попасть в Москву до начала войны: он ее словно предчувствовал. Прощались тяжело, горестно, не скрывая слез. Это была последняя встреча Сергея с матерью и приемным отцом.

Уже 3 сентября, несколько дней спустя после отъезда сына, была объявлена война с Германией, окрещенная поначалу «странной». Даже не верилось, что фашисты смогут оккупировать Францию, оказаться в Везлее. Правда, после вторжения гитлеровских полчищ на землю Франции Ромен Роллан и Мария Павловна собирались эвакуироваться. Но было уже поздно: 16 июня 1940 года оккупанты ворвались в Везлей.

Привожу еще один отрывок из беседы с Марией Павловной: «...Нужно сказать, что немцы расстреливали прежде всего коммунистов и евреев. Я вначале опасалась, что они арестуют и Роллана, хотя он не был коммунистом. Но они не посмели этого сделать. Так же, как при царе никто не посмел бы арестовать Льва Толстого. Он был слишком знаменит. Думаю, что сыграли свою роль и «Жан-Кристоф» и «Бетховен» — ведь в этих произведениях Роллан очень хорошо отзывался о немцах. И кроме того, немцы знали, что с самого начала, после окончания первой мировой войны, Роллан был против Версальского договора: «Это нечестно, это нехорошо...»

Кстати сказать, в самом начале властвования Гитлера немцы послали трем французским писателям свою медаль: Полю Валери, Андре Жиду и Ромену Роллану. Роллан отказался, Андре Жид и Валери приняли. Роллан сохранил копию письма, в котором он отказывался от медали. Немецкий консул в Женеве послал ему письмо от имени Гинденбурга. Роллан ответил: «Я очень тронут, но не смогу принять медаль».

В первые дни оккупации, опасаясь обыска, я сожгла письма и русские газеты, которые мы получали. Однако не все немцы были нацистами. В тот момент, когда я жгла в камине газеты, солдат, волочившийся за нашей служанкой, сказал ей на ломаном французском языке: «Сказать хозяйке не сжигать газеты — видеть газеты выходить через трубу».

Так, в постоянном ожидании ареста и все же не переставая трудиться, провели Ромен Роллан и его жена суровую пору войны. Годы непрестанных, мучительных тревог за судьбы Франции, Советского Союза, всей Европы. Годы тяжких переживаний за своих близких и знакомых, за Сергея...

31 октября 1941 года, четыре месяца спустя после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, когда фашистские войска стояли у стен Москвы, Ромен Роллан писал своей знакомой Жанне Мортье: «Мария держится очень хорошо — но это внешнее спокойствие (только одному богу известно, сколько у нее должно быть и есть причин для терзаний, когда она думает о своем мальчике! — Она об этом никогда не говорит, я тем более не говорю об этом. Но я очень хорошо знаю, что мы вместе думаем об этом. Я люблю этого мальчика, как будто он мой)».

Ни Мария Павловна, ни Ромен Роллан не знали и не могли знать в то время, что младший лейтенант Советской Армии, артиллерист Сергей Кудашев пал смертью храбрых в бою с гитлеровцами, защищая Москву, обороняя свою Родину.

Не знали они об этой трагедии даже после освобождения Парижа от оккупантов, приехав в столицу золотой, ликующей осенью 1944 года. 7 ноября Ромен Роллан и Мария Павловна присутствовали в посольстве СССР на первом за долгие годы приеме по случаю годовщины Великого Октября. А на следующий день Роллан писал Жану Ришару Блоку, находившемуся в то время в Москве: «Мы разделяем с вами тревогу по поводу вашей семьи, которую разбросала война. Мы тоже тревожимся о судьбе нашего сына, Сергея Кудашева, о котором мы ничего не знаем с 1940 года. В настоящее время мы предпринимаем некоторые шаги через посольство... Я по-братски вас обнимаю, вас и вашу дорогую жену. Моя жена тоже вас обнимает. Если вы меня любите, любите ее! Лишь благодаря ей я живу. Без нее, без ее не-

устанной помощи, без ее нежности я не смог бы пережить эти тяжкие, нескончаемо долгие, мрачные годы духовной угнетенности и болезни». Роллан закончил свое послание такими словами: «Передайте мой привет всем друзьям в СССР — и советской молодежи, которая мне дорога!».

Это было одно из последних писем Ромена Роллана. 30 декабря 1944 года сердце великого гуманиста умолкло навсегда.

А Марии Ромен Роллан предстояло еще четыре десятилетия жизни полностью посвятить делу своего мужа, продолжать жить его думами и заботами, открывая для читателей все новые и новые страницы его бесценного духовного наследия.

В эти годы дом в Везлее и в особенности скромная квартирка на бульваре Монпарнас превратились в своеобразный научный центр по изучению творческого наследия писателя. Адрес парижской квартиры значился на многих изданиях, в том числе на выходившем в течение более сорока лет информационном бюллетене Общества друзей фонда Ромена Роллана. Вдохновительницей и постоянной, неутомимой сотрудницей этого исследовательского центра была Мария Павловна.

В бюллетене систематически публиковалась скрупулезно собиравшаяся информация об изданиях произведений Роллана и об исследованиях его творчества, проводившихся как во Франции, так и в других странах. Печаталась и хроника различных мероприятий, посвященных писателю.

Например, в бюллетене за 1983 год сообщалось об идее выпуска в советском издательстве «Радуга» избранных писем Ромена Роллана. При этом Мария Павловна высказала составительнице сборника Тамаре Мотылевой свое пожелание быть предельно объективной. «Нельзя,— подчеркивалось в бюллетене,— чтобы нынешний психологический и политический «климат» в СССР, а также собственные идеи и чувства мадам Мотылевой слишком влияли на отбор писем Ромена Роллана. Мадам Мотылева полностью с этим согласна».

На той же странице рассказывалось о беседе Марии Павловны с автором этих строк. Речь шла о ее предложении выпустить в советском издательстве «Прогресс» сборник переписки Роллана с представителями советской молодежи, в том числе с Сергеем Кудашевым.

Действительно, летом 1982 года я получил от Марии Павловны следующее письмо:

«Дорогой друг! У меня возникла одна мысль (которые, как вы знаете, у меня постоянно появляются), и она, возможно, вас заинтересует.

Поскольку издательство «Прогресс» выпускает книги, которые представляют для него интерес в чисто художественном отношении или же в историческом плане, на 50 различных языках, то, может быть, оно откликнется на предложение опубликовать не только «Записки Ромена Роллана», куда вошла бы его переписка с русской молодежью, но и другие его письма, способные заинтересовать русского читателя. Речь идет о переписке Р. Роллана с Ж. Р. Блоком, с М. Мартинэ (которая представляет большой интерес как в историческом, так и политическом плане), а также с Барбюсом. (Получилось бы два отдельных тома: один включал бы переписку Р. Роллана с Барбюсом, другой был бы посвящен антивоенному Конгрессу, состоявшемуся в 1932 г. в Амстердаме.) Однако мне хотелось бы, чтобы одновременно с русским переводом эта книга была издана и на французском языке: в Париже есть магазины, которые занимаются распространением книг, выпущенных в СССР.

Как вам нравится моя мысль? Мне кажется, она послужила бы делу сближения СССР и Франции в культурной сфере».

Это письмо могло бы послужить еще одним свидетельством постоянного стремления Марии Павловны всемерно способствовать укреплению франко-советских культурных связей.

К сожалению, по разным причинам многие ее задумки по этой части так и не были осуществлены.

Важнейшим делом Марии Павловны было, бесспорно, издание «Тетрадей Ромена Роллана». За послевоенные годы она успела выпустить 28 объемистых томов этих «Тетрадей», куда вошла переписка Роллана с его матерью, друзьями, знакомыми, среди которых было немало видных деятелей французской и мировой культуры. Среди них мы видим имена Шарля Пеги, Жана Ришара Блока, Жана Геенно, Жана Сен-При, Луи Жилле, Рабиндраната Тагора, Махатмы Ганди.

Летом 1978 года мне довелось несколько раз побывать в гостях у Марии Павловны. В то время она только что подготовила к печати очередной, 24-й том «Тетрадей Ромена Роллана», целиком посвященный Льву Толстому и приуроченный к 150-й годовщине со дня его рождения.

— Ромен Роллан с юных лет и до последнего своего дня преклонялся перед гением Льва Толстого и посвятил ему сотни замечательных страниц,— говорила Мария Павловна, передавая мне копии отдельных, не опубликованных к тому времени работ своего супруга, так или иначе освещающих жизнь и творчество русского писателя.

Весной 1887 года двадцатилетний учащийся Высшей Нормальной школы в Париже Ромен Роллан направил взволнованное письмо автору «Войны и мира». В этом послании юноша писал о своем «страстном желании узнать, как жить». «И только от вас одного,— обращался он ко Льву Толстому,— я могу ждать ответа; так как только вы один поставили вопросы, которые не дают мне покоя».

В октябре того же года всемирно известный писатель ответил юному французу, в котором он, вероятно, почувствовал пытливый ум и чистую душу. Ответил большим — на 28 страницах! — обстоятельным письмом, начинавшимся обращением: «Дорогой брат!».

В 1911 году Ромен Роллан издал свою знаменитую «Жизнь Толстого». Это замечательное произведение открывалось таким признанием: «Толстой — великая русская душа, светоч, воссиявший на земле сто лет назад,— озарил юность моего поколения. В душных сумерках угасавшего столетия он стал для нас путеводной звездой; к нему устремлялись наши юные сердца; он был нашим прибежищем».

Немалый интерес представляют и дневниковые записи Ромена Роллана, связанные с именем Льва Толстого. Для примера приведем лишь несколько страничек из этого «Дневника», копии которых были переданы мне Марией Павловной.

«Конец октября 1911 года... Я получаю множество писем по поводу моих книг, но мне стыдно их цитировать. Это письмо я привожу здесь потому, что оно не только льстит моему писательскому самолюбию, но волнует чувства, ибо похвальное слово исходит от семьи Толстого. Оно написано его старшей дочерью, Татьяной Сухотиной (Благодатное, Тульская губерния, 8—20 октября 1911 г.).

«Милостивый государь, я только что дочитала Вашу книгу «Жизнь Толстого» («Vie de Tolstoï»[1], и хотела бы сказать Вам, как я ее ценю. Я уверена, что мой отец был бы глубоко взволнован Вашим широким исследованием и ясным пониманием не только его творчества, но и всего его существа,— в этих моих словах заключается лучшая похвала Вашей книге. Очень часто я плакала над ней. Чувства радости, признательности и волнения охватывали меня при мысли о том, что моего отца мог так хорошо понять человек столь отличный от него по возрасту, национальности, воспитанию, среде (и говорящий на иностранном языке). Как жаль, что мой несовершенный французский язык не позволяет мне высказать все, чем переполнена душа... Я посылаю Вам свой экземпляр книги, в котором я сделала некоторые пометки; они могут быть Вам полезны для нового издания. Но прошу Вас прислать мне его обратно, когда Вы в нем не будете больше нуждаться. Еще раз примите, сударь, выражение моей глубокой признательности...

Татьяна Сухотина

...Знаете ли Вы, что мой отец писал свою фамилию «Tolstoy» (с «у»), но после поездки во Францию он изменил написание и ставил «i». Однако одна его родственница, графиня Александра Толстая, пристыдила его, говоря, что с тех пор как существует фамилия «Толстой», русские писали ее по-французски с буквой «у». С того времени, по примеру отца, мы начали писать «Tolstoy».

14 января 1912 г. Завтрак у Шарля Саломона, с Даниэлем Галеви и Михаилом Стаховичем, членом Думы и Государственного Совета, одним из самых близких друзей Толстого, лет пятидесяти. С Толстым знаком с 1880 года. Не разделял ни социальных, ни религиозных идей Толстого (осеняет себя крестом до и после трапезы). Однако Толстой его очень любил. Консерватор. При виде крестьян, косивших траву на лужайке, говорил своим коллегам по Думе: «Идемте косить с ними!» И, скинув сюртук, подавал пример. Вместе с Толстым и художником Ге совершил около 1890 года путешествие пешком из Москвы в Ясную Поляну (200 километров) за 5 или 6 дней и все это время вел дневник. Вечером, на постоялом дворе, видя, как он пишет, Толстой ему говорил: «А вы все свои кляузы пишете?» (повторяя слова старого казака из своей знаменитой повести, где казак, видя, как Толстой пишет, говорил ему: «Брось свои кляузы! Пойдем стрелять фазанов»). Стахович вспоминает, что в последнюю ночь, проснувшись часов в 11 или около полуночи (накануне он до смерти устал), он увидел, что Толстой тоже пишет; сначала он не понял, чем занят Толстой, но затем сквозь сонное оцепенение разобрал, что старик лет семидесяти, ночевавший с ними в одной комнате, рассказывал ему какие-то истории; две из них Стахович прочел несколько лет спустя во «Власти тьмы»: рассказ о девочке, подобранной солдатами, и истолкование слова «банк». Он рассказывает, что Толстого страшно сердил тон преклонения, которым с ним невольно говорили люди. «Великий писатель земли русской»,— вспоминал он с комическим негодованием (из предсмертного письма Тургенева). Иногда он говорил: «Великая земля русского писателя». И одной из причин той власти, которую имели над ним Чертков и графиня Толстая, было то, что только они двое говорили с ним как с равным, как с обыкновенным человеком. Он шел вам навстречу, засунув руки за пояс, с высоко поднятой головой. Говорил он, растягивая слова, как человек, у которого давно нет зубов — с 35 или 36 лет. Он очень любил смеяться и смеялся взахлеб, добрым хрипловатым смехом. У него были учтивые манеры старых времен, но в разговоре он часто выходил из себя. А потом просил прощения: «Какой стыд, какой стыд,— причитал он,— мне стыдно, я кричал, я вам такое сказал, что совестно!» Даже спустя несколько часов он снова возвращался к этому, а затем все повторялось опять и опять.

[1] Дается и по-французски в связи с тем, что ниже пойдет речь о французском написании фамилии «Толстой» (В. С.)

Завещание, которое Чертков у него вырвал, мучило его до самого конца. За несколько недель до своего бегства из Ясной он взял со Стаховича обещание приехать в ноябре, чтобы поговорить об этом с ним и с Татьяной. Хотя свой уход он замышлял давно, все произошло внезапно и бесповоротно, подобно всем решениям, которые он принимал в своей жизни. Осуществив какое-то решение, он уже никогда не колебался, правильно ли поступил. (Говоря это, Стахович приводит ряд примеров: его женитьба, написание «Войны и мира», «Анны Карениной», отказ от замысла закончить «Декабристов». Но мне кажется, что история с завещанием несколько противоречит этому утверждению.)

Как самую тяжелую личную трагедию он пережил (об этом еще никто не рассказал) потрясения 1905 года, жестокость восставшего народа во время этой новой Жакерии, когда крестьяне увечили скот, клали повязанных породистых жеребцов на доски и разрезали на куски. Сначала Толстой не хотел этому верить; однако слухи становились все определеннее, бежавшие помещики (в том числе несколько сыновей Толстого) подтверждали эти ужасы, и Толстой все больше мрачнел и страдал. С ним уже не решались говорить об этом. Стахович вспоминает, как однажды сидели за столом у него дома, и все избегали как-нибудь намекнуть на эти беды. После обеда Толстой лежал в своем шезлонге; шла беседа. В наступившем молчании Толстой заговорил: «Если бы Тургенев это видел! Что сделали с этим народом! За сорок лет так развратить его, сделать преступным!» Все молчали. Он встал, вышел. Было слышно, как он плакал в соседней комнате. Его последняя вера, его самая глубокая вера рушилась. И все же он не утратил ее. Постепенно он приходил в себя. Сначала он написал статьи для народа: «Покайтесь!». Затем он сказал себе, что все это должно иметь причину, которой он не понимает. И он принялся искать разгадку. И снова обрел мир. За неделю или дней за десять до ухода из Ясной Поляны он говорил Стаховичу:

— Я понимаю, что смерть — это оправдание жизни и ее венец. Я это хорошо понимаю; я знаю, что это истина. Но я этого не чувствую. Мне никак не удается почувствовать это. Я думал — почему? И увидел, что это потому, что я еще не научился любить всех людей одинаково. Да, я люблю их всех. Но я устанавливаю для них различные ранги в своей любви. Так нельзя. Нужно прийти к тому, чтобы видеть не каких-то безразличных людей, а Человека, человечество. Когда возвысишься до этого чувства, тогда почувствуешь красоту смерти. Ибо люди умирают, но Человек бессмертен.

Как же была свободна, человечна, лишена всякой чопорности и натянутости его богатая натура! Даже в самых его категоричных утверждениях нередко оставалось место для юмора и парадоксов. Он не стремился заключить себя в рамки одной неизменной мысли. Он писал обо всем, что думал, но зато и забывал все написанное; его ничуть не смущало несогласие с самим собой. Когда ему указывали на это, он отвечал: «Разве я это говорил?.. Пусть так, но я говорил и многое другое!..»

Он обожал Мольера. Противопоставлял его Шекспиру как пример настоящего, естественного искусства. (Между прочим, он не хотел публиковать свой труд о Шекспире. Чертков уговорил его лет 7 или 8 спустя после написания книги.) Он покатывался со смеху, когда читал — или ему читали вслух — Ги де Мопассана (например, «Проклятый хлеб»); он перевел на русский язык рассказ «На берегу» — о матросе, который, сам не зная того, проводит ночь с собственной сестрой. Ему очень нравились мысли Дюма-сына. Он говорил о нем: «Это мудрец (в практическом смысле)». Саломон принес ему книгу Жида «Блудный сын». Она показалась ему невыносимой. Из добросовестности, так как Саломон восхищался им, он перечитал ее еще раз; роман показался ему еще более нестерпимым. Зато он пришел в восхищение от книги Пьера Милля, также принесенной Саломоном,—«Раненая лань». Некоторые рассказы из нее ему читали вслух по 2—3 раза на неделе. Он отмечал только некоторые погрешности в наблюдениях.

Вопреки обычному представлению текст его рукописей никогда не бывал окончательным. Он приводил в отчаяние издателей своих «Севастопольских рассказов», гранки которых он возвращал почти целиком переделанными. Когда ему пришлось продать (для оплаты карточного долга) рукопись «Казаков», издатель торговался не из-за денег, а единственно ради того, чтобы гранки правились им, издателем, а не Толстым...

Стиль его не интересовал, или, лучше сказать, он не доверял ему. Он говорил, что это — всегдашнее искушение для писателей. У каждого свой грех. У художников — слабость к стилю. Он часто говорил о своем глубоком презрении к поэтам (и приходил в восторг от иных поэтических страниц со свойственной ему великолепной нелогичностью). Отговаривая молодого Стаховича писать стихи, он говорил ему: «Писать нужно только тогда, когда невозможно не писать. Писать нужно только тогда, когда уверен, что можешь сказать людям что-то полезное. Но если на улице вы побежите кому-то на помощь, вы не свяжете себе ради развлечения ноги путами. Стихи — те же путы. Вам есть что сказать? Скажите это просто». Он предпочитал прозу Гюго (которого очень любил) — «Отверженных» — его стихам. Ему больше нравились стихи Мюссе...

Вопрос о собственности на его «Дневники» остается по-прежнему открытым между Чертковым и г-жой Толстой. Кажется, что дело выиграет г-жа Толстая — с условием, что рукописи будут немедленно переданы в Государственный архив. Стахович в разговоре со мной подтвердил, что отдельные страницы написаны с ужасающей откровенностью. Например, в кавказском периоде описана безобразная сцена изнасилования, совершенного Толстым. Эта страница повергла в отчаяние его жену, которая часто умоляла Толстого уничтожить ее. Но он неизменно отвечал отказом, говоря, что это необходимо для искупления вины. Когда человек становится знаменитым, он не должен скрывать о себе подобных вещей. Он говорил, что человека можно полностью узнать, лишь зная, каков он в отношениях с женщинами. Половое общение человека является ключом к пониманию его характера (если не всей жизни). В дневниках Толстого есть записи о расходах следующего содержания: «1 лошадь — 20 (или 50) рублей; 1 женщина — 1 руб. 25 коп.» Черткову удалось сделать копию «Дневников» лишь с 1891 года, начало же у него отсутствует...

О моей книге (о Толстом) Стахович говорит со слезами на глазах; он говорит мне, что ни один из друзей Толстого или из членов его семьи не читал книги, которая с такой правдивой силой проникла бы в тайники души Толстого; она избавила его от глубоко укоренившегося убеждения, что нельзя почувствовать великого писателя, не понимая его языка. Меня очень желают видеть в России. И, возможно, когда-нибудь я решусь туда поехать, хотя я не могу переносить множество вещей, свойственных русским,— особенно невероятный хаос в их мыслях и словах. Эти мои записки кажутся очень ясными, зато из какой мутной реки пришлось мне их вылавливать! Сколько раз я был принужден терпеливо ждать 20—25 минут, когда же закончится очередное рассуждение рассказчика и тот вернется, наконец, к основной теме!.. Толстой не любил критиков, и это неприятие оставалось у него неизменным до конца жизни. Обычно говорят плохо об иезуитах, рассуждал он. В тысячу раз хуже эти критики. Все беды художников происходят от критиков, которые уродуют произведения, бешено на них нападают. Он говорил (есть нечто парадоксальное в этом принципиально верном утверждении), что значение художника измеряется числом его читателей. Самый большой художник тот, кого читает больше всего людей...

Забыл упомянуть, что во время путешествия пешком из Москвы в Ясную Поляну вместе со Стаховичем каждый вечер в какой-нибудь избе Толстой читал крестьянам одну из своих народных сказок (не признаваясь, что он был ее автором).

«Большой мир» — он любил употреблять это выражение, которое для него означало: «вне дома, на больших дорогах». Именно туда шел Толстой, когда ему хотелось узнать что-то новое. «Тут про все знают»,— говорил он...»

В 1984 году, незадолго до своей кончины, вдова писателя подарила мне прекрасно изданные шесть томов «Дневника военных лет 1914—1919» Ромена Роллана. Как отмечается в пояснении к этому изданию, в 1934 году Роллан передал на хранение в Библиотеку Базельского университета 29 своих записных книжек, составляющих полный текст его «Дневника военных лет». Согласно воле автора, Библиотека имела право после 1955 года издать этот текст без всяких купюр. В то же время он разрешил своим наследникам уже до указанной даты опубликовать неполный текст, который писатель сам отдиктовал и подписал.

Именно этот текст и лег в основу издания, подготовленного к печати Марией Павловной. Всем шести томам предпосланы такие строки: «Заметки и документы к нравственной истории Европы этого времени». Более чем на 70 страницах этой уникальной летописи 1914—1919 гг. встречается имя Владимира Ильича Ленина.

Передавая мне этот труд, Мария Павловна говорила о безграничном уважении писателя к Ленину, «самому человечному Человеку», который, как никто другой, воплотил в своей деятельности идеи пролетарской революции и социализма.

Хотелось бы познакомить наших читателей с несколькими отрывками из этого «Дневника».

«**12 мая 1917 года.** «Гильбо[1] прислал мне экземпляр «Прощального письма к швейцарским рабочим», написанного В. Лениным.

Оно воплощение неукротимой энергии и беспредельной искренности. Ленин порывает не только со всеми консервативными, буржуазными, националистическими и социал-патриотическими партиями, но и с умеренными интернационалистами, такими, как Аксельрод, Мартов, Чхеидзе, Скобелев, Турати, Тревес, Сноуден, Рамсей Макдональд, Гримм, Каутский, Гаазе и т. д. ... Неосведомленность и бесстыдство парижской прессы идут бок о бок. Желая погубить Ленина в глазах общественности, она воображает, что может говорить о нем как о нововявленном, неизвестном человеке с фальсифицированной фамилией, с подозрительным происхождением, о существовании которого русским стало известно только в последние дни. «Матэн» осмеливается писать (9 мая): «Полагают, что Ленин является немецким шпионом, подлинная фамилия которого, кажется, Гольдберг». И тут же Полиб (Иосиф Рейнах) поспешно подхватывает эту дурацкую ложь. (Представьте себе немецкую газету, которая сообщила бы миру, что Баррес является царским шпионом и зовется Распутиным.) Дридзо твердо отве-

[1] Анри Гильбо. Французский социалист, занимавший в годы первой мировой войны антимилитаристские позиции. Впоследствии предал революционное движение.

чает в «Журналь дю пёпль» (14 мая), что Ленин в России более известен, чем Гед во Франции. И он приводит некоторые данные его биографии.

Фамилия и имя Ленина — Ульянов Владимир. Он из православной, исконно русской семьи. Его брат был повешен в 1887 году за участие в заговоре против Александра III. Ленин начал свою жизнь политического борца в 1890 году. В 1895 году вместе с Мартовым он организует «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Под именем **Владимир Ильич**[1] он пишет работу о развитии капитализма в России. Он провел несколько лет в Сибири; выехав за границу, он вместе с Плехановым, Мартовым, Аксельродом, Верой Засулич, Потресовым организовал газету «Искра». С 1903 года он становится вождем «большевизма», крайнего течения русского марксизма».

29 июля. В этой ожесточенной борьбе между контрреволюционными элементами и Революцией клевета и оскорбления (как всегда в подобных случаях) сразу же сыграли свою чудовищную роль. Столь же дикие проклятия, которые обрушивались на бойцов июня (Французская революция 1848 года.— **В. С.**) и Коммуны (Парижская коммуна 1871 года.— **В. С.**), теперь направлены против большевиков; и все либеральные журналисты делают это с такой же яростью, как и полиция. «Рабочая газета» (орган меньшевиков социал-патриотов) подала сигнал к развязыванию кампании клеветы и провокаций. Пытаются облить грязью все окружение Ленина (Зиновьева, Радека, Троцкого и т. д.) для того, чтобы затем морально убить того, кого называют Маратом русской революции— «борцом, чистым, как кристалл», как его называет «Правда», «сердцем и мозгом революции».

Сентябрь 1918 года. ...На Ленина совершено серьезное покушение в Петрограде[2], а другой большевик, комиссар внутренних дел[3] Урицкий убит <2 сентября>. Буржуазная и милитаристская печать всей Европы сразу же опубликовала известие о смерти Ленина. В моей гостинице я наблюдаю идиотскую радость на физиономиях. Молодая французская учительница (гувернантка в очень богатой парижской семье) кричит в коридоре, что нужно с шампанским отпраздновать эту новость. Совершенно очевидно, что для буржуазии всей Европы — всего мира — как прогерманской, так и просоюзнической, самая сильная ненависть (объясняющаяся, главным образом, страхом) направлена против Русской революции! Все они дрожат за свои кошельки».

Я привел эти несколько отрывков, чтобы показать, какую огромную, чрезвычайно важную работу проделала Мария Павловна, скрупулезно собирая, расшифровывая и готовя к печати зачастую черновые записи Ромена Роллана. Не будь этой на редкость трудолюбивой, профессионально знающей литературное дело хранительницы архивов своего супруга— как знать? — все ли из богатейшего духовного наследия великого свидетеля и летописца первой половины XX столетия дошло бы до будущих поколений!

Помимо этой работы, Мария Павловна отдала немало сил созданию музея Ромена Роллана в его доме в Везлее. С первых дней его основания в этом музее бывали и наши соотечественники. В записанной мною на магнитофон беседе с Марией Павловной ею описывается такой эпизод:

«В первой группе студентов, которую я пригласила в Везлей, была одна советская девушка, полутатарка-полуузбечка. Кажется, она теперь преподает где-то в Алма-Ате. Услышав, что посольство ФРГ в Париже выделило на создание музея 20 тысяч марок, она помчалась в советское посольство и сказала об этом. Тогда ваше посольство прислало своего советника по культуре: «Что вы хотите от нас получить?» Я сказала: «Рояль!» Дело в том, что у меня есть рояль — роллановский, но я не хочу отдавать его студентам. И сотрудники советского посольства мне обещали рояль. Я ждала его 7 лет и решила в конце концов, что они не хотят его дать. Обещали, но не дают. Занимался всем этим Анисимов. Он уже умер. Был директором института Горького. Рояля все не было. Однажды через 2—3 года я узнала, что задержка происходит потому, что советские представители хотели подарить мне белый рояль. А мне белый совсем не нравится. Я люблю или черный, или желтый. К счастью, белый они не нашли. Потом стали искать рояль, который принадлежал бы какому-нибудь великому русскому музыканту. Положим, Рахманинову или Чайковскому. Но никакой музей не хотел отдавать такой рояль. И в конце концов мы получили прекрасный рояль из Дрездена или из Лейпцига. Немецкий рояль. Он стоит в большом гараже, который я превратила в музыкальный зал. Его побелили. Позади рояля я поставила крышку от ящика, в котором рояль привезли, потому что на крышке написано большими буквами: «Лейпциг—Москау», а потом по-русски «Москва — Париж».

А потом я купила в магазине, кажется, в «Лафайет», две китайские прекрасные ширмы, старинные. Одна ярко-красная, другая темно-бордовая, каждая по восемь створок. Они тоже позади рояля стоят, и я всем говорю, что это мне китайцы прислали, узнав, что русские прислали рояль. Но это неправда». (Смеется.)

Далее Мария Павловна рассказывает о своей работе по сбору у различных адресатов переписки Роллана: «Кое-кто мне просто передал эти письма, некоторые продали, а кое-кто прислал мне фотокопии. Я их нашла, эти письма. Нужно сказать, что Ромен Роллан писал от руки, но потом он мне диктовал. Всю «Очарованную душу» он мне продиктовал. Всего «Пеги» продиктовал. Он писал свои мемуары во время последней войны и оккупации. И дошел до времени, когда он познакомился с Пеги. Поначалу он задумал ее как отдельную главу, а получилась книга в двух томах. Она очень интересна. Роллан говорит в ней о себе столько же, сколько о Пеги».

[1] Так у автора. На самом деле Владимир Ильич.
[2] Так у автора. На самом деле покушение на В. И. Ленина было совершено в Москве.
[3] Так у автора. На самом деле М. С. Урицкий был Председателем Петроградского ЧК.

До конца своих дней Мария Павловна вынашивала и осуществляла все новые и новые идеи по популяризации творческого наследия Ромена Роллана. В моем архиве хранятся четыре странички с изложением отдельных пожеланий, которые хотела реализовать, в частности, с моей помощью, эта неутомимая труженица. Среди начертанных фломастером крупным почерком (Мария Павловна под конец своей жизни плохо видела) есть, например, такие просьбы. Прислать ей для музея в Везлее том изданной у нас «Всемирной литературы», в котором был опубликован «Жан-Кристоф». Прислать пластинки с записью музыки Кабалевского на мотивы «Кола Брюньона». Сделать фильм о Кола Брюньоне, в котором об этом герое высказались бы француз, русский, немец. (Кстати сказать, в советском документальном фильме о Ромене Роллане, по ее мнению, допущено немало ошибок.) Попросить известного советского искусствоведа и коллекционера Зильберштейна прислать ей копии хранившихся у него нескольких писем Роллана русским литераторам. Выпустить в московском издательстве «Прогресс» сборник переписки Роллана с Сергеем Кудашевым и другими представителями советской молодежи.

И, наконец, неожиданное пожелание: «Как жалко, что в Москве нет былого перезвона церквей. Нужно, чтобы был перезвон. Это так красиво, так волнует и возвышает душу...»

Мария Павловна скончалась 29 апреля 1985 года, на 90-м году жизни, совершив незадолго до своей смерти последнюю и очень нелегкую для ее возраста поездку в столь дорогой ее сердцу дом в Везлее. Несколько дней спустя на маленьком кладбище в Брэве, близ родного города Ромена Роллана Кламси, состоялась церемония захоронения урны с прахом Марии Павловны. Прах этой замечательной русской женщины покоится рядом с останками ее супруга, великого французского писателя, «гражданина мира и Кламси».

Мария Ромен Роллан, писал известный французский критик Жан Альбертини, была «очень скромной женщиной в том, что касалось ее собственной личности, но она отличалась восхитительной преданностью и энергией, отданными служению памяти и творчеству ее супруга. Именно за это все прогрессивные люди должны испытывать к ней чувства глубокой признательности... В ее лице еще жил тот, кого она любила и кто ее любил, одна из самых крупных личностей нынешнего столетия — Ромен Роллан, посвятивший ей в 1933 году великий и столь несправедливо преданный забвению роман «Очарованная душа»...

«Марии
Десять лет борьбы против себя самого.
Надо бороться с собой, себя преодолеть.
Десять мирных лет, рожденных войной, родивших войну.
Не сетуй! Там, впереди, мир.
Пойдем ему навстречу!

Тебе, жена и друг, в дар приношу свои раны.
Они — лучшее, что дала мне жизнь.
Имя, как вехами, был отмечен каждый мой шаг
Вперед».

Залог бессмертия

М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в десяти томах. М., Правда, 1988. (Библиотека «Огонек»).

•

Приложением к «Огоньку» вышел десятитомник Щедрина. Вроде бы факт как факт: классику у нас издают щедро. Но есть и особенности: тираж. Никогда прежде собрания сочинений писателя таким огромным тиражом — 1 700 000 экземпляров — не выпускались. В предыдущем, по существу, полном собрании сочинений, подготовленном, как и нынешнее, под руководством С. А. Макашина, тираж тома не превышал 60 тысяч. И в реестр книжного дефицита оно почти не попало.

Нужен ли был при постоянных разговорах о нехватке бумаги названный тираж? Не устарело ли творчество писателя, направленное, по определению «Советского энциклопедического словаря», «против самодержавно-крепостнического строя»?

О Михаиле Евграфовиче Салтыкове-Щедрине, как и о некоторых других российских литераторах, традиционно причисляемых к кругу революционной демократии, можно сказать, что их залюбили. Из деятельных участников литературно-общественного движения превратили в неких победителей. Причем, если работы революционных демократов-критиков, использовавшиеся как социально-политическая аргументация в обосновании пути освободительного движения, в конце концов оказались немалой частью философского фундамента послеоктябрьских концепций развития нашего общества, то за Щедриным и вовсе стало числиться лишь одно: ниспровергатель устоев российской самодержавной государственности. Сатирическая специфика его огромного творческого дара была абсолютизирована.

Но вот оценка М. Горького. «...Невозможно понять историю России во второй половине XIX века без помощи Щедрина»,— часто повторяемая цитата из его «Истории русской литературы». Однако чуть выше формулировка определеннее: «Значение его сатиры огромно, как по правдивости ее, так и по тому чувству почти пророческого предвидения тех путей, по коим должно было итти и шло русское общество на протяжении от 60-х годов вплоть до наших дней».

Программно прозвучала правдистская идея Ленина: «Хорошо бы вообще от времени до времени вспоминать, цитировать и растолковывать в «Правде» Щедрина и других писателей «старой» народнической демократии. Для читателей «Правды»... это было бы уместно, интересно, да и получилось бы освещение теперешних вопросов рабочей демократии с иной стороны, иным голосом» (1912).

А известный большевистский публицист, составитель уникального «Щедринского словаря» М. С. Ольминский в статье «Салтыков-Щедрин», напечатанной в одном из переименований «Правды», давал отдельным абзацем: «Одним из самых ярких борцов за идеалы является Салтыков-Щедрин». И далее: «Во имя идеала он беспощадно отрицал старый мир гнета и эксплуатации и презирал всякую попытку уступок, протестовал против урезывания задач и против окольных путей: лучше гибель, чем отступничество или умаление своих идеалов». Сказано не без риторических фиоритур, но в целом все эти оценки свидетельствуют: вплоть до 1917 года наследие Щедрина воспринималось как жизнестроительная сатира, сатира при свете идеала, сатира, сумевшая вобрать в себя общечеловеческие универсалии и по одному этому сокрушившая рамки сатирического канона.

Другой подход к наследию писателя стал формироваться в послереволюционное время. Свержение самодержавия и его институтов быстро породило обыденное представление об абсолютной новизне создающегося государственного аппарата. Подчеркну — «обыденное», ибо отнюдь не откровением были относящиеся к середине 1920-х годов слова Луначарского: «Я часто слышал от очень компетентных товарищей замечание, что Щедрин в настоящее время — как нельзя более живой писатель и что очень многие явления нашей, как отмечал Ленин, изуродованной бюрократизмом, хотя и здоровой внутренне государственной и общественной жизни, оказываются мишенью, в которую до сих пор еще попадают острые стрелы великого сатирика, пущенные его рукою в 70—80-х годах». Не углубляясь здесь в размышления по поводу возможности сочетания «внешней» изуродованности и «внутреннего здоровья» в формах общественного сознания и лишь указывая на, полагаю, утопичность такой возможности, на сугубо умиротворяющий, сглаживающий характер этого словосоединения, тем не менее отмечу это представление поры,

когда партия и общество приближались к роковому рубежу, отсекающему саму возможность разномыслия.

Не обошелся без Щедрина и Сталин. «Что значит руководить производством?» — спрашивал он в речи на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности (1931 г.) и отвечал: «У нас не всегда смотрят по-большевистски на вопрос о руководстве предприятиями. У нас нередко думают, что руководить — это значит подписывать бумаги. Это печально, но это факт. Иногда невольно вспоминаешь помпадуров Щедрина. Помните, как помпадурша поучала молодого помпадура: не ломай голову над наукой, не вникай в дело, пусть другие занимаются этим, не твое это дело,— твое дело руководить, подписывать бумаги[1]. Надо признать, к стыду нашему, что и среди нас, большевиков, есть немало таких, которые руководят путем подписывания бумаг».

А вот другой пример из речи того же 1931 года. «Существуют некоторые околопартийные обыватели, которые уверяют, что наша производственная программа нереальна, невыполнима. Это нечто вроде «премудрых пескарей» Щедрина, которые всегда готовы распространять вокруг себя «пустоту недомыслия».

Думаю, легко заметить различие цитат Луначарского и Сталина. Для первого, пусть и с ритуальной оговоркой, объекты сатиры Щедрина по-прежнему живы, революцией не уничтожены. Для Сталина Щедрин лишь источник для сравнительных оборотов, художественная аппликация политических выкладок — и только. А раз так, то можно спутать ташкентца с помпадуром, можно использовать образ из архироссийской «Современной идиллии» для инвективы в адрес гитлеровского журнала (впрочем, Сталин называет его осторожно: «германский официоз»; см. доклад о проекте Конституции Союза ССР, 1936). На великого художника Отечества возлагается бремя памфлетиста-международника, а уж на зарубежных пространствах найдется немало всякого-такого для соответствующих ассоциаций.

И пошло-поехало: с одной стороны, громогласные рассуждения об актуальности Щедрина, а с другой — предельное абстрагирование этой актуальности, сохранение за писателем репутации обличителя-профессионала. Тексты Щедрина как впечатляющий памятник антисамодержавной сатиры, наследие Щедрина как источник подходящих цитат — вот в чем предлагается нам усматривать богатство. А в результате: первое требует пространных историко-общественных комментариев; второе, по чести, вообще имеет мало отношения к широкому читателю и привлекательно лишь для ораторов и публицистов разных мастей.

А между тем творческий кодекс Салтыкова-Щедрина основан на идее исследования «нравственной природы человека», поиске «высших интересов человеческой природы».

Когда Щедрин, теоретизируя, пишет: «Литература провидит законы будущего, воспроизводит образ будущего человека»,— мы, памятуя о горьком опыте советской литературы, то и дело выдававшей желаемое за действительное, можем и должны насторожиться.

Но мы должны и вспомнить, что в художественной практике Щедрин смог утопизма избежать. Он признавал: «Человек так устроен, что ему непременно хочется золотого века, и он во всяком признаке прогресса видит его приближение». Однако «творчество природы, как и личное творчество человека, представляются нам растяжимыми до неизвестных пределов». Следовательно, «абсолютный золотой век» как «минута успокоения и духовного и материального равновесия, когда человек найдет подлинное основание счесть себя опочившим от трудов и исканий», едва ли мыслим.

Как видим, идеал писателя не скован рамками конкретного социально-политического устройства общества, привязкой к конкретной, если угодно, общественно-экономической формации.

«О том ли идет речь, чтобы что-нибудь перевернуть, или у одного нечто отнять, а другого наградить? Нет, речь идет об отыскании таких законов общежития, которые могли бы умиротворить человечество,— и больше ни о чем. Вопросы о перевертываньях и отнятиях всецело принадлежат к той практике, которая уже и ныне предусматривается уголовными кодексами...»

Возможно, с точки зрения политического прагматизма в этих мыслях найдется немало уязвимого. Но, как заметил Щедрин, не следует смешивать цивилизацию с табелью о рангах. Представляется, законы гуманитарной культуры, и в том числе словесности, учитывают все возможные соотношения, порождаемые самим существованием связи: человек — общество. В ключевом, пожалуй, для понимания творческих принципов Салтыкова-Щедрина цикле «Итоги» (1871) находим идею, которая, по моему убеждению, становится залогом его художественной жизнеспособности: «Исследуя нравственную природу человека, литература не может не касаться и тех общественных комбинаций, среди которых человек проявляет свою творческую силу. Хотя, с исторической точки зрения, эти комбинации представляют не что иное, как создание самого человека, но то же историческое тяготение сделало их настолько плотными и самостоятельными, что и они, в свою очередь, могут или вредить, или споспешествовать человеческому развитию».

Чуть позже, в «Помпадурах и помпа-

[1] Ошибка вождя: у Щедрина речь идет о «ташкентце» Васеньке. В 1939(!) году на это удалось указать Л. М. Добровольскому.— См.: М. Е. Салтыков-Щедрин. К пятидесятилетию со дня смерти: Статьи и материалы. Л., Советский писатель, 1939, с. 91.

дуршах» (1873), Щедрин высказался еще определеннее: «Литературному исследованию подлежат не те только поступки, которые человек беспрепятственно совершает, но и те, которые он несомненно совершил бы, если б умел или смел. И не те одни речи, которые человек говорит, но и те, которые он не выговаривает, но думает». Становится очевидным: идея «нового человека», которого не раз поминал Салтыков-Щедрин, вовсе не замыкается на типизации заведомо положительных черт личности.

Щедрин прекрасно понимал, что идея нормативности и в общественном, и в эстетическом смысле осталась в прошлом. Исчерпала свои возможности монархия и порожденная ею концепция классицизма. Расшаталась сословная иерархия — перемешались «три штиля». Конечно, переход от этикетных форм человеческого общежития к психологически мотивируемым действиям — благо, но лишь при совершенствовании механизмов социального управления. В случае же, когда эти механизмы претерпевают лишь количественные изменения, сплошь и рядом возникают ситуации, подобные описанной еще в «Губернских очерках», когда чиновник, получив «бумагу» («ничего не понимаем, а бумага, видим, нужная»), со словами: «Ничего не понимаю, а отвечать могу» пишет «бумагу в палец толщиной, только еще непонятнее первой». Коротко говоря, система, рассчитанная на тотальную регламентацию жизни, с определенного момента оказывается в состоянии производить лишь путаницу и хаос.

В «Мелочах жизни» (1886—1887) Щедрин, итожа свое многолетнее исследование, с полным основанием писал: «Прерогативы власти — это такого рода вещь, которая почти недоступна вполне строгому определению... Все тут неясно и смутно: и пределы, и степень, и содержание. Одно только прямо бросается в глаза — это власть для власти, и, само собой разумеется, только одна эта цель и преследуется с полным сознанием».

Важно не упустить, что этот свой вывод Щедрин относил не только к российской, но и к европейской государственности, он специально оговорил это. Как подчеркивал и специфику европейских «несовершенств».

Гротески сатирика из сферы предостережений то и дело переходят в сферу самой наиреальнейшей реальности. Скажем, он смело вводит в свои произведения персонажей Гоголя, Грибоедова, А. Островского... Так, Ноздрев у него издает газету «Помои», где печатает передовые статьи: «но не затем, чтобы выяснить самую сущность вопроса, а единственно ради того, чтобы высказать по поводу его «русскую точку зрения». Реакция же Ноздрева на любую полемику с ним проста: «подстеречь удобный момент и закричать: караул! измена!»

«Пора раз навсегда покончить с этими гнездами разъевшегося либерализма,— вот лозунг Ноздрева по отношению к другим «газетам».— Щадить врага — это самая плохая политика. Одно из двух: или сдаться ему в плен, или же бить, бить до тех пор...» Словом: если враг не сдается,— его уничтожают!

Ноздрев, бывший у Гоголя «историческим человеком», таковым остался и у Щедрина. Сохранилось и его «негодяйство», и то, что Щедрин назвал «эпидемически развившейся путаницей понятий, благодаря которой, куда ни глянешь, кроме мути, ничего не видишь». Но прежние «готовности» в характере Ноздрева теперь, в «Письмах к тетеньке», проявляются в деле. «Так вот он что́, милая тетенька, собрался совершить. Покончить с «врагами» — с чьими? с своими собственными, ноздревскими врагами... ах! Спрашивается: неужто ж найдется в мире какая-то «сила», которая согласится войти в союз с Ноздревым, с целью сокрушения ноздревских врагов?!» И ниже — как предсказание, а сегодня — как формула многих явлений уже нашего, XX века: «Пользуясь этими двумя содействиями (негодяйством и «путаницей понятий».— С. Д.), он каждодневно будет твердить, что все, кто не читает его паскудной газеты,— все это враги и потрясатели. И найдутся простецы, которые поверят ему...»

А каков в «Пошехонских рассказах» Щедрина традиционный «печатный пряник»: «И распорядилось начальство, чтобы впредь на каждом прянике (на той стороне, где картина) было оттиснуто: «Печатать дозволяется. Цензор Бирюков»... Или телеграмма: «Продавай Россию, продавай скорее, высылай деньги», кви про кво на тему распродажи помещичьих землевладений («Круглый год»), через сто лет возрожденное в рязановском «Гараже», где герой Г. Буркова продает «Родину», дачный кооператив... Невероятные парадоксы человеческого поведения, которые составляют художественную ткань книг Щедрина, как сейчас ясно, не просто конкретно-историческое обличительство. Вот один из помпадуров узнал, что существует какой-то закон, с которым он, помпадур, должен считаться,— и закручинился вопросом: «После этого зачем же мы, помпадуры, нужны?!» Сомнения разрешил стряпчий: «Закон пущай в шкафу стоит, а ты напирай»...

Мы повстречаем у Щедрина кобылу по кличке Эмансипация и «Проект современного балета», где есть Танец Взятки, Большая трель публицистов и Большой танец Благонамеренности, где в финале «народ в упоении пляшет; однако порядок не нарушается, потому что из-за кулис выглядывают будочники»...

Салтыков-Щедрин скончался сто лет назад, весной 1889 года. За эти сто лет случилось многое. Теперь, кажется, вышло из моды то, что, наверное, и его могучей фантазии было не под силу предугадать: с полной серьезностью и со вселенским размахом в нашем отечестве праздновались юбилеи «умертвий» великих русских писателей. Столетие гибели Пушкина — 1937 год, 50-летие со дня кончины Лескова — 1945 год и опять столетие упокоения, в 1952 году,— на этот раз Гоголя. В 1939-м были «мероприятия» щедринские...

Сегодня главным, вероятно, делом в память о Салтыкове-Щедрине стал выпуск названного десятитомника. С выдумкой оформленный, он неплохо будет смотреться на полках современных гарнитуров, особенно импортного производства... И все же: если книги попали в дом, их так или иначе рано или поздно — прочтут.

А читатель Щедрина поневоле задумается: в чем исток его бессмертия? В том ли, что неодолимы уничтожающе, казалось, им высмеянные наши «нравственные и умственные неурядицы», «всякого рода духо́ты»? Или все же Щедрин жив «веяньем идеала», его глубочайшими проникновениями в суть человеческой натуры?

Истина, наверное, в том, что идеал не может быть идеалом при самозабвенном ему поклонении. Идеал жив неудовлетворенностью в нем. Этой неудовлетворенностью — человеком, мироустройством — жив и Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.

Сергей ДМИТРЕНКО

Феномен Г. К. Жукова

•

Маршал Жуков: полководец и человек. Сборник. М., Изд. АПН, 1988.
Маршал Жуков. Каким мы его помним. М., Политиздат, 1988.

•

О Маршале Советского Союза Г. К. Жукове, если принимать во внимание масштабность его личности и его роль в Великой Отечественной войне, написано у нас в стране прискорбно мало. Во время войны и в первое послевоенное десятилетие он был затенен искусственно вздутой фигурой «великого полководца всех времен и народов», «отца народов» — И. В. Сталина. Наступившая затем «оттепель» была для Жукова слишком короткой, а инерция общественного мышления чрезмерно устойчивой, чтобы писатели, журналисты и историки успели отнестись с должным вниманием к этому действительно великому полководцу, к его жизни и деятельности. Конечно, имя Г. К. Жукова прочно вошло в память народа сначала как спасителя Ленинграда и Москвы, затем как организатора многих побед на разных фронтах войны и, наконец, как командующего, бравшего Берлин. Но с годами память народа деформируется, а имя выдающегося человека постепенно обрастает не столько новыми фактами и знаниями, сколько мифами и легендами. Этому способствовала почти двадцатилетняя опала Г. К. Жукова, когда его имя на многие годы было вычеркнуто из анналов Великой Отечественной войны, подобно тому как многие революционеры и советские полководцы были вычеркнуты из анналов Октябрьской революции и гражданской войны.

В годы застоя, во второй половине 60-х, наметились определенные тенденции отхода от решений XX и XXII съездов КПСС, реанимации сложившейся в 30-е годы административно-командной системы во главе с ее творцом — Сталиным. Одним из методов стал метод нового препарирования истории, прежде всего истории Великой Отечественной войны. Не прошло и года со времени выхода последней книги шеститомной «Истории Великой Отечественной войны», как было принято решение о создании двенадцатитомной истории второй мировой войны, чтобы дать совершенно иную концепцию, соответствующую поставленной политической цели. Однако подготовка нового труда затягивалась на годы, а осуществить намеченную цель нужно было безотлагательно. Поэтому возникла идея выполнить задачу с помощью мемуаров выдающихся военачальников, прежде всего самых авторитетных из них, непосредственно работавших со Сталиным,— Г. К. Жукова и А. М. Василевского. Главная «установка мемуаристам» была дана в ряде статей, опубликованных в официальных изданиях конца 60-х годов. В журнале «Коммунист», 1969, № 2, был напечатан обзор книг Маршалов Советского Союза А. Гречко, И. Конева, К. Мерецкова, К. Рокоссовского, генерала армии Ю. С. Штеменко и авиаконструктора А. Яковлева. Обзор завершался следующим утверждением: «Рассматриваемые в совокупности книги позволяют воссоздать характерные черты портрета Главнокомандующего как руководителя Советских Вооруженных Сил в годы войны. При этом не остается камня на камне от безответственных утверждений о его военной некомпетентности... о его якобы абсолютной нетерпимости к чужим мнениям и от других подобных выдумок... Верховный Главнокомандующий прислушивался к мнениям подчиненных и считался с ними, когда эти мнения высказывались убежденно и обоснованно, он обладал широким стратегическим кругозором, умел схватить основное, решающее в обстановке и четко определить цель и главное направление действий войск. Словом, со страниц воспоминаний советских полководцев И. В. Сталин при всей слож-

ности и противоречивости его характера предстает как выдающийся военный руководитель». Ни из рассмотренных книг (за исключением мемуаров С. Штеменко, и то лишь в небольшой мере), ни из содержания их обзора такое заключение не следовало. Но оно было воспринято как установка и затем в разных вариациях повторялось в многих работах о Великой Отечественной войне. А чтобы не было отклонений от намеченной линии, при Главном политическом управлении Советской Армии и Военно-Морского Флота была учреждена специальная группа, на которую возложили контроль за публикацией военных мемуаров. Усилиями группы и издательства находившимся в стадии подготовки мемуарам военачальников всех рангов придавалась соответствующая этой установке направленность. Те же мемуары, которые не удавалось переделать, просто не публиковались.

Г. К. Жуков начал работать над мемуарами в 1958 году, вскоре после отставки. Тогда он не был уверен в том, что его труд увидит свет. Но во второй половине 60-х годов обстановка изменилась. Его книга была нужна, однако не в том виде, в каком она была написана автором, человеком сугубо военным. Сотрудники группы по военным мемуарам и издательства придали ей определенную направленность. Жесткость маршальского характера, которая так последовательно проявлялась и на фронте перед лицом врага, и в отношениях со Сталиным, и подчиненными, оказалась недостаточной, чтобы помочь автору выстоять под напором контролеров Главпура и издателей. В процессе подготовки к печати, который продолжался четыре года, из рукописи была изъята глава о репрессиях 1937—1938 годов, ряд других мест. В нее были включены многие архивные документы и материалы, что, конечно, серьезно обогатило ее содержание. Но вместе с тем она подверглась тщательной редакции, которая проводилась в духе изложенной выше общей установки. После этого Суслов, который был решительно против публикации книги Жукова, дал свое согласие выпустить ее в свет. Другие, например, А. А. Епишев, М. Х. Калашник (начальник Главпура и его первый заместитель), были довольны, что их имена включены в книгу Жукова. Л. И. Брежнев, который во время войны ни разу не встречался с Жуковым, также пожелал, чтобы и его имя оказалось в книге. Было придумано, что Жуков во время посещения 18-й армии хотел посоветоваться с начальником ее политотдела полковником Л. И. Брежневым, «но он как раз находился на Малой земле...»

В 1969 году «Воспоминания и размышления» Г. К. Жукова увидели свет. Их охотно покупали и охотно читали. Книга переведена на многие языки и опубликована рядом издательств мира. Интерес к личности автора привлек внимание читателей многих стран и к его книге. Несмотря на «редактирование» и «улучшение», она все-таки дает определенное представление о самом авторе и тех событиях, в которых он участвовал.

Теперь это представление значительно расширяется воспоминаниями о нем его современников, дочерей и друзей, очерками публицистов, исследованиями историков. Издательство АПН сделало доброе дело, выпустив в свет двухтомник «Маршал Жуков: полководец и человек» в конце прошлого года. Его составители А. Д. Миркина и В. С. Яровиков тщательно отобрали наиболее значительные из ранее опубликованных работ о Жукове и впервые публикуемые статьи и документы. (Кстати, напомню, что А. Д. Миркина была издательским редактором первого и ряда последующих изданий книги «Воспоминания и размышления»). Почти одновременно с двухтомником в Издательстве политической литературы вышел сборник статей и очерков «Маршал Жуков. Каким мы его помним» (авторы — преимущественно писатели). В этих двух изданиях помещено в общей сложности 50 материалов. Они написаны людьми, видевшими Жукова в различной обстановке: это дочери, двоюродный брат, друзья детства, юности и последних лет жизни; земляки, адъютанты и порученцы, сослуживцы, командующие армиями, фронтами в период войны, другие офицеры и генералы. Среди них такие известные деятели, как А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский, И. Х. Баграмян, П. И. Батов, А. П. Гетман, И. И. Федюнинский, Д. Д. Лелюшенко, А. П. Белобородов, С. И. Руденко, Н. А. Антипенко, А. А. Громыко, писатели К. Симонов, С. Смирнов, В. Соколов, историки Н. Г. Павленко, Е. Н. Цветаев, журналист В. Песков и другие.

К. Симонов посвятил много лет собиранию материалов о Жукове, начиная с 1939 года, когда он как военный корреспондент встретился с командующим в Монголии, на Халхин-Голе, где Жуков провел первую в своей полководческой деятельности крупную операцию советских и монгольских войск, завершившуюся полным разгромом японской армии, вторгнувшейся на территорию союзной нам Монголии. Писатель многократно встречался с Жуковым после войны и тщательно записал содержание своих бесед с ним. Его «Заметки к биографии Г. К. Жукова», сделанные обстоятельно в 1965—1966 годах, увидели свет только в 1987 году в «Военно-историческом журнале» — уже после смерти и писателя, и маршала. Теперь они полностью перепечатаны в обоих сборниках. Поскольку эти заметки не предназначались Симоновым к публикации, на их содержание не повлияли послевоенные политические и конъюнктурные веяния. Это достоверный документ, наиболее полно и удачно воссоздающий образ выдающегося военного деятеля Г. К. Жукова. Здесь изложены мнения Жукова по вопросам подготовки армии и страны к войне, причины поражения Красной Армии в первый ее период, деятельность высшего военно-политического руководства, то есть те вопросы, которые подверглись серьезной модификации в процессе подготовки к печати его мемуаров. Это можно показать на примере изложения мнения Жукова о Сталине как военном руководителе. Так как Жуков беседовал с Симоновым в то время, когда завершал свою работу над рукописью мемуаров, то он в основном излагал ее содержание. Его мнение о Сталине было следующим: «Профессиональные военные знания у Сталина были недостаточными, не только в начале войны, но и до самого ее конца. Однако в большинстве случаев ему нельзя было отказать ни в уме, ни в здравом смысле, ни в понимании обстановки. Анализируя историю войны, надо в каждом конкретном случае по справедливости разбираться в том, как это было. На его совести есть такие приказания и настояния, упорные, невзирая ни на какие возражения, которые плохо и вредно сказывались на деле. Но большинство его приказаний и распоряжений были правильными и справедливыми».

Давал Жуков и более конкретные характеристики: «В стратегических вопросах Сталин разбирался с самого начала войны. Стратегия была близка к его привычной сфере — политике... В вопросах оперативного искусства в начале войны он разбирался плохо. Ощущение, что он владеет оперативными вопросами, у меня лично начало складываться в последний период Сталинградской битвы, а ко времени Курской дуги уже можно было без преувеличения сказать, что он в этих вопросах чувствует себя вполне уверенным.

Что касается вопросов тактики, строго говоря, он не разбирался в них до самого конца». «В начале войны,— говоря так, я в этом смысле отмечаю как рубеж Сталинградскую битву,— случалось, что, выслушивая доклады, он иногда делал замечания, свидетельствующие об элементарном непонимании обстановки и недостаточном знании военного дела». Такого рода рассуждения Г. К. Жукова после тщательной работы редакторов приобрели в его мемуарах следующую форму: «Как военного деятеля И. В. Сталина я изучил досконально, так как вместе с ним прошел всю войну.

И. В. Сталин владел вопросами организации фронтовых операций и операций групп фронтов и руководил ими с полным знанием дела, хорошо разбираясь в больших стратегических вопросах. Эти способности И. В. Сталина как Главнокомандующего особенно проявились, начиная со Сталинграда.

В руководстве вооруженной борьбой в целом И. В. Сталину помогали его природный ум, богатая интуиция. Он умел найти главное звено в стратегической обстановке и, ухватившись за него, оказать противодействие врагу, провести ту или иную крупную наступательную операцию. Несомненно, он был достойным Верховным Главнокомандующим».

Нетрудно увидеть различия в приведенных оценках и по достоинству оценить искусство «редактирования». Примеры аналогичных расхождений в воспроизведении «мнений» Жукова без труда можно умножить, сопоставив соответствующие места обоих сборников и книги «Воспоминания и размышления».

Генерал-лейтенант Н. Г. Павленко провел серьезный анализ полководческой деятельности маршала Г. К. Жукова. Его работа представляет собой первое в нашей исторической литературе столь обстоятельное исследование такой сложной проблемы. Он проследил обстановку, в которой формировался Жуков как полководец и как человек. Он относит Жукова к той категории военачальников, которые, не боясь ответственности, умели повелевать. «Общеизвестно,— пишет Н. Г. Павленко,— что Г. К. Жуков обладал железной волей, мощным интеллектом и обширными знаниями, добытыми путем самообразования». При этом надо иметь в виду, что он не был самостоятелен в своих решениях и действиях. Он предлагал свои решения Сталину и исполнял его волю, волю человека, который «мало понимал в военном деле в начале войны», но «он был, по словам маршала Василевского, неоправданно самоуверен, самонадеян, переоценивал свои способности в руководстве войной». Павленко приводит все эти данные отнюдь не для того, чтобы противопоставить Жукова Сталину, а лишь для того, чтобы более убедительно показать, в каких условиях проявились полководческие способности Жукова. Для Жукова Сталин во время войны — это человек, принявший на свои плечи самую трудную должность в воюющем государстве. Личность же Жукова так же противоречива, а его деятельность контрастна. «Она характеризовалась ошибками и просчетами в период пребывания его на посту начальника Генерального штаба и триумфальными победами тех оперативно-стратегических объединений, которыми командовал Г. К. Жуков в годы Великой Отечественной войны». К его достоинствам следует отнести и то, что он открыто признавал свою долю вины в этих ошибках. По-разному и оценивалась его деятельность. Было время, когда он поднимался на вершину невиданной славы, но, будучи в опале, он испил полную чашу несправедливостей и унижений.

В рецензии, конечно, невозможно разобрать все материалы о Жукове, вошедшие в оба издания. Каждая статья — это новый штрих к портрету полководца. Каждая работа по-своему ценна и вносит вклад в освещение образа великого советского военачальника.

В. М. КУЛИШ,
доктор исторических наук

Из почты «Октября»

Уважаемые товарищи!

Один из самых тревожных нынешних вопросов—национальные отношения, будь то Казахстан или другие республики, да и в Москве тоже нет особого благолепия в этом деле... Но если мы много сейчас говорим о традициях, то не вспомнить ли те из них, которые в прошлом пробуждали в людях гуманные чувства, соединяли, ставили выше предрассудков?

В связи с этим мне хочется предложить Вашему журналу напечатать статью В. Короленко «Декларация» В. С. Соловьева», ныне малоизвестную. Не будучи ни литературоведом, ни специалистом по творчеству Короленко, воздержусь от ее комментирования, хочу лишь отметить два момента: во-первых, статья обозначает стиль, манеру поведения русской интеллигенции конца XIX века с ее духом гуманизма и чувством исторической ответственности; во-вторых, в статье рассказывается о «Декларации», написанной Владимиром Соловьевым и выразившей идеи и настроения, владевшие цветом русской художественной и научной мысли за 13 лет до кишиневского погрома, за 23 года до процесса Бейлиса (в котором, как и в мултанском деле, Короленко принимал активное участие выступлениями в прессе), за 48 лет до «хрустальной ночи», за 50 с лишним лет до начала функционирования печей Освенцима, Майданека, Треблинки и т. д., почти за 60 лет до кампании по борьбе с «космополитами» и разоблачения «убийц в белых халатах».

Надеюсь, эпизод, описанный в статье, напомнит нам еще одну истинно русскую традицию.

Юрий ГЕРТ.

г. Алма-Ата.

«Декларация» В. С. Соловьева

(К истории европейского вопроса в русской печати)

В октябре 1890 года я получил от покойного Владимира Сергеевича Соловьева (из Москвы) письмо, в котором говорилось между прочим:

«Посылаю вам прилагаемое заявление литераторов и ученых с просьбой подписать его, считаю лишним распространяться о том, насколько подпись (эта) необходима *. Уезжая на днях в Петербург, покорнейше прошу подписанное вами заявление прислать мне туда по следующему адресу: Европейская гостиница на Михайловской улице. С совершенным почтением, готовый к услугам Владимир Соловьев».

Самое заявление, о котором говорится в этом письме,— составленное Соловьевым, кем-то подписанное и затем опять кое-где поправленное рукой Соловьева,— состояло в следующем:

«В виду систематических и постоянно возрастающих нападений и оскорблений, которым подвергается еврейство в русской печати, мы, нижеподписавшиеся, считаем нужным заявить:

1) Признавая, что требования правды и человеколюбия одинаково применимы ко всем людям, мы не можем допустить, чтобы принадлежность к еврейской народности и Моисееву закону составляла сама по себе что-нибудь предосудительное (чем, конечно, не предрешается вопрос о желательности привлечения евреев к христианству чисто духовными средствами) и чтобы относительно евреев не имел силы тот общий принцип справедливости, по которому евреи, неся равные с прочим населением обязанности, должны иметь таковые же права.

2) Если бы даже и было верно, что тысячелетние жестокие преследования еврейства и те ненормальные условия, в которые оно было поставлено, породили известные нежелательные явления в еврейской жизни, то это не может служить основанием для продолжения таких преследований и для увековечения такого ненормального положения, а напротив, должно пробуждать нас к большей снисходительности относительно евреев и к заботам об исцелении тех язв, которые нанесены еврейству нашими предками.

3) Усиленное возбуждение национальной и религиозной вражды, столь противной духу истинного христианства, подавляя чувства справедливости и человеколюбия, в корне развращает общество и может привести его к нравственному одичанию, особенно при ныне уже заметном упадке гуманных чувств и при слабости юридического начала в нашей жизни.

На основании всего этого мы самым решительным образом осуждаем антисемитическое движение в печати, перешедшее к нам из Германии как безнравственное по существу и крайне опасное для будущности России.»

* Пропускаю несколько фраз.— В. К.

В то время, когда это заявление попало ко мне, под ним подписались уже следующие лица: Л. Н. Толстой, профессор Герье, проф. Виноградов, проф. Тимирязев, проф. Янжул, проф. А. Н. Веселовский, В. А. Гольцев, Безобразов, профессор Ф. Фортунатов, В. С. Соловьев, проф. Всев. Миллер, проф. А. И. Чупров, П. Н. Милюков, Сизов, Гамбаров, Щепкин, Г. А. Джаншиев, Р. Р. Минилов, С. А. Муромцев, проф. Столетов, профессор гр. Камаровский, проф. Грот.

Я охотно присоединил свою подпись и поблагодарил Соловьева за память обо мне в этом деле. Кое-какие детали редакции вызывали меня на некоторые замечания, но из-за оттенков я не считал нужным отклоняться от дела. Так же, очевидно, смотрел и В. С. Соловьев. Относительно одной поправки, сделанной его рукой (германское происхождение русского антисемитизма), он сообщил мне, что вписал это по требованию некоторых из подписавших, считая эту вставку излишней, но и не желая затягивать дело спорами о редакции.

Моя подпись была далеко не последняя. Соловьев очень горячо, даже страстно относился к этому литературному предприятию, стараясь соединить под заявлением видные имена литературы и науки, независимо от некоторых различий во взглядах по другим вопросам. На его краткую формулу должны были прежде всего отозваться люди, для которых религиозная и национальная терпимость составляет органическую часть общего строя убеждений. К людям же, с которыми он был близок другой стороной своего очень сложного умственного склада, он обращал аргументацию чисто христианской морали, в которой было много силы и подкупающего обаяния. В своем христианстве он не шел на компромиссы. Для него христианство было источником абсолютной морали. Из этого источника он извлек и формулу по еврейскому вопросу, отличавшуюся необыкновенной ясностью и простотой. Он говорил: «Если евреи — наши враги, поступайте с ними по заповеди: любите врагов ваших. Если же они не враги (а он именно думал, что не враги), тогда незачем их преследовать». Многие догматические взгляды Соловьева окутаны густыми, иной раз почти непроницаемыми метафизическими туманами. Но когда он спускался с этих туманных высот, чтобы прилагать те или другие основные формулы христианства текущей жизни, он был иной раз великолепен по отчетливой ясности мысли и по умению найти для нее простую и сжатую формулу. Такова и аргументация его по еврейскому вопросу. Слушая ее, люди, претендующие на обладание искренней христианской верой, должны были или соглашаться с его выводом, или признать, что христианство есть лишь отвлеченная доктрина, неприложимая к широким явлениям современной жизни, которая должна уступать перед антихристианскими призывами к ненависти и мщению. А это с точки зрения искренно верующего человека есть кощунство. Таким образом, к формуле чистого либерализма по данному вопросу именно Соловьев способен был приобщить широкий круг людей, далеко, быть может, не либеральных в точном значении этого слова, но чутких к логике искренней веры, которая слышалась в либеральной формулировке Соловьева.

В январе 1891 года я получил от него другое письмо по тому же предмету. В нем между прочим говорилось: «Один мой приятель печатает книжку по еврейскому вопросу и просил меня осведомиться у вас, разрешите ли вы ему печатать то ваше письмо, которое вы мне прислали при вашей подписи под известным вам литературным заявлением... Судьба этого последнего вам, вероятно, известна». В конце письма сообщалось, что наше заявление напечатано не в России, а за границей...

«Судьба» заявления мне еще тогда известна не была, и, только приехав в Петербург, я узнал, в чем дело. А дело было в том, что, пока Соловьев хлопотал и собирал подписи, толки об его затее широко распространились в литературной среде. Дошли они, между прочим, и до известного публициста ретроградного лагеря г. Иловайского, который сейчас же и ударил по этому поводу в набат. Тревогу подхватила по всей линии антисемитская и ретроградная пресса. К сожалению, я не могу в настоящее время привести здесь лучшие перлы этой односторонней полемики, хотя это могло бы быть любопытно. Самая, впрочем, выдающаяся черта ее состояла в том, что эти господа обрушились не на высказанное мнение, а на самое намерение его высказать. В тоне Марата в «Друге Народа» или Гебера в «Père Duchesne» гг. Иловайские провозглашали отечество в опасности и взывали к консулам, даже не называя определенно имен, а только неопределенно зловещими чертами рисуя надвигающуюся «крамолу».

Шумная трескотня возымела обычное действие. Последовал циркуляр главного управления, и затеянная В. С. Соловьевым декларация в то время в России так и не появилась.

Как настоящая «крамола», она была напечатана за границей (одновременно в Париже и Вене). Для европейцев, разумеется, заявление русскимн писателями прнзнаиных культурным миром аксиом могло иметь значение разве в качестве курьезиой иллюстрации русских цеизурных порядков. Но для иас даже и теперь есть нечто поучительное в этом маленьком эпизоде. Употребляя столь героические усилия, чтобы задушить попытку Соловьева в зародыше, тогдашний антисемитизм как бы отдавал своим противникам некоторую дань страха и уважеиия. Признавалось, что самый факт категорического заявления передовой группы русских писателей может нанести чувствительный удар антисемитизму, поддерживаемому правительством...

Теперь это уже tempi passati. Правда, передовая русская печать сказала, пожалуй, все, что следовало сказать по данному вопросу. Зато и антисемитизм сделал чуть не все, чего ие следовало делать, отбросив в сторону всякие счеты с «высшими началами» и христианской, и всякой другой морали.

1909 г.

Печатается по изданию: В. Г. Короленко. Полное собрание сочииений, т. 9, стр. 257. Изд. Т-ва А. Ф. Маркс. Петроград. Приложенне к журиалу «Нива» 1914 г.

Сдано в набор 05.04.B9. Подписано к печати 21.04.B9. А 07802. Формат 70×10B 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 1B,20. Усл. кр.-отт. 1B,55. Уч.-изд. л. 22,24. Тирвж 390 000 экз. Заказ № 5B3. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125B72, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11. Тепефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64. 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.